МАРГАРЕТ

Э·Т·В·У·Д

КОШАЧИЙ ГЛАЗ



18+

«Роман, который пробирает до костей, будоражит и разбивает сердце».

The New York Times Book Review

ОТ АВТОРА КУЛЬТОВОГО РОМАНА «РАССКАЗ СЛУЖАНКИ»

Кошачий глаз
Маргарет Этвуд

Аннотация
Маргарет Этвуд. Кошачий глаз
I. Железное легкое
II. Серебряная бумага
III. Имперские рейтузы
IV. Ядовитый паслён
V. Отжим
VI. Кошачий глаз
VII. Богоматерь Неустанной Помощи
VIII. Половина лица
IX. Проказа
X. Рисование с натуры
XI. Падающие женщины
XII. На одном крыле
XIII. Пикосекунды
XIV. Единая теория поля
XV. Мост

Аннотация

Современный художник Элейн Ризли возвращается в Торонто, город своего детства, на выставку, посвященную ее искусству. Внезапно поглощенная яркими картинками из прошлого, она думает о трех девчонках, которые ввели ее в жестокий мир детских игр, в мир тайной дружбы, тоски и предательства. Элейн мучает прошлое, и потому она никак не может найти покой в настоящем, которое кажется иллюзорным, как узоры под гладкой поверхностью стеклянного шарика.

Маргарет Этвуд
Кошачий глаз

Эта книга – для С.

Картины и другие произведения современного искусства, описанные в этой книге, выдуманы. Однако на них повлияло творчество художников Джойс Вилэнд, Джека Чемберса, Чарльза Пэчтера, Эрики Хирон, Гейл Гелтнер, Денниса Бертона, Луиса де Нивервилля, Хезер Купер, Уильяма Курилика, Грега Курноу и гончара Ленор М. Этвуд, работающей в жанре поп-сюрреализма; а также — галерея Айзекса, старого оригинала.

За сведения по физике и космологии, затронутые в этой книге, я благодарю Пола Дэйвиса, Карла Сагана, Джона Гриббина и Стивена Хокинга, авторов увлекательнейших книг по соответствующим темам. Спасибо также моему племяннику Дэвиду Этвуду за его разъяснения теории струн.

Огромная благодарность Грэму Гибсону за то, что он претерпел этот роман; моему агенту Фиби Лармор; моим агентам в Англии — Вивьен Шустер и Ванессе Холт; моим редакторам и издателям — Нэн Тализ, Нэнси Эванс, Эллен Селигман, Адриенне Кларксон, Эви Беннет, Лиз Калдер и Анне Портер; моей неутомимой помощнице Мелани Даген; а также Доне Перофф, Майклу Брэдли, Элисон Паркер, Гэри Фостеру, Кейти Гилл, Кейти

Минялофф, Фанни Силберман, Джеймсу Полку, Колин Куинн, Рози Абелле, С. М. Сандерсу, Джину Гольдбергу, Джону Галлахеру и Дороти Гулборн.

Когда Туканас отрезал старухе голову, старуха собрала в ладони собственную кровь и дунула, и кровь улетела на солнце.
– Так и моя душа входит в тебя! – закричала старуха.
С тех пор всякий, кто убивает, принимает в свое тело душу убитого, не зная и не желая этого.

Эдуардо Галеано
«Память огня. Сотворение»

Почему мы помним прошлое, а не будущее?

Стивен Хокинг
«Краткая история времени»

I. Железное легкое

1

Время — не прямая, а отдельное измерение, как измерения в пространстве. Если пространство можно искривить, то и время тоже можно. А если мы научимся двигаться быстрее света, то сможем путешествовать назад во времени и тогда будем существовать в двух местах сразу.

Так говорил Стивен, мой брат. Занимаясь физикой, он надевал особый вязаный бордовый свитер с расползающимися дырками на протертых локтях и стоял на голове, чтобы кровь приливала к мозгу и питала его. Я ничего не поняла, но, может быть, он не очень хорошо объяснял. Он уже тогда начал уходить от слов, от присущей им неточности.

Но я с тех пор представляю себе время как что-то четко очерченное, что-то видимое. Будто несколько прозрачных, жидких диапозитивов наложили друг на друга. Вглядываясь во время, мы смотрим не назад, а вглубь, как в воду. На поверхность поднимается то одно, то другое, а иногда — ничего. Но все сохраняется навеки.

2

— Стивен говорит, что время — не прямая, — говорю я. Корделия закатывает глаза, как я и ожидала.

— И? — отвечает она. Такой ответ нам обеим приятен. Он ставит на место как природу времени, так и Стивена, который зовет нас «подростки», будто он сам не подросток.

Мы с Корделией едем на трамвае в центр города, как всегда зимой по субботам. Воздух в трамвае сырой и туманный оттого, что уже побывал у кого-то в легких, и от испарений мокрой шерсти. Корделия сидит в непринужденной позе, с непроницаемым лицом, по временам подталкивая меня локтем, вперивая в других пассажиров взгляд серо-зеленых глаз, непрозрачных и блестящих, как металл. Она кого угодно может переиграть в вагонные гляделки, и я от нее почти не отстаю. Мы круты, мы просто богини, нам по тринадцать лет.

Мы в длинных драповых пальто, затянутых поясами. Воротники подняты — мы хотим походить на кинозвезд. На ногах у нас резиновые сапоги с подвернутыми голенищами. Под сапогами — мужские рабочие носки. У каждой в кармане

платок, надетый по настоянию матери, но тут же тайком снятый. Мы презираем головные уборы. Рты у нас жесткие, ярко-красные, блестящие, как ногти. Мы с Корделией считаем, что мы — подруги.

В трамваях вечно попадаются старухи — во всяком случае, нам эти женщины кажутся старухами. Иные одеты прилично, в жакеты из шотландского твида, перчатки в тон и аккуратные шляпки без излишеств, с маленьким задорным перышком сбоку. Другие — бедней, явные иностранки, кутают головы и плечи в темные платки. Третьи — неповоротливые, бесформенные, с неодобрительно поджатыми губами, увешанные, как гирляндами, сумками, полными покупок. Эти у нас ассоциируются с распродажами, подвальными магазинами уцененных товаров. Корделия на глаз отличает дешевую ткань. «Габардин, — говорит она. — Дешевка».

Иные женщины еще борются, пытаются выглядеть гламурно. Их немного, но они выделяются. Они одеты в алое или фиолетовое, серьги — длинные висюльки, а шляпы смотрятся как театральный реквизит. Из-под юбки выглядывает край комбинации — необычного, фривольного цвета. Фривольным считается любой цвет, кроме

белого. Волосы у этих женщин выкрашены в блонд, или в пастельно-голубой, или — что еще больше режет глаз на фоне безжизненной, как бумага, кожи — в черный, тусклый, как старая меховая шуба. Вокруг рта помадой нарисован другой рот, вокруг настоящих глаз — изломанный черный контур других. Эти женщины часто разговаривают сами с собой. Одна все время бормочет: «Баранина, баранина», снова и снова, как слова песни, а другая тычет нас зонтиком в ноги и говорит: «Голые!»

Эти женщины нам нравятся больше всего. В них есть некая веселость, изобретательность, им все равно, что о них подумают. Они сбежали (хотя от чего именно — нам не до конца ясно). Мы думаем, что они сознательно выбрали и странные костюмы, и речевые ужимки, и что в свое время мы тоже сможем выбирать.

— Я вот такой стану, — говорит Корделия. — Только я еще заведу брехливого пекинеса и буду гонять мальчишек со своего газона. У меня будет палка с крюком, как посох пастуха.

— А я заведу себе игуану, — отвечаю я. — И буду одеваться исключительно в мареновый цвет.

Это слово я выучила совсем недавно.

Теперь я думаю: а что если эти женщины про-

сто не видели себя со стороны? Проще не бывает: плохое зрение. Теперь я сама этим страдаю: слишком близко к зеркалу — все расплывается, слишком далеко — не разглядеть мелких деталей. Кто знает, что за лицо я рисую? Какой шедевр современного искусства изображаю на себе? Даже на правильно выбранном расстоянии от зеркала я каждый раз другая: иногда выгляжу на сильно потасканные тридцать пять, иногда — на бодрые пятьдесят. Очень многое зависит от освещения и от того, как прищуришься.

Я ем в розовых ресторанах, они благоприятнее для цвета лица. В желтых и сама желтеешь. Я действительно размышляю на эту тему. Тщеславие начинает дорого обходиться; я понимаю, почему женщины в конце концов сдаются. Но я еще не готова сдаться.

В последнее время я ловлю себя на том, что напеваю вслух или что иду по улице с приоткрытым ртом, даже слюни текут. Совсем чуть-чуть; но, может быть, это — острие клина, трещина в фундаменте, которая со временем расширится и превратится… во что? В какие пейзажи сверкающей эксцентричности или безумства?

Этого я никогда не открою никому, кроме Корделии. Но какой Корделии? Той, которую я вызвала

из глубин памяти, — в пальто с поднятым воротником и резиновых сапогах с подвернутыми голенищами? Или той, что была до этого? Или той, что была после? Каждый человек, без исключения, существует в нескольких экземплярах.

Если я снова встречусь с Корделией, что я расскажу ей о себе? Правду — или приукрашенную версию, в которой выгляжу хорошо?

Видимо, второе. У меня все еще осталась эта потребность — выглядеть хорошо.

Я очень давно не видела Корделию. Я не ожидала встречи с ней. Но сейчас, по возвращении, я вижу ее на каждой улице — она сворачивает за угол или скрывается в дверях. Само собой, эти фрагменты — плечо бежевого пальто из верблюжьей шерсти, профиль, отставленная назад нога — принадлежат женщинам, которые, стоит их увидеть целиком, оказываются не Корделией, а кем-то другим.

Я понятия не имею, как она выглядит сейчас. Может, она растолстела, груди обвисли, в углах рта седые волоски. Но это вряд ли; она станет их выщипывать. Может, она носит очки в модной оправе, сделала блефаропластику, на волосах «перышки» или она моет голову оттеночным шампунем. Всё это возможно; мы обе достигли

пограничного возраста, нейтральной зоны, в которой ещё веришь, что эти уловки действуют, главное — избегать ярко освещенных мест.

Я представляю себе, как Корделия разглядывает в зеркало с близкого расстояния растущие мешки под глазами, свисающие и морщинистые, как кожа на локтях. Корделия вздыхает, мажет под глазами кремом — именно тем, который нужен, — и прихлопывает подушечками пальцев. Корделия непременно будет знать, какой крем — правильный. Она осматривает свои руки — они слегка усохли, искривились, как и мои. Шишки суставов. Морщинки у губ. У подбородка уже намечаются брыли, их видно в темных зеркалах окон в вагоне метро. Больше никому пока не видно, если не разглядывать пристально; но мы с Корделией привыкли смотреть пристально.

Она роняет банное полотенце — зеленое, приглушенного цвета морской волны в тон ее глазам, — и смотрит на себя через плечо. В зеркало видны складки кожи над талией, похожие на морду шарпея. Ягодицы обвисли, как гребень петуха. Иссохший мох волос, если развернуться передом. Я представляю себе Корделию в спортивном костюме, тоже зеленом, — она трудится в спортзале, потеет, как лошадь. Я знаю, что она

сказала бы об этом. Обо всем этом. Как мы хихикали, с каким отвращением и восторгом, когда нашли воск, который ее старшие сестры использовали для депиляции. Он застыл в баночке, и в нем торчали щетинистые волоски. Гротескные причуды тела всегда интересовали Корделию.

Я воображаю, как неожиданно натыкаюсь на нее. Может быть, она в потертом пальто и вязаной шапке, напоминающей по форме бабу-на-чайник, сидит на тротуаре с двумя магазинными пакетами, в которые вмещается весь ее скарб. Сидит и бормочет что-то себе под нос. «Корделия! Не узнаешь?» — говорю я. Она узнает, но притворяется, что не узнала. Встает и ковыляет прочь на распухших ногах. Через дыры в резиновых сапогах просвечивают старые носки. Она оглядывается через плечо.

Эти фантазии меня отчасти утешают, и тем больше, чем они мрачней. Я смотрю из окна или с балкона, как Корделию преследует по улице какой-то мужчина, догоняет, бьет под ребра (удар в лицо для меня немыслим), сбивает с ног. Но дальше этого я пойти не могу.

Лучше буду думать про кислородную палатку. Корделия лежит без сознания. Меня вызвали в больницу, к ее одру, но слишком поздно. Тошно-

творно пахнут вянущие в вазе цветы, у Корделии в носу и в венах трубки. Звук предсмертного дыхания. Я держу ее за руку. Лицо у нее опухшее, белое, как недопеченное тесто, под закрытыми глазами — желтоватые круги. Веки недвижны, но пальцы слегка подрагивают, или это мне кажется? Я сижу и думаю, не выдернуть ли трубки у нее из вен, шнур аппарата — из розетки. Ее мозг мертв, сказали врачи. Неужели я плачу? Но кто же мог меня сюда вызвать?

Или даже лучше: железное легкое. Я никогда его не видела, но в газетах публиковали фотографии детей в такой штуке — давно, когда люди еще болели полиомиелитом. Эти фотографии — железный цилиндр, гигантская металлическая колбаса, из одного конца торчит голова (непременно девочки), волосы разметались по подушке, глаза большие, как у ночного зверька, — всегда меня завораживали. Даже больше, чем истории про детей, которые пошли гулять по тонкому льду, провалились и утонули, или играли на путях и им поездом отрезало руки и ноги. Полиомиелит можно подхватить незаметно для себя, и тогда окажешься в железном легком, сама не зная как. Что-то вдохнула или съела, или заразилась через деньги, которые до тебя трогали другие

люди. Знать бы, где упасть.

Взрослые ссылались на железное легкое, чтобы пугать нас, запрещать то, что нам хотелось. Никаких общественных бассейнов, летом — никаких гуляний в толпе. «Ты что, хочешь провести остаток жизни в железном легком?» — говорили взрослые. Дурацкий вопрос. Хотя для меня такая жизнь — с ее неподвижностью, с жалостью окружающих — имела свои тайные плюсы.

Ну, значит, Корделия в железном легком. Ею дышат, играя на ней, как на гармошке. Вокруг нее рождается металлический хрип. Она в полном сознании, но не может ни двигаться, ни говорить. Я вхожу в комнату, двигаюсь, говорю. Наши взгляды встречаются.

Корделия должна где-то жить. Может, в миле от меня, а может, на соседней улице. Но в конце концов я уже не представляю себе, что сделаю, если наткнусь на нее. Например, она окажется в метро, на сиденье напротив. Или будет стоять на платформе, разглядывая рекламу. Мы будем вместе смотреть на большой рот, растянутый вокруг шоколадного батончика, и я повернусь и скажу: «Корделия! Это я, Элейн». Она взглянет на меня и театрально взвизгнет? Или игнорирует?

Или это я ее игнорирую, если представится

такая возможность? Или подойду к ней молча и обниму? Или схвачу за плечи и буду трясти, трясти?

Мне кажется, что я иду уже несколько часов. Под горку, в сторону даунтауна, где больше не ходят трамваи. Вечер — размытая серая акварель, похожая на жидкую пыль, как всегда осенью в этом городе. По крайней мере погода осталась той же.

Вот я дошла до места, где мы обычно вылезали из трамвая и погружались в притротуарные залежи январской снежной каши, в резкий ветер, задувающий с озера в щели между уродливыми домами с плоскими крышами. Для нас они служили воплощением большого города. Но теперь этот район больше не плоский, не уродливый, его потрепанная презентабельность ушла в прошлое. Восстановленные кирпичные фасады сверкают неоновыми вывесками, изобилием начищенной меди. Изобилием недвижимости. Изобилием денег. Впереди сияют огромные прямоугольные стеклянные башни, как великанские надгробия из холодного света. Замороженные активы.

Но я не разглядываю ни здания, ни модно одетых прохожих в импортном, сшитом на заказ, кожаном, замшевом и что у них там еще. Я смот-

рю под ноги, словно иду по следу.

Я чувствую, как перехватывает горло, болит челюсть. Я снова начала грызть пальцы. Во рту вкус крови, его я помню. Эскимо из апельсинового шербета, грошовые шарики жвачки, красные лакричные жгуты, обсосанные волосы, грязный лёд.

II. Серебряная бумага

3

Я лежу на полу, на футоне, накрывшись периной. Футон! Перина! Вот как далеко мы шагнули! Интересно, знал ли Стивен, что такое футоны и перины. Скорее всего, нет. Скорее всего, если бы сказать при нем «футон», он посмотрел бы так, как будто он глухой или ты — сумасшедшая. Он и футоны принадлежали к разным вселенным.

В те годы, когда не было ни футонов, ни перин, стаканчик мороженого стоил пять центов. Сейчас такой можно купить за доллар, и это если повезет, причем он будет меньше того, прежнего. Вот к чему в итоге сводится разница между тогда и сейчас: девяносто пять центов.

Я подошла к середине жизни. Эта веха видится мне как определенное место, что-то вроде середины реки или моста, когда половина лежит перед тобой, а другая уже позади. Предположительно к этому времени я уже должна была обрасти балластом: имуществом, обязанностями, достижениями, опытом и мудростью. Я должна была

стать солидным человеком.

Вернувшись в этот город, я не чувствую никакой солидности. Мне кажется, я стала легче, словно перелиняла, отбросила молекулы тела, кальций костей, клетки крови; я будто сжимаюсь, наполняюсь холодным воздухом или медленно падающим снегом.

Но при всей своей легкости я не поднимаюсь, а опускаюсь. Точнее, меня тащит вниз, в глубинные слои города, словно в жидкую грязь.

Дело в том, что я ненавижу этот город. Я его так давно ненавижу, что едва помню времена, когда относилась к нему по-другому.

Когда-то полагалось называть его скучным. Первая премия — неделя в Торонто, вторая премия — две недели в Торонто. Торонто Благонравный, Торонто Трезвенный, где по воскресеньям не продают спиртное. Все его жители говорили одно и то же: провинциальный, самодовольный, скучный. Говоря так, мы признавали эти качества и в то же время отгораживались от них.

А сейчас положено констатировать, как сильно он изменился. Одна из мировых столиц — это выражение часто встречается в нынешних журналах (и уже порядком заезжено). Рестораны с кухней разных народов, театры, бутики. Нью-

Йорк, но без мусора и преступности. Раньше жители Торонто ездили на выходные в Буффало — женщины ради шопинга, мужчины ради стриптиза и подаваемого допоздна пива. Возвращались они взвинченные, нетрезвые, надев купленную одежду в несколько слоев, чтобы обмануть таможенников. Теперь поток машин по выходным идет в другую сторону.

Я никогда не верила ни тому, ни другому утверждению — «скучный», «мировая столица». Для меня Торонто никогда не был скучным. Скучный — не то слово, которым можно описать в полной мере его беспросветность и его притягательность.

И еще я не могу поверить, что он изменился. Вчера я ехала на такси из аэропорта мимо аккуратных длинных низких складов и фабрик, выстроенных там, где когда-то стояли аккуратные длинные низкие фермы. Многие мили рачительности и утилитарности. А потом — через центр города во всем его блеске, с брусчаткой и парусиновыми навесами над витринами на европейский манер. Но я видела, что он — все тот же. Под приукрашенной видимостью — все тот же город, улица за улицей приземистых краснокирпичных домов, перед которыми торчат

веранды с навесами на тонких беловатых столбиках, похожих на ножки поганок. Бдительные, расчетливые окна. Вредные, злопамятные, мстительные, неумолимые.

Когда мне снится этот город, во сне всегда оказывается, что я заблудилась.

Помимо всего этого у меня, конечно, есть настоящая жизнь. Порой мне трудно бывает в неё поверить, поскольку такая жизнь, конечно, не могла бы сойти мне с рук и я ее не заслуживаю. В пару к этому убеждению у меня есть другое — что все люди моего возраста взрослые, а я только притворяюсь.

Я живу в доме с газоном и с занавесками на окнах, в Британской Колумбии — это самая далекая от Торонто точка, куда можно уехать, не рискуя утонуть. Нереальность местного пейзажа меня бодрит: горы как на открытке с курорта (на одной стороне закат, на другой накорябано несколько слов), домики тридцатых годов (сказочные на вид, словно их построили гномы для Белоснежки), огромные слизняки — я не могу понять, зачем слизнякам быть такого размера. Даже дождь в этих местах утрированный, его невозможно воспринимать всерьез. Я думаю, для тех, кто родился и вырос тут, всё это так же

реально и так же невыносимо, как Торонто для меня. Но в хорошие дни я все-таки ощущаю себя будто на каникулах или после удачного побега. В плохие же дни я не замечаю окружающих видов, да и вообще мало что замечаю.

У меня есть муж, не первый, по имени Бен. Он никаким боком не художник, чему я очень рада. Он заведует туристическим агентством, которое специализируется на турах в Мексику. Среди прочих положительных качеств Бена — умение доставать дешевые билеты на Юкатан. Из-за работы в агентстве он не смог поехать со мной сейчас: несколько месяцев перед Рождеством — самое горячее время в туристическом бизнесе.

Еще у меня две дочери, уже взрослые. Их зовут Сара и Анна. Хорошие, разумно выбранные, привычные имена. Одна доучивается на врача, другая — бухгалтер. Привычные, разумно выбранные профессии. Я верю в разумный выбор, хотя мне он часто не свойствен. И еще я считаю, что детям нельзя давать экзотические имена. Вот посмотрите, что случилось с Корделией.

В настоящей жизни у меня есть даже карьера, хотя ее трудно назвать настоящей. Я художница. Я даже в анкете на паспорт так написала, расхрабрившись, поскольку иначе пришлось бы писать

«домохозяйка». Мне самой не верится, что я стала художницей; бывают дни, когда меня передергивает при мысли об этом. Добропорядочные люди не становятся художниками; только претенциозные, склонные к театральности и аффекту. Слово «художник» приводит меня в замешательство: я предпочитаю называть себя живописцем, это больше похоже на настоящую профессию. Слово «художник» означает тунеядца, ведущего аморальный образ жизни; спросите любого жителя нашей страны, и он с этим согласится. На человека, называющего себя художником, будут смотреть косо. Конечно, кроме случаев, когда он рисует дикую природу или зарабатывает кучу денег. Но я зарабатываю ровно столько, чтобы мне завидовали другие художники, и недостаточно, чтобы посылать к черту всех, кого мне хочется послать.

Но большую часть времени я торжествую. Я думаю о том, что спаслась чудом — все могло быть гораздо хуже.

Именно из-за своей карьеры я сейчас лежу на этом футоне, под этой периной. Мне устраивают персональную ретроспективную выставку — первую в моей жизни. Галерея называется «Ди-Версия» — подобная игра слов когда-то при-

водила меня в восторг (до того, как вошла в моду). Я должна была бы радоваться этой выставке, но испытываю смешанные чувства: мне неприятно думать о своем солидном стаже и творческом багаже, которые позволили эту выставку устроить. Хотя бы и в альтернативной галерее, которой заправляют женщины. То, что у меня будет персональная выставка, кажется мне маловероятным и зловещим: сегодня выставка, а завтра в морг. Но еще я сердита из-за того, что Картинная галерея Онтарио не захотела проводить мою ретроспективу. В КГО предпочитают мертвых иностранных художников мужского пола.

Футон находится в мастерской, принадлежащей моему первому мужу, Джону. Интересно, что у него тут оборудовано спальное место, хотя живет он где-то еще. Я пока не разрешаю себе обыскать шкафчик в ванной на предмет шпилек и женского дезодоранта. А когда-то я бы именно так и поступила. Но меня это больше не касается. Я сама могу оставить в ванной шпильки, пускай их найдет его новая жена, ходячий бронепоезд.

Возможно, я зря тут поселилась. Слишком много воспоминаний. Но мы с Джоном никогда не переставали общаться — из-за Сары, она и его дочь тоже. Пройдя через фазу крика и битья

посуды, мы стали в каком-то смысле друзьями — на расстоянии; это всегда легче, чем бок о бок. Услышав про мою выставку, Джон предложил свою мастерскую. Он сказал, что гостиницы в Торонто, даже заштатные, теперь дерут просто чудовищные деньги. «Ди-Версия» заплатила бы за мое пребывание, но я об этом не упомянула. Я не люблю гостиничной чистоты, отмытых до скрипа ванн. Мне не нравится, когда мой голос отдается эхом в пустоте, особенно ночью. Я предпочитаю линьку, хаос, личную грязь людей вроде меня, вроде Джона — бродяг, перелетных птиц.

Студия Джона расположена на Кинг-стрит, у озера. Когда-то нам не велели ходить на Кинг-стрит, там ничего не было, кроме грязных складов, грохочущих грузовиков и сомнительных проулков. Но с тех пор улица сделала карьеру. Ее освоили художники; точнее сказать, первая волна — художников — пришла и ушла, и теперь Кинг-стрит обживают юридические фирмы с медными табличками и выкрашенными в красный пожарный цвет батареями отопления. Мастерская Джона располагается на пятом, верхнем этаже одного из складов. В теперешнем виде ей недолго осталось существовать. По потолкам расползаются рельсовые светильники. С полов

на нижних этажах сдирают старый линолеум, пахнущий полиролем с едва заметными нотками древних блевотины и мочи, и открывшиеся широкие доски чистят пескоструйкой. Я все это знаю, потому что поднимаюсь на пятый этаж пешком: лифт еще не установили.

Джон оставил мне ключ в конверте под ковриком у двери, с запиской, которая гласила: «Благословляю». Это тоже показывает, как он смягчился (или размяк). Раньше он ни за что не написал бы такого. Сейчас он в Лос-Анджелесе, занимается убийством бензопилой, но планирует вернуться к открытию моей выставки.

Последний раз я его видела на выпускной церемонии, когда Сара заканчивала университет. Джон прилетел на наш край континента — к счастью, без жены, так как она меня не любит. Мы с ней не встречались, но я знаю о ее нелюбви. Во время церемонии — сначала всякая торжественная чепуха, потом чай с печеньем — мы держались как ответственные взрослые родители. Потом мы повели обеих дочерей в ресторан, все так же соблюдая приличия. Мы и оделись так, чтобы сделать приятное Саре: я была в платье с туфлями в тон и все такое, а Джон в костюме и даже галстуке. Я сказала, что он похож на похо-

ронных дел мастера.

Но на следующий день мы тайком встретились, чтобы пообедать вместе, и надрались. Это слово, «надрались», рискованное на грани неприличия, напоминает мне о той встрече. Мы предавались воспоминаниям. И я до сих пор мысленно говорю «тайком», хотя Бен, конечно, знал, куда я иду. Но вот он никогда не пошел бы обедать со своей первой женой.

— Ты же всегда говорила, что ваш брак был катастрофой, — удивился он тогда.

— Именно. Чудовищной.

— Тогда почему ты хочешь пойти с ним обедать?

— Трудно объяснить, — сказала я. Хотя, может быть, на самом деле совсем нетрудно. Пусть наше общее прошлое — Джона и мое — больше похоже на дорожную аварию, но оно у нас общее. Мы пережили друг друга и выжили. Каждый из нас был для другого акулой, но в то же время и спасательной шлюпкой. Это немало.

В те годы Джон занимался инсталляциями. Он собирал их из кусков дерева и кожи, которые выуживал из чужих мусорных баков. А иногда он разбивал вещи — скрипки, посуду — и приклеивал куски так, как они упали, когда вещь

разбилась. Он называл такие штуки «построения разбиения». Был у него период, когда он оборачивал цветной пленкой стволы деревьев и фотографировал их. А как-то он сделал копию заплесневелой буханки хлеба, которая дышала — втягивала и выдыхала воздух при помощи электромоторчика. Плесень он изготовил из волос — своих собственных и своих друзей. Я думаю, там даже мои есть — я как-то поймала Джона, когда он снимал очёски с моей щетки для волос.

Сейчас он создает спецэффекты для кино, чтобы оплачивать свое пристрастие к искусству. Мастерская завалена недоделанными вещами. На рабочем столе, где Джон держит краски, клей, резаки и пассатижи, валяется резиновая рука с пальцами. Из отруба змеятся артерии. Рука снабжена ремешками, чтобы пристегивать ее к телу. На полу стоят пустые слепки ног и ступней, как подставки для зонтиков, сделанные из слоновьих конечностей. В одной ноге и впрямь торчит зонтик. Есть еще часть лица с почерневшей и сморщенной кожей — актер наденет ее поверх собственного лица. Чудовище, изуродованное людьми и влекомое жаждой мести.

Джон сказал мне, что не знает, стоит ли ему заниматься этими обрубками анатомии. В них

слишком много насилия, они не делают человечество добрее. С возрастом Джон уверовал в человеческую доброту, и это разительная перемена. Я даже нашла у него в кухонном шкафчике травяной чай. Джон утверждает, что с большей охотой делал бы милых зверюшек для детских спектаклей. Но, как он сам говорит, человеку нужно есть, а на отрезанные руки и ноги спрос куда больше.

Мне хочется, чтобы Джон был сейчас со мной. Или Бен, или любой знакомый мужчина. На незнакомцев меня уже не тянет. Когда-то главным было возбуждение, риск; а сейчас я думаю только о неловкости, неразберихе. Практически невозможно раздеться так, чтобы это выглядело красиво; и все время обдумываешь, что сказать потом, и эти фразы бесконечно крутятся в голове. Еще хуже — встреча с подробностями чужого тела: ногтями на ногах, дырками ушей, волосами в носу. Возможно, в этом возрасте к нам возвращается брезгливость, какая свойственна детям.

Я вылезаю из-под перины — ощущение такое, что я вообще не спала. Роюсь в пакетиках травяного чая на кухне. «Лимонный туман», «Утренняя гроза». Отвергаю их ради густого, ядовитого кофе, чтобы встряхнуться. Обнаруживаю, что стою по-

среди мастерской и не помню, как попала сюда из кухоньки. Небольшой временной сдвиг, помехи на экране. Видимо, это джет-лаг; слишком долго не ложилась ночью, а утром как пьяная. Или ранний Альцгеймер.

Я сижу у окна, пью кофе и кусаю пальцы, глядя вниз с пятого этажа. В этой перспективе прохожие кажутся сплющенными, как дети-уроды. Вокруг — море складов, прямоугольных, с плоскими крышами, а за ними — плоская полоса отвода железной дороги, где некогда сновали поезда, когда-то единственное зрелище, дозволенное по воскресеньям. Дальше простирается плоское озеро Онтарио, ноль в начале и ноль в конце, грифельно-серое и до краев налитое ядом. Даже дождь из этого озера — канцерогенный.

Я моюсь в крохотной, нечистой ванной комнате Джона, сопротивляясь желанию заглянуть в шкафчик. Захватанная ванная выкрашена в тускло-белый, что не очень способствует хорошему цвету лица. В чересчур опрятной обстановке Джон не чувствовал бы себя художником. Я щурюсь в зеркало, подготавливая лицо; если надеть контактные линзы, я окажусь слишком близко к зеркалу, а без них — слишком далеко. Я приноровилась делать все, что нужно у зеркала,

зажав одну линзу в зубах — она стеклянистая и тонкая, как обсосыш леденца. Можно нечаянно проглотить ее и подавиться — очень унизительная смерть. Надо бы завести бифокальные очки. Но в них я буду выглядеть совсем старухой.

Я надеваю пастельно-голубой спортивный костюм, камуфлируя свою художественную натуру, и спускаюсь по лестнице на первый этаж, стараясь двигаться бодро и целенаправленно. Я вполне могу быть деловой женщиной, которая вышла побегать трусцой. Я менеджер в банке, и у меня выходной. Я направляюсь на север, потом на восток по Куин-стрит — еще одна улица, на которую мы никогда не ходили. Тогда считалось, что здесь обитают грязные пьяницы, синяки, как мы их называли; по слухам, они пили метиловый спирт, спали в телефонных будках и могли наблевать тебе на ноги в трамвае. Но сейчас Куин-стрит полна картинных галерей, книжных лавок, бутиков с черной одеждой и странной обувью. Зазубренное острие тренда.

Я решаю пойти взглянуть на галерею. Я ее еще не видела — все переговоры проходили по телефону и по почте. Я не собираюсь входить, представляться; еще рано. Только посмотреть с улицы. Пройду мимо, окину взглядом, притворя-

ясь домохозяйкой, туристкой, зевакой. Галереи пугают. В них меня оценивают, судят. Я вынуждена стараться, чтобы не подкачать.

Но на пути к галерее я вижу фанерный забор — он скрывает площадку, где сносят дом. На заборе граффити краской из баллончика, вызов отмытому до скрипа городу: «Или бекон, или я, детка». А под этой надписью другая: «Что такое этот бекон и где его берут?» Рядом — афиша. Или не афиша, скорее листовка: агрессивно лилового цвета, с зелеными тенями и черными буквами. «РИЗЛИ В РЕТРОСПЕКТИВЕ», гласит она. Одна только фамилия, как у мальчишки. Фамилия моя. Лицо тоже вроде бы мое. Это фотография, которую я послала в галерею. Только теперь у меня появились усы.

Тот, кто их нарисовал, знал свое дело. Усы закрученные, длинные, словно у мушкетера, и к ним в комплекте идет козлиная бородка. Они подходят по цвету к волосам.

Надо думать, мне следовало бы обеспокоиться по поводу этих усов. Что они такое — каракули от нечего делать, или политический комментарий, или акт агрессии? Отметка «здесь был я» (или «была», ведь я не знаю, кто нарисовал усы — мужчина или женщина) или неприличное слово? Я вспоминаю, как сама рисовала такие усы, и всю

ненависть, которую я в них вкладывала, желание высмеять, изуродовать, сознание собственной власти. Будь я помоложе, я бы обиделась на рисовальщика.

Но сейчас я разглядываю усы и думаю: «А неплохо смотрится». Эти усы подобны костюму. Я созерцаю их под разными углами, словно обдумывая, не купить ли себе такие. Мои мысли меняют направление. Я начинаю думать о мужчинах, об усах и бородках, о просторе для маскировки и мимикрии. О мужчинах под прикрытием усов и о том, какими голыми, наверно, эти мужчины себя чувствуют, если усы сбрить. Уменьшенными. Очень многие лучше выглядели бы с усами.

И вдруг меня охватывает изумление. Я наконец обрела лицо, на котором можно подрисовать усы. Лицо — мишень для усов. Лицо — достояние публичности. Лицо, стоящее того, чтобы его обезобразить. Это — достижение. Я наконец кем-то стала. Кем-то или чем-то.

Интересно, увидит ли Корделия этот плакат. Узнает ли меня, несмотря на усы. Может, она придет на открытие выставки. Войдет, и я повернусь ей навстречу — в черном, как положено художнику, с таким видом, как будто моя жизнь удалась, с бокалом плохого, но не очень плохого

вина в руках. Я не пролью ни капли.

4

Пока мы не осели в Торонто, я была счастлива.

До этого мы нигде не жили по-настоящему; или жили в стольких местах, что и не упомнишь. Мы много времени проводили в машине, в низко сидящем «студебеккере» размером с лодку, руля по проселочным дорогам и двухполосным шоссе на севере провинции, огибая озеро за озером, холм за холмом, и белые линии летели нам навстречу по середине дороги, а телефонные столбы — по краям. Столбы повыше и пониже, так что казалось, будто провода скачут вверх-вниз.

Я еду в одиночестве на заднем сиденье среди чемоданов и картонных коробок с едой и одеждой, среди сухого химического запаха чехлов. Мой брат Стивен сидит впереди, у приоткрытого окна. От него пахнет мятными леденцами; из-под этого запаха пробивается его собственный — мокрого песка и грифельных карандашей из кедровой древесины. Иногда Стивена тошнит в бумажный пакет — или на обочину, если отец успевает остановиться. Стивена укачивает, а меня нет, вот ему и приходится сидеть впереди. Это его единственная известная мне слабость.

С моего тесного насеста в задней части машины открывается отличный вид на уши всей семьи. Отцовские — торчащие из-под полей старой фетровой шляпы, которую он носит, чтобы сучки, смола и гусеницы не попадали в волосы, — большие и мягкие на вид, с длинными мочками. Они похожи на уши гномов или мелких собаковидных тварей телесного цвета из комиксов про Микки-Мауса. Мать пришпиливает волосы с боков заколками-невидимками, так что ее уши тоже видны сзади. Они узкие, с хрупкими верхними краешками, похожими на ручки фарфоровых чашек, хотя саму мать не назовешь хрупкой. У брата уши круглые, как курага или как у зеленых овальноголовых инопланетян, которых он рисует цветными карандашами. Вокруг ушей, спускаясь на них и на затылок, торчат густые пучки волос, прямых и русых. Стивен не дает себя стричь.

Когда мы в машине, мне трудно шептать брату в его круглые уши. И в любом случае он не может ничего шепнуть мне в ответ, поскольку вынужден смотреть прямо перед собой — на горизонт или на белые линии дороги, медленными волнами бегущие навстречу.

Дороги в основном пусты, поскольку время военное. Хотя порой попадаются грузовики с

бревнами или свеженапиленными досками, за которыми тянется шлейф опилок. В обед мы останавливаемся у дороги, расстилаем брезент среди иван-чая и беловатых, словно бумажных, бессмертников и съедаем приготовленное матерью — бутерброды с сардинками, бутерброды с сыром, бутерброды с патокой или вареньем, если ничего другого не удалось достать. Мясо и сыр — в дефиците, их отпускают по карточкам. На самом деле это не карточки, а книжка, с разноцветными штампами.

Отец разводит костерок, чтобы вскипятить воду в котелке для чая. После обеда мы поодиночке исчезаем в кустах, напихав в карманы туалетной бумаги. Иногда в кустах оказываются опередившие нас куски туалетной бумаги, тающие среди папоротника и опавших листьев, но чаще — нет. Я присаживаюсь, держа ушки на макушке — а вдруг медведь? Шершавые листья астр царапают мне бедра. Сделав дело, я заваливаю туалетную бумагу ветками, корой и сухим папоротником. Отец говорит, что нужно все оставлять в таком виде, словно тебя тут и не было.

Отец идет в лес с топором, рюкзаком и большим деревянным ящиком на ремне. Он смотрит вверх, переводя взгляд с одной вершины на другую и

обдумывая. Потом расстилает под выбранным деревом брезент, оборачивая ствол. Открывает ящик, который полон стеклянных флаконов на подставках. Бьет по стволу обухом топора. Дерево дрожит; с него сыплются листья, веточки и гусеницы, они отскакивают от серой отцовской шляпы и падают на брезент. Мы с братом наклоняемся, собираем гусениц — они в голубую полоску, бархатные и прохладные, как собачьи носы. Мы суем гусениц в склянки для образцов, наполненные бледным спиртом. И смотрим, как они, извиваясь, опускаются на дно.

Отец смотрит на урожай гусениц так, словно сам их вырастил. Исследует обгрызенные листья. «Прелестное нашествие паразитов!» — говорит он. Его переполняет радость жизни. Он моложе, чем я сейчас.

Мои пальцы пахнут спиртом — холодный и далекий запах, пронзительный, как входящая в тело стальная булавка. Так пахнут белые эмалированные раковины. Глядя по ночам на звезды — холодные, белые и острые, — я думаю, что они должны так пахнуть.

Под конец дня мы останавливаемся и разбиваем лагерь. Ставим тяжелую брезентовую палатку на деревянных кольях. Наши спальные мешки

— цвета хаки, толстые, комковатые и всегда будто сыроватые на ощупь. Под них мы кладем брезент, а потом надувные матрасы — когда их надуваешь, всегда кружится голова, а рот и нос наполняются запахом задохнувшихся резиновых сапог или наваленных в гараже запасных шин. Мы едим у костра, который становится все ярче, а тени тянутся к нам от деревьев, отрастая, как новые темные ветви. Мы заползаем в палатку и раздеваемся внутри спальных мешков. Фонарик рисует круг на брезенте палатки — светлое кольцо и внутри него темное, как мишень. В палатке пахнет смолой, капоковой ватой, коричневой оберточной бумагой, в которой раньше был сыр, и мятой травой. По утрам сорняки снаружи палатки покрыты росой.

Иногда мы останавливаемся в мотелях, но только если уже ночь и мы не успели найти место для лагеря. Мотели всегда далеко отовсюду, они стоят на фоне темной стены леса и мерцают в однородной, всё окутавшей ночи, как огни корабля или оазиса. Рядом с мотелем всегда есть заправка — колонки на ней в рост человека, с круглыми дисками наверху, светящимися, как бледные луны или как нимбы святых, только без голов. На каждом диске нарисована ракушка, или звезда,

или оранжевый кленовый лист, или белая роза. Мотели и заправки часто безлюдны или закрыты: бензин тоже по карточкам, так что никто не путешествует без крайней необходимости.

Еще мы иногда останавливаемся в домиках, принадлежащих другим людям или правительству, или в брошенных лагерях лесорубов. Бывает, что мы ставим две палатки — одну для себя, другую для припасов. Зимуем мы в городках или городишках там же, на севере — Су-Сент-Мари или Садбери — в квартирах, которые на самом деле просто верхний этаж чьего-то дома, поэтому нам приходится помнить, что нельзя топать в обуви по деревянным полам. У нас есть мебель — мы достаем ее из хранилища. Мебель всегда одна и та же, но каждый раз выглядит незнакомой.

В этих жилищах есть канализация — унитазы, белые и пугающие, в которых всё исчезает вмиг, с рёвом и грохотом. Каждый раз по приезде в город мы с братом постоянно бегаем в туалет, а еще роняем в унитаз всякие вещи — например, кусочки макарон, — чтобы посмотреть, как они исчезнут. Звучат сирены ПВО, и мы задергиваем занавески и выключаем свет, хотя мать говорит, что война сюда никогда не дойдет. Вой- на просачивается к нам из радиоприемника — далекие трескучие

голоса из Лондона пробиваются сквозь помехи. Родители слушают с сомнением, поджимая губы; возможно, мы проигрываем.

Брат так не думает. Он считает, что наше дело правое, а значит, мы победим. Он собирает карточки-вкладыши из сигаретных пачек с изображениями самолетов и знает названия всех моделей.

У брата есть молоток, куски дерева и собственный перочинный нож. Брат строгает и сколачивает: мастерит себе пистолет. Он скрепляет два бруска под прямым углом и вбивает туда еще один гвоздь, это спусковой крючок. У брата уже несколько таких деревянных пистолетов и ружей, а также кинжалы и сабли. Лезвия сабель окровавлены — он раскрасил их красным карандашом. Местами кровь оранжевая — там, где кончился красный. Брат поёт:

«Мы летим, ковыляя во мгле,

Мы ползем на последнем крыле.

Бак пробит, хвост горит, но машина летит

На честном слове и на одном кры-

ле...»[1]

Он поёт весело, но мне кажется, что эта песня — печальная: я хоть и видела изображения самолетов на сигаретных карточках, но до сих пор не знаю, как они летают. Я думаю, что они как птицы, а птица с одним крылом лететь не может. Так говорит отец зимой, за ужином, поднимая бокал, когда на ужин приходят другие мужчины: «С одним крылом не полетишь». А значит, от честного слова, которое упоминается в песне, никакого толку нету.

Стивен дает мне пистолет и нож, и мы играем в вой- ну. Это его любимая игра. Пока родители ставят палатку, разводят костер или готовят ужин, мы крадемся в кустах, за деревьями, целясь сквозь листья. Я пехота, это значит — я должна делать, что говорит Стивен. Он жестом приказывает наступать или отступать и велит не поднимать головы, а то враг меня подстрелит.

— Ты убита, — говорит он.

— Нет!

— Еще как убита. В тебя попали. Ложись.

---

[1] notes: 1

Песня, написанная в 1943 г. композитором Джимми Макхью на слова Гарольда Адамсона, переведена Самуилом Болотиным и Татьяной Сикорской, в переводе называлась «Бомбардировщики» и исполнялась Леонидом Утесовым. — *Здесь и далее прим. перев.*

Спорить не приходится, поскольку он знает, где враг, а я нет. Я вынуждена лежать на болотистой земле, опираясь на пень, чтобы не совсем промокнуть ко времени, когда можно будет ожить.

Иногда вместо войны мы занимаемся охотой — идем по лесу, переворачивая бревна и камни и глядя, что под ними. Там оказываются муравьи, личинки жуков и сами жуки, лягушки и жабы, ужи, даже саламандры, если повезет. Мы не трогаем найденных тварей. Мы знаем, что если их засунуть в баночку и случайно оставить на солнце на заднем стекле машины, они умрут — такое случалось раньше. Так что мы просто смотрим — наблюдаем, как муравьи в панике прячут продолговатые яйца, как змеи утекают в темноту. Потом мы возвращаем бревно на прежнее место. Кроме случаев, когда нам нужна наживка для рыбалки.

Иногда мы ссоримся или деремся. Я никогда не побеждаю: Стивен крупней и безжалостней, и мне нужней играть с ним, чем ему — со мной. Мы ссоримся шепотом или уходим подальше от родителей, потому что если они нас поймают, то накажут обоих. Поэтому же мы никогда не ябедничаем друг на друга. Мы знаем по опыту, что выгоды, полученные от доноса, того не стоят.

Поскольку наши ссоры — тайные, у них есть еще один притягательный момент. Это — плохие слова, которые нам запрещено говорить, например, «жопа». Нас притягивает общая тайна, сговор, заговор. Мы наступаем друг другу на ноги, щиплем друг друга за руки, но следим за тем, чтобы не выдать свою боль. Мы не предаем друг друга даже в ссоре.

Сколько лет мы жили так — словно бродяги, скитальцы по дальним окраинам войны?

Сегодня мы ехали очень долго и начали ставить палатку позже обычного. Мы рядом с дорогой, у безымянного озера с неровными краями. Прибрежные деревья отражаются в воде. Листья тополей желтеют — осень близко. Солнце садится посреди длинного, холодного, тягучего заката — розового, как фламинго, потом как лососина, потом неправдоподобно ярко-красного, как меркурохром. Розовый свет ложится на поверхности, трепещет, меркнет и исчезает. Ночь ясная, безлунная, наполненная антисептическими звездами. Млечный Путь проступает как нельзя более отчетливо — к ненастью.

Но мы не обращаем на это внимания, поскольку Стивен учит меня видеть в темноте, как умеют спецназовцы. Не знаешь, когда это пригодится,

говорит он. Фонариком пользоваться нельзя; надо сохранять полную неподвижность в темноте, ожидая, пока глаза привыкнут. Тогда начнут проступать силуэты — серые, мерцающие, нематериальные, — словно сгущаясь из воздуха. Стивен велит мне переступать медленно, каждый раз сохраняя равновесие на одной ноге, и беречься, чтобы не наступить на ветку. Он говорит, чтобы я дышала тише: «Если тебя услышат, пиши пропало».

Он скрючился рядом, я вижу его силуэт на фоне озера — черное пятно на черном. Блеснул глаз в темноте, и брат исчез. Он умеет проделывать такие фокусы.

Я знаю, что он подкрадывается к костру, к родителям — мерцающим, затененным, с расплывчатыми лицами. Я остаюсь одна со стуком сердца и чересчур громким дыханием. Но Стивен прав: теперь я умею видеть в темноте.

Таковы мои портреты мертвых.

5

Мой восьмой день рождения тоже справляют в мотеле. Мне дарят фотоаппарат «Брауни» с ящичным корпусом, черным и продолговатым,

с ручкой сверху и круглой дыркой в задней стенке, через которую надо глядеть.

На самой первой фотографии, сделанной этой камерой, — я. Я стою, прислонившись к двери мотельного домика. Дверь у меня за спиной — белая, она закрыта, на ней металлический номер 9. На мне брюки с пузырями на коленях и куртка, рукава которой мне коротки. Под курткой — я это знаю, хотя зрителям не видно, — поношенный свитер в желто-коричневую полоску, с братнина плеча. Очень многое из моей одежды когда-то носил он. Кожа у меня пронзительно-белая, это снимок передержан. Я склонила голову набок. Неприкрытые кисти болтаются. Фото похоже на старые снимки только что приехавших в Канаду иммигрантов. Я выгляжу так, словно меня поставили перед дверью и велели не шевелиться.

Какая я тогда была, чего хотела? Трудно вспомнить. Хотела ли я получить на день рождения фотоаппарат? Скорее всего, нет, но я была рада, что мне его подарили.

Я хочу еще карточек-вкладышей из коробок с пшеничными хлопьями для завтрака «Набиско». Эти карточки — серые, с картинками, которые можно раскрасить, вырезать и сложить. Получаются домики, которые составляют город. Еще

я хочу синельной проволоки. У нас есть книжка под названием «Мастерим в ненастный день» — там рассказывается, как сделать телефон из двух консервных банок и веревки; лодку, которая движется вперед, если капнуть в дырку машинным маслом; кукольный комод из спичечных коробков; и разных зверей — собаку, овцу, верблюда — из синельной проволоки. Лодка и комод меня не интересуют. Меня интересует только синельная проволока. Я никогда не видела синельной проволоки.

Я хочу серебряную бумагу из сигаретных пачек. У меня уже есть немного, но я хочу еще. Мои родители не курят сигарет, так что я вынуждена собирать эту бумагу где придется — вокруг заправок, в зарослях сорняков у мотелей. Я привыкла искать сокровища под ногами. Найдя серебряную бумагу, я отчищаю ее, разглаживаю и кладу между страницами школьной книги для чтения. Я не знаю, что сделаю с бумагой, когда накоплю достаточно. Но это будет что-то потрясающее.

Я хочу воздушный шар. Теперь, когда война кончилась, они опять начинают появляться. Как-то зимой, когда я болела свинкой, мать нашла воздушный шар на дне своего корабельного сундука. Должно быть, она спрятала его там еще

до войны — возможно, подозревая, что скоро их будет не достать. Мать надула шар для меня. Синий, прозрачный, круглый, как моя личная луна. Резина была старая и гнилая, шар лопнул почти сразу, и я никак не могла утешиться. Но теперь я хочу другой шар — такой, который не лопнет.

Я хочу иметь друзей. Друзей-девочек. Подруг. Я знаю, что они бывают, — я читала о них, но у меня никогда не было подруг, потому что мы никогда не жили подолгу на одном месте.

Погода в основном сырая, пасмурная; низкое свинцовое небо поздней осени. Или идет дождь, и мы вынуждены сидеть в мотеле. Мотель самый обычный: ряд хлипких домиков, соединенных рождественской гирляндой огней — желтых, синих, зеленых. Домики называются «с самообслуживанием» — это значит, что в них есть какая-нибудь плита, пара кастрюль и чайник, стол, накрытый клеенкой. Пол у нашего домика — линолеумный, выцветший, рисунок на нем изображает цветы в квадратах. Полотенца тонкие, куцые. Простыни изношены посередине, протерты чужими телами. На стене в рамке репродукция — зимний лес. И другая — утки в полете. Бывают мотели с туалетом на улице, но здесь есть настоящий санузел со смывным, хотя

и воняющим, унитазом и ванной.

Мы живем тут уже несколько недель, что необычно: мы никогда не останавливались в мотелях дольше чем на ночь. Мы едим гороховый суп «Хабитант» из банок, разогретый на двухконфорочной плитке в мятой кастрюле, хлеб, намазанный патокой, сыр. Теперь, когда война кончилась, сыра стало больше. Мы носим уличную одежду даже в доме и спим в носках, так как стены тонкие, без теплоизоляции — с расчетом на летних туристов. Горячая вода — в лучшем случае чуть теплая, и для нашего купания мать греет воду в чайнике и выливает в ванну. «Чтоб только верхнюю корку смыть», — говорит она.

По утрам, завтракая, мы кутаемся в одеяла. Иногда мы видим облачка своего дыхания — даже внутри домика. Все это необычно и слегка отдает праздником. Дело не только в том, что мы не ходим в школу. Мы и так никогда не ходили туда больше, чем по три-четыре месяца подряд. Я последний раз побывала в школе восемь месяцев назад, и у меня сохранились лишь очень смутные и мимолетные воспоминания о том, что это вообще такое.

По утрам мы учимся — выполняем задания в рабочих тетрадях. Мать говорит нам, какие

страницы прорабатывать. Потом мы читаем то, что проходят по чтению. У меня — книга про двух детей, они живут в белом домике, у них занавески с оборочками, а перед домом газон и забор из штакетника. Отец ходит на работу, мать ходит в платье и фартуке, а дети играют в мяч на газоне с кошкой и собакой. Эти рассказы совершенно не похожи на мою жизнь. В них нет палаток, шоссе, походов по нужде в кусты, озер и мотелей. Нет войны. Дети никогда не пачкаются. Девочка, ее зовут Джейн, носит хорошенькие платьица и лакированные туфельки с ремешками.

Эти книги описывают чуждую жизнь и тем привлекательны. Когда мы со Стивеном рисуем цветными карандашами, он рисует войну. Обычную и космическую. Все его красные, желтые и оранжевые карандаши вечно сточены до огрызков — эти цвета нужны для взрывов. Золотой и серебряный тоже исписаны — они идут на блестящие металлические корпуса танков и космических кораблей, на шлемы воинов и сложные оружейные установки. А я рисую девочек. Девочек в старомодных платьях с длинными юбками, в фартучках и с рукавами-фонариками, или в платьицах как у Джейн, с большими бантами в волосах. В моем представлении эта элегантность,

хрупкость свойственны девочкам. Я не думаю о том, что скажу им, когда на самом деле встречу. Я не захожу в мыслях так далеко.

По вечерам нам с братом положено мыть посуду — «погреметь тарелками», как это называет мать. Мы ссоримся — шепотом, односложными словами, — чья очередь мыть: вытирать посуду мокрым холодным полотенцем не так приятно. Когда моешь, хотя бы руки согреваются. Мы пускаем тарелки и стаканы плавать в посудном тазу и бомбим их ножами и ложками, шепотом крича: «Огонь!» Мы стараемся попасть как можно ближе, но не в саму тарелку или стакан. Эта посуда чужая. Наша игра действует матери на нервы. Если подействовать ей на нервы с достаточной силой, она сама помоет посуду — это задумано как упрёк в нашу сторону.

На ночь мы ложимся валетом в продавленную выдвижную кровать — предположительно из-за этого мы должны засыпать скорее — и молча пинаем друг друга под одеялом или пробуем засунуть свою ногу в носке как можно глубже в пижамную штанину другого. Время от времени в окно падает полоса света от фар проезжающей машины. Полоса движется сначала по одной стене, потом по другой и исчезает. Слышен шум

мотора, потом шорох шин по мокрой дороге. Потом тишина.

6

Не знаю, кто меня тогда сфотографировал. Должно быть, брат, потому что мать была в домике, за белой дверью, в серых брюках и темно-синей клетчатой рубашке, укладывала продукты в картонные коробки, а одежду в чемоданы. У матери свой метод укладки вещей; за упаковкой она разговаривает сама с собой, напоминая себе о разных мелочах, и не любит, когда мы путаемся под ногами.

Сразу после щелчка затвора начинается снег, небольшие сухие хлопья сыплются поодиночке с мрачного северного ноябрьского неба. Первому снегу предшествует особая тишина, истома, когда свет убывает и последние листья клена свисают с ветвей, как водоросли. До этого нам хотелось спать. Но при виде снега мы оживаем.

Мы носимся вокруг мотеля — на ногах стоптанная за лето обувь, вытянутые голые руки ловят снежинки, головы запрокинуты, рты открыты, глотают снег. Если бы он лежал на земле плотным покровом, мы бы вывалялись в нем, как собаки в грязи. Снег наполняет нас точно таким исступле-

нием. Но мать выглядывает в окно, видит нас и снег, заставляет вернуться в дом, вытереть ноги ветхими полотенцами. У нас нет зимней обуви, которая была бы нам впору. Пока мы возимся в доме, начинается мокрый снег с дождем.

Отец мерит шагами дом, звеня ключами в кармане. Он всегда стремится поторопить события, вот и теперь он хочет уехать сейчас же, но мать велит ему не гнать лошадей. Мы выходим и помогаем отцу счистить с окон машины ледяную корку, потом таскаем ящики и наконец залезаем в машину сами и едем на юг. Я знаю, что на юг, по расположению солнца — оно теперь слабо просвечивает из-за туч, осыпая заиндевевшие деревья блёстками, отражаясь от ледяных зеркал на дороге и мешая видеть.

Родители говорят, что мы едем в новый дом. На этот раз он будет по-настоящему наш, не съемный. Дом находится в городе, который называется Торонто. Это название мне ничего не говорит. Я представляю себе дом из школьной книжки: белый, с забором-штакетником и газоном, с занавесками на окнах. Мне интересно, как выглядит моя комната.

К дому мы подъезжаем после обеда. Сначала мне кажется, что тут, должно быть, какая-то

ошибка; но нет, дом именно тот — отец уже открывает дверь своим ключом. Дом, можно сказать, стоит вовсе не на улице — скорее, посреди поля. Он квадратный, одноэтажный, построен из желтого кирпича и окружен ничем не прикрытой грязью. С одной стороны дома — огромная яма в земле, а рядом — большие кучи грязи. Дорога перед домом тоже грязная, немощеная, вся изрытая. В грязи утоплено несколько бетонных блоков, по которым мы добираемся до двери.

Обстановка внутри пугает еще больше. Конечно, в доме есть двери и окна, это правда, и стены, и отопление работает. В гостиной — панорамное окно, хотя в него видно лишь большое озеро волнующейся грязи. Унитаз действует, но внутри на стенках желто-коричневое кольцо и плавают окурки. Когда я открываю кран, течет слегка ржавая, тепловатая вода. Но полы — не паркетные и даже не линолеумные. Они щелястые, из широких грубых досок. Доски серые от штукатурочной пыли и усыпаны белыми штучками, словно птичьим пометом. В немногих комнатах есть свет; в остальных только провода свисают с потолка. На кухне нет столов, одна только раковина. Плиты тоже нет. Ничего не покрашено. Все покрыто пылью — окна, подоконники, краны, пол. И кучи

дохлых мух повсюду.

— Надо нам всем навалиться дружно, — говорит мать. Это значит, что жаловаться не положено. Придется делать все, что в наших силах, говорит она.

Мы вынуждены заканчивать дом сами, потому что строитель, который должен был отделать его для нас, обанкротился. Птичка упорхнула, как выразилась мать. Отец не расположен шутить. Он мерит дом шагами, щурясь и тыча пальцем в разные детали, что-то бормоча и присвистывая. «Собачий сын, собачий сын», — вот что он говорит.

Мать извлекает из недр автомобиля примус и ставит его на пол в кухне, поскольку стола тоже нет. Она принимается разогревать гороховый суп. Брат уходит на улицу; я знаю, что он лезет на гору грязи на соседнем участке или оценивает возможности, связанные с ямой, но меня не тянет к нему присоединиться.

Я мою руки в красноватой воде, текущей из крана в ванной. В раковине трещина, и это сейчас кажется мне катастрофой — хуже любого другого изъяна или нехватки. Я смотрю на свое отражение в запыленном зеркале. Плафона в ванной нет, только голая лампочка над головой, и из-за

этого мое лицо выглядит бледным и больным, под глазами пролегли тени. Я тру глаза. Я знаю — нельзя показывать, что я плакала. Несмотря на то, что дом весь ободранный, в нем очень жарко — может быть, потому, что я до сих пор в уличной одежде. Мне кажется, что я в ловушке. Я хочу обратно в мотель, на дорогу, в старую жизнь без корней, без привязи — непостоянную и надежную.

В первые ночи мы спим на полу на надувных матрасах, в спальных мешках. Потом появляются раскладушки из магазина списанных армейских товаров — брезент, натянутый на металлический каркас. Опоры внизу узкие, поэтому если ночью повернешься на другой бок, то падаешь на пол, а раскладушка валится на тебя сверху. Ночь за ночью я падаю вместе с раскладушкой и просыпаюсь на неровном пыльном полу, не понимая, где я. Брата рядом нет, никто не смеется надо мной и не приказывает мне заткнуться — я в отдельной комнате. Сначала мысль о собственной комнате меня завораживает — пустое пространство, которое я могу выстроить как хочу, без оглядки на Стивена, его разбросанную одежду и деревянные ружья — но теперь мне одиноко. Я еще никогда в жизни не оставалась ночью одна.

Каждый день, пока мы в школе, дома появляются новые вещи: плита, холодильник, складной стол и четыре стула, так что можно есть нормально, сидя за столом, а не по-турецки на брезенте, расстеленном у камина. Камин в самом деле работает: его успели закончить. В нем мы жжем обрезки дерева, оставшиеся от строительства.

Отец в свободное время занимается внутренней отделкой дома. Он укладывает полы: узкие дощечки паркета в гостиной, гибкую плитку в спальнях. Новые полы идут в наступление, ряд за рядом. Дом становится похож на дом. Но все это занимает больше времени, чем мне хотелось бы; нам, обитателям острова в море послевоенной грязи, еще очень далеко до штакетника и белых занавесочек.

7

Мы привыкли видеть отца в штормовке, поношенной фетровой шляпе, фланелевой рубашке с плотно застегнутыми от мошкары манжетами, тяжелых штанах, заправленных в шерстяные рабочие носки. Мать одевалась примерно так же, за исключением фетровой шляпы.

Но теперь отец ходит в пиджаках, галстуках и белых рубашках, в твидовой куртке с шарфом.

Вместо кожаных ботинок, промазанных для непромокаемости беконным жиром, он теперь надевает галоши поверх туфель. Мать явила взорам свои ноги — в нейлоновых чулках со швом сзади. Прежде чем выйти из дома, она рисует помадой рот. У нее пальто с серым меховым воротником и шляпа с перышком, из-за которого ее нос кажется длиннее. Каждый раз, надевая эту шляпу, мать смотрится в зеркало и произносит: «Я похожа на Эндорскую волшебницу».

Отец сменил работу; это объяснение всему происходящему. Он больше не разъездной исследователь лесных насекомых, а преподаватель в университете. Вонючих баночек и флаконов для образцов, когда-то заполонявших всё, порядком поубавилось. Вместо этого теперь по дому разбросаны пачки цветных рисунков, сделанных студентами отца. Все они изображают насекомых. Кузнечики, еловые почкоеды, гусеницы кольчатого коконопряда, жуки-древоточцы, каждый размером на страницу, все части аккуратно подписаны: мандибулы, щупики, сяжки, грудь, брюшко. Некоторые изображены в сечении, то есть разрезаны, чтобы можно было посмотреть, что внутри: туннели, разветвления, луковички, тончайшие волокна. Эти мне нравятся больше

всего.

По вечерам отец сидит в кресле, положив поперек подлокотников доску, а на нее рисунок, и правит его красным карандашом. Иногда он при этом смеется сам с собой, или качает головой, или цокает сквозь зубы. «Идиот, — произносит он. Или: — Тупица». Я стою за креслом, глядя на рисунки, а отец объясняет, что вот этот студент приделал насекомому рот с другого конца, этот забыл нарисовать сердце, а тот не может отличить самца от самки. Но я оцениваю рисунки по другим принципам: они кажутся мне лучше или хуже в зависимости от цветовой гаммы.

По субботам мы грузимся в машину и отец везет нас к себе на работу. Его здание называется «Зоологический корпус», но мы его так не называем. Для нас это просто Корпус.

Корпус огромен. Мы там бываем по субботам, когда он почти пуст; от этого он кажется еще больше. Он построен из темного, обветренного кирпича, и мне кажется, что он снабжен сторожевыми башнями, хотя на самом деле никаких башен нет. Здание увито плющом — сейчас, зимой, листья облетели и остался лишь костяк, сетка жил. Внутри — длинные коридоры с паркетными полами. Паркет истерт и запятнан — поколения

студентов топтались по нему сапогами в зимней снежной каше, — но его исправно натирают. Еще в корпусе есть лестницы — тоже деревянные, они скрипят, когда по ним поднимаешься, — и перила, по которым нам запрещено съезжать, и чугунные батареи: они лязгают и бывают либо холодными как камень, либо раскаленными.

На втором этаже коридоры уводят в другие коридоры, где вдоль стен на стеллажах стоят банки с дохлыми ящерицами и глазными яблоками коров. В одной комнате — застекленные клетки, а в них змеи, такие огромные, каких мы сроду не видали. Одна змея — ручной боа-констриктор; если смотритель на месте, он достает ее и обматывает вокруг своей руки, показывая нам, как змея давит свою жертву до смерти, чтобы съесть. Нам разрешают погладить боа-констриктора. Он прохладный и сухой. В других клетках — гремучие змеи, и смотритель показывает, как доит их, чтобы добыть яд. Для этого он надевает кожаную перчатку. Клыки змеи — изогнутые и пустые внутри, а яд, который через них каплет, желтый.

В той же комнате есть цементный бассейн с густой на вид зеленой водой. Там живут большие черепахи — они сидят неподвижно и моргают или неуклюже выбираются на устроенные для

них камни и шипят, когда мы подходим слишком близко. В этой комнате жарко и влажно, так надо змеям и черепахам; в ней пахнет по-звериному. Еще в другой комнате есть клетка, полная огромных африканских тараканов. Они белые и до того ядовитые, что смотритель усыпляет их газом каждый раз, когда открывает клетку, чтобы покормить или достать одного.

Внизу, в подвале, стеллажи заполнены клетками, в которых сидят белые крысы и черные мыши, специальные, не дикие. Они едят гранулы из кормушек и пьют из бутылочек, к которым приделаны пипетки. У них есть гнезда из нагрызенной газетной бумаги, где лежат голые розовые мышата. Мыши бегают друг по другу, спят, сбившись в кучку, и обнюхивают друг друга дрожащими носиками. Смотритель мышей рассказывает: если посадить в клетку незнакомую мышь — с неправильным, чужим запахом — другие мыши загрызут ее до смерти.

В подвале воняет мышиным пометом, и эта вонь просачивается вверх, пропитывая весь Корпус. Чем выше этаж, тем вонь слабее. Она смешивается с запахом зеленого средства для мытья полов и с другими запахами — полироля для паркета, воска для мебели, формальдегида и змей.

Ничто из увиденного в Корпусе не кажется нам отвратительным. Нам знакомо общее устройство здешней жизни, если не конкретные детали, хотя мы никогда не видели столько мышей в одном месте; их количество и смрад внушают нам благоговейный трепет. Нам хотелось бы вытащить черепах из бассейна и поиграть с ними, но мы знаем, что нельзя: это кусачие черепахи, они злые, можно остаться без пальцев. Брат хотел стянуть банку с бычьим глазом: подобные вещи впечатляют других мальчиков.

Некоторые комнаты на верхних этажах — лаборатории. У них высокие потолки, а на одной стене доска, чтобы писать мелом. Лаборатории заставлены большими темными партами — скорее письменными столами, за которыми сидят на высоких табуретах. На каждом столе две лампы с зелеными абажурами и два микроскопа — старинных, с тяжелыми тонкими трубками и медной арматурой.

Мы и раньше видели микроскопы, но нас не подпускали к ним так надолго; мы можем возиться здесь часами, и нам не надоедает. Иногда нам дают слайды для просмотра: крылья бабочек, поперечное сечение червя, планарию, окрашенную розовым и фиолетовым, чтобы различить

разные органы. В другие дни мы суем под объектив собственные пальцы и рассматриваем ногти — бледные выпуклости, стремящиеся, как холмы, к темно-розовому небу, — и кожу вокруг, зернистую, морщинистую, словно край пустыни. Или выдергиваем у себя волосы и смотрим на них — они жесткие и блестящие, как щетинки на хитиновых панцирях насекомых, а корень волоса на конце — как крохотная луковица.

Нам нравятся болячки. Мы отковыриваем корку — целую руку или ногу под микроскоп не засунешь — и выкручиваем увеличение на максимум. Корка болячки похожа на скалу, она бугристая, с блеском, вроде кремня; или неровная, как лишайник. Если удается отковырять болячку от пальца, мы кладем под микроскоп сам палец и смотрим на то место, откуда сочится кровь, ярко-красная, круглой пуговкой, похожей на ягоду. Потом мы ее слизываем. Мы рассматриваем ушную серу, козявки из носа, грязь, выковырянную между пальцев ног (сперва убедившись, что нас никто не застанет врасплох: мы знаем, не спрашивая, что взрослые такого не одобрят). Предположительно у нашей пытливости должны быть пределы, хотя никто не озаботился точно указать, где они пролегают.

Так мы проводим субботние утра, пока отец занимается делами у себя в кабинете, а мать закупает продукты. Она говорит, что ей удобнее, когда мы не путаемся у нее под ногами.

Окна Корпуса выходят на Юниверсити-авеню с газонами и конными статуями из позеленевшей меди. Прямо через дорогу — здание парламента провинции Онтарио, тоже старое и закопченное. Мне кажется, что внутри оно такое же, как наш Корпус — полно длинных скрипучих коридоров и стеллажей с маринованными ящерицами и бычьими глазами.

Именно из окон Корпуса мы видим первый в своей жизни парад Санта-Клауса. Мы еще никогда не видели парадов. Можно послушать, как его описывает радиокомментатор, но если хочешь все увидеть своими глазами, нужно закутаться по-зимнему и стоять на тротуаре, топая ногами и растирая руки, чтобы не замерзнуть. Кое-кто из зрителей залезает на конные статуи для лучшего обзора. Нам не приходится идти на такое — мы сидим на подоконнике одной из лабораторий Корпуса, спрятавшись от непогоды за пыльным стеклом, и жар чугунной батареи обдает нам ноги.

Отсюда мы видим участников парада, одетых

снежинками, эльфами, кроликами, феями Драже. Они маршируют мимо, странно укороченные, поскольку мы смотрим сверху. Оркестры волынщиков в килтах, какие-то штуки на колесиках, вроде больших тортов — на них едут люди и машут зрителям. Начинает моросить. Всем стоящим внизу явно холодно.

В самом конце появляется Санта-Клаус. Он меньше, чем мы ожидали. Пыльное стекло приглушает его голос и мегафонную песню про сани с колокольчиками. Он раскачивается взад-вперед, влекомый упряжкой механических оленей. Он кажется каким-то размокшим. Он посылает воздушные поцелуи толпе.

Я знаю, что это не настоящий Санта-Клаус, а просто человек в костюме. Но все же мое представление о Санта-Клаусе изменилось, обрело новую глубину. С тех пор я не могу представить себе Санта-Клауса, не вспомнив тут же змей, черепах, заспиртованные глаза, ящериц в пожелтевших банках, обширный, гулкий, пряный, старинный и печальный, но в то же время утешительный запах старого дерева, полироля и формальдегида с ноткой далеких мышей.

III. Имперские рейтузы

8

Бывают дни, когда я с трудом вылезаю из постели. Мне тяжело говорить. Я измеряю достижения шагами: один шаг, другой, и наконец удается дойти до ванной комнаты. Каждый шаг — большая победа. Я бросаю все силы на то, чтобы открутить колпачок от тюбика с пастой, донести зубную щетку до рта. Мне трудно даже поднять руку. Я чувствую, что ничего не стою, что не могу принести никакой пользы никому, в первую очередь — самой себе.

«Что ты можешь сказать в свое оправдание?» — когда-то допрашивала меня Корделия. «Ничего», — обычно отвечала я. Я привыкла связывать это слово с собой. Словно я — ничто. Словно на моем месте — пустота.

Вчера ночью я ощутила приближение пустоты. Она была не рядом, но близилась, как взмахи крыльев, как похолодание ветра, как едва заметная поначалу тяга донного противотечения у берега. Мне захотелось поговорить с Беном. Я

позвонила домой, но Бена не оказалось, я попала на автоответчик. Я услышала собственный голос — бодрый, деловитый. «Привет! Мы с Беном сейчас заняты, но оставьте сообщение, и мы вам перезвоним, как только сможем». И гудок.

Бестелесный, ангельский голос, плывущий по воздуху. Умри я прямо сейчас, он будет звучать все так же, приятный, заботливый, как в электронной загробной жизни. От него мне захотелось плакать.

— Приветы и поцелуи, — произнесла я в пустоту. Закрыла глаза и стала думать о прибрежных горах. Это твой дом, сказала я себе. Это место, где ты по правде живешь. Среди театральных пейзажей, слишком красивых, как намалеванные съемочные декорации. Там всё ненастоящее — недостаточно плоское, не бесцветное, не унылое. Впрочем, над этим уже работают. Стоит отъехать на пару миль в ту или другую сторону от домов с панорамными окнами, и попадешь в страну пней.

Ванкувер держит первенство в Канаде по числу самоубийств. Движешься на запад, пока не кончится завод. Оказываешься на краю. И падаешь вниз.

Я выползаю из-под перины. Я занятой человек

— в теории. Мне предстоит много дел, хотя ни одно из них мне делать не хочется. Я лезу в холодильник, нахожу яйцо, варю его, вываливаю в чайную чашку, разминаю. Я даже взглядом не удостаиваю травяные чаи, а сразу выбираю настоящий, едкий кофе. Мандраж в чашке. Мысль о приближающейся нервной дрожи бодрит.

Я расхаживаю взад-вперед среди отрубленных рук и полых ног и пью черноту. Мне нравится эта мастерская. Я смогла бы тут работать. Она местами грязновата, кое-что сделано на коленке — точно в нужной пропорции. Зрелище распада действует на меня успокоительно: как бы там ни было, я все же в лучшем состоянии, чем это.

Сегодня мы, как говорят галеристы, вешаемся. Неудачно подобранное слово.

Я одеваю себя, ворочая свои руки и ноги так, будто они чужие, принадлежат кому-то малорослому или больному. Сегодня опять пастельно-голубой спортивный костюм: я привезла с собой очень мало одежды. Не люблю сдавать вещи в багаж, предпочитаю запихивать сумку под сиденье в самолете. Видимо, в глубине души я рассчитываю, что, если в воздухе что-нибудь случится, я выхвачу сумку из-под сиденья и грациозно выскочу в окно, не утратив ничего из своих пожитков.

Я выхожу наружу, быстрым шагом иду по улице, слегка приоткрыв рот и мысленно отсчитывая темп. «Мы — веселая компашка, с нами весело, не страшно». Раньше я бегала трусцой, но это вредно для коленей. Если перебрать бета-каротина, пожелтеешь. Кальция — вырастут камни в почках. Здоровый образ жизни убивает.

Торонто уже не пустует, как в былые дни. Теперь он заполнен до краев, он раздулся так, что скоро задохнется, это очевидно. Дороги забиты до отказа; водители гудят, подрезают друг друга, выезжают прямо на середину перекрестка и стоят там, пока не сменится свет на светофоре. Хорошо, что я иду пешком. В этом краю складов каждое здание, которое я миную, словно кричит мне: «Реновация! Реновация!» Впервые увидев заголовок «Рено…» в разделе объявлений о недвижимости в газете, я решила, что речь идет о городе, славном своими игорными домами. Язык уходит вперед, и я за ним не поспеваю.

Я оказываюсь на углу улиц Кинг и Спадайна и поворачиваю на север. Здесь раньше торговали одеждой, оптом. И сейчас торгуют, но старые еврейские продуктовые лавочки исчезают, их сменяют китайские магазины, где можно купить абсолютно всё — плетеную мебель, скатерти с

вышивкой ришелье, эоловы арфы из бамбука. Одни уличные указатели дублированы по-китайски — мультикультурность на марше. На других под названием улицы написано: «Квартал моды». Теперь в городе, куда ни глянь, кварталы. Раньше никаких кварталов не было.

Мне вдруг приходит в голову, что на открытие выставки нужно платье. Я, конечно, привезла одно с собой; даже успела погладить дорожным утюжком на углу рабочего стола в мастерской, расчистив его и накрыв полотенцем. Платье черное, потому что черный цвет лучше всего для таких случаев: простое и строгое, как у скрипачки в симфоническом оркестре. Не стоит одеваться пышнее, чем возможные клиенты.

Но сейчас одна мысль об этом платье вгоняет меня в депрессию. К черному прилипает всякий пух, а я не взяла с собой платяную щетку. Я вспоминаю рекламу скотча из сороковых: обмотай руку скотчем клейким слоем наружу, и можно снимать пушинки с одежды. Я представляю себе, как стою в галерее, среди уникальных дизайнерских платьев и настоящих жемчугов, во вдовьем наряде, местами усеянная пухом, — там, где при проходе скотчем пропустила кусочек. Есть на свете и другие цвета, кроме черного. Например,

розовый: он, по идее, смягчает сердце врага, ослабляя его волю к победе. Вероятно, поэтому розовый преобладает в одежде младенцев женского пола. Удивительно, что армия до этого не додумалась. Бледно-розовые шлемы с розетками, целый батальон, одетый с головы до ног в розовое, высаживается на берег. И мне, пожалуй, пора переключиться на этот цвет. Капелька розового мне сейчас не повредит.

Я рыскаю среди витрин с уцененкой. Каждая — как святилище, подсвеченное изнутри, с выставленной на всеобщее обозрение богиней — рука уперта в бок, бедро выдвинуто вперед, лица бежевые, непроницаемые. Похоже, пышность опять в моде — банты, сборчатые юбки в стиле фламенко, платья с открытыми плечами без бретелек, с кринолинами, с рукавами-фонариками, надутыми, как тряпочный зефир. А я думала, всё это ушло безвозвратно. И мини-юбки — еще хуже, чем раньше, но тут я провожу черту. Я и в прошлый заход их не любила: трусы чересчур на виду. В сборчатой юбке я буду похожа на капусту, и открытый верх мне тоже ни к чему — ключицы у меня торчат, как обломки кораблекрушения, локти — как куриные лапы. Мне нужно что-нибудь визуально удлиняющее, возможно — с

небольшой драпировкой.

Плакатик с надписью «РАСПРОДАЖА» заманивает меня внутрь. Магазин называется «Бутик-Элегант», хотя на самом деле это никакой не бутик — он забит неликвидом, уцененным до минимума. Покупателей полно, и это меня радует. Я боюсь продавщиц и не люблю, когда меня захватывают врасплох при шопинге. Я украдкой перебираю одежду на вешалке с надписью «Уценка», пропуская пайетки, ангорские розы, люрекс, засаленную белую кожу. Я что-то ищу. Мне хотелось бы преобразиться, но это с каждым днем все менее возможно. В молодости мимикрировать легче.

Я забираю в примерочную три платья: лососево-розовое в крупный — с долларовую монету — белый горох, темно-синее с атласными вставками и, чтобы не рисковать, черное, которое меня выручит, если все остальные не подойдут. Больше всего мне нравится розовое, но я сомневаюсь насчет гороха. Я надеваю платье, застегиваю молнию и крючки, верчусь перед зеркалом. Освещение, конечно, плохое. Если бы я держала магазин одежды, то выкрасила бы все примерочные в розовый и потратилась на зеркала с подсветкой: кто знает, что женщины хотят

увидеть в зеркале, но уж точно не себя. Во всяком случае, не в таком невыгодном свете.

Я вытягиваю шею, пытаясь разглядеть себя со спины. Может, нужны другие туфли, другие серьги? Ценник болтается, указывая на задницу. По ее необъятным просторам катятся белые горохи. Удивительно, насколько шире выглядишь, если смотреть сзади. Может, из-за того, что монотонность этой холмистой равнины не прерывают никакие другие географические детали?

Я поворачиваюсь обратно и вижу свою сумку — на полу, где я ее оставила. Можно подумать, годы жизненного опыта ничему меня не научили. Сумка открыта. Стены кабинок не доходят до пола примерно на фут, и в этот зазор сейчас бесшумно удаляется рука, сжимающая мой кошелек. Ногти выкрашены зеленым люминесцентным лаком.

Я со всей силы наступаю на запястье руки необутой ногой. Слышится взвизг, потом хихиканье (нескольких голосов сразу). Юность, живущая на всю катушку. Школьницы вышли на охоту. Кошелек падает на пол, рука втягивается, как щупальце, и исчезает из виду.

Я рывком распахиваю дверь. «Корделия, черт бы тебя побрал!» — думаю я.

Но Корделии давно нет.

9

Школа, в которую нас определили, не рядом с домом — путь лежит мимо кладбища, через овраг, по широкой изогнутой улице, застроенной домами старше нашего. Школа носит имя королевы Марии. Утром мы, взяв бумажные пакеты с обедом, пробираемся в новых зимних калошах по замерзшей грязи, через остатки плодового сада к ближайшей мощеной дороге и ждем школьного автобуса. Он несется в гору, подпрыгивая на ухабах и рытвинах. На мне новый лыжный комбинезон. Юбка обернута вокруг ног и распихана комьями по штанинам, которые шуршат на ходу. В школе нельзя носить брюки, положено ходить в юбках. Я не привыкла к этому, и смирно сидеть за партой тоже не привыкла.

Мы съедаем принесенные обеды в холодном, тускло освещенном подвале школы. Там мы сидим под наблюдением учителей на длинных щербатых деревянных скамьях под связками отопительных труб. Большинство детей уходит обедать домой — остаются только те, кто ездит в школу на автобусе. Нам выдают бутылочки с молоком, и мы пьем его через соломинку, проткнув дырку в картонной крышечке. Я впервые

вижу соломинки для питья, и они приводят меня в изумление.

Само здание школы, старое, многоэтажное, сложено из кирпича цвета печенки. В школе высокие потолки, длинные зловещие коридоры с дощатыми полами и батареи, которые либо жарят на всю катушку, либо не греют вообще, так что мы либо мерзнем, либо потеем. Окна тоже высокие, узкие, с мелким остеклением, на них клеят разные фигуры из цветной бумаги. Сейчас на них наклеены снежинки, потому что зима. В школе есть парадная дверь, через нее ученикам ходить не положено. Зато в задней стене — два грандиозных портала, украшенных резьбой, с разноцветными вставками над дверями. На них написано округлым, торжественным почерком: «Мальчики» и «Девочки». Когда учительница во дворе звонит в медный ручной колокольчик, мы должны выстроиться в затылок парами, по классам, мальчики в одну колонну, девочки в другую, и каждая колонна входит в свою дверь. Девочки при этом держатся за руки, мальчики — нет. Если войдешь не в свою дверь, получишь ремня — во всяком случае, так говорят.

Меня чрезвычайно занимает эта дверь с надписью «Мальчики». Почему, если ты мальчик, тебе

нужна особенная дверь? Что такое за ней скрывается, что, даже случайно увидев это, получаешь ремня? Мой брат говорит, что там ничего особенного — самая обычная лестница. У мальчиков нет отдельной классной комнаты, мы все учимся вместе. Они проходят через дверь с надписью «Мальчики» и оказываются там же, где и мы. Я понимаю, зачем им нужен отдельный туалет — ведь они писают по-другому, и отдельный двор для прогулок — ведь они все время пихаются и дерутся. Но эта дверь приводит меня в недоумение. Мне хотелось бы в нее заглянуть.

Мальчикам и девочкам отведены не только отдельные двери, но и отдельные части школьного двора. С фасадной стороны здания, перед дверью, в которую заходят учителя, — поле из утоптанной земли, посыпанной шлаковой крошкой. На этом поле играют мальчики. С другой стороны школы — склон с дощатыми ступеньками, ведущими наверх, промоинами от дождя и несколькими чахлыми вечнозелеными деревьями по верхнему краю. По традиции эта сторона двора принадлежит девочкам. Старшеклассницы собираются по трое-четверо и шепчутся, сблизив головы. Мальчики временами бросаются в атаку вверх по склону, вопя и размахивая руками. Зацементи-

рованная площадка перед дверями с надписями «Мальчики» и «Девочки» — нейтральная территория, поскольку мальчикам приходится ее пересекать, чтобы войти в свою дверь.

В школе мы с братом видимся лишь во время этих построений. Дома мы протянули из окна моей спальни в его окно телефон из двух консервных банок и бечевки — он не очень хорошо работает. Мы подсовываем друг другу под дверь послания, написанные на языке инопланетян, в котором очень много букв x и z. Эти послания нужно расшифровывать. Мы подталкиваем и лягаем друг друга под прикрытием скатерти, сохраняя полную невозмутимость на лице. Иногда мы связываем вместе шнурки своей обуви, чтобы сигналить друг другу. К этому теперь сводится мое общение с братом: дребезжащая жестяная речь, письмо из одних согласных, ножная морзянка.

Но каждый день, как только мы входим в двери, я теряю его из виду. Он впереди, кидается снежками; а в школьном автобусе он сидит сзади, в шумной круговерти мальчиков постарше. Он прошел через драки, положенные новичку, и теперь после уроков ходит, как все, воевать с мальчишками из соседней, католической школы.

Она носит имя Богоматери Неустанной Помощи, но мальчишки из нашей школы прозвали ее «Ссаные помочи». Говорят, что мальчишки в той школе совсем отпетые и, когда лепят снежки, засовывают в них камни.

Я знаю, что мне запрещено заговаривать с братом при этих мимолетных встречах и вообще привлекать к себе внимание — его или любого другого мальчика. Мальчиков дразнят за то, что у них есть младшие сестры, или вообще какие угодно сестры, или матери; так же, как за новую одежду. Когда брату покупают что-нибудь новое из одежды, он немедленно пачкает новую вещь, пока ее не заметили; а если ему приходится идти куда-нибудь со мной и матерью, он идет впереди или переходит на другую сторону улицы. Если его дразнят мною, ему опять приходится драться. Было бы предательством с моей стороны заговорить с ним или даже окликнуть. Я это понимаю и держусь изо всех сил.

А значит, я брошена в гущу девочек — наконец-то, настоящие девочки, во плоти. Но я не привыкла к ним и не знаю их обычаев. Мне с ними неловко, я не знаю, о чем говорить. Мне известны неписаные правила, по которым живут мальчики, но с девочками я вечно ощущаю себя

на грани какой-то непредвиденной смертельной оплошности.

У меня завязывается дружба с девочкой по имени Кэрол Кэмпбелл. В каком-то смысле это вынужденно, поскольку она единственная в классе, кроме меня, ездит на автобусе. Тех, кто ездит на автобусе и обедает в школьном подвале, а не ходит домой, считают слегка чужаками, так что когда звенит звонок и пора строиться, они могут оказаться без пары. Поэтому Кэрол сидит в автобусе рядом со мной, шепчет мне на ухо, держит меня за руку при построениях и ест свой обед рядом со мной, на деревянной скамье в подвале.

Кэрол живет в доме более ранней застройки, чем наш, по другую сторону заброшенного плодового сада, ближе к школе. Ее дом — из желтого кирпича, двух- этажный, с зелеными ставнями на окнах. Кэрол коренастая, плотная и часто смеется. Она говорит мне, что ее цвет волос называется «медовый блонд», а прическа — «паж», и что ради этой прически она каждые два месяца ходит в парикмахерскую. До того я не подозревала о существовании парикмахерских и причесок «паж». Моя мать не ходит в парикмахерскую. У нее длинные волосы, и она пришпиливает их заколками-невидимками по бокам головы, как

женщины на плакатах военного времени. Меня ни разу не стригли.

У Кэрол и ее младшей сестры одинаковые воскресные наряды: приталенные пальтишки из коричневого твида с бархатными воротниками и круглые шляпки коричневого бархата с резинкой под подбородком, чтобы не унесло ветром. А также коричневые перчатки и коричневые сумочки. Всё это мне рассказывает Кэрол. Ее семья ходит в англиканскую церковь. Кэрол спрашивает, в какую церковь хожу я, и я говорю, что не знаю. На самом деле мы не ходим ни в какую.

После школы мы с Кэрол идем домой — не так, как едет утром школьный автобус, а другой дорогой, по окольным улицам и по ветхому деревянному пешеходному мостику через овраг. Нам не велят ходить этой дорогой или спускаться в овраг в одиночку, без взрослых. Как говорит Кэрол, там внизу ходят мужчины. Она имеет в виду не обычных мужчин, а других, призрачных, безымянных, которые могут сделать с девочкой плохое. При слове «мужчины» Кэрол улыбается и понижает голос, словно это особая, пугающая шутка. Мы идем по мостику осторожно, избегая тех мест, где доски прогнили насквозь, и все время начеку на случай появления тех самых

мужчин.

Кэрол приглашает меня зайти после школы к ней и демонстрирует гардероб, в котором висит вся ее одежда. У нее куча платьев и юбок, и даже халат есть, в комплекте с пушистыми шлепанцами такого же цвета. Я никогда не видела столько девчоночьей одежды сразу.

Кэрол позволяет мне заглянуть в гостиную, но заходить туда нам запрещено. Самой Кэрол туда можно лишь на время уроков музыки, для игры на пианино. В гостиной — диван, два кресла и занавески из такой же ткани, что и обивка мебели — розово-бежевой, в цветочек. Кэрол говорит, что она называется чинц. Кэрол произносит это слово с благоговением, как некое священное имя, и я повторяю про себя: «Чинц». Оно звучит как название вида ракообразных или как слово из языка инопланетян, в которых играет мой брат.

Кэрол рассказывает, что, если ошибается и берет не ту ноту, учительница музыки бьет ее по рукам линейкой, а мать шлепает ее плоской стороной щетки для волос или туфлей. Если же Кэрол влипла по-настоящему, то ей приходится ждать, пока вернется с работы отец, и тогда он дерет ее ремнем, прямо по голой попе. Всё это — секрет. Она рассказывает, что ее мать — певица,

участвует в одной программе на радио, под чужой фамилией, и мы в самом деле слышим, как мать репетирует в гостиной — поёт гаммы громким, вибрирующим голосом. Кэрол рассказывает, что ее отец на ночь вынимает часть зубов и кладет в стакан с водой, стоящий на тумбочке у кровати. Она показывает мне этот стакан, но без зубов. Кажется, она рассказывает мне абсолютно всё.

Она откровенничает, кто из мальчиков в школе в нее влюблен, и берет с меня обещание никому не говорить. Она спрашивает, кто из мальчиков влюблен в меня. Я никогда не задумывалась об этом, но чувствую, что обязана ответить хоть что-нибудь. Я говорю, что пока не уверена.

Кэрол приходит ко мне в гости и подмечает всё — некрашеные стены, свисающие с потолков провода, неотделанные полы, раскладушки — с невероятным упоением. «Здесь ты *спишь*?!» — спрашивает она. «Здесь вы *едите*?! Это твоя *одежда*?!» Одежды у меня немного, в основном брюки и свитера. У меня два платья, зимнее и летнее, а также сарафан и шерстяная юбка для школы. Я начинаю подозревать, что этого недостаточно.

Кэрол рассказывает всей школе, что наша семья спит на полу. Из ее слов создается впечат-

ление, что мы делаем это нарочно, потому что мы приезжие; что у нас такая религия. Когда со склада привозят наши постоянные кровати, самые обычные, на четырех ножках и с матрасами, Кэрол очень разочарована. Она пускает слух, что я не знаю, как называется моя церковь, и что мы едим со складного карточного столика. Но она это делает не в знак презрения, а изумляясь моей необычности. Ведь я хожу с ней в паре, и она хочет, чтобы мной восхищались. Точнее, она хочет, чтобы восхищались ею — за то, что она открыла миру все эти чудеса. Она словно ведет репортаж об удивительных обычаях некоего первобытного племени: невероятных, но истинных.

10

В субботу мы везем Кэрол Кэмпбелл в Корпус. Когда мы входим, она морщит нос и спрашивает: «Здесь твой отец *работает*?!» Мы показываем ей змей и черепах; она издает звук вроде «Уююю» и заявляет, что не хочет до них дотрагиваться. Меня это удивляет; меня так долго отучали от подобной реакции, что она мне больше не свойственна. И Стивену тоже. Мы с ним готовы что угодно потрогать при случае.

Я решаю, что Кэрол Кэмпбелл — нюня. Но в то

же время я отчасти горжусь ее утонченностью. Мой брат смотрит на нее странно: несомненно, с презрением; если бы я что-нибудь такое сказала, он бы меня высмеял. Но в его взгляде чувствуется что-то еще, нечто вроде незримого кивка: словно он давно подозревал нечто, и вот его подозрения подтвердились.

По-хорошему она после этого не должна для него существовать, но он пробует еще раз — показывает ей банки с ящерицами и бычьими глазами. «Уююю, — говорит она. — А если тебе такое за шиворот засунут?» Брат спрашивает, не хочет ли она этого на ужин. Он утрированно жуёт и громко чавкает.

«Уююю», — Кэрол морщится и ёрзает всем телом. Я не могу притвориться, что меня тоже тошнит — брат не поверит. Но не могу я и присоединиться к его игре, когда он начинает придумывать гадкую еду вроде котлет из жаб и жвачки из пиявок. Хотя будь мы с ним вдвоем или с ним и другими мальчиками, я бы вступила в игру не задумываясь. Так что я молчу.

После поездки в Корпус я снова иду в гости к Кэрол. Она предлагает показать мне новый гарнитур ее матери. Я не знаю, что за гарнитур, но звучит это интригующе, так что я соглашаюсь.

Кэрол украдкой ведет меня в спальню матери, объясняя, что, если нас поймают, она влипла по-настоящему, и показывает мне гарнитур, лежащий там на полке. Это оказывается комплект из двух свитеров одинакового цвета — один спереди застегивается на пуговицы, а другой нет. Я уже видела миссис Кэмпбелл в гарнитуре, только в другом — бежевом. Ее груди торчали вперед и в стороны, а тот свитер, который на пуговицах, был накинут на плечи, наподобие плаща. Так вот, значит, что такое гарнитур. Я была разочарована, поскольку ожидала чего-то поинтереснее.

Отец и мать Кэрол не спят в одной большой кровати, как мои. У них две отдельные узкие кровати, совершенно одинаковые, с розовыми шенилловыми покрывалами, и одинаковые тумбочки. Это тоже называется гарнитур, и мне непонятно, почему одно слово обозначает совсем разные вещи. Мне очень странно представлять себе, как мистер и миссис Кэмпбелл по ночам лежат в этих кроватях, и только головы у них разные — у него с усами, у неё без, а всё остальное — одеяла, покрывала, тумбочки, лампы, письменные столики — парное. В спальне моих родителей симметрии, а также порядка, намного меньше.

Кэрол рассказывает, что ее мать, когда моет

посуду, надевает резиновые перчатки. Кэрол показывает мне перчатки и рассекатель, приделанный к водопроводному крану. Она включает кран и обрызгивает водой раковину изнутри, а также немного пол, по случайности. Тут входит миссис Кэмпбелл в бежевом гарнитуре, хмурясь, и говорит, что нам лучше пойти играть наверх. Но, может, она и не хмурится. У нее углы рта слегка опущены, даже когда она улыбается, поэтому трудно понять, довольна она или нет. Волосы у нее такого же цвета, как у Кэрол, но с холодной завивкой. Это Кэрол объясняет мне, что такая прическа называется холодная завивка. Волосы словно кукольные, лежат аккуратными рядками, будто пришитые.

Чем больше я удивляюсь и теряюсь, тем сильнее радуется Кэрол. «Ты не знаешь, что такое холодная завивка?!» — в восторге восклицает она. Ей не терпится открывать мне новое, объяснять, показывать. Она водит меня по дому, как по музею, словно лично собрала в нем все экспонаты. Мы стоим в прихожей у вешалки-стойки для пальто и шляп («Ты никогда не видела вешалку-стойку?!»), и Кэрол говорит, что я ее лучшая подруга.

У Кэрол есть еще одна лучшая подруга — иногда

она лучшая, а иногда нет. Её зовут Грейс Смиитт. Кэрол демонстрирует ее мне, когда мы едем в автобусе — так же, как демонстрировала гарнитур и вешалку-стойку: как объект для восхищения.

Грейс Смиитт на год и на класс старше нас. В школе она играет с другими девочками из своего класса. Но после школы и по субботам она играет с Кэрол. У Грейс нет одноклассниц на нашей стороне оврага.

Грейс живет в двухэтажном краснокирпичном доме, прямоугольном, как коробка из-под обуви, и с крыльцом, крышу которого подпирают две толстые круглые белые колонны. Грейс выше ростом, чем Кэрол, и у нее темные жесткие густые волосы, заплетенные в две косички. Кожа у нее очень бледная, как тело под купальником, но покрыта веснушками. Грейс носит очки. Обычно она ходит в серой юбке на лямках и в красном свитере, усаженном маленькими круглыми шерстяными помпончиками. От ее одежды едва заметно пахнет домом Смииттов — смесью чистящего порошка, тушеной репы, чуть закисшего белья и сырой земли под крыльцом. Мне она кажется красавицей.

Я больше не езжу в Корпус по субботам. Вместо этого я играю с Кэрол и Грейс. Поскольку на дворе

зима, мы играем в основном дома. Игры с девочками — совсем другие, и поначалу мне странно, неловко, будто я только притворяюсь девочкой. Но скоро я привыкаю.

Мы играем, как правило, в то, что предлагает Грейс — если мы затеваем что-нибудь другое, она говорит, что у нее болит голова, и уходит домой или выпроваживает нас. Она никогда не повышает голос, никогда не сердится и не плачет; она лишь говорит с тихим упреком, словно ее головная боль — наша вина. Нам нужнее играть с ней, чем ей — с нами, и мы всегда уступаем.

Мы раскрашиваем принадлежащие Грейс книжки-раскраски, изображающие кинозвезд. Кинозвезды в разнообразных нарядах занимаются разными делами — прогуливают своих собачек, в матросках катаются на яхте, в вечерних платьях кружатся на балу. Любимая кинозвезда Грейс — Эстер Уильямс. У меня нет любимой кинозвезды, я никогда не была в кино. Но я называю Веронику Лейк — мне нравится ее имя. Раскраска с Вероникой Лейк предназначена для вырезания. Там есть Вероника в купальном костюме и десятки нарядов, которые можно на ней закрепить, загнув бумажные клапаны у шеи. Грейс не позволяет нам вырезать наряды, но разрешает

надевать их на куклу и снимать после того, как сама Грейс их вырезала. Еще она разрешает нам их раскрашивать, только так, чтобы не залезать за линии. Ей нравится, когда книжка раскрашена полностью. Грейс указывает нам, какие части какого цвета должны быть. Я знаю, что сделал бы мой брат — покрасил бы лицо Эстер зеленым, а Веронике приделал бы волосатые ноги, целых восемь штук. Но я воздерживаюсь. И вообще мне нравится наряжать кукол.

Мы играем в школу. У Грейс в подвале есть несколько стульев и деревянный стол, а также небольшая грифельная доска и мел. Всё это стоит под натянутой бельевой веревкой, на которой Смиитты сушат нижнее белье в плохую погоду. Подвал не отделан — пол бетонный, опоры, держащие дом, — голый кирпич, трубы и электропроводка на виду, и пахнет угольной пылью, потому что бункер с углем стоит прямо тут же, рядом со школьной доской.

Грейс всегда учительница, а мы с Кэрол — ученицы. Она задает нам упражнения по правописанию и примеры по математике. Совсем как в настоящей школе, только хуже, потому что нету уроков рисования. Нам нельзя играть, что мы шалим, потому что Грейс не любит беспорядка.

А иногда мы сидим на полу в комнате Грейс с пачками старых каталогов универмага «Итон». Я и раньше часто видела эти каталоги: на севере их вешают в уборной вместо туалетной бумаги. При виде «итоновских» каталогов я вспоминаю вонь тех отхожих мест, жужжание мух в дыре под ногами, ящик извести и деревянную лопаточку, чтобы посыпать известью кучки старых и свежих нечистот самых разнообразных форм и разных оттенков коричневого цвета. Но здесь мы обращаемся с этими каталогами почтительно. Мы вырезаем из них разноцветные фигурки и наклеиваем в альбом. Потом вырезаем всякую всячину — посуду, мебель — и клеим вокруг фигурок. Каждая из нас называет свою фигурку «моя дама». «Моя дама собирается покупать холодильник», — говорим мы. «Моя дама хочет вот этот ковер». «Это зонтик моей дамы».

Грейс и Кэрол смотрят на альбомы друг друга и восклицают: «О, как у тебя хорошо получилось. А у меня плохо. Просто ужасно». Они так говорят каждый раз, когда мы в это играем. Голоса у них льстивые, неискренние; я вижу, что они врут, каждая думает, что ее собственная дама лучше, чем у другой. Но так положено, и скоро я тоже начинаю так говорить.

Эта игра меня утомляет — вся масса, вся тяжесть вещей, имущества, о котором надо заботиться, которое придется паковать, впихивать в машину, потом распаковывать. Я хорошо знаю, каково это — переезжать с места на место. Но Кэрол и Грейс никогда никуда не переезжали. Их дамы живут каждая в своем доме и всегда там жили. Поэтому они не задумываясь добавляют все больше и больше вещей, набивают страницы альбомов гарнитурами для гостиных, кроватями, стопками полотенец, сервизами.

Я начинаю хотеть то, чего никогда не хотела раньше: косички, халат, собственную сумочку. Что-то разворачивается перед моим взором, открывается мне. Я вижу, что существует доселе неведомый мне мир девочек и их занятий и что я могу стать частью этого мира практически без усилий. Не нужно стараться ни за кем поспевать, бегать так же быстро, целиться так же метко, громко кричать «Бдыщ! Бдыщ!», расшифровывать послания, умирать по команде. Не нужно мучиться вопросом, хорошо ли я все это делала, была ли не хуже мальчика. Достаточно сидеть на полу, вырезать сковородки из каталога «Итона» ножницами для рукоделия и говорить, что у меня плохо получается. В каком-то смысле это

— облегчение.

11

На Рождество Кэрол дарит мне ароматические соли для ванны «Сад дружбы», а Грейс — раскраску с кинозвездой Вирджинией Майо. Я открываю их подарки раньше всех остальных.

Еще я получаю фотоальбом, к фотоаппарату. Страницы и обложка альбома — черные, связаны между собой чем-то похожим на шнурок от ботинка. К альбому прилагается пакетик черных треугольничков, намазанных клеем, — чтобы вклеивать фотографии. Пока я отсняла только один рулон пленки. Нажимая на спуск, я каждый раз думаю, как будет выглядеть снимок. Я не хочу зря тратить пленку. Когда из фотолаборатории присылают готовые отпечатки, негатив прилагается к ним. Я смотрю его на просвет: всё, что на настоящей фотографии белое, на негативе черное. Снег, например, а также белки глаз и зубы.

Я приклеиваю снимки в альбом черными треугольничками. На некоторых мой брат угрожающе замахивается снежками. На других — Кэрол или Грейс. Я есть только на одной фотографии — на фоне двери мотельного домика с номером 9, давным-давно, месяц назад. Эта девочка уже

кажется мне гораздо моложе, беднее, дальше — мой съёжившийся, несведущий двойник.

Еще мне дарят на это Рождество красную пластиковую сумочку, овальную, с золоченой застежкой и с ручкой сверху. В помещении сумочка мягкая, податливая, а на морозе дубеет, и то, что в ней лежит, начинает греметь. Я храню в ней свои карманные деньги, пять центов в неделю.

К этому времени у нас уже настелен пол в гостиной — паркет, мать натерла его воском, ползая на коленях, а потом отполировала тяжелой щеткой на длинной ручке, толкая ее взад и вперед. Щетка при этом шуршит, как волны.

Стены в гостиной покрасили, установили выключатели и ручки дверей, приколотили плинтусы. Даже занавески повесили, только они называются «портьеры». Первым делом закончили видимые посторонним, открытые публике части дома.

А вот наши спальни пока еще отделаны не до конца. Например, портьер на окнах нет. Ночью, лежа в постели, я вижу падающий за окном снег, подсвеченный из окна спальни Стивена.

Сейчас самое темное время года. Даже днем кажется темно; а вечером, когда включают свет, эта тьма заползает всюду, словно туман. Улич-

ных фонарей мало, они отстоят далеко друг от друга и не слишком ярки. Свет из окон жилых домов — желтый, не холодный и зеленоватый, а маслянисто-желтый, тусклый, с коричневым оттенком. Вещи в домах такого цвета, словно к ним подмешали темноты — бордовый, бурый, как шляпка гриба, болотно-зеленый, пыльно-розовый. Эти цвета выглядят грязноватыми, как кирпичики акварели в коробке, когда забываешь мыть кисточку.

У нас дома — темно-бордовый диван, привезенный из хранилища, а перед ним лежит ковер в восточном стиле, бордовый с фиолетовым. У нас есть трехрожковый торшер. В вечернем свете ламп воздух сгущается, как крем при варке: более тяжелые слои света оседают в углах гостиной. Портьеры на ночь задергивают — бесконечные складки материи, чтобы не пустить внутрь зиму, удержать в доме тяжелый тусклый свет, не дать ему сбежать.

В этом свете я раскладываю на блестящем полу вечернюю газету и стою на четвереньках, читая комиксы. В комиксах есть герои с круглыми дырками вместо глаз; другие, которые могут тебя мгновенно загипнотизировать; третьи, скрывающие, кто они на самом деле; четвертые

— оборотни, способные придать чертам своего лица совершенно любую форму. Пахнет типографской краской, воском для пола, ящиком платяного шкафа от моих чулок, от которых ужасно чешутся ноги, и к этому примешивается запах грязных коленок, горячий шершавый запах от шерстяного пледа и вонь кошачьего лотка от хлопчатобумажных трусов. У меня за спиной радиоприемник передает откуда-то из приморских провинций кадриль в исполнении «Дона Мессера и его островитян», это прелюдия к шестичасовым новостям. Радиоприемник — в темном полированном деревянном корпусе, с единственным зеленым глазом, который ездит по шкале, когда крутишь ручку. В промежутках между радиостанциями он издает таинственные космические, инопланетные звуки. Стивен говорит, что это радиоволны.

В последнее время Грейс Смиитт зачастую приглашает меня к себе после школы одну, без Кэрол. Она объясняет Кэрол, что этому есть причина — ее мать. Она устаёт, поэтому Грейс сегодня разрешено привести домой только одну лучшую подругу.

У матери Грейс — больное сердце. Грейс не держит это в секрете, как поступила бы Кэрол.

Грейс говорит об этом без волнения, вежливо, как попросила бы вытереть ноги о коврик; но в то же время самодовольно, словно обрела нечто, некую привилегию или моральное превосходство, которых мы с Кэрол лишены. Так она относится к фикусу, стоящему у нее дома на лестничной площадке между этажами. Это единственное растение в доме Грейс, и нам не разрешают его трогать. Фикус очень старый, и его нужно протирать молоком, каждый лист по отдельности. Больное сердце миссис Смиитт чем-то похоже на этот фикус. Из-за ее сердца мы должны красться на цыпочках, ходить бесшумно, не смеяться громко и делать то, что велит Грейс. От плохого сердца есть определенная польза: это понимаю даже я.

Каждый день после обеда миссис Смиитт вынуждена отдыхать. Она отдыхает не у себя в спальне, а на диване в гостиной, сняв обувь, вытянувшись и накрывшись вязаным пледом. В этой позе мы застаём ее каждый раз, когда приходим поиграть после школы. Мы входим, стараясь двигаться бесшумно, по ступенькам через боковую дверь на кухню, а оттуда в гостиную, только до двойных застекленных дверей, и вглядываемся через стекло, пытаясь понять, открыты у миссис Смиитт глаза или закрыты. Мы никогда

не видели ее спящей. Но вполне вероятно — эту вероятность вложила нам в головы Грейс, тем же деловитым и бесстрастным тоном, — что в один прекрасный день мы найдем ее мертвой.

Миссис Смиитт не похожа на миссис Кэмпбелл. В частности, у нее нет гарнитуров, и она их презирает. Мне это известно, потому что однажды, когда Кэрол хвасталась гарнитурами своей матери, миссис Смиитт произнесла: «Да неужели», но не в смысле вопроса, а давая понять Кэрол, чтобы она заткнулась. Миссис Смиитт не пудрится и не красит губы, даже когда выходит из дома. У нее широкая кость, квадратные зубы с небольшими промежутками, так что каждый зуб виден отдельно, и кожа словно выскоблена дочиста — как будто ее терли проволочной щеткой для картошки. Лицо у миссис Смиитт круглое, ничего не выражающее, с такой же белой кожей, как у Грейс, только без веснушек. Она носит очки, тоже как Грейс, но в стальной оправе, а не в роговой. Волосы у нее разделены на пробор посредине и седеют с висков. Она заплетает их в косы и укладывает в плоскую корону вокруг головы, закрепляя шпильками.

Она ходит в домашних халатах из набивного ситца — не только по утрам, но почти всегда.

Поверх халата она носит фартуки с отвислыми нагрудниками — создается впечатление, что у нее не две груди, а одна большая, которая занимает всю грудную клетку спереди и доходит до живота. Миссис Смиитт носит чулки из хлопчатобумажного трикотажа со швом, и кажется, что у нее вместо ног два длинных мешка, набитых тряпками и зашитых сзади. Обута она в коричневые полуботинки. Иногда она вместо чулок надевает тонкие хлопчатобумажные носки, из которых торчат ноги — белые, с редкой растительностью, напоминающей женские усы. Усы у нее тоже есть, хотя и не очень густые — так, россыпь волосков в углах рта. Она часто улыбается, при этом губы остаются сомкнутыми, прикрывая зубы; но она не смеется, в отличие от Грейс.

У нее большие кисти с торчащими костяшками, красные от стирки. Стирки много — у Грейс две младшие сестры, к которым переходят ее ношеные юбки, блузки и даже трусы. Я привыкла наследовать от брата свитера, но не белье. Именно эти трусы, заношенные до серости и почти прозрачности, висят, капая, на веревке у нас над головой, когда мы сидим у Грейс в подвале и играем в школу.

Перед Валентиновым днем нас заставляют

вырезать сердечки из красной цветной бумаги и украшать их бумажными кружевами, чтобы потом наклеить на высокие узкие окна. Вырезая своё, я думаю про больное сердце миссис Смиитт. Что именно с ним не так? Я воображаю его — скрытое под вязаным пледом, под волнами фартучного нагрудника, оно ритмично сокращается в плотной, мясной темноте внутри ее тела; что-то запретное, интимное. Оно, должно быть, красное, но с красновато-черным пятном, как синяк или гниль на яблоке. От этой мысли меня передергивает. Меня пронзает мимолетная острая боль, как было однажды, когда брат при мне порезал палец куском стекла. Но больное сердце еще и притягательно. Оно — диковина, уродство. Ужасное сокровище.

День за днем я прижимаюсь носом к стеклу двери в гостиной, пытаясь понять, жива ли еще миссис Смиитт. Такой я запомню ее навсегда: лежащей недвижно, как музейный экспонат, затылок опирается на антимакассар, пришпиленный к подлокотнику дивана, дальше виднеется фикус на лестничной площадке, голова повернута, чтобы посмотреть на нас, ободранное дочиста лицо без очков, белое и странно светящееся в полумраке, как фосфоресцирующий гриб. Она на

десять лет моложе меня теперешней. Почему я ее так ненавижу? Почему мне не все равно, что творилось у нее в голове?

12

Снег сходит, открывая на дороге возле дома рытвины, полные грязной воды. На поверхности этих луж за ночь образуются тонкие пластинки льда; по утрам мы давим их каблуками. С крыш падают сосульки, и мы подбираем их и лижем, как эскимо. Мы уже не надеваем варежки — они болтаются на резинках. Идя домой из школы, мы видим на газонах мокрые куски бумаги у корней живой изгороди, застарелые собачьи какашки и крокусы, что пробились через зернистый снег цвета сажи. В канавах течет буроватая вода; деревянный мост в овраге размяк, осклиз и снова запах гнилью.

Наш дом выглядит так, словно по этим местам прокатилась война: вокруг обломки и следы разрушения. Родители стоят на заднем дворе, уперев руки в бока, озирают просторы голой грязи и планируют сад. Пучки пырея уже торчат там и сям. Пырей где угодно будет расти, говорит отец. Еще он говорит, что подрядчик — та самая птичка, что упорхнула, — взял плотную глину из ямы,

выкопанной под наш фундамент, и рассыпал ее по участку поверх плодородного слоя земли. «Не только жулик, но еще и кретин», — говорит отец.

Мой брат следит за уровнем воды в огромной яме на соседнем участке, ожидая, когда та совсем высохнет, чтобы устроить там бункер. Брат хотел бы сделать на бункере крышу из палок и старых досок, но знает, что это невозможно — яма слишком большая и ему просто не разрешат. Вместо этого он собирается прокопать туннель вниз через боковую стенку ямы и лазить туда-обратно по веревочной лестнице. Веревочной лестницы у него нет, но он говорит, что сделает ее, если получится достать веревку.

Он бегает с другими мальчишками по грязи; у каждого к подошве прилипла лепешка глины, похожая на дополнительную ступню, и оставляет следы, похожие на следы чудовища. Мальчишки прячутся за деревьями старого сада, стреляют друг в друга и кричат:

— Ты убит!

— Неправда!

— Ты убит!

В другие дни они набиваются в комнату брата, лежат животом вниз на кровати или на полу и читают его огромные залежи комиксов. Я то-

же иногда присоединяюсь к ним, наслаждаясь перелистыванием разноцветных страниц и пропитываясь душным мальчишеским запахом. Мальчики пахнут не так, как девочки. Их запах — едкий, кожаный, низовой. Так пахнет старая веревка или мокрая псина. Дверь комнаты мы держим закрытой, так как мать не одобряет комиксы. Мальчишки читают молча и лишь изредка односложно договариваются о мене.

Именно комиксы сейчас коллекционирует брат. Сколько я помню, он всегда что-нибудь коллекционировал. Когда-то крышечки от молочных бутылок, собранные из десятков молочных магазинов; он носил их в кармане пачками, перехваченными резинкой, ставил к стенке и кидал в них другие крышечки, чтобы выиграть ещё. Потом пошли крышечки бутылок из-под газировки, потом карточки из сигаретных пачек, потом — увиденные на дороге номера машин из других провинций и штатов. Но комиксы выиграть нельзя. Ими можно только обмениваться — один хороший комикс на три или четыре менее ценных.

В школе мы делаем пасхальные яйца из цветной бумаги — розовой, фиолетовой, голубой — и клеим на окна. Потом мы клеим тюльпаны, и

вскоре зацветают настоящие тюльпаны. Как будто есть такой закон, что вещи, вырезанные из бумаги, обязаны появляться чуть-чуть раньше настоящих.

Грейс достала длинную скакалку, и теперь они с Кэрол учат меня, как ее крутить. Крутя скакалку, мы декламируем хором, нараспев, меланхолично, на одной ноте:

> *Саломея танцевала, ноги кверху задирала.*
>
> *Ноги кверху задирала, а трусов не надевала*[2]

Грейс кладет ладонь на голову, другую руку упирает в бедро и виляет задом. У нее это выходит очень чинно: на ней повседневная плиссированная юбка на бретельках. Я знаю, что Саломея должна быть больше похожа на кинозвезд из наших раскрасок-вырезалок. Мне представляются тюлевые юбки, туфли с высокими каблуками и звездами на мысках, шляпы, украшенные фруктами и перьями, высоко поднятые, выщипанные в ниточку брови; веселье, излишества. Но Грейс со своей плиссировкой и бретельками напрочь

---

[2] notes: 2

Здесь и далее, если не оговорено иное, стихи даны в переводе Д. Никоновой.

убивает подобные чувства.

Еще мы играем в мяч. Мы играем у стены дома Кэрол. Мы бросаем мячи в стену и ловим на отскоке, хлопая и крутясь в такт под присказку: «Простая, подвигушки, хохотушки, с разговорами, одна рука, другая рука, одна нога, другая нога, хлоп спереди, хлоп сзади, спереди-сзади, сзади-спереди, озорная, золотая, реверанс, салют флагу и круговая».

«Круговая» означает, что нужно бросить мяч и сделать полный оборот, прежде чем его поймаешь. Это самая сложная фигура, даже сложнее, чем бросать и ловить левой рукой.

Солнце светит все дольше, а на закате становится красно-золотым. Вербы роняют на мост желтые пушистые шарики; ключики клёна падают на тротуары, крутясь, и мы расщепляем липкое семечко и надеваем лопасти, как очки, себе на нос. Воздух теплый, влажный, как невидимая взвесь. Мы идем в школу в хлопчатобумажных платьях и кофтах, а на обратном пути кофты снимаем. Старые деревья в плодовом саду зацвели белым и розовым; мы залезаем на них и вдыхаем аромат, похожий на запах лосьона для рук, или сидим в траве и плетем венки из одуванчиков. Мы расплетаем волосы Грейс, и они падают ей на спину

жесткими темно-каштановыми волнами, и мы венчаем Грейс одуванчиками, как короной. «Ты принцесса», — говорит Кэрол, гладя ее волосы. Я фотографирую Грейс и вклеиваю фото к себе в альбом. Так она и сидит там, чинно улыбаясь, украшенная цветами.

В поле наискосок от дома Кэрол вырастают новые дома; по вечерам кучки детей, мальчиков и девочек, шумно играют внутри, в свежем деревянном запахе стружек, проходя сквозь стены, которых еще нет, и карабкаясь по приставным лестницам там, где скоро будут воздвигнуты ступени. Это запрещено.

Кэрол не хочет лезть на верхние этажи, потому что боится. Грейс тоже не хочет, но не поэтому: она не хочет, чтобы кто-нибудь, какой-нибудь мальчишка, подглядел ее трусы. Нам запрещено ходить в школу в брюках, но Грейс не носит их вообще никогда. Так что они вдвоем остаются внизу, пока я лезу наверх, потом — по балкам потолка, которого нет, а потом еще выше, на чердак. Я сижу на верхнем этаже, пока несуществующем, на крыше воздушного замка, купаясь в красно-золотом закате и глядя вниз. Я не думаю о том, что будет, если я упаду. Я еще не боюсь высоты.

Однажды кто-то приносит в школу мешочек

стеклянных шариков, и назавтра они уже есть у всех. Мальчики покидают свой двор и толкаются на площадке перед двумя раздельными дверями; им нужна эта площадка, потому что в шарики играют на ровной поверхности, а двор мальчишек засыпан шлаком.

При игре в шарики ты либо вратарь, либо нападающий. Нападающий должен встать на колени, прицелиться и покатить свой шарик к воротам, как в боулинге. Если попадешь, то шарик вратаря достается тебе, и твой тоже остается у тебя. Если промахнешься, теряешь свой шарик. Вратарь же садится на землю, широко раздвинув ноги, и кладет шарик на трещину перед собой. Шарик может быть обычным, но на такие, как правило, желающих мало, разве что предложишь два за один. Целью, как правило, служит более ценный шарик: кошачьи глаза — прозрачное стекло с расцветающими внутри яркими лепестками, красными, желтыми, зелеными или синими; чистики, идеально прозрачные без изъяна, как подкрашенная вода, сапфиры или рубины; водные, в которых, как в толще океана, подвешены синие нити; металлические «пульки»; «агги», они как обычные стеклянные шарики, только крупнее. Эти сокровища переходят от победителя

к победителю. Их можно купить, но это считается мошенничеством; их положено выигрывать.

Вратари выкрикивают названия своих богатств: «Чистик, чистик!» «Водный, водный!» Двусложные слова звучат нараспев, голос понижается, так кличут собаку или зовут потерявшегося ребенка. Крики меланхоличны, хотя кричащие вовсе не грустят. Я и сама так сижу, холодные шарики катятся между моими ногами, собираясь на ткани расстеленной юбки, и я выкликаю: «Кошачий глаз! Кошачий глаз!» с сожалением в голосе, хотя ощущаю только алчность и приятно щекочущий ужас.

Кошачьи глаза — мои любимые. Если я выигрываю новый кошачий глаз, я жду, пока останусь одна, достаю его и рассматриваю на просвет, без конца поворачивая. Эти шарики в самом деле глаза, только не кошачьи. Они принадлежат кому-то неизвестному, но все же существующему: как зеленый глаз радиоприемника или глаза обитателей далекой планеты. Мой любимый — синий. Я кладу его в красную пластиковую сумочку, в безопасное место. Я рискую другими шариками, выставляя их как цели, но этим шариком рисковать не хочу.

Я не набираю большой коллекции, поскольку

не отличаюсь меткостью. А вот мой брат бьет насмерть. Он берет с собой в школу пять обычных шариков в синем мешочке от виски «Краун Ройял» и возвращается с набитым до отказа мешочком и набитыми карманами. Выигранные шарики он хранит в выданных ему матерью закручивающихся банках для домашних консервов. Банки стоят рядком у него на письменном столе. Однако он никогда не обсуждает свой талант. Просто выставляет на стол банки.

Как-то в субботу после обеда он кладет все свои лучшие шарики — чистики, водные, кошачьи глаза, все свои сокровища и чудеса — в одну банку. Он уносит ее куда-то в овраг, вниз, под деревянный мост, и там закапывает. Потом он рисует затейливую карту, отмечая на ней, где спрятан клад, кладет карту в другую банку и ее тоже зарывает. Он сообщает мне, что сделал, но не объясняет, зачем, а также не открывает, где спрятал банки.

13

Неотделанный дом в море грязи и соседняя гора земли удаляются от меня; я смотрю на них через заднее окно машины, где сижу, зажатая между ящиками продуктов, спальными мешками и пла-

щами на случай дождя. На мне синий полосатый свитер брата и потертые вельветовые штаны. Грейс и Кэрол в юбках стоят под яблонями, машут, скрываются вдали. Им все еще нужно ходить в школу; а мне нет. Я им завидую. Гудроновый, резиновый запах дороги уже обволакивает меня; но я ему не рада. Меня отрывают от новообретенной жизни, от жизни девочек.

Я осваиваюсь со знакомой картиной — затылки и уши моих родных и летящая навстречу белая разделительная полоса шоссе. Мы едем среди пастбищных земель и ферм с силосными башнями, вязами и запахом скошенного сена. Лиственные деревья становятся меньше ростом, их вытесняют сосны, воздух холодеет, небо приобретает ледянистый оттенок; мы едем из весны обратно в зиму. Вот первые гранитные гряды, первые озера; в тени еще лежит снег. Я подаюсь вперед, опираясь руками на спинку сиденья перед собой. Я чувствую себя как собака, что принюхивается, навострив уши.

Север пахнет не так, как город: чище, прозрачнее. Здесь видно дальше. Пилорама, гора опилок, топка для их сжигания, похожая по форме на вигвам; трубы медеплавильного завода, скалы вокруг них — безлесые, темные, будто выжжен-

ные; горы почерневшего шлака; всю зиму я не вспоминала о них, но вот они, и, увидев, я их припоминаю, узнаю, приветствую, словно это — мой дом.

Мужчины стоят на углах, у дверей деревенских универсальных магазинов, небольших банков, пивных с обитыми рубероидом стенами. Руки у этих мужчин засунуты в карманы ветровок. У некоторых смуглые индейские лица, другие — просто загорелые. Они ходят не так, как люди на юге провинции — медленней, осмотрительней; они меньше говорят, и слова их разделены паузами. Отец, беседуя с ними, звенит ключами и мелочью в карманах. Он называет эти разговоры «молоть языком». Он возвращается в машину с пакетом из коричневой бумаги — там купленные продукты, и он засовывает пакет мне под ноги.

Мы с братом стоим на конце ветхой пристани, вдающейся в длинное синее озеро со скалистыми берегами. Вечереет, закат цвета арбуза, утки перекликаются вдали, слышен чей-то долгий крик на повышающейся ноте, похожий на вой волка. Мы ловим рыбу. Нас кусают комары, но я привыкла и даже не смахиваю их. Рыбалка идет без комментариев: забрасываешь, блесна хлопает по воде, жужжит катушка спиннинга,

сматывая леску обратно. Мы следим глазами за блесной, чтобы понять, клюнула ли рыба. Если да, мы ее вываживаем как можем. Потом на нее надо наступить, придерживая, оглушить ударом по голове и воткнуть нож за глазами. Я наступаю, а брат бьёт и орудует ножом. Он молчит, но он напряжен, собран, в углах рта катаются желваки. Интересно, у меня тоже так блестят глаза, словно у дикого зверя, в этом розовом закате?

Мы живем в брошенном лагере лесорубов. Мы спим на своих надувных матрасах, в своих спальных мешках, на деревянных нарах, где когда-то спали лесорубы. Лагерь уже кажется очень старым, хотя пустует всего два года. Лесорубы оставили по себе памятки — надписи, имена, инициалы, переплетенные сердца, короткие матерные слова и похабные картинки, нацарапанные ножом или карандашом на дощатых стенах. Я нахожу старую жестяную банку кленового сиропа. Крышка заржавела и приварилась намертво, но, когда мы со Стивеном умудряемся ее открыть, оказывается, что сироп заплесневел. Эта жестянка представляется мне древним артефактом, словно из гробницы.

Мы рыщем меж деревьями, ища кости, холмики земли, которые могли бы обозначать раскоп

или очертания жилища, переворачиваем бревна и камни, чтобы посмотреть, что под ними. Нам хотелось бы найти потерянную цивилизацию. Мы находим жука, множество мелких белых и желтых корешков, жабу. Ни следа людей.

Отец снял городскую одежду и опять стал собой. На нем снова старая куртка, мешковатые штаны, мятая фетровая шляпа с воткнутыми в нее рыболовными мушками. Он топает по лесу в старых высоких рабочих ботинках, смазанных беконным жиром для непромокаемости, с топором в кожаной кобуре. Мы движемся у него в кильватере. Лес кишит кольчатыми лесными коконопрядами, такого нашествия не было много лет; отец ликует, гномьи глаза сверкают, как серо-голубые пуговки. Гусеницы повсюду — полосатые, щетинистые. Они свисают на шелковых ниточках с ветвей, образуя висячий занавес, который приходится убирать с пути; они текут по земле ожившим ковром, они пересекают дороги, превращаясь в жирную кашу под колесами лесовозов. Деревья стоят голые, словно после пожара, стволы обмотаны паутиной.

— Запомните это, — говорит отец. — Это — классическое нашествие. Мы еще долго такого не увидим.

Таким тоном говорят о лесных пожарах или войне: почтение и изумление в голосе смешиваются с отзвуком катастрофы.

Брат стоит неподвижно, и поток гусениц набегает на его ступни и спускается по другую сторону, как волна.

— Когда ты был маленький, я тебя как-то поймала, когда ты собирался наесться этих гусениц, — говорит мать. — Ты набрал целую горсть и давил их направо и налево. И как раз собирался засунуть их в рот, но я не дала.

— В некоторых аспектах они все — как единый организм, — говорит отец.

Он сидит за дощатым столом, оставшимся от лесорубов, и ест жареный колбасный фарш и картошку. Все время, пока мы едим, он говорит про гусениц: о том, сколько их, как они хитроумны, и о различных методах их истребления. Он говорит, что нельзя опрыскивать их ДДТ и прочими инсектицидами. Это яд для птиц, природных врагов гусениц, а сами гусеницы, будучи насекомыми, отлично приспосабливаются — гораздо лучше, чем люди, — и они просто выработают устойчивость к яду, так что в итоге птицы вымрут, а гусениц станет еще больше. Он сам сейчас работает над другим средством: гормоном роста,

который нарушает внутреннюю регуляцию в организме гусеницы, заставляя ее окукливаться раньше срока. Преждевременное старение. Но в конечном итоге, говорит он, будь я склонен к заключению пари, я поставил бы на насекомых. Они старше людей, у них больше опыта в выживании, к тому же их гораздо больше, чем нас. И вообще, скорее всего, мы взлетим на воздух еще до конца этого столетия, судя по атомной бомбе и по тому, куда дело идет. Будущее принадлежит насекомым.

— Тараканам, — говорит отец. — В конце концов только они и останутся.

Он говорит это бодро, пронзая вилкой картофелину.

Я сижу, ем жареный колбасный фарш и запиваю молоком, разведенным из порошка. В нем я больше всего люблю комки, которые плавают поверху. Я думаю про Кэрол и Грейс, своих лучших подруг. В то же время я не могу в точности вспомнить их лица. Неужели я и правда сидела на полу в спальне Грейс, на ее прикроватном коврике, связанном крючком из тряпочек, вырезала сковородки и стиральные машины из каталогов «Итона» и клеила в альбом? Это уже кажется невероятным, и все же я знаю, что так и было.

За лагерем лесорубов есть большая просека, откуда вывезли все бревна. Остались лишь пни и корни. Там много песка. Всё заросло черникой, как бывает после пожара: сперва иван-чай, потом черника. Мы собираем ее в жестяные кружки. Мать платит нам по центу за кружку. Она готовит черничные пудинги, черничный соус, закручивает варенье, стерилизуя банки в большом заготовочном котле на костре под открытым небом.

Солнце жарит, и жара волнами поднимается от раскаленного песка. У меня на голове ситцевый платок, сложенный треугольником и завязанный за ушами; тот край, что на лбу, уже пропитался потом. Вокруг гудит облако мух. Я стараюсь прислушиваться сквозь этот гул, не слышно ли за ним приближение медведя. Я не знаю, как звучит медведь, когда приближается, но знаю, что медведи любят чернику и что они непредсказуемы. Они могут убежать. А могут напасть на тебя. Если медведь нападает, надо упасть на землю и прикинуться мертвой. Так говорит мой брат. Тогда, говорит он, медведь может уйти; а может вырвать у тебя потроха. Я видела, как потрошат рыбу, и очень хорошо представляю себе эту картину. Мой брат находит медвежий

помет — синеватый, крапчатый, похожий на человеческий, — и ковыряет его палочкой, чтобы понять, насколько он свежий.

После полудня, когда слишком жарко собирать ягоды, мы плаваем в озере, в той же воде, откуда таскаем рыбу. Мне запрещают заходить туда, где я не достаю дна. Вода ледяная, мутная; внизу — дальше того места, где песчаное дно уходит круто вниз и начинается глубина, — торчат древние скалы, заросшие слизью, там полно затонувших коряг, раков, пиявок, огромных щук, у которых верхняя челюсть гораздо длиннее нижней. Стивен говорит мне, что у рыб есть обоняние. Он говорит, что они чуют нас и держатся подальше.

Мы сидим на берегу, на камнях, торчащих из узкой полоски прибрежного песка, и кидаем кусочки хлеба в воду, чтобы посмотреть, кого удастся приманить: пока это мальки и редкие окуни. Мы ищем плоские камушки и пускаем блинчики по воде, или тренируемся рыгать по желанию, или прижимаем губы к предплечью и издаем пердящие звуки, или набираем воды в рот и стараемся плюнуть подальше. В этих состязаниях я не столько участвую, сколько играю роль публики; но брат все затеял не ради похвальбы — скорее всего, будь он тут один, он проделывал

бы все то же самое.

Иногда он мочится, выводя слова на узкой полосе песка или на поверхности воды. Он очень старается, словно делает что-то чрезвычайно важное. Моча изящной дугой бьет из передней части его плавок, из руки и дополнительного пальца, который он держит в руке. Почерк выходит угловатый — такой же, как его настоящий почерк. В конце он всегда ставит точку. Он не пишет свое имя или плохие слова, в отличие от других мальчишек, чьи подвиги я видела на сугробах. Вместо этого он пишет: МАРС. Или, если чувствует себя в силах: ЮПИТЕР. К концу лета он три раза написал названия всех планет Солнечной системы. Выписал.

Середина сентября. Листья уже меняют цвет на темно-красный, ярко-желтый. По ночам, когда я иду в туалет, в темноте, без фонарика — так лучше видно — звезды острые и кристаллические, и у меня перед лицом висит облачко дыхания. В окне я вижу родителей — они сидят у керосиновой лампы, похожие на далекую картину в раме темноты. Мне не по себе, когда я смотрю на них вот так, через окно, снаружи — внутрь, и знаю, что они не знают, что я их вижу. Будто меня на самом деле нет; или будто на самом деле нет их.

Возвращаясь с севера, мы словно спускаемся с горы в долину. Мы снижаемся, проходя слои ясности, прохлады и ничем не загроможденного света, минуем последний гранитный выступ, последнее озерцо с рваными краями и попадаем туда, где воздух гуще, в сырость и теплую тяжесть, в звон кузнечиков и травяные, луговые запахи юга.

К дому мы подъезжаем после обеда. Дом кажется странным, другим, словно заколдованным. Из окружающей его грязи выросли чертополох и золотарник, наподобие колючей изгороди. Огромная яма и гора земли на соседнем участке исчезли — вместо них теперь новый дом. Как же это? Я не ожидала таких перемен.

Грейс и Кэрол стоят под яблонями, точно на том месте, где я их оставила. Но они переменились. Они совсем не похожи на те картинки, которые я носила в голове последние четыре месяца, изменчивые картинки, в которых постоянны лишь несколько черт. Прежде всего Грейс и Кэрол стали крупнее; и одеты они теперь по-другому.

Они не подбегают ко мне, но прекращают свое занятие и глядят на нас так, словно мы совсем новые люди, словно я тут не жила. С ними еще одна девочка. Я смотрю на нее безо всяких пред-

чувствий. Я ее никогда не видела.

14

Грейс машет рукой. Миг спустя машет и Кэрол. Третья девочка не машет. Пока я иду к ним, они стоят среди астр и золотарника и ждут. Яблони увешаны яблоками, красными и желтыми, но все они в каких-то струпьях. Часть яблок попáдала на землю и теперь гниет. Пахнет сладко, как в банке яблочного сока, и жужжат пьяные осы. Яблоки хлюпают у меня под ногами.

Грейс и Кэрол загорели, они уже не такие бледные; черты лица словно раздвинулись, волосы посветлели. Третья девочка выше их обеих. Грейс и Кэрол в юбках, а она — в вельветовых штанах и пуловере. Грейс и Кэрол — приземистые, коренастые, а эта девочка худая, но не хрупкая: она гибкая и сильная. Лицо у нее длинное, рот слегка перекошен; верхняя губа как-то кривится, будто ее разрезали и сшили не совсем ровно.

Но когда она улыбается, рот обретает симметрию. Улыбка у нее взрослая, словно выученная и продиктованная вежливостью. Девочка протягивает мне руку:

— Привет! Я Корделия. А ты…

Я смотрю на нее. Будь на ее месте взрослый, я

взяла бы руку, пожала. Я бы знала, что сказать. Но дети не пожимают друг другу руки вот так.

— Элейн, — подсказывает Грейс.

Я робею в присутствии Корделии. Я два дня ехала на заднем сиденье машины, ночевала в палатке; я чувствую, что замурзана, волосы всклокочены. Корделия смотрит мимо меня — туда, где мои родители разгружают машину. Взгляд оценивающий, она явно забавляется. Я вижу, даже не оборачиваясь, старую фетровую шляпу, старые ботинки, щетину на лице у отца, отросшие косицы, драный свитер и пузырящиеся колени штанов у брата, серые брюки, мужеподобную клетчатую рубашку и ненакрашенное лицо у матери.

— Ты наступила в собачью какашку, — говорит Корделия.

Я смотрю вниз:

— Это гнилое яблоко.

— Но собачьи какашки бывают такого же цвета, правда? — говорит Корделия. — Те, которые не твердые, а мягкие, которые выдавливаются, как арахисовая паста.

На этот раз ее голос звучит доверительно, словно она говорит о чем-то личном, известном только нам двоим, по поводу чего мы единодуш-

ны. Она создает кружок на двоих и принимает меня в него.

Корделия живет еще дальше на восток, чем я, в районе, застроенном домами еще новее нашего. Но ее дом не одноэтажный, а двухэтажный. Столовая в нем отделена занавеской, которую можно отдернуть, превратив столовую и гостиную в одну большую комнату. Еще в нем есть санузел на первом этаже, но без ванны — только унитаз и раковина. Это называется «дамский уголок».

Цвета в доме Корделии — не темные, как в других домах. Оттенки светло-серого, светло-зеленого, белого. Диван, например, яблочно-зеленый. Здесь нет ничего в цветочек, ничего бордового, ничего бархатного. На стене картина в светло-серой раме — портрет двух старших сестер Корделии, сделанный несколько лет назад, пастелью. Обе в платьях-халатах, волосы как перышки, глаза как туман. В доме стоят живые цветы — несколько букетов сразу, в тяжелых, словно перетекающих вазах шведского стекла. Это Корделия нам сказала, что вазы — шведского стекла. Она говорит, что шведское стекло самое лучшее.

Мать Корделии сама составляет цветочные композиции, для этого она надевает садовые перчатки. Моя мать не составляет цветочных

композиций. Иногда она втыкает несколько цветков в банку и ставит на обеденный стол, но эти цветы она собирает сама во время прогулок: она ходит, чтобы поддерживать себя в форме, надевает брюки и ходит вдоль дороги или в овраге. На самом деле это сорняки. Моей матери никогда не пришло бы в голову тратить деньги на покупку цветов. До меня впервые в жизни доходит, что мы не богатые.

У матери Корделии есть уборщица. Только у нее из всех наших семей. Впрочем, уборщицу не называют уборщицей. Ее называют «женщина». В дни, когда женщина приходит убираться, нам нельзя путаться у нее под ногами.

— Предыдущая женщина попалась на том, что воровала у нас картошку, — говорит Корделия, понизив голос, будто шокирована. — Она поставила сумку, и картофелины из нее прямо так и покатились по полу. Было ужасно неловко. — Конечно, она имеет в виду, что неловко было ей и ее семье, а не женщине. — Разумеется, нам пришлось с ней расстаться.

Семья Корделии ест яйца всмятку не размятыми в мисочке, а из специальных подставок для яиц. У каждого члена семьи своя подставка, помеченная первой буквой имени. Еще у них

есть кольца для салфеток, тоже обозначенные буквой. Я впервые в жизни вижу подставки для яиц и понимаю, что Грейс их тоже никогда не видела, поскольку она про них ничего не говорит. Кэрол неуверенно сообщает, что у нее дома такие тоже есть.

— Съев яйцо, нужно обязательно продырявить скорлупу, — говорит Корделия.

— Зачем? — спрашиваем мы.

— Чтобы ведьмы не могли уплыть на ней в море.

Она говорит небрежно, но с презрением, словно только дураки могут этого не знать. Но возможно, что она просто шутит или дразнит нас. У ее старших сестер тоже такая привычка. Трудно сказать, когда они говорят серьезно. Они разговаривают насмешливо, причудливо, будто подражают кому-то или чему-то, но непонятно, кому или чему.

«Я была на волосок от смерти!» — восклицают они. Или: «Я выгляжу как гнев божий». «Я выгляжу как огородное пугало». «Я выгляжу как Старая Халда». Это уродливая старуха, которую они, судя по всему, придумали. Но они не считают на самом деле, что были на волосок от смерти или что выглядят плохо. Обе очень красивы: одна — темпераментная брюнетка, другая — чувстви-

тельная блондинка с добрыми глазами. Корделии не досталось такой красоты.

Их имена — Утрата и Миранда, но так их никто не зовет. Их зовут Утра и Мира. Брюнетка — Утра. Она занимается балетом, а Мира играет на альте. Альт держат в стенном шкафу, и Корделия вытаскивает его и показывает нам. Он лежит, загадочный и важный, в футляре с бархатной обивкой. Утра и Мира вышучивают друг друга и свои занятия, особым тоном врастяжечку, но Корделия говорит, что они одаренные. Для меня это звучит так, как будто с ними что-то сделали, что-то особенное, оставляющее следы. Я спрашиваю Корделию, одаренная ли она, но она только высовывает язык из угла рта и отворачивается, будто занята чем-то другим.

Корделию должны были бы звать «Корди», но ее так не зовут. Она постоянно требует, чтобы ее звали полным именем: Корделия. Все три имени необычные; ни у кого из девочек в школе таких нет. Корделия говорит, что эти имена из Шекспира. Она, похоже, ими гордится, словно мы все должны были сразу их узнать. «Это мамочка придумала», — говорит она.

Все трое зовут мать мамочкой и говорят о ней любовно и снисходительно, словно она — спо-

собный, но своенравный ребенок, которому они вынуждены подыгрывать. Мамочка маленького роста, хрупкая и рассеянная; она носит очки на цепочке вокруг шеи и берет уроки живописи. Несколько ее работ висят на лестничной площадке второго этажа — зеленоватые картины с цветами, лужайками, бутылками и вазами.

Сестры сплели вокруг мамочки целую сеть тайн и умолчаний. Они договорились не рассказывать ей об определенных вещах. «Мамочка об этом знать не должна», — напоминают они друг другу. Они просто не хотят ее разочаровывать. Утра и Мира стараются по мере возможности делать все, что хотят, но не разочаровывая при этом мамочку. У Корделии выходит не так ловко — у нее реже получается делать все, что она хочет, и мамочка разочаровывается чаще. Так, она говорит, когда сердится: «Ты меня разочаровала». Если разочарование очень сильное, она призывает отца семейства, а это уже серьезно. В разговорах о нем сестры никогда не шутят и не говорят врастяжечку. Он крупный, грубоватый, обаятельный, но мы слышали, как он кричит наверху.

Мы сидим на кухне, чтобы не мешать женщине вытирать пыль, и ждем, чтобы Корделия вышла поиграть. Она опять разочаровала родителей, не

прибравшись вовремя в своей комнате. Входит Утра — пальто из верблюжьей шерсти небрежно наброшено на одно плечо, пачка учебников опирается о бедро. «А вы знаете, кем хочет стать Корделия, когда вырастет? — говорит она хрипловато, наигранно серьезным, доверительным тоном. — Лошадью!» И мы не можем понять, правда это или нет.

У Корделии целый шкаф костюмов для переодевания: мамочкины старые платья, старые шали, старые простыни, которые можно разрезать и обмотать вокруг себя. С этими костюмами раньше играли Утра и Мира, но уже выросли из них. Корделия хочет ставить пьесы нашими силами, чтобы гостиная с занавесом служила сценой. Корделия хочет приглашать зрителей на представления и брать за это деньги. Она выключает свет, держит фонарик под подбородком и зловеще хохочет. Так это делается. Корделия бывала в театре и даже на балете. «Жизель», роняет она, словно мы все должны знать, что это такое. Но почему-то ни одна из наших постановок так и не обретает окончательной формы по задумке Корделии. Кэрол хихикает и забывает свою роль. Грейс не любит, когда ею командуют, и заявляет, что у нее болит голова. Выдуманные сюжеты

интересовали бы ее только в том случае, если бы в них участвовали настоящие вещи: тостеры, гладильные доски, гардеробы кинозвезд. Мелодрамы Корделии — за пределами ее понимания.

— А теперь ты должна покончить самоубийством, — говорит Корделия.

— Почему? — спрашивает Грейс.

— Потому что тебя бросили, — объясняет Корделия.

— А я не хочу, — говорит Грейс. Кэрол, играющая горничную, начинает хихикать.

Так что мы просто переодеваемся, спускаемся по лестнице, волоча за собой шали и подолы, выходим на участок, на газон, куда только что подсыпали перегноя. Мы не знаем, что делать дальше. Никто из нас не хочет играть мужские роли, потому что для этого нет подходящей одежды. Правда, время от времени Корделия рисует себе усы Утриным карандашом для подводки бровей и заворачивается в старую бархатную занавеску в последней отчаянной попытке изобразить какой-нибудь сюжет.

Мы вместе идем домой из школы — теперь вчетвером, а не втроем, как раньше. В переулке на полпути домой есть мелочная лавочка — там мы останавливаемся и тратим свои карманные

деньги на грошовые жевательные шарики, красные лакричные жгуты, эскимо из апельсинового шербета, и всё это делим поровну. В канавах валяются каштаны, мокрые на вид, блестящие; мы набиваем ими карманы своих кофт, хоть и не знаем, что с ними делать. Мальчишки из нашей школы и католические мальчишки из школы Богоматери Неустанной Помощи кидаются ими друг в друга, но мы этого делать не станем. Так можно глаз выбить.

Немощеная тропа, ведущая к деревянному пешеходному мосту, теперь сухая, пыльная. Над ней нависают ветви — листья уже тусклые, усталые от лета. По краям тропы заросли сорняков — золотарника, астр, лопухов, ядовитого паслёна, у которого ягоды красные, как конфеты к Валентинову дню. Корделия говорит, если нужно кого-нибудь отравить, ягоды паслёна — то, что надо. Паслён пахнет землей, сырой, плодородной, пряной, и кошачьей мочой. Кошки рыскают в зарослях, мы видим их каждый день — они крадутся, приседают, роют лапами грязь, смотрят на нас желтыми глазами, как будто мы их добыча.

Еще в зарослях валяются пустые бутылки от спиртного и скомканные салфетки. Однажды мы нашли кондом. Корделия сказала нам, что он

так называется, а ей сказала Утра, когда Корделия была еще маленькая и приняла эту штуку за воздушный шарик. Корделия знает, что ими пользуются мужчины — те самые, которых мы должны остерегаться. Но она не знает, почему эти штуки так называются. Мы подбираем кондом палочкой и разглядываем: он белый, вялый, резиновый, похож на рыбий пузырь. «Фу», — говорит Кэрол. Мы тайком относим кондом в гору и пропихиваем в решетку водостока; он плавает под решеткой на поверхности темной воды, белесый, напоминающий что-то уже утонувшее. Сама эта находка нас пятнает; и то, что мы ее скрыли, — тоже.

Корделия говорит, что ручей в овраге течет прямо из кладбища, а потому вода в нем — это раствор трупов. Она говорит: если выпить этой воды, или наступить в нее, или просто подойти слишком близко, покойники, закутанные в туман, вылезут из ручья и утащат тебя с собой. Она говорит, с нами этого до сих пор не случилось только потому, что мы стоим на мосту, а он деревянный. Мост — надежная защита от ручья с покойниками, такого, как этот.

Кэрол пугается или притворяется испуганной. Грейс заявляет, что Корделия просто дурачится.

— Попробуй, и сама увидишь, — говорит Корделия. — Ну давай, спустись вниз. Слабо?

Но мы не спускаемся.

Я знаю, что все это понарошку. Моя мать ходит на прогулки по оврагу, брат играет там с мальчишками. Они хлюпают в резиновых сапогах по водоспускам, лазят по деревьям, виснут на нижних балках опор моста. Нам запрещено ходить в овраг не из-за покойников, а из-за мужчин. Но все равно мне хочется знать, как выглядят покойники. Я одновременно и верю, и не верю в них.

Мы рвем белые и голубые цветы в зарослях сорняков, добавляем ягоды паслёна и красиво раскладываем всё это на лопухах вдоль тропы. На каждый лопух мы кладем по каштану. Это еда понарошку, но не очень понятно, для кого. Закончив композиции — не то обед, не то погребальные венки, — мы оставляем их у тропы и идем наверх. Корделия велит нам как следует помыть руки, из-за ядовитых ягод паслёна: нужно полностью смыть смертельный сок. Она говорит, что одна капля этого сока превращает человека в зомби.

Назавтра, когда мы возвращаемся из школы, цветочных обедов у тропы уже нет. Возможно, их раскидали мальчишки, они любят разрушать всякие такие вещи; а может, те самые мужчи-

ны, притаившиеся в овраге. Но Корделия делает большие глаза, понижает голос и озирается через плечо:

— Это покойники. Кто же еще?

15

Когда звонит колокольчик у входа в школу, мы выстраиваемся парами перед входом с надписью «Девочки» и беремся за руки: мы с Кэрол впереди, а Грейс с Корделией где-то сзади, потому что они на класс старше. Я вижу брата, он в голове колонны мальчиков. Во время перемен он исчезает на дворе мальчиков, там ему на прошлой неделе, при игре в футбол, разбили губу так, что пришлось зашивать. Я рассмотрела стежки вблизи — черные нитки, окруженные распухшим, фиолетовым. Я выразила должное восхищение. Я знаю, что у мальчишек ранения считаются признаком особой доблести.

Теперь, когда я снова ношу юбки вместо брюк, я вынуждена вспоминать, как в них ходят. Нельзя сидеть с расставленными ногами, подпрыгивать слишком высоко, висеть вниз головой, а то подвергнешься осмеянию. Мне пришлось заново усвоить, насколько важно нижнее белье. У него есть собственный гимн:

Тут и там я побывал,
Труселя твои видал.

Или:

Правила по барабану,
Я трусы носить не стану.

Так декламируют мальчишки, корча при этом обезьяньи рожи.

Мы много рассуждаем о нижнем белье, особенно о нижнем белье учителей; точнее, только учительниц. Мужское нижнее белье совсем не занимает нас. К тому же учителей-мужчин очень мало, и они в большинстве своем пожилые; молодых нет — их съела война. Учительницы в основном старше определенного возраста и притом не замужем. Замужним женщинам работать не положено, это мы знаем от собственных матерей. Немолодые незамужние женщины считаются чем-то странным, подлежащим осмеянию.

На переменах Корделия распределяет нижнее белье: мисс Пиджен, толстой и слащавой, — сиреневое с оборочками; мисс Стюарт — в шотландскую клетку и с кружевами по краям, как ее носовые платки; мисс Хэтчетт, ей за шестьдесят и она носит гранатовые броши, — алые атласные

панталоны. Мы не верим, что они в самом деле что-то такое носят, но сами эти мысли доставляют нам злобную радость.

Мою учительницу зовут мисс Ламли. Рассказывают, что каждое утро перед звонком, даже поздней весной, когда уже совсем тепло, она идет в конец класса и снимает рейтузы. Говорят, эти рейтузы темно-синие, из толстой шерсти, издающие запах нафталина и других, более трудноопределимых вещей. Это не слухи и не часть фантазий про нижнее белье учительниц, а факт. Несколько девочек утверждают: когда их в наказание оставили после уроков, они видели, как мисс Ламли снова надевала рейтузы. А другие говорят, что видели эти рейтузы, висящие в чулане. Аура темных, загадочных, отвратительных рейтуз окружает мисс Ламли и окрашивает воздух, в котором она движется. От этого мисс Ламли устрашает еще больше; впрочем, она и без того грозна.

В прошлом году моя учительница была добрая, но настолько непримечательная, что Корделия даже не упомянула ее, когда придумывала учителям панталоны. Лицо у прошлогодней учительницы было как белая булка, кожа цвета бланманже, и она управляла учениками, подли-

зываясь к ним. Власть мисс Ламли держится на страхе. У нее короткое, прямоугольное тело, так что ее железно-серый кардиган спадает с плеч на бедра совершенно прямо, не делая изгиба на талии. Мисс Ламли всегда ходит в этой кофте и в одной из темных юбок — не может же это быть все время одна и та же юбка. У мисс Ламли очки в стальной оправе, за которыми не разглядеть глаз, черные туфли на каблуках и едва заметная безгубая улыбка. Мисс Ламли не посылает учеников к директору для наказания, а наказывает их сама. Она велит выйти к доске и вытянуть руку перед собой, держа ладонь ровно, и бьет черным резиновым ремнем — резкими, быстрыми, деловитыми взмахами, дрожа побелевшим лицом, а мы смотрим, морщась, и наши глаза наполняются невольными слезами. Кое-кто из девочек начинает всхлипывать, но этого делать не стоит: мисс Ламли ненавидит хлюпанье и вполне может сказать: «Сейчас у тебя будет из-за чего реветь». Мы научились сидеть выпрямившись, глядя прямо перед собой, с ничего не выражающими лицами, поставив обе ступни на пол, и слушать удары резины по содрогающейся плоти.

Бьют в основном мальчиков. Считается, что им это нужнее. К тому же они ерзают, особенно во

время уроков шитья. Мы шьем прихватки для горячего, которые потом подарим своим матерям. Мальчики, похоже, неспособны к этому занятию: они шьют большими кривыми стежками и к тому же тычут друг в друга иголками. Мисс Ламли патрулирует проходы между партами и бьет провинившихся линейкой по костяшкам пальцев.

Классная комната — с высоким потолком, желто-коричневая, с доской в передней части, другой доской по всей длине одной стены и высокими узкими окнами с мелким остеклением в противоположной стене. Под окнами расположены батареи. Над дверью в чулан висит большая фотография короля и королевы, и поэтому кажется, что тебе все время кто-то смотрит в спину. Король увешан медалями, королева — в белом бальном платье и тиаре с бриллиантами. Высокие деревянные парты на двоих — с наклонной крышкой и дырками для чернильниц — стоят рядами. Наша классная комната ничем не отличается от других классов в школе имени королевы Марии, но она кажется темнее, возможно — потому, что скудней украшена. Наша прежняя учительница в числе прочих попыток подлизаться к ученикам приносила в школу бумажные кружевные салфеточки, и ее окна вечно кишели бумажной

растительностью. Мисс Ламли тоже отмечает смену времен года и череду праздников, но растения, произведенные нами под сверкающим взглядом ее очков в стальной оправе, выходят какими-то чахлыми, малорослыми, так что их никогда не хватает на голые пространства стен и окон. Кроме того, если осенний лист или тыква получились несимметричные, мисс Ламли ни за что не согласится их выставить. Она очень требовательна.

В этом году у нас гораздо больше всего британского, чем в прошлом. Мы учимся рисовать британский флаг с помощью линейки и запоминаем, как выглядят разные кресты — святого Георгия Английского, святого Патрика Ирландского, святого Андрея Шотландского, святого Давида Валлийского. Наш собственный флаг — красный, с «Юнион-джеком» в уголке, но своего святого у Канады нет. Нас учат называть все розовые части на карте.

«Солнце никогда не заходит над Британской империей», — говорит мисс Ламли, тыча в развернутую карту длинной деревянной указкой. В странах, которые не принадлежат к Британской империи, детям отрезают языки, особенно мальчикам. До прихода Британской империи в Индии

не было ни железных дорог, ни почты, в Африке пылали межплеменные войны, там сражались копьями и не умели как следует одеваться. У канадских индейцев не было колеса и телефонной связи, и они ели сердца своих врагов в языческом заблуждении, что это придаст им храбрости. Британская империя все изменила. Она принесла народам электрификацию.

Каждое утро мисс Ламли выдувает из камертона-дудки металлическую ноту, мы встаем и поем «Боже, храни короля». Еще мы поем:

Правь, Британия, Британия, правь волнами,

Британцы никогда не будут рабами!

Поскольку и мы британцы, мы тоже никогда не будем рабами. Но мы не настоящие британцы, потому что мы еще и канадцы. Это немного хуже, хотя и у нас есть своя песня:

Во время оно храбрый Вольф

Пришел с Британских островов

И флаг британский водрузил

Среди канадских берегов.

Вот наша гордость, славный флаг,

Как птица, рвется ввысь.

На нем британских три цветка
Сплелись в кленовый лист.

Когда мы это поем, у мисс Ламли устрашающе дрожит челюсть. Имя Вольф звучит как кличка собаки, но именно он разбил французов. Это меня удивляет; я видела французов, на севере их много, так что он никак не мог разбить их всех. Что же до кленового листа, эту часть канадского флага рисовать труднее всего. Он ни у кого не выходит правильно.

Мисс Ламли приносит газетные вырезки про королевскую семью и приклеивает на боковую доску. Некоторые вырезки — старые, на фото изображены принцесса Элизабет и принцесса Маргарет Роз в форме герл-гайдов, а в статьях рассказывается, как они произносили речи по радио и перед народом во время Битвы за Британию. Такими должны быть и мы, внушает нам мисс Ламли: стойкими, верными, храбрыми, способными на подвиг.

Она приносит и другие вырезки, с фотографиями худых оборванных детей на фоне развалин. Эти статьи должны напоминать нам о том, что в Европе после войны множество голодающих сирот и мы должны доедать все корки хлеба и

шкурки картофеля, и вообще все, что у нас на тарелке, потому что выбрасывать еду — это грех. И еще мы не должны жаловаться. У нас вообще нет причин жаловаться, потому что нам очень повезло: дома английских детей бомбили, а наши — нет. Мы приносим из дома старую одежду, и мисс Ламли заворачивает ее в оберточную бумагу и отсылает в Англию. Я мало что могу принести, поскольку моя мать рвет ношеное на тряпки для уборки, но мне удается спасти вельветовые брюки, которые когда-то носил брат, потом я, а теперь они малы и мне, и отцовскую рубашку марки «Вийелла», севшую от неправильной стирки. У меня странное ощущение пробегает по коже, когда я думаю, что кто-то, где-то в Англии, сейчас ходит в моей одежде. Моя одежда кажется частью меня самой, даже та, из которой я выросла.

Все это — флаги, гимны под камертон-дудку, Британская империя, принцессы, военные сироты, даже порка — существует на незримом фоне зловещих темно-синих рейтуз мисс Ламли. Я не могу не думать о них, рисуя британский флаг или исполняя «Боже, храни короля». Существуют они на самом деле или нет? Удастся ли мне когда-нибудь оказаться в классе в тот момент, когда она их надевает, или — еще более немыслимо

— снимает?

Я не боюсь ни червяков, ни змей, но боюсь этих рейтуз. Я знаю, если когда-нибудь их увижу, все станет только хуже. Они неприкосновенны, они одновременно святы и глубоко позорны. Возможно, что таящаяся в них гибель суждена и мне: хотя мисс Ламли, конечно, не девочка, но мальчиком ее точно не назовешь. Когда звенит медный колокольчик и мы выстраиваемся у двери с надписью «Девочки», категория, к которой мы принадлежим, включает и ее.

IV. Ядовитый паслён

16

Я иду по Куин-стрит мимо магазинов, торгующих подержанными комиксами, витрин с хрустальными яйцами и морскими ракушками, обилием томной черной одежды. Мне хочется оказаться снова в Ванкувере, сидеть с Беном у камина, смотреть в окно на гавань, пока в огороде за домом гигантские слизняки жуют нашу зелень. Камины и огороды за домом; я вообще не думала о них, когда приходила сюда в гости к Джону — в мастерскую на втором этаже, над оптовой торговлей чемоданами. За углом была таверна «Кленовый лист», где я пила разливное пиво, а в двух кварталах отсюда — художественная школа, где я рисовала голых женщин и ела себя поедом. От проезжающих трамваев дребезжали стекла в окнах. Трамваи до сих пор ходят по этой улице.

— Я не хочу ехать, — сказала я Бену.

— Так не езди, — ответил он. — Отмени всё. Поедем в Мексику.

— Но они уже столько сделали. Ты знаешь, как трудно женщине добиться ретроспективной

выставки?

— Какая разница? Твои картины и так продаются.

— Мне нужно ехать, — сказала я. — Иначе будет неправильно.

Меня приучили обязательно говорить «спасибо» и «пожалуйста».

— Ну ладно. Ты знаешь, что делаешь, — он обнял меня.

О, если бы это было в самом деле так!

Вот «Ди-Версия» — между фирмой, снабжающей рестораны припасами, и татуировочным салоном. Дни той и другого сочтены: стоит заведениям вроде «Ди-Версии» появиться в округе, и считай, роковая надпись уже проступает на стене.

Я открываю дверь галереи и вхожу. Сердце у меня падает в пятки, как всегда в галереях. Все дело в коврах, тишине, общей атмосфере фарисейства; галереи слишком похожи на церкви, здесь слишком много благоговения, так и кажется, что посетителям следует преклонять колени. И еще мне не нравится, что мои картины оказались тут — на стенах нейтральных тонов, под рельсовыми светильниками, стерилизованные, выхолощен-

ные, доведенные до приемлемости. Словно кто-то обрызгал картины освежителем воздуха, чтобы заглушить запах. Запах крови на стенах.

Эта галерея не совсем выхолощена, кое-где попадаются остромодные штрихи: торчит наружу труба отопления, одна стена черная. Я не удостаиваю взглядом картины, которые еще не убраны: я ненавижу эти неоэкспрессионистские грязно-зеленые и гниющие оранжевые цвета, пост-то, пост-это. Нынче на всё лепят этикетки «пост-что-нибудь», словно все, что мы делаем, — лишь комментарий к чему-то более раннему, более важному, заслужившему собственное имя.

Несколько моих работ уже распакованы и стоят у стен. Пришлось проследить их судьбу, списаться с владельцами, затребовать у них картины взаймы. Владельцы — не я; и очень жаль, потому что сегодня мне дали бы за мои работы куда лучшую цену. Имя владельца будет значиться на белой карточке на стене рядом с каждой картиной, вместе с моим именем, словно владеть картиной — так же важно, как ее создать. Впрочем, они думают, что так оно и есть.

Если я отрежу себе ухо, подорожают ли мои работы? А еще лучше — сунуть голову в духовку или застрелиться. Богатые коллекционеры любят,

приобретая произведение искусства, прикупить вместе с ним капельку чужого безумия.

Лицом ко мне стоит картина двадцатилетней давности: миссис Смиитт, отлично выписанная яичной темперой, с седой короной, закрепленной шпильками, лицом-картошкой, в очках, совершенно голая, если не считать фартука в цветочек с нагрудником, под которым скрывается одна большая сплошная грудь вместо двух. Миссис Смиитт возлежит на бордовом бархатном диване, возносясь в небеса, заросшие фикусами, а в небе плавает луна в форме кружевной салфетки. Картина называется «Фикус: Вознесение». Ангелы, реющие вокруг, — это рождественские наклейки сороковых годов, маленькие девочки в кипенно-белом, раскудрявленные папильотками. Слово «Небеса» написано в верхней части картины буквами из школьного трафарета. Тогда мне казалось, что это остроумно.

Я помню, что мне сильно досталось за эту картину, но не из-за трафаретной надписи.

Я отрываюсь от картины — я стараюсь не смотреть подолгу на свои работы. А то начну находить в них изъяны. И тогда мне захочется схватить нож для бумаги и порезать их, сжечь, ободрать стены. Начать с чистого листа.

Из глубины галереи ко мне идет женщина — блондинистая стрижка иголочками, фиолетовый тренировочный костюм и зеленые кожаные ботинки. Я тут же понимаю, что зря надела свой голубой. Это слишком легковесно. Надо было одеться в монашеский черный, цвет Дракулы, как ходят все приличные женщины-живописцы. Помада цвета крови, засохшей на шее, вместо позорно-трусливого «Розового совершенства». Но тогда я точно выглядела бы как Старая Халда. В моем возрасте лиловые оттенки просто убийственны для цвета лица. Я была бы вся белая и морщинистая.

Но я сблефую с этим костюмом. Притворюсь, что я это нарочно. Почем они знают — может, это я так ниспровергаю устои. Пастельно-голубой тренировочный костюм ни на что не претендует. Когда не гонишься за модой, то модно выглядеть не будешь, но при этом с гарантией не окажешься одетой по моде прошлого года. Этими словами я оправдываю и свои картины; во всяком случае, оправдывала их много лет.

— Здравствуйте! — восклицает женщина. — Вы, должно быть, Элейн! Вы совсем не похожи на свою фотографию.

Что это значит? Что я выгляжу лучше или

хуже?

— Мы с вами много говорили по телефону. Меня зовут Чарна.

Раньше в Торонто не было людей по имени Чарна. Мою руку давят в тисках — у этой женщины не меньше десятка тяжелых серебряных колец на пальцах, словно кастет.

— Мы как раз задумались, в каком порядке развешивать.

Появляются еще две женщины. Каждая на вид впятеро артистичней меня. У них серьги с произведениями абстрактного искусства и затейливые прически. Я чувствую себя провинциальной простушкой.

Они заказывают доставку гурманских сэндвичей из авокадо с пророщенными зернами и кофе с молочной пеной, и мы едим и пьем, обсуждая, в каком порядке развесить картины. Я говорю, что предпочитаю хронологический порядок, но у Чарны другие идеи, она хочет, чтобы вещи сочетались между собой в тональности, резонировали и становились высказываниями, взаимно усиливающими друг друга. Я начинаю нервничать — от таких разговоров меня всегда трясет. Я делаю усилие, чтобы молчать, подавляю в себе желание сослаться на головную боль и уехать

домой. Мне следовало бы быть благодарной — эти женщины мои союзницы, они запланировали всё мероприятие, они оказывают мне честь, им нравятся мои работы. Но все равно я чувствую, что меня превосходят числом, словно они принадлежат к иному биологическому виду.

Завтра возвращается Джон. Из Лос-Анджелеса, после убийства бензопилой. Я жду не дождусь. Мы за спиной его жены пойдем обедать вместе, и оба будем чувствовать себя коварными хитрецами. Но ведь это простая вежливость — пойти обедать с бывшим мужем по-товарищески; мирный финал после битой посуды и общего хаоса. Мы знаем друг друга с незапамятных времен; в моем возрасте, в нашем возрасте это важно. С того места, где я сейчас сижу, обед с Джоном выглядит как облегчение.

В галерею кто-то входит. Еще одна женщина.

— Андреа! — восклицает Чарна, подкрадываясь к ней. — Ты опоздала!

Она целует Андреа в щеку и подводит ко мне, держа за руку:

— Андреа хочет сделать о вас статью по случаю открытия выставки.

— Мне не сказали, — я чувствую, что на меня бросились из засады.

— Это выяснилось в последний момент, — объясняет Чарна. — Нам повезло! Я вас двоих посажу в заднюю комнату, хорошо? Принесу вам кофе. Это поможет раструбить по свету, как говорится.

Последняя фраза и кривая улыбка обращены ко мне. Я позволяю уволочь себя по коридору. Такие женщины, как Чарна, все еще имеют надо мной власть.

— Я вас по-другому представляла, — говорит Андреа, пока мы усаживаемся.

— Как именно?

— Крупнее.

— А я и есть крупнее, — улыбаюсь я.

Андреа разглядывает мой пастельно-голубой тренировочный костюм. Сама она в черном — одобренном, гламурном черном, а не в обноске шестидесятых вроде моего выставочного платья. Волосы у нее красные, явно и совершенно беззастенчиво крашенные спреем, стриженные шапочкой, как у желудя. Она расстраивает меня своей молодостью: она кажется мне подростком, хоть я и понимаю, что ей должно быть двадцать с чем-то. А она, видимо, считает меня немолодым чучелом с заскоками, вроде своей школьной учительницы. Скорее всего, она хочет хорошенько оттоптаться на мне в своей статье. Скорее всего,

ей это удастся.

Мы сидим напротив друг друга за письменным столом Чарны. Андреа ставит на стол фотоаппарат и во- зится с диктофоном. Она журналист в газете.

— Это для раздела «Жизнь», — говорит она. Я знаю, что скрывает под собой это название. Раньше этот раздел назывался «Для женщин». Забавно, что теперь он называется «Жизнь», как будто жизнь интересует только женщин, а другие разделы, например, спортивный, посвящены смерти.

— «Жизнь», говорите? У меня двое детей. Я пеку печенье.

Все это правда. Андреа злобно смотрит на меня и щелкает диктофоном.

— Как вы переносите славу? — спрашивает она.

— Это разве слава, — отвечаю я. — Декольте Элизабет Тейлор — вот это слава. А я — лишь прыщик на газетном листе.

Она ухмыляется:

— Ну хорошо, может быть, вы что-нибудь скажете о своем поколении художников… художниц, об их устремлениях, их целях?

— Вы имеете в виду живописцев. О каком поко-

лении мы говорим?

— Ну, наверно, о поколении семидесятых. Именно тогда женщины… Тогда ваше творчество начало привлекать к себе внимание.

— Мое поколение — это не семидесятые, — говорю я.

Она улыбается:

— Ну ладно, а какое тогда?

— Сороковые.

— Сороковые? — для нее это все равно что античная археология. — Но тогда вы еще не…

— Я росла в сороковые, — объясняю я.

— А, понятно. Вы имеете в виду, что сороковые годы оказали на вас формирующее влияние. Вы не могли бы рассказать, как это отразилось в вашем творчестве?

— Цвета. Цвета в моих работах — это гамма сороковых годов. — Я начинаю смягчаться. Она хотя бы не говорит постоянно «типа» и «это». — Война. Есть люди, которые помнят войну, и те, которые не помнят. Это — точка водораздела, здесь проходит граница.

— Вы имеете в виду войну во Вьетнаме? — уточняет она.

— Нет, — холодно отвечаю я. — Вторую мировую.

Она слегка пугается, будто я только что воскресла из мертвых, причем не до конца. Она не знала, что я *настолько* стара.

— Итак, — говорит она. — В чем же разница?

— У нас выше устойчивость внимания. Мы доедаем всё, что нам положили на тарелку. Мы сохраняем веревочки. Мы обходимся тем, что есть.

Она удивлена. Я сказала о сороковых всё, что хотела. Я начинаю потеть. Я чувствую себя как у зубного врача, сижу с некрасиво открытым ртом, пока незнакомец с фонариком и зеркалом разглядывает у меня во рту что-то не видное мне самой.

Она бодро и ловко разворачивает беседу от войны опять на женский вопрос, который и интересует ее в первую очередь. Труднее ли приходится женщине, подвергалась ли я дискриминации, недооценивали ли меня? Как совмещать творчество и детей? Мои ответы ей нисколько не помогают: все художники считают, что их недооценивают. Можно рисовать, пока дети в школе. Мой муж просто замечательный, он меня всячески поддерживает, в том числе финансово. (Я не уточняю, какой по счету муж.)

— Значит, вы не считаете, что пользоваться поддержкой мужчины — это унизительно? —

спрашивает она.

— Женщины все время поддерживают мужчин. Что плохого, если в кои-то веки поддержка пойдет в другую сторону?

Мои слова не совсем соответствуют тому, что она хочет услышать. Она предпочла бы возмутительные истории. Хотя в ее жизни наверняка ничего такого не было — она слишком молода. И все же людям моего возраста положено иметь в запасе возмутительные истории. Хотя бы оскорбления, унижения. Учителя-мужчины, щиплющие учениц, называющие их «детка», спрашивающие, почему не было великих художников среди женщин, и все такое. Она хотела бы видеть меня разгневанной и старомодной.

— А у вас были женщины-наставники? — спрашивает она.

— Женщины — кто?

— Ну, учительницы или другие женщины-художницы, чьим творчеством вы восхищались.

— А разве не следует говорить «наставницы»? — зловредно подмечаю я. — Нет, не было. Я училась у мужчины.

— Кто это был?

— Его звали Иосиф Хрбик. Он был очень добр ко мне, — торопливо добавляю я. Его история

отлично уложилась бы в ее схему, но этого я ей рассказывать не собираюсь. — Он научил меня рисовать голых женщин.

Это выбивает ее из колеи:

— А как же… ну, знаете… феминизм? Ваше творчество многие считают феминистическим.

— Действительно, а как же феминизм. Я терпеть не могу ходить строем. Я не люблю, когда меня загоняют в гетто. И вообще, я слишком стара для изобретательницы феминизма, а вы слишком молоды, чтобы его как следует понимать.

— Значит, для вас эта терминология лишена смысла?

— Мне приятно, когда женщинам нравятся мои работы. Разве это не естественно?

— А мужчинам нравятся ваши работы? — коварно спрашивает она. Она явно подготовилась к этому интервью, знает мои картины с ведьмами и суккубами.

— Каким именно мужчинам? Мои работы нравятся не всем. Но не потому, что я женщина. Если кому-то не нравятся работы художника-мужчины, это не потому, что он мужчина. Они им просто не нравятся.

Я ступила на зыбкую почву, и меня это бесит. Голос у меня спокойный, но кофе кипит внутри.

Она хмурится, возится с диктофоном:

— Тогда зачем вы все время рисуете женщин?

— А кого мне рисовать, мужчин? Я живописец. Живописцы изображают женщин. Рубенс писал женщин. Ренуар писал женщин. Пикассо писал женщин. Все пишут женщин. Разве писать женщин — это что-то плохое?

— Но не так же, — говорит она.

— Как «так»? И вообще, почему мои женщины должны быть похожи на чьих-то еще?

Я ловлю себя на том, что ковыряю кожу на пальцах, и прекращаю. Еще минута — и у меня застучат зубы, как у мышей, загнанных в угол. Ее голос куда-то удаляется, я ее едва слышу. Но вижу предельно четко: рубчики на воротнике свитера, пушковые волоски на щеке, блеск пуговицы. Я слышу то, чего она не говорит вслух: «Ты одета, как чучело. Твои работы — говно. Сиди прямо, не сутулься и не смей дерзить».

— Зачем вы пишете картины? — спрашивает она, и я снова слышу ее абсолютно отчетливо. Слышу, как она теряет терпение из-за того, что я ей перечу.

— А зачем вообще люди что-то делают? — отвечаю я.

17

Теперь темнеет раньше; по дороге домой из школы мы проходим сквозь дым от горящих листьев. Идет дождь, и нам приходится играть в доме. Мы сидим на полу в комнате Грейс — сидим тихо, потому что у миссис Смиитт больное сердце, — вырезаем скалки и сковородки и клеим их вокруг своих бумажных дам.

Но Корделия быстро разбирается с этой игрой. Она догадывается, почти мгновенно, отчего у Грейс дома столько каталогов «Итона». Это потому, что Смиитты, вся семья, так покупают одежду — заказывают по итоновскому каталогу. Вот они все в разделе «Одежда для девочек» — клетчатые платья, юбки на лямках, зимние пальтишки, в которых ходят Грейс и ее сестры, из негнущегося, ноского сукна, с капюшонами, цветов «ирландский зеленый», «королевский синий» и «бордо». Корделия дает понять, что сама в жизни не надела бы пальто из итоновского каталога. Впрочем, явно она этого не говорит. Как и все мы, она хочет быть на хорошем счету у Грейс.

Она проскакивает кухонные принадлежности, листает страницы. Переходит к лифчикам, затейливо кружевным корсетам с эластичны-

ми вставками — «корректирующее белье», как это называется в каталоге, — и подрисовывает моделям усы. Модели выглядят так, словно их покрыли тонким слоем бежевой штукатурки. Корделия прибавляет им волос — под мышками, между грудями. Она читает вслух описания, фыркая от подавляемого смеха: «”Прелестная отделка тонким кружевом, с дополнительной поддержкой для зрелой фигуры”. Это значит — для больших буферов. Посмотрите, что тут написано — размер *чашечки*! Как чайные чашки!»

Груди завораживают Корделию и в то же время кажутся ей омерзительными. У ее старших сестер груди уже выросли. Утра и Мира сидят у себя в спальне, где две одинаковые кровати и все в муслиновых оборочках, подпиливают ногти и тихо смеются; или греют на кухне коричневый воск в кастрюльке и уносят к себе наверх, чтобы намазать на ноги. Они смотрятся в зеркало и делают унылые лица: «Я выгляжу как Старая Халда! У меня эти дела!» Из их корзинок для мусора пахнет умирающими цветами.

Сестры говорят Корделии, что ей кое-каких вещей не понять, она еще мала, а потом все равно ей про это рассказывают. Корделия открывает нам истину, понизив голос и округлив глаза: «эти

дела» — это когда между ног идет кровь. Мы ей не верим. Она приносит вещественное доказательство: прокладку, стянутую из Утриной корзинки для мусора. На прокладке — бурая корка, вроде засохшей мясной подливки. «Это не кровь», — с отвращением говорит Грейс, и она права, это совершенно не похоже на то, что бывает, когда порежешь палец. Корделия негодует. Но доказать ничего не может.

Я до сих пор не думала о телах взрослых женщин. Но теперь они открываются в новом, пугающем свете: чуждые и гротескные, волосатые, пухлые, чудовищные. Мы околачиваемся вокруг комнаты, где Утра и Мира сдирают с ног восковые слои; они повизгивают от боли, а мы пытаемся подсмотреть через замочную скважину и хихикаем. Мы их стесняемся, непонятно почему. Они знают, что мы над ними смеемся, и выглядывают, чтобы прогнать нас. «Корделия, а не пошла бы ты к черту вместе со своими подружками!» Они улыбаются чуть зловеще, словно зная, что ждет нас в будущем. «Вот погодите, сами увидите», — говорят они.

Это пугает. То, что случилось с ними — то, отчего они разбухают, размякают, ходят шагом, когда раньше бегали. Им будто надели на шею

невидимый поводок и держат в узде — и то же самое может случиться и с нами. Мы незаметно рассматриваем груди встречных женщин на улице, груди наших учительниц; только не наших матерей, это слишком близко и потому пугает. Мы рассматриваем свои подмышки и ноги — не пробиваются ли там пучки волос; грудную клетку — нет ли внезапных выпуклостей. Но пока ничего не происходит. Пока что мы в безопасности.

Корделия доходит до последних страниц каталога, где картинки черно-белые. Костыли, бандажи и протезы. ««Грудной насос», — говорит она. — Видите? Это чтобы надувать сиськи, как велосипедные шины, чтобы они стали больше». И мы не знаем, верить ей или нет.

У своих матерей мы спросить не можем. Нам немыслимо вообразить их без одежды, вообще думать о том, что у них под платьем есть какое-то тело. Они о многом умалчивают. Между нами и ними — пролив, пропасть, такая глубокая, что дна не разглядеть. Ее заполняет немота. Матери заворачивают свои отходы в несколько слоев газеты и перевязывают веревочкой, и все равно капают на только что натертый воском пол. Их бельевые веревки провисают под тяжестью трусов, ночных рубашек, носков, выставляя напоказ

личное, запачканное — все, что они выстирали и выполоскали, погружая руки в серую с хлопьями воду. Они все знают о ершиках для чистки унитаза, о сиденьях унитаза, о микробах. Мир полон грязи, сколько ни убирай, и мы знаем, что матери не обрадуются нашим грязным вопросикам. Так что вместо этого мы шушукаемся между собой, и слухи перелетают от одной девочки к другой, становясь все ужаснее.

Корделия говорит, что у мужчин есть морковки между ног. На самом деле это не морковки, а нечто гораздо худшее. Они покрыты волосами. Из кончика выходят семена, попадают к женщинам в животы и там превращаются в детей, хочешь — не хочешь. Некоторые мужчины прокалывают свои морковки и вставляют в них кольца, словно в уши.

Корделия не очень четко объясняет, как семена выходят наружу и как они выглядят. Она говорит, что они невидимые, но мне не верится. Если эти семена вообще существуют, они должны быть похожи на птичий корм или на семена морковки, длинные и тонкие. И еще Корделия не может объяснить, как эту морковку засовывают в женщину, чтобы посадить в нее семена. Очевидный кандидат — пупок, но тогда там должен остаться разрыв

или разрез. Вся ее теория весьма сомнительна, а гипотеза, что мы сами появились на свет в результате подобного акта, вызывает возмущение. Я думаю о кроватях, в которых все это предположительно происходит: кровати-близнецы в доме Кэрол, всегда такие аккуратные, элегантное ложе с балдахином у Корделии, темная кровать цвета красного дерева у Грейс, непоколебимо респектабельная под вязаным покрывалом и многослойными одеялами. Такие кровати уже сами по себе — опровержение возмутительной теории, достойный отпор. Я представляю себе мать Кэрол с ехидной улыбкой на губах, миссис Смиитт в пришпиленной короне седеющих кос. Они бы поджали губы, выпрямились с достоинством. Они бы такого не допустили.

«Детей посылает Бог», — говорит наконец Грейс, веско, как она умеет, давая понять, что диспут окончен. Она улыбается застегнутой на все пуговицы, презрительной улыбкой, и мы приободряемся. Лучше, чтобы дети получались от Бога, а не от нас.

Но у меня свои сомнения. В частности, я многое знаю. Я знаю, что эта штука называется не морковкой. Я видела, как стрекозы и жуки летают, сцепившись, забравшись один на другого. Я знаю,

что это называется «спаривание». Я знаю про яйцеклады, которыми насекомые откладывают яйца — на листьях, на гусеницах, на поверхности воды; они отчетливо изображены и подписаны на рисунках, которые отец приносит домой для правки. Я знаю о существовании муравьиных маток и о том, что самки богомола съедают самцов. Но пользы мне от этого никакой. Я представляю себе мистера и миссис Смиитт — голых, в чем мать родила, и мистер Смиитт залезает на спину миссис Смиитт и сцепляется с ней. Картина совершенно неправдоподобная, даже за вычетом полета.

Я могу спросить у брата. Но, хотя мы с ним вместе разглядывали под микроскопом болячки и межпальцевую грязь, хотя нас не пугают бычьи глаза, рыбьи потроха и все, что можно найти под корягой, спросить его о таком будет неделикатно и, может быть, даже болезненно. Я вспоминаю слово «ЮПИТЕР», выведенное на песке угловатым почерком — ловким лишним пальцем. Если верить Корделии, этот палец в конце концов покроется волосами. Может, брат об этом не знает.

Корделия говорит, что мальчишки, когда целуются, суют язык девочке в рот. Не те мальчишки, которых мы знаем, а другие, постарше. Она это

говорит таким же тоном, каким мой брат произносит в присутствии Кэрол «жучиный сок» или «сопли», и Кэрол реагирует точно так же — так же морщит нос и передергивается. Грейс говорит, что Корделия вызывает отвращение.

Я представляю себе плевки, которые иногда попадаются на тротуарах в центре города; и коровьи языки в мясных лавках. Зачем это делают, с какой стати засовывают язык в чужой рот? Конечно, чтобы вызвать отвращение. Чтобы посмотреть, что ты сделаешь в ответ.

18

Я поднимаюсь из подвала по ступеням, к которым прибиты черные резинки. Миссис Смиитт стоит у кухонной раковины в своем обычном фартуке с нагрудником. Она закончила отдыхать и теперь стоит, готовит ужин. Она чистит картошку; она часто чистит то одно, то другое. Шелуха спадает из ее крупных костистых рук длинной бледной спиралью. Нож для чистки, который использует миссис Смиитт, так сточился, что лезвие превратилось в тоненький полумесяц. Кухня наполнена паром, в ней пахнет костным мозгом и тушеным мясом.

Миссис Смиитт поворачивается и смотрит на

меня, в левой руке у нее очищенная картофелина, а в правой нож. Она улыбается:

— Грейс говорит, что ваша семья не ходит в церковь. Может быть, ты захочешь как-нибудь пойти с нами. В нашу церковь.

— Да, — подхватывает Грейс, которая поднялась за мной из подвала. И мне нравится то, что они предлагают. Воскресным утром Грейс будет только моя, мне не придется делить ее с Кэрол или Корделией. Грейс по-прежнему самая желанная из всех нас, мы все хотим заполучить ее себе.

Когда я рассказываю родителям, они начинают беспокоиться.

— Ты точно хочешь пойти? — спрашивает мать. Она говорит, что в детстве ее заставляли ходить в церковь, хотела она того или нет. Ее отец был очень строгий. Ей не разрешали свистеть по воскресеньям. — Ты уверена?

Отец говорит, что он против промывания мозгов детям. Когда вырастут, сами решат насчет религии, которая, кстати, как он считает, несет ответственность за кучу войн и кровопролитий, а также ханжества и нетерпимости.

— Каждый образованный человек обязан знать Библию. Но тебе только восемь лет.

— Почти девять, — поправляю я.

— Ну что ж, — говорит отец. — Не верь всему подряд, что там будут рассказывать.

В воскресенье я надеваю одежду, которую мы с матерью выбрали вместе — шерстяное платье в темно-синюю и зеленую клетку, белые рубчатые чулки, которые подвязками прикрепляются на жесткий белый хлопчатобумажный пояс. У меня стало больше платьев, но я, в отличие от Кэрол, не хожу с матерью покупать наряды. Моя мать терпеть не может ходить по магазинам. Шить она тоже не умеет. Мои вещи — с чужого плеча, их отдает нам какая-то подруга матери, у которой дочь крупнее меня. Все ее платья сидят на мне плохо: у одного подол провисает, у другого рукава сборят под мышками. Мне кажется, что с платьями так и должно быть. Белые чулки, впрочем, куплены, и от них тело чешется даже сильнее, чем от коричневых, которые я ношу в школу.

Я вытаскиваю из красной пластиковой сумочки свой стеклянный шарик, синий «кошачий глаз», и перекладываю его в ящик письменного стола, а в сумочку кладу пятицентовик, который мать дала мне на пожертвование. Я иду по изрытым улицам к дому Грейс. На ногах у меня туфли — для сапог еще не сезон. Я звоню, и Грейс открывает. Должно быть, она меня ждала. На ней тоже

платье и белые чулки, а в косах — темно-синие банты. Она оглядывает меня с ног до головы:

— У нее нет шляпки!

Миссис Смиитт, стоящая в прихожей, рассматривает меня так, словно я сиротка, подкинутая ей на порог. Она посылает Грейс наверх на поиски головного убора, и Грейс приносит старую темно-синюю бархатную шляпку с резинкой под подбородок. Она мне мала, но миссис Смиитт говорит, что на этот раз сойдет.

— В нашу церковь не ходят с непокрытой головой, — говорит она. Она делает упор на слове «нашу», словно подчеркивая, что есть на свете и другие церкви, более низкого ранга, простоволосые.

У миссис Смиитт есть сестра, которая тоже идет с нами в церковь. Ее зовут тетя Милдред. Она старше миссис Смиитт и работала миссионером в Китае. У нее такие же красные руки с выпирающими костяшками, такие же очки в железной оправе, такие же косы короной, как у миссис Смиитт, только совсем седые, и волосы на лице тоже седые, и их больше. Обе женщины в шляпках, похожих на кое-как перевязанные свертки фетровых лоскутов с торчащими в разные стороны углами. Я видела такие шляпы в каталогах

«Итона» несколько лет назад, но там их носили модели с гладкими волосами, высокими скулами и блестящими темно-розовыми ртами. На миссис Смиитт и ее сестре эти шляпы смотрятся немного по-другому.

Когда все Смиитты надевают пальто и шляпы, мы залезаем в их машину: миссис Смиитт и тетя Милдред впереди, а я, Грейс и ее две младшие сестры сзади. Хотя я все еще боготворю Грейс, в моем обожании нет ничего физического, и мне неловко, что меня так сильно прижало к ней, когда мы втиснулись вчетвером на заднее сиденье ее машины. Прямо передо мной сидит за рулем мистер Смиитт. Он коротенький, лысый, и мы его почти никогда не видим. Та же история с отцом Кэрол и с отцом Корделии: в повседневной жизни семьи они почти невидимы.

Мы едем по пустым воскресным улицам, следуя на запад вдоль трамвайных путей. Смиитты продышивают весь воздух в машине, и он начинает пахнуть чем-то несвежим, как высохшая слюна. Церковь большая, кирпичная; на крыше вместо креста какая-то штука, похожая по форме на луковицу. Она крутится. Я спрашиваю про это — вдруг оно имеет какое-то религиозное значение, но Грейс говорит, что это просто вентилятор.

Мистер Смиитт паркует машину, мы вылезаем и входим в церковь. Мы садимся в ряд на длинную скамью из темного блестящего дерева. Я впервые в жизни попала в церковь. В ней высокие потолки, а с них свисают на цепях люстры с рожками как цветки вьюнка. Впереди — простой золотой крест и ваза с белыми цветами. Дальше — три витражных окна. В среднем, самом большом, изображен Иисус в белых одеждах, с распростертыми руками, и над ним парит белая птица. Внизу написано толстыми черными библейскими буквами, с точками между словами: «ЦАРСТВО·БОЖИЕ·ВНУТРЬ·ВАС·ЕСТЬ». В левом окне Иисус сидит боком, в розовато-красной одежде, и на его колени облокотились двое детей. Под этой картинкой написано: «ПУСТИТЕ·МАЛЫХ·СИХ». У обоих Иисусов вокруг головы нимб. На окне с другой стороны — женщина в синем, без нимба, лицо ее частично прикрыто белым платком. Она несет корзину и тянется вниз одной рукой. У ее ног сидит мужчина с чем-то вроде бинта на голове. Подпись: «НО·ЛЮБОВЬ·ИЗ·НИХ·БОЛЬШЕ». У всех трех окон — бордюры, на которых вьются винные лозы с гроздями винограда и разными цветами. На улице день, и витражи светятся. Я не могу оторвать

от них глаз.

Тут слышится органная музыка и все встают, и я теряюсь. Я слежу за Грейс — встаю, когда она встаёт, и сажусь, когда она садится. Когда поют, она открывает сборник гимнов и показывает пальцем строку, но я не знаю ни одного мотива. Потом нам приходит пора идти в воскресную школу, так что мы выходим цепочкой вместе со всеми остальными детьми и спускаемся в подвал.

У входа в помещение воскресной школы висит грифельная доска, на которой кто-то написал цветным мелом: «Здесь был Килрой». Рядом нарисован человечек, выглядывающий из-за забора, у него видны только глаза и нос.

Занятия в воскресной школе, так же, как и в обычной, проходят в классах. Только учителя моложе: наша учительница — подросток постарше в голубой шляпке с вуалью. В классе одни девочки. Учительница читает нам библейскую историю про Иосифа и его разно- цветный хитон. Потом она слушает, как девочки декламируют наизусть то, что им надо было выучить к этому уроку. Я сижу, болтая ногами. Я ничего не учила. Учительница улыбается мне и выражает надежду, что я теперь буду приходить каждую неделю.

После этого все классы собираются в один большой зал с рядами серых деревянных скамеек, вроде тех, на которых мы сидим в школе, когда обедаем. Мы рассаживаемся на скамьях, свет гаснет, и на пустую стену в дальнем конце зала начинают проецировать цветные слайды. Это не фотографии, а картины. Они старинные на вид. На первой изображен рыцарь, едущий через лес; он смотрит наверх, на луч света, падающий в просвет между деревьями. Кожа у рыцаря очень белая, глаза большие, как у девочки, а рука прижата к месту, где под латами, похожими на автомобильный бампер, вероятно, находится сердце. Под большим светящимся лицом рыцаря видны настенные выключатели, часть досок, которыми обшиты по низу стены, и угол пианино.

На следующей картине оказывается тот же рыцарь, только поменьше, а под ним написаны слова, которые мы поём под тяжелое буханье аккордов невидимого пианино:

Дай мне сил, Христос Господь,
Искушенья побороть,
Помоги мне чистым быть,
Всей душой Тебя любить.
Муки все претерпевать,

Слабым, бедным помогать.
И спасения искать,
В небеса войти дерзать,
Где пресветлый облик Твой,
Где и счастье, и покой![3]

Я слышу, как рядом со мной, в темноте, поет Грейс — ее голос карабкается всё выше и выше, тоненький и пронзительный, будто птичий. Она знает все слова. Она и заданный ей отрывок из Писания тоже знала наизусть. Когда мы склоняем головы, чтобы помолиться, я чувствую, как меня переполняет благость. Я чувствую, что меня сочли своей, приняли в круг. Бог любит меня, кто бы он ни был.

После воскресной школы мы идем обратно в церковь, на заключительную часть службы, и я кладу свой пятицентовик в тарелку для сборов. Происходит нечто, называемое славословием. Потом мы выходим из церкви, втискиваемся в машину Смииттов, и Грейс осторожно спрашивает:

— Папа, а можно мы поедем посмотрим на поезда?

Младшие девочки с показным энтузиазмом

---

[3] notes: 3
Перевод Т. Боровиковой.

подхватывают:

— Да, да!

— А вы хорошо себя вели? — спрашивает мистер Смиитт, и девочки снова кричат: «Да, да!»

Миссис Смиитт издает неопределенный звук.

— Ну ладно, — говорит мистер Смиитт девочкам. Он ведет машину на юг по пустым улицам, вдоль трамвайных рельсов, мимо одинокого трамвая, похожего на скользящий по воде остров, и наконец мы видим вдали плоское серое озеро, а под собой — мы стоим на краю чего-то вроде невысокого обрыва — плоскую серую равнину, покрытую железнодорожными путями. По этой железной равнине движутся в разные стороны несколько поездов. Поскольку сегодня воскресенье и поскольку наблюдение за поездами — явно привычное воскресное занятие для Смииттов, мне начинает казаться, что железнодорожные пути и сонные, тяжело грохочущие составы имеют какое-то отношение к Богу. Еще мне ясно, что на самом деле посмотреть на поезда хочет вовсе не Грейс и не ее младшие сестры, а сам мистер Смиитт.

Мы сидим в припаркованной машине, глядя на поезда, пока миссис Смиитт не говорит, что обед погибнет. Тогда мы едем обратно в дом Грейс.

Меня приглашают на воскресный обед. Я впервые остаюсь на трапезу у Грейс. Перед едой она ведет меня наверх, помыть руки, и я узнаю еще кое-что про ее семью: здесь разрешают использовать только четыре квадратика туалетной бумаги. Мыло в ванной черное и шершавое. Грейс говорит, что оно дегтярное.

На обед — запеченный окорок, фасоль в томате, запеченный картофель и пюре из тыквы. Мистер Смиитт режет ветчину, миссис Смиитт накладывает гарнир, и тарелки передают по кругу. Я начинаю есть, и младшие сестры Грейс смотрят на меня сквозь очки.

— В нашем доме принято воздавать хвалу перед едой, — говорит тетя Милдред, улыбаясь с напором. Я не понимаю, о чем она. У нас дома принято говорить «Спасибо», когда встаешь из-за стола. Но все Смиитты склоняют головы, складывают ладони вместе, и Грейс произносит:

— За все блага, что мы сейчас получим, да преисполнит нас Господь истинной благодарности, аминь.

А мистер Смиитт говорит:

— Ням-ням хорош, питьё хорош, Боженька хорош, давай ням-ням.

И подмигивает мне.

— Ллойд! — восклицает миссис Смиитт, и мистер Смиитт заговорщически хихикает.

После обеда мы с Грейс сидим в гостиной на бархатном диване — на том же самом, где отдыхает после обеда миссис Смиитт. Я сижу на нем впервые, и мне кажется, что меня допустили к чему-то открытому не для всех, вроде трона или гроба. Мы читаем газету, принесенную из воскресной школы. В ней есть история Иосифа и другая, про мальчика, который украл деньги из тарелки для сборов, но потом раскаялся и стал собирать макулатуру и бутылки в фонд церкви, чтобы возместить украденное. Иллюстрации в газете — черно-белые рисунки пером, но на первой странице — цветная картинка с Иисусом в пастельных одеждах, окруженным детьми. Они из разных народов — коричневые, желтые, белые, все чистенькие и хорошенькие, некоторые держат его за руки, а другие глядят на него большими обожающими глазами. У этого Иисуса нет нимба.

Мистер Смиитт дремлет в бордовом кресле, выпятив круглый живот. В кухне звенят тарелки. Это миссис Смиитт и тетя Милдред моют посуду.

Я попадаю домой уже под вечер, в руках у меня красная пластиковая сумочка и газета из воскрес-

ной школы.

— Ну что, тебе понравилось? — спрашивает мать все так же обеспокоенно.

— Тебя чему-нибудь научили? — спрашивает отец.

— Мне задали выучить псалом, — важно говорю я. Слово «псалом» звучит как тайный пароль. Я слегка обижена. Оказывается, родители многое от меня скрывали — такое, что нужно знать. Например, шляпки: как могла мать забыть про шляпку? О Боге мне доводилось слышать и раньше — он упоминается в наших школьных утренних молитвах и в гимне «Боже, храни короля». Но оказалось, что этим дело не ограничивается: сколько текстов надо вызубрить, гимнов разучить, пятицентовиков положить в тарелку для сборов, чтобы Бог был по-настоящему тобой доволен! Однако мысль о рае меня беспокоит. Сколько мне будет лет, когда я попаду туда? А что, если я умру старухой? В раю я хочу быть такого возраста, как я сейчас.

У меня есть Библия — я взяла ее взаймы у Грейс, и это не самая лучшая ее Библия, но следующая по порядку. Я отправляюсь к себе в комнату и зубрю: «Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь. День дни отрыгает

глагол, и нощь нощи возвещает разум».

У меня в спальне по-прежнему нет занавесок. Я выглядываю в окно, смотрю вверх: вот небеса, вот звезды — там же, где и всегда. Но они больше не кажутся мне холодными, белыми и далекими, как спирт и эмалированные лотки. Теперь мне кажется, что они зорко следят за мной.

19

Девочки стоят в школьном дворе или сверху на склоне, небольшими кучками, они шепчутся между собой, шепчутся и плетут на шпульках. Сейчас это модно — шпулька с четырьмя вбитыми в конец гвоздями и моток шерсти. Нитку наматывают петлей на каждый гвоздь по очереди, на два оборота, а потом пятым гвоздем нижние петли накидываются на верхние. С другого конца шпульки свисает толстый круглый шерстяной хвост, который потом надо закрутить, как раковину улитки, и сшить из него коврик — подставку для заварочного чайника. У меня есть такая шпулька, и у Грейс и Кэрол тоже, и даже у Корделии, хотя ее плетение безнадежно запутано.

Эти кучки шепчущихся девочек со шпульками и разноцветной шерстью имеют отношение к

мальчикам. К обособленности от мальчиков. Каждая кучка девочек исключает всех остальных девочек, но также и абсолютно всех мальчиков. Мальчики нас тоже исключают, но активно, подчеркнуто. Нам же нет нужды это подчеркивать.

Порой я все еще захожу в комнату брата и лежу на полу, читая комиксы, но никогда — если у меня в гостях другие девочки. Меня одну еще потерпят, а как часть группы девочек — ни за что. Это ясно без слов.

Когда-то я воспринимала мальчишек как нечто само собой разумеющееся, я привыкла к ним. Но теперь начала к ним присматриваться, потому что они не такие, как мы. Например, они слишком редко моются. От них пахнет немытым телом, сальной головой, но еще — выделанной кожей, от кожаных заплаток на штанах, и шерстью от самих штанов, которые доходят только до колена и зашнуровываются, как футбольные бриджи. Ниже — толстые шерстяные гольфы; как правило, они мокрые и собираются гармошкой у щиколотки. На улице мальчишки носят кожаные шлемы с лямкой под подбородком. Одежда у них цвета хаки, или темно-синяя, или серая, или темно-зеленая, чтобы грязь была не так заметна. Во всем этом есть что-то военное. Мальчишки

гордятся своей неяркой одеждой, съезжающими гольфами, грязной, запачканной чернилами кожей: для них грязь — почти так же хорошо, как раны. Они специально стараются вести себя как мальчишки. Они зовут друг друга по фамилиям и привлекают внимание к отступлениям от норм гигиены свыше обычного: «Эй, Робертсон! А ну вытри сопли!», «Кто это пёрнул?» Они отвешивают друг другу боксерские удары в плечо, вопя: «Попал!», «И я попал!» Когда ты в одной комнате с мальчишками, всегда кажется, что их больше, чем на самом деле.

Мой брат тоже, как все мальчишки, отвешивает боксерские удары в плечо и комментирует дурные запахи, но у него есть тайна. Он никогда не откроет ее другим мальчишкам, потому что его осмеют.

Тайна заключается в том, что у него есть девочка. Это настолько большой секрет, что даже она сама об этом не знает. Он рассказал только мне и взял с меня двойную клятву молчать. Даже когда мы с ним одни, я не имею права называть ее имя — только инициалы, Б.В. Мой брат иногда бормочет эти инициалы в присутствии других людей, например, наших родителей. При этом он сверлит меня взглядом, ожидая, чтобы я кивнула

или подала какой-нибудь другой знак, что я его услышала и поняла. Он пишет шифрованные записки и оставляет там, где я их точно найду — у меня под подушкой или в ящике письменного стола. Расшифрованные, они оказываются удивительно непохожими на обычные послания брата, неоригинальными и, говоря откровенно, тупыми — мне даже не верится, что это писал он. «Говорил с Б.В.», «Сегодня видел *её*». Он пишет карандашами разных цветов и ставит восклицательные знаки. Однажды ночью выпадает аномально ранний снег, и поутру, выглянув в окно, я вижу исполненные томления инициалы, выведенные мочой на белой пелене, уже подтаявшей.

Я вижу, что эта девочка приносит ему страдания, но вместе с тем и наслаждение. Но я не могу понять, почему. Я ее знаю. Ее настоящее имя — Берта Ватсон. На переменах она гуляет с девочками постарше — в верхней части склона, среди чахлых ёлок. Она среднего роста, и у нее прямые каштановые волосы с чёлкой. Я не вижу в ней ничего волшебного, никаких отклонений от нормы. Мне интересно, как она этого добилась, что за фокус проделала с моим братом, чтобы превратить его в глупую, робеющую копию самого себя.

То, что мне открыли этот секрет, что меня одну

для этого избрали, преисполняет меня ощущением собственной значимости. Но эта значимость — отрицательная: как у белого листа бумаги. Мне можно знать, потому что я не в счёт. Я чувствую себя избранной, но в то же время отвергнутой. И еще я чувствую, что должна заботиться о брате, потому что впервые несу за него ответственность. Его положение шатко, а у меня есть козырь. Мне приходит в голову, что я могу разболтать его тайну, сделать его мишенью для насмешек; выбор за мной. Брат в моей власти, и мне это не нравится. Я хочу, чтобы он стал как раньше — неизменным, непобедимым.

Девочки надолго не хватает. Вскоре брат перестает о ней вспоминать. Он опять высмеивает меня или не замечает; он снова главный. Он раздобывает набор юного химика и проводит опыты в подвале. Я думаю, лучше пусть он будет одержим химией, чем девчонкой. Кипящие зелья, ужасные запахи, небольшие взрывы с сернистым дымом, удивительные иллюзии. Можно создать невидимые письмена, которые проступят, если подержать бумагу над пламенем свечи. Можно сделать крутое яйцо резиновым, так что оно пролезет в молочную бутылку (правда, вытащить его оттуда уже труднее). «Преврати воду в кровь и

удиви своих друзей!» — приглашает инструкция.

Брат все еще меняется комиксами, но без усилий, рассеянно. Поскольку результат ему безразличен, ему удается заключать более удачные сделки. Комиксы лежат стопками у него под кроватью, множатся, но теперь он читает их только тогда, когда в гости приходят другие мальчики.

Брат исчерпал возможности химического набора. Теперь у него в комнате висит карта звездного неба, а по ночам он выключает свет и сидит у темного открытого окна, в холоде, натянув бордовый свитер поверх пижамы, и созерцает небеса. Он смотрит в отцовский бинокль, который ему разрешают брать при условии, что он будет надевать ремешок на шею, чтобы не уронить. Теперь брат хочет обзавестись телескопом.

Когда он пускает меня к себе и когда ему хочется поговорить, он учит меня новым названиям и показывает на карте главные точки: Орион, Медведица, Дракон, Лебедь. Это созвездия. Каждое из них состоит из огромного количества звезд, которые в сотни раз больше и жарче нашего Солнца. Эти звезды, говорит он, отстоят от нас на много световых лет. На самом деле мы их не видим, мы видим только свет, который они испустили давным-давно, сотни и тысячи лет

назад. Звезды — как эхо. Я сижу во фланелевой пижаме и дрожу, шея у меня болит оттого, что голова запрокинута — я вглядываюсь в холод, в бесконечно далекую темноту, в черный котел, где бесконечно кипят костры звёзд. Звезды брата отличаются от библейских: они бессловесны, они пылают во всеуничтожающем молчании. Мне кажется, что мое тело растворяется и меня затягивает вверх, вверх, как редеющий туман — в необъятный опустошающий космос.

— Арктур, — говорит брат. Иностранное слово, непонятное, но тон брата мне знаком: узнавание, ощущение завершенности, к набору добавлен еще один экспонат. Я вспоминаю банки со стеклянными шариками, которые были весной — как он ронял шарики в банку по одному, пересчитывая. Мой брат снова стал коллекционером; теперь он собирает звёзды.

20

На школьных окнах — черные кошки и бумажные тыквы. На Хэллоуин Грейс надевает обычное дамское платье, Кэрол наряжается феей, Корделия — клоуном. Я накидываю простыню, потому что больше у меня ничего нет. Мы ходим от дверей к дверям, неся коричневые бумаж-

ные магазинные пакеты, и они наполняются яблоками в карамели, шариками из попкорна, козинаками с арахисом. Подойдя к двери, мы скандируем: «Гони монету! Гони монету! Ведьмы гуляют по белу свету!» На фасадных окнах, на крыльце словно плавают большие оранжевые тыквенные головы, светящиеся, без тел. Назавтра мы уносим свои тыквы в овраг, на мост, швыряем их вниз и смотрим, как они разбиваются о землю. С сегодняшнего дня уже ноябрь.

Корделия роет яму у себя на заднем дворе, где нет почвы. Она уже несколько раз начинала рыть, но безуспешно — упиралась в камень. Сейчас она, кажется, выбрала место удачней. Корделия копает заостренной лопатой; иногда мы ей помогаем. Это не маленькая ямка, а большая квадратная яма; она становится все глубже и глубже, а кучи земли по краям растут. Корделия говорит, что мы сможем устроить в яме штаб. Поставить там стулья и сидеть на них. Она хочет, когда выкопает на достаточную глубину, закрыть яму досками и сделать крышу. Она уже набрала досок — строительного мусора от двух новых домов рядом с ее участком. Корделия так увлечена этой ямой, что ее трудно заставить поиграть во что-нибудь другое.

На темнеющих улицах расцветают маки. Это ко Дню Памяти[4]. Маки сделаны из пушистой ткани, они красные, как сердца на Валентинов день, с черной сердцевинкой, через которую продета булавка. Мы носим их на пальто. Мы разучиваем стихотворение про них:

Во Фландрии полях алеют маки
Среди крестов, за рядом ряд.
То наши памятные знаки…[5]

В одиннадцать часов мы встаём рядом с партами на три минуты молчания. В лучах слабого ноябрьского солнца танцуют пылинки. Угрюмая мисс Ламли у доски, головы склонены, глаза закрыты, мы прислушиваемся к тишине, к шорохам собственных тел и к грому далеких пушек. «Мы — павшие». Я стою зажмурясь, пытаясь чувствовать то, что положено: патриотизм и скорбь по мертвым солдатам, которые погибли за нас. Я

---

[4] notes: 4

День Памяти празднуется в Канаде 11 ноября; он посвящен памяти всех канадцев, погибших на войне. В знак уважения к ветеранам войны в этот день люди покупают и носят на груди красные маки — символ пролитой крови.

[5] notes: 5

Здесь и далее цитаты из стихотворения канадского солдата Джона Маккрэ (1872–1918) «В полях Фландрии», ставшего своего рода гимном Дня Памяти.

даже не могу представить себе их лиц. Я не знаю никого, кто умер.

Корделия, Грейс и Кэрол ведут меня к глубокой яме на заднем дворе Корделии. На мне черное платье и плащ из костюмерного шкафа. Предположительно, я Мария, королева шотландская, уже обезглавленная. Они поднимают меня под мышки и за ноги и опускают в яму. Потом прилаживают сверху доски. Дневной свет и воздух исчезают, и по доскам стучат комья земли. Лопата за лопатой. В дыре темно, холодно и сыро, и пахнет, как в жабьей норе.

Я слышу их голоса — наверху, снаружи, — а потом уже не слышу. Я лежу, размышляя, когда же мне пора будет выходить. Ничего не происходит. Когда меня положили в яму, я знала, что это игра. Теперь я понимаю, что это не игра. Я ощущаю печаль, словно меня предали. Потом давящую темноту; потом ужас.

Возвращаясь мысленно ко времени, проведенному в яме, я не могу вспомнить, что происходило, пока я в ней лежала. Не могу вспомнить, что на самом деле чувствовала. Может быть, не происходило ничего. Может быть, те чувства, что я помню, — не те, что были у меня на самом деле. Я знаю, что позже девочки пришли и выпустили

меня из ямы, и мы продолжили игру, эту или какую-то другую. У меня не осталось мысленного образа себя в яме; только черный квадрат, наполненный пустотой. Похожий на дверь. Может быть, этот квадрат пуст; возможно, это лишь памятный знак, метка, разделяющая время до и время после. Точка, в которой я стала бессильной. Плакала ли я, когда меня доставали из ямы? Мне это кажется возможным. С другой стороны, я в этом сомневаюсь. Но вспомнить не могу.

Вскоре после этого мне исполнилось девять лет. Я помню другие свои дни рождения, раньше и позже, но этот — нет. Мне наверняка устроили праздник, первый настоящий день рождения с гостями, ведь раньше мне было некого пригласить. Наверняка был торт, со свечками, с загадыванием желаний, четвертак и десятицентовик, завернутые в бумагу и спрятанные в торте, чтобы попасться кому-нибудь на зуб, и подарки. Корделия наверняка пришла, и Грейс, и Кэрол. Всё это должно было случиться, но единственное, что осталось у меня в голове, — смутный страх перед днями рождения, не чужими, а моими собственными. Я вспоминаю пастельную глазурь на торте, розовые свечки, горящие в бледном свете ноябрьского дня, стыд и ощущение провала.

Я закрываю глаза и жду, чтобы появились картинки. Мне нужно заполнить черный квадрат времени, вернуться и увидеть, что в нем. Я словно исчезла в какой-то момент и появилась позже, уже другой, не зная причин перемены. Я буду рада увидеть даже доски над головой. Я закрываю глаза и жду, чтобы появились картинки.

Сначала ничего нет: только отступающая пустота, как туннель. Но вскоре что-то начинает проявляться: гуща темно-зеленых листьев и фиолетовых цветов, темно-лиловых, насыщенный и печальный цвет, и грозди красных ягод, прозрачных, как вода. Стебли так переплелись, так перепутались с другими растениями, что стали как живая изгородь. Запах земли и другой, острый запах поднимаются среди листьев, запах старых вещей, тяжелый и плотный, забытый. Ветра нет, но листья шевелятся, по ним пробегают волны, словно там крадутся невидимые кошки, или словно листья движутся сами по себе.

Паслён, думаю я. Это тёмное слово. В ноябре паслён не растёт. Паслён — обычный сорняк. Если он вырастет в саду, его выдергивают и бросают. Паслён — родственник картофеля, поэтому цветы у них похожи. Картошка тоже может стать ядовитой, если ее оставить на солнце, и она позе-

ленеет. Я стараюсь знать такие вещи.

Я сознаю, что это воспоминание — не то, что я ищу. Но цветы, запах, движение листьев упорствуют — насыщенные, завораживающие, вызывающие отчаяние, повергающие в скорбь.

V. Отжим

21

Я выхожу из галереи, сворачиваю на восток. Мне нужно зайти в магазин, купить нормальной еды, организоваться. Оставшись в одиночестве, я возвращаюсь в те времена, когда забывала поесть и работала ночь напролет. Работала, пока меня не охватывало странное чувство, в котором я не сразу распознавала голод. Тогда я тайфуном налетала на холодильник. Остатки сладки.

Сегодня утром были яйца, но их больше нет. Нет хлеба. Нет молока. А почему сначала они были? Должно быть, это запас Джона. Наверно, он иногда ест у себя в мастерской. А может, он все это принес для меня? Мне как-то не верится. Я куплю себе апельсинов. И йогурт. Натуральный. Буду позитивно смотреть на жизнь, заботиться о себе, кормить себя ферментами и полезными бактериями. Эти греющие мысли доводят меня до самого центра города.

Здесь когда-то стоял универмаг Итона, вот на этом углу, квадратный, желтый. Теперь вместо

него новое здание, так называемый торговый комплекс. Можно подумать, торговля — это психическое отклонение. Стены комплекса — стеклянные, фасеточные, зеленые, словно айсберг.

Напротив — знакомая страна: универмаг Симпсона. Я знаю, что в нем должен быть продуктовый отдел. В зеркальных витринах — стопки банных полотенец, пухлые мягкие диваны и кресла, постельное белье с модным рисунком. Я думаю о том, где, в конце концов, окажутся все эти тряпки. Люди покупают их, увозят, набивают ими свои дома: гнездовой инстинкт. Для тех, кто видел птичье гнездо вблизи, это рисует не очень-то привлекательную картину. В любой дом влезет лишь ограниченное количество тряпок, но, конечно, их можно время от времени выбрасывать. Когда-то мы старались покупать добротные, ноские вещи. Со временем они становились как будто частью тебя. Мы проверяли, хорошо ли подрублен подол, крепко ли пришиты пуговицы, щупали ткань, потирая её большим и указательным пальцами. В следующей витрине — мрачные манекены. Таз выдвинут вперед, плечи перекошены. В целом похоже на маньяка, замахнувшегося топором. Видимо, такой облик нынче в моде: озлобленность

и агрессия. На тротуарах множество андрогинов во плоти: девочки в черных кожаных куртках и грубых ботинках, стриженные под ежик или с прической «утиный хвост», мальчики — капризные, с надутыми губами, как у моделей на обложках модных журналов, волосы уложены гелем в «иголочки». Издали я не могу отличить мальчиков от девочек, хотя сами они, наверно, могут. При виде их я чувствую себя отставшей от жизни.

К чему они стремятся? Может, мальчики хотят выглядеть как девочки, а девочки — как мальчики? Или мне только так кажется из-за того, что все они пугающе молоды? Они держатся хладнокровно, но их стремления очевидны — торчат наружу, как присоски на щупальцах у осьминога. Они хотят взять от жизни всё и сразу.

Но, наверно, и мы с Корделией вызывали те же чувства у людей постарше, когда переходили вот этот самый перекресток — воротники подняты, брови выщипаны скептическим изгибом, мы залихватски вышагивали в резиновых сапогах, изо всех сил пытаясь создать впечатление, что нам на всех плевать. Шли мы на Центральный вокзал — засунуть четвертаки в фотоавтомат, четыре черно-белые фотографии размером как

на документы. Корделия с сигаретой в углу рта, глаза полузакрыты — играет знойную женщину. Суперчёткая.

Я вкручиваюсь через крутящуюся дверь в универмаг Симпсона и немедленно теряюсь. Тут всё поменяли. Были чинные, оправленные в дерево стеклянные прилавки со стандартными перчатками, пристойными часами, шарфиками в цветочек. Респектабельность и хороший вкус. А теперь тут помесь косметического салона с ярмаркой: серебряный декор, золотые колонны, цепочки бегущих огней, надписи фирменными шрифтами — буквы размером с человеческую голову. Воздух насыщен парфюмерными ароматами, враждующими между собой. На экранах высвечиваются безупречные лица, вертятся, прихорашиваются, вздыхают через приоткрытые губы, принимают чьи-то ласки. На других экранах — поры крупным планом «до и после», подробности ухода за всем, что только можно представить — руками, шеей, бедрами. Локтями — особенно локтями: старение начинается с кожи на локтях и метастазирует дальше. Это религия. Обряды вуду и заклинания. Мне хочется уверовать во всё это — кремы, омолаживающие лосьоны, прозрачные мази во флаконах с крутя-

щимися шариками наверху, как клей. «Ты что, не знаешь, из чего делают весь этот мусор? — сказал как-то Бен. — Из молотых петушиных гребней». Но меня это не останавливает, я всё что угодно готова испробовать, лишь бы сработало — сок из слизней, слюну жаб, жало гада, клюв совенка, все на свете, лишь бы мумифицироваться, остановить безжалостную капель времени, остаться хотя бы приблизительно собой.

Но у меня уже столько этих снадобий, что хватило бы забальзамировать всех моих одноклассниц — наверняка они теперь в этом нуждаются не меньше моего. Я останавливаюсь лишь на миг, чтобы девушка, раздающая пробники духов, прыснула на меня каким-то новым ядовитым ароматом. Похоже, мода на роковых женщин вернулась. Вероника Лейк торжествующе прокралась обратно. Снадобье пахнет сладкой виноградной газировкой. Не представляю, кого такой запах может соблазнить — разве что плодовую мушку.

— Вам самой-то нравится? — спрашиваю я у девушки. Должно быть, им одиноко стоять тут весь день на высоких каблуках, опрыскивая прохожих.

— Эти духи очень популярны, — уклончиво

отвечает она. Я на миг вижу себя ее глазами: увядшая женщина, почти бабушка, но еще на что-то надеется. Я — ее целевая аудитория. Я спрашиваю, где продуктовый отдел, и она отвечает. В подвале. Я встаю на эскалатор, но еду внезапно вверх. Плохо дело, раз я начала так путать направления. Или у меня провал в памяти, и я уже побывала внизу? Я схожу с эскалатора и блуждаю меж рядами детских нарядных платьев. Кружевные воротники, рукава-фонарики, пояса-кушаки. Я помню такие платья. Многие — в клеточку: подлинные цвета шотландского тартана, словно обагренные кровью, темно-зеленые с красной полоской, темно-синие, черные. «Черная стража». Неужели те, кто придумал эти платья, забыли историю? Неужели ничего не знают о шотландцах? Ничего лучше не придумали, как одевать девочек в цвета отчаяния, резни, предательства и убийства? «Уже усеян — с новой строки — земной мой путь листвой сухой и желтой»[6]. Когда-то школьников заставляли многое учить наизусть. Впрочем, шотландская клетка была модной и в мое время. Белые носки, туфельки с ремешками, вечно не тот подарок на

---

[6] notes: 6

У. Шекспир, «Макбет», акт V, сцена 3, пер. Ю. Б. Корнеева.

день рождения, завернутый в хрустящую бумагу, и девочки с оценивающими глазами, скользкими обманчивыми улыбками, одетые в шотландку, как леди Макбет.

В те бесконечно тянувшиеся времена, когда Корделия так полно властвовала надо мной, у меня была привычка отколупывать кожу со ступней. Я занималась этим по ночам, когда мне полагалось спать. Ступни были прохладные и слегка влажные, как кожица гриба. Я начинала с больших пальцев. Подтягивала ступню к лицу и прокусывала начальную дырочку там, где кожа толще всего — у основания большого пальца, с внешней стороны. Потом ногтями рук — ногти я никогда не обгрызала, какой смысл обгрызать то, чему не больно, — я начинала сдирать кожу узкими полосками. То же повторяла с большим пальцем другой ноги, потом с каждой пяткой по очереди. Я сдирала кожу ровно на такую глубину, чтобы пошла кровь. Никто кроме меня никогда не видел моих ступней, поэтому никто не знал, чем я занимаюсь. По утрам я натягивала носки на ободранные ноги. Ходить было больно, но можно. Когда была боль, было что-то определенное, насущное, о чем я могла думать. За что я могла держаться. Еще я жевала пряди своих волос, так

что в любой момент хотя бы одна прядь была мокрой и заостренной. Я обрывала зубами заусенцы на ногтях, оставляя пятна обнаженной, мокнущей плоти — они твердели, превращались в струпья и отшелушивались. В ванне или в тазу для мытья посуды мои руки выглядели как обгрызенные, словно над ними поработали мыши. Все это я проделывала постоянно, даже не замечая. А вот ступни — это было сознательно.

Помню, когда родились девочки — сначала одна, потом другая — я начала думать, что мне следовало бы иметь сыновей, а не дочерей. Я думала, что дочери мне не по плечу, что я не знаю, как они устроены. Наверно, я боялась, что возненавижу их. С сыновьями я бы знала, что делать: мы бы ловили лягушек, удили рыбу, играли в войну, возились в грязи. Я научила бы их защищаться и объяснила бы, от кого именно. Но мир сыновей изменился: теперь гораздо вероятней увидеть мальчика с таким вот растерянным лицом. Будто ночной зверек случайно попал под солнечный свет и ослеп. «Умей постоять за себя как мужчина», — говорила бы я. И при этом сама стояла бы на зыбкой почве.

Что же касается девочек, во всяком случае — моих дочерей, они, похоже, родились с каким-то

защитным покрытием, каким-то иммунитетом, которого не хватало мне. Они смотрят прямо в глаза — ровным, оценивающим взглядом. Они сидят за столом на кухне и своей ясностью пропитывают воздух вокруг. Они душевно здоровы — во всяком случае, мне хочется так думать. Это благодать, которая меня спасает. Дочери изумляют меня. Всегда изумляли. Когда они были маленькие, я чувствовала, что должна скрывать от них определенные черты своей собственной личности, свой страх, самые неприятные стороны своих браков, дни пустоты. Я не хотела ничего передать дочерям — ничего из того, что им повредило бы. В такие минуты я лежала на полу в темноте, задернув занавески и закрыв дверь. «У мамочки болит голова, — говорила я. — Мамочка работает». Но им, кажется, не нужна была такая защита, они всё видели, смотрели на вещи прямо, принимали всё как есть. «Мама там, в комнате. Она лежит на полу. Завтра она поправится», — я слышала, как Сара сказала это Анне, когда одной было десять, а другой четыре. И я поправилась. Они верили в меня, как верят, что завтра взойдет солнце и что убывающая луна потом начнет возрастать, и эта вера меня поддерживала. Должно быть, именно благодаря такой вере Бог продол-

жает существовать.

Кто знает, что будут дочери думать обо мне потом? Кто знает, что они уже сейчас обо мне думают? Мне хотелось бы видеть в них счастливое завершение своей истории. Но, конечно, для самих девочек они — вовсе не завершение.

Кто-то подходит ко мне сзади, и вдруг раздается голос, словно из пустоты:

— Вам чем-нибудь помочь?

Я вздрагиваю. Это продавщица, на этот раз не молодая. Немолодая. Тут я расстраиваюсь: до меня доходит, что она моя ровесница. Моя и Корделии.

Я стою среди платьев в шотландскую клетку, щупая рукав. Одному Богу известно, сколько я так простояла. Не говорила ли я вслух? Горло перехватило, ноги болят. Но что бы ни сулила мне судьба, я не собираюсь съезжать с катушек среди платьев для девочек в универмаге Симпсона.

— Продуктовый отдел, — говорю я.

Она вежливо улыбается. Она утомлена, и я ее разочаровала, так как не нуждаюсь в платьях из шотландки.

— О, вам надо прямо вниз, в подвал.

Она любезно отводит меня туда.

22

Открывается черная дверь. Я сижу в Корпусе, в запахе мышиного помета и формальдегида, на подоконнике, батарея поджаривает мне ноги, и я смотрю из окна на улицу, где хлюпают по лужам феи, гномы и снеговики под звуки «Джингл беллз» в исполнении духового оркестра. Феи выглядят укороченными, побитыми жизнью, они полосатые из-за дорожек, промытых каплями дождя на пыльном окне. От моего дыхания на стекле образуется туманный круг. Брата здесь нет, он уже слишком взрослый для этого. Он так сказал. Поэтому весь подоконник — мой.

На соседнем окне теснятся Корделия, Грейс и Кэрол, перешептываясь и хихикая. Я сижу на своем подоконнике одна, потому что они со мной не разговаривают. Я что-то не так сказала, но не знаю, что именно — они не объясняют. Корделия велела мне хорошенько обдумать все сказанное мною сегодня и постараться понять свою ошибку. Так я научусь больше не говорить подобного. Когда я догадаюсь, в чем был мой проступок, они опять начнут со мной разговаривать. Всё это — для моего же блага, потому что они мои подруги и помогают мне сделаться лучше. Вот

я и думаю, пока внизу идут волынщики в промокших меховых шапках и тамбурмажоретки с голыми мокрыми ногами, красными улыбками и слипшимися в сосульки волосами: что я сказала не так? Вроде бы я сегодня говорила абсолютно все то же самое, что и в обычные дни.

В комнату входит мой отец в белом лабораторном халате. Он работает в другой части здания, но пришел нас проведать. «Ну что, девочки, нравится парад?» — спрашивает он. «О да, спасибо», — отвечает Кэрол и хихикает. «Да, спасибо», — говорит Грейс. Я молчу. Корделия слезает со своего подоконника, вскальзывает на мой и подъезжает ко мне вплотную. «Мы получаем огромное удовольствие, большое вам спасибо», — говорит она голосом, который у нее предназначается исключительно для взрослых. Мои родители считают, что у Корделии прекрасные манеры. Она обнимает меня за плечи и слегка сжимает — заговорщически, наставительно. Всё будет хорошо, если я буду сидеть неподвижно, ничего не скажу, ничего не выдам. Тогда я обрету спасение, меня снова примут в круг. Я улыбаюсь, дрожа от облегчения, от благодарности. Но стоит моему отцу выйти за дверь, и Корделия поворачивается ко мне. Лицо ее выражает не гнев, а

печаль. Она качает головой. «Как ты могла? — говорит она. — Разве можно быть такой грубой? Ты ему даже не ответила! Ты ведь понимаешь, что это значит? Боюсь, тебя придется наказать. Что ты можешь сказать в свое оправдание?» Сказать мне нечего.

Я стою у закрытой двери в комнату Корделии. За дверью сидят Корделия, Грейс и Кэрол. У них совещание. Совещаются они обо мне. Я никак не оправдываю их ожиданий, хотя они постоянно дают мне возможность исправиться. Мне нужно больше стараться. Но в чем именно стараться?

Утра и Мира поднимаются по лестнице и идут ко мне по коридору. Они защищены броней старшинства. Мне страстно хочется быть их ровесницей. Я знаю, что они — единственные, у кого есть хоть какая-то власть над Корделией. Я вижу в них союзниц; точнее, думаю, что они стали бы моими союзницами, если бы знали. Знали что? Даже в разговоре с самой собой я нема.

— Привет, Элейн, — говорят они. А потом: — Во что вы, девочки, играете сегодня? В прятки?

— Не могу сказать, — отвечаю я. Они улыбаются добрыми снисходительными улыбками и уходят к себе в комнату, делать педикюр и говорить о взрослых вещах.

Я облокачиваюсь на стену. Из-за двери доносятся неразборчивые голоса, смех — эта роскошь для меня недоступна. Мимо проплывает Мамочка, что-то напевая себе под нос. На ней рабочий халат, в котором она обычно рисует. На щеке мазок яблочно-зеленой краски. Она улыбается мне улыбкой ангела — благосклонной, но далекой:

— Здравствуй, милая. Скажи Корделии, что на кухне в жестянке есть для вас печенье.

— Можешь войти, — доносится из комнаты голос Корделии. Я смотрю на закрытую дверь, на ручку, на свою руку, которая тянется к ней — так, будто она больше не часть меня. Обычное дело. Так девочки этого возраста обращаются друг с другом. Или обращались тогда. Но я была в этом неопытна. Когда мои дочери приближались к опасному возрасту — к девяти годам, — я со страхом следила за ними. Осматривала их пальцы — нет ли обгрызенной кожи, — ступни, волосы. Задавала им наводящие вопросы: «Все в порядке? Твои подруги — они хорошие?» А дочери смотрели, будто недоумевая, о чем я говорю, отчего так беспокоюсь. Я думала, что они должны как-нибудь себя выдать: кошмарами, унынием. Но я ничего не видела. Это могло означать всего лишь, что они всё умело скрывают — так же умело, как я

в свое время. Когда их подружки приходили к нам домой, я вглядывалась в лица — искала притворство, фальшь. Я стояла на кухне и вслушивалась в голоса в соседней комнате. Я думала, что смогу распознать. А может, всё было ещё хуже. Может быть, мои дочери сами такое творили. С кем-то еще. Это объясняло бы их ровное благодушие, отсутствие погрызов на пальцах, немигающие взгляды голубых глаз.

Обычно матери начинают тревожиться, когда дочери входят в подростковый возраст, но со мной было как раз наоборот. Я расслабилась. Вздохнула с облегчением. Маленькие девочки малы и прелестны только для взрослых. Друг для друга они не милые малышки. Друг для друга они большие и опасные.

Холодает все сильнее. Я лежу, подтянув колени поближе к груди. Я обдираю кожу со ступней; я умею это делать не глядя, на ощупь. Я беспокоюсь о том, что сказала сегодня, о выражении своего лица, о своей походке, о своей одежде, потому что всё это нуждается в улучшении. Я не нормальная, не такая, как другие девочки. Так говорит Корделия. Но она мне поможет. Грейс и Кэрол тоже помогут. Но понадобится много труда и много времени.

По утрам я вылезаю из постели, одеваюсь — жесткий хлопчатобумажный пояс с подвязками, чулки в рубчик, шерстяной пуловер с узором из узелков, юбка в шотландскую клетку. Мне помнится, что одежда была холодная. Вероятно, она и в самом деле была холодная.

Я надеваю туфли — поверх носков, натянутых на ободранные ноги.

Я выхожу на кухню, где мать готовит завтрак. На плите кастрюлька с кашей — смесью «Ред ривер», овсянкой или манкой — и стеклянный кофейник-перколятор. Я опираюсь руками на край белой плиты и смотрю, как медленно кипит и густеет каша, как всплывают и лопаются по одному неторопливые пузыри, выпуская маленькие клубы пара. Каша похожа на кипящую грязь. Я знаю, что, когда придет время ее есть, начнутся проблемы: у меня сожмется желудок, похолодеют руки, мне будет трудно глотать. Что-то плотно засело у меня под грудиной. Но я все равно запихаю в себя кашу, потому что так надо.

А иногда я наблюдаю за кофейником. Это интереснее, потому что видно всё: как пузырьки собираются под перевернутым стеклянным зонтиком, выжидают, и вдруг кипящая колонна взлетает вверх по центральной трубке, обдавая

молотый кофе в металлической корзинке, и капли кофе просачиваются в прозрачную воду, окрашивая ее в бурый цвет, словно чернилами.

А иногда я поджариваю хлеб, сидя за столом, где стоит тостер. В каждой из приготовленных ложек лежит по темно-желтой капсуле рыбьего жира, похожей на маленький футбольный мяч. На столе сверкают белые тарелки и стаканы с соком. Тостер установлен на серебряную подставку для горячего. У него две дверцы, у каждой дверцы ручка в нижней части, а посредине вверху — светящаяся, красная от жара решетка. Когда тост готов с одной стороны, я поворачиваю ручку, дверцы открываются, тост соскальзывает вниз и сам собой переворачивается. Я думаю, не положить ли мне палец в тостер, на раскаленную докрасна решетку.

Все это лишь способы потянуть время, замедлить его, чтобы не пришлось выходить на улицу. Но что бы я ни делала, я против воли натягиваю зимние штаны, заправляю в них юбку, сбивая ее в комья между ног, надеваю теплые носки, сую ноги в сапоги. Пальто, шарф, варежки, вязаная шапка — я упакована, меня целуют, кухонная дверь открывается, закрывается за мной, и ледяной воздух врывается мне в нос, как выстрел. Я

ковыляю через голый яблоневый сад — штанины лыжных брюк шелестят друг о друга — и выхожу на остановку.

Там ждут Грейс и Кэрол, а особенно — Корделия. Стоит мне выйти за порог дома, и от них уже не укрыться. Они со мной в школьном автобусе, где Корделия стоит рядом и шипит мне в ухо: «Не сутулься! На тебя люди смотрят!» Кэрол со мной в одном классе, и ее работа — отчитываться Корделии обо всех моих словах и поступках в течение дня. Они со мной на переменах, а в обеденный перерыв — в подвале. Они обсуждают, что я принесла с собой на обед, как держу бутерброд, как жую. По дороге из школы домой я должна идти перед ними или позади них. Впереди идти хуже, потому что они обсуждают мою походку и как я выгляжу со спины. «Не горбись, — говорит Корделия. — Не размахивай так руками».

При посторонних — даже при других детях — они никогда не говорят ничего такого: все, что происходит между нами — тайна, и ее должны знать только мы четверо. Я знаю, что хранить секрет — очень важно; выдать его было бы величайшим, неискупимым грехом. Если я наябедничаю, то стану вечным изгоем. Но Корделия так себя ведет и имеет такую власть надо мной

вовсе не потому, что она мой враг. Наоборот. Про врагов я все знаю. На школьном дворе некоторые враждуют — они кричат друг другу всякое, а если это мальчишки, то и дерутся. На войне были враги. Мальчишки из школы Богоматери Неустанной Помощи — враги мальчишек из нашей школы. Во врагов положено кидать снежками и радоваться, если попал. На врагов можно злиться, их можно ненавидеть. Но Корделия — мой друг. Она желает мне добра, хочет помочь. Они все хотят помочь. Они мои друзья, мои подруги, мои лучшие подруги. До них у меня не было подруг, и теперь я в ужасе, что могу их потерять. Я хочу им угодить.

С ненавистью было бы проще. С ненавистью я бы знала, что делать. Ненависть — чистая, стальная, прямая, незыблемая; в отличие от любви.

23

Впрочем, бывают и передышки.

Иногда Корделия решает, что пришло время поработать над Кэрол. По дороге из школы домой она плетется позади, а меня приглашают идти рядом с Грейс и Корделией и думать, какие проступки Кэрол сегодня совершила. «Она чересчур умничает», — говорит Корделия. Мне не жалко

Кэрол. Она всё это заслужила, когда творила то же самое со мной. Я радуюсь, что пришел ее черед.

Но исправление Кэрол скоро прекращается. Она слишком быстро ударяется в слёзы и плачет слишком громко, не владея собой. Она привлекает чужое внимание. На нее нельзя положиться — она может выдать тайну. В ней есть что-то ненадежное, на нее можно давить лишь до определенного предела, у нее нет чувства чести. Она годится только на роль информатора. Если это очевидно даже мне, то Корделии должно быть еще более очевидно.

Иногда выпадают и совершенно обычные дни. Корделия вроде бы забывает о том, что должна кого-то улучшать, и я решаю, что она отказалась от этого замысла. От меня ожидают, что я буду вести себя как ни в чем не бывало. Но это трудно — у меня такое ощущение, что за мной следят постоянно. В любой момент я могу переступить черту, о которой не подозреваю.

В прошлом году я почти не бывала дома одна после школы и на выходных. Теперь я хочу быть дома и одна. Я нахожу предлоги, чтобы не выходить играть. Я все еще называю это игрой.

«Мне нужно помогать маме», — говорю я. Это звучит убедительно. Девочки в самом деле по-

могают мамам по хозяйству. Особенно Грейс. Но это не настолько правда, насколько мне хотелось бы.

Моя мать управляется по дому очень быстро — она больше любит работать на свежем воздухе: сгребать листья осенью, чистить снег зимой, полоть по весне. Когда я помогаю, получается только медленнее. Но я околачиваюсь на кухне и клянчу какую-нибудь работу, пока мать не вручает мне метелку для пыли с наказом обмахнуть точеные ножки обеденного стола или края книжных полок. Иногда я режу финики, рублю орехи, смазываю формочки для маффинов куском вощеной бумаги, в которую был завернут кулинарный жир, или полощу выстиранное белье.

Мне нравится полоскать. Стиральная комната — маленькая, заключенная сама в себе, тайная, подземная. На полках стоят странные могущественные зелья: крахмал в белых узелках, похожих на птичьи какашки, синька, от которой белое делается еще белее, бруски мыла, бутылки хлорки с черепом и костями, воняющие санитарией и смертью.

Сама стиральная машина — белый эмалированный цилиндр, тяжелый корпус на четырех тоненьких ножках. Она медленно танцует по

полу — «чуг-луг, чуг-луг», и белье с мыльной водой ворочается в ней, словно кипя на медленном огне. Словно каша из тряпок. Я наблюдаю, опершись ладонями на край стиральной машины, а подбородком о ладони, я распластываюсь по стенке, ни о чем не думая. Вода сереет, и мне это приятно, ведь из белья выходит грязь и оно становится чистым. Как будто это делаю я сама, одним взглядом.

Моя задача — пропустить стираное белье через отжим в стиральную раковину, наполненную чистой водой, потом во вторую раковину для второго отжима, а потом сложить в скрипучую корзину для белья. Потом мать выносит белье на улицу, развешивает и закрепляет деревянными прищепками. Иногда я тоже этим занимаюсь. На морозе белье застывает и становится жестким, как фанера. Однажды мелкий соседский мальчишка собирает конские яблоки, оставленные лошадью молочника, и прилепляет к нижней части свежевыстиранных простыней, развешенных для сушки. Все простыни белые. Всё молоко привозят в фургонах, запряженных лошадьми.

Устройство для отжима — два резиновых валика цвета бледной плоти, они вращаются кругом и кругом, проталкивая белье в щель. Вода с мыль-

ной пеной брызжут, как сок. Я закатываю рукава, встаю на цыпочки, шарю в баке и вынимаю капающие комбинации, подштанники и пижамы. Они на ощупь как одежда в пруду, которая подворачивается под руку, и ты вдруг понимаешь: «Да это же утопленник». Я пропихиваю углы простыней в щель, валики подхватывают их и протаскивают насквозь. Рукава рубашек раздуваются, как воздушные шары, от пойманного в них воздуха, с манжет капает мыльная пена. Мне велели быть очень осторожной, когда я делаю эту работу: бывает, что у женщины рука попадает между валиками, ну или какая-нибудь другая часть тела, например, волосы. Я представляю себе, что произойдет с моей рукой, если она попадет в валики: кровь и плоть подвижным бугром отожмет ближе к плечу, а кисть выедет с другой стороны — плоская, как перчатка, и белая, как бумага. Сначала будет очень больно, я знаю. Но есть в этом и что-то притягательное. Через валики можно пропустить целого человека, и он выедет с другой стороны — плоский, аккуратный, оформленный, как засушенный в книге цветок.

— Ты выйдешь играть? — спрашивает Корделия по дороге из школы домой.

— Мне надо помогать маме, — отвечаю я.

— Опять? — говорит Грейс. — Что это она всё время помогает? Раньше так не было.

Грейс начала в присутствии Корделии говорить обо мне в третьем лице, как делают взрослые, беседуя друг с другом.

Я думаю, не сказать ли, что мать заболела, но моя мать настолько очевидно здорова, что я понимаю: мне не поверят.

— Она считает, что слишком хороша для нас, — говорит Корделия. И обращается ко мне: — Ты думаешь, что ты слишком хороша для нас?

— Нет, — отвечаю я. Думать, что ты слишком хороша, — плохо.

— Мы пойдем и спросим твою маму, можно ли тебе выйти поиграть, — Корделия переключилась на дружеский, заботливый тон. — Она не будет тебя заставлять работать все время. Это было бы нечестно.

И моя мать улыбается и разрешает, будто ей приятно, что на меня такой спрос. И меня отрывает от формочек для маффинов, от стиральной машины и извергает во внешний мир.

По воскресеньям я хожу в церковь с луковицей на крыше. Я втискиваюсь в машину Смииттов вместе со всеми Смииттами: мистером Смииттом, миссис Смиитт, тетей Милдред и младшими сест-

рами Грейс, у которых зимой в ноздрях навечно застывают пробки из желто-зеленых соплей. Миссис Смиитт, кажется, довольна, что я езжу с ними. Но это чувство относится только к ней самой — ведь ей удается проявлять любовь к ближнему. Мной она не особенно довольна. Я это вижу по морщинке, которая появляется у миссис Смиитт между бровями каждый раз при взгляде на меня, хотя она улыбается сомкнутыми губами и как бы между прочим все время спрашивает, не хочу ли я в следующий раз пригласить своего брата или родителей. Я сосредотачиваю взгляд на ее грудной клетке, на одной слитой воедино, свисающей до пояса большой груди, под которой темно-красное сердце с черными пятнами бьется, задыхаясь — вдох-выдох, вдох-выдох, как рыба на суше, — и со стыдом качаю головой. То, что я не могу привести в церковь других членов своей семьи, говорит против меня.

Я выучила названия всех книг Библии по порядку, и десять заповедей, и Господню молитву, и большую часть Заповедей блаженства. Я долго получала десять баллов из десяти на контрольных по Писанию и за то, что задавали учить на дом, но в последнее время моя успеваемость начала страдать. В воскресной школе нас вызы-

вают к доске читать заданное наизусть, и Грейс следит за мной. По воскресеньям она следит за каждым моим шагом и деловито доносит на меня Корделии.

«Она сутулилась, когда стояла в воскресной школе у доски». Или: «Она строила из себя святошу». Я верю всем этим замечаниям: я горблюсь, у меня кривая спина, я источаю неправильную добродетель. Я воочию вижу, как стою, искривив спину, и стараюсь встать попрямее. Тело коченеет от беспокойства. И это правда, что я опять получила десять баллов из десяти, а Грейс — только девять. Разве хорошо учиться — это плохо? Насколько хорошо надо учиться, чтобы быть безупречной? В следующее воскресенье я специально вписываю в контрольную пять неправильных ответов.

— Она получила за контрольную по Писанию только пять из десяти, — докладывает в понедельник Грейс.

— Она глупеет, — говорит Корделия. — Ты ведь не до такой степени глупа. Ты должна больше стараться!

Сегодня — «Воскресенье белых даров». Мы все принесли из дома консервы для бедных, завернутые в белую бумагу. У меня — гороховый суп

«Habitant» и колбасный фарш. Я подозреваю, что это неправильные дары, но в запасах матери не нашлось ничего другого. Мне неприятна сама идея белых даров: они такие жесткие, лишенные индивидуальности, обесцвеченные, обезличенные. Они выглядят мертвыми. В этих непроницаемых, зловещих свертках, сваленных в кучу у алтаря, может оказаться что угодно.

Мы с Грейс сидим на деревянных скамьях в подвале церкви, смотрим слайды на стене и поем песни под аккомпанемент пианино, упорно бредущий вперед в темноте.

Иисус велел сиять,
Свет нести и утешать
Тех, кому невмоготу
Выносить всю темноту.
Освещаем, кто как смог,
Жизни малый уголок.

Я хочу нести свет, как свеча. Я хочу быть хорошей, слушаться, делать то, что велел Иисус. Я хочу верить, что ближнего надо любить как самого себя и что Царство Божие внутри нас. Но это кажется всё менее достижимым.

В темноте сбоку от меня виднеется блик. Это не

свеча, это слайд, проецируемый на стену, отражается в очках Грейс. Она знает слова наизусть, ей не нужно смотреть на экран. Она следит за мной.

После церкви я еду со Смииттами по пустым воскресным улицам смотреть на поезда, монотонно снующие взад-вперед по путям, по серой равнине у плоского озера. Потом меня везут к Смииттам домой на воскресный обед. Теперь это происходит каждое воскресенье как часть похода в церковь. Я не могу отказаться ни от того, ни от другого — это был бы ужасный проступок.

Я уже изучила порядки этого дома. Я поднимаюсь по лестнице мимо фикуса, не касаясь его, вхожу в санузел Смииттов, отсчитываю четыре квадратика туалетной бумаги, потом мою руки шершавым черным мылом Смииттов. Меня больше не нужно одергивать — я машинально склоняю голову, когда Грейс произносит: «За все блага, что мы сейчас получим, да преисполнит нас Господь истинной благодарности, аминь».

— Свинина и горох, обед весьма неплох. На диво уникален, а также музыкален! — произносит, ухмыляясь, мистер Смиитт. Миссис Смиитт и тетя Милдред не смеются. Девочки серьезно смотрят на отца. Обе в очках, у обеих белая кожа,

веснушки и воскресные бантики на концах жестких каштановых косичек, точно как у Грейс.

— Ллойд! — восклицает миссис Смиитт.

— Да ладно, что тут такого, — отвечает мистер Смиитт. И смотрит на меня. — Вот Элейн думает, что это смешно. Правда, Элейн?

Меня загнали в угол. Что ответить? Если я скажу «нет», это может быть расценено как грубость. Если скажу «да», то встану на сторону мистера Смиитта против миссис Смиитт, тети Милдред и всех троих дочерей, в том числе Грейс. Меня бросает в жар, потом в холод. Мистер Смиитт глядит на меня, заговорщически ухмыляясь.

— Не знаю, — отвечаю я. На самом деле ответ «нет», потому что я не понимаю, в чем шутка. Но я не могу и открыто бросить в беде мистера Смиитта. Он приземистый, лысеющий, одрябший, но все же мужчина. Он меня не судит.

Наутро в школьном автобусе Грейс описывает этот случай Корделии, понизив голос почти до шепота. «Она сказала, что не знает».

— Что это за ответ? — резко спрашивает меня Корделия. — Либо тебе смешно, либо нет. Почему ты сказала «не знаю»?

Я отвечаю правду:

— Я не знаю, что это значит.

– *Что* ты не знаешь, что значит?

— Музыкальный обед, — отвечаю я.

Теперь я глубоко стыжусь своего невежества. Незнание — худший проступок, какой я могла совершить.

Корделия презрительно хохочет:

— Ты не знаешь, что это значит? Вот тупица! Это значит, что от него пердят. Если поесть гороха, потом пердишь. Это все знают.

Я пристыжена вдвойне — оттого, что не знала, и оттого, что мистер Смиитт за общим столом сказал про пердеж и завербовал меня в союзники, а я не дала ему отпор. Я стыжусь не самого этого слова. Оно мне привычно, брат с друзьями употребляют его все время, когда рядом нет взрослых. Но теперь оно прозвучало за воскресным обедом у Смииттов, в твердыне благочестия.

Но в душе я не раскаиваюсь. Моя верность мистеру Смиитту сродни моей верности брату: они оба на стороне заспиртованных бычьих глаз, козявок под микроскопом, всего возмутительного и подрывного. Но кого же это возмущает, что именно подрывает? Царство Грейс и миссис Смиитт, аккуратных бумажных дам, вклеенных в тетради. Корделии тоже следовало бы быть на этой стороне. Иногда так и есть. Иногда — нет.

Трудно сказать.

24

Молоко в бутылках, что молочник по утрам оставляет на крыльце, до завтрака успевает замерзнуть. Сливки вздымаются из горлышек зернистыми ледяными колоннами. Мисс Ламли склоняется над моей партой, распространяя вокруг себя леденящую ауру невидимых темно-синих рейтуз. По бокам ее носа кожа свисает складками, как брыли бульдога; в углу рта — засохшая слюна.

— У тебя испортился почерк, — говорит она. Я в отчаянии гляжу в свою тетрадь. Мисс Ламли права: когда-то округлые и прекрасные буквы теперь похожи на паучьи лапки, полны исступления, обезображены кляксами ржавых черных чернил там, где я слишком сильно нажимала на перо. — Тебе следует больше стараться.

Я поджимаю пальцы. Мне кажется, что она смотрит на мои обкусанные заусенцы. Все, что она говорит, все, что я делаю, видит и слышит Кэрол и обязательно доложит об этом.

Корделия играет в пьесе, и мы все идем на нее смотреть. Это мой первый поход в театр, мне

бы радоваться. Но меня переполняет ужас — я ничего не знаю о том, как положено вести себя в театре, и уверена, что допущу какую-нибудь оплошность. Постановка идет в Итоновском зале; сцену загораживает синий занавес с черными бархатными горизонтальными полосами. Занавес поднимается, и начинается «Ветер в ивах». Все актеры — дети. Корделия играет хорька, но поскольку на ней хорьковый костюм с головой, ее никак не отличить от всех остальных хорьков. Я сижу в мягком театральном кресле, кусая пальцы, вытягивая шею, ища взглядом Корделию. Хуже всего — знать, что она там, но не знать, где именно. Она может оказаться где угодно.

По радио передают слащавую музыку: «Мечта о белом Рождестве», «Рудольф, красноносый олень». В школе нас тоже заставляют это петь. Мы стоим у своих парт, мисс Ламли дует в камертон-дудку, задавая тон, и отбивает такт деревянной линейкой — той же, которой она лупит мальчишек по пальцам, когда они ерзают на уроках. История Рудольфа меня беспокоит — он был неправильный, не такой, как все; но в то же время дарит надежду, потому что в конце концов его полюбили. Мой отец говорит, что Рудольф — тошно- творная выдумка современных

рекламщиков. «У дурака легко выманить денежки», — говорит он.

Мы вырезаем из цветной бумаги красные колокольчики — складываем лист пополам, а потом вырезаем. Снеговиков мы делаем так же. Таков рецепт мисс Ламли для достижения симметрии: всё надо складывать пополам, у всего есть две половины, левая и правая, одинаковые.

Я выполняю все предпраздничные задания как во сне. Меня не интересуют колокольчики, снеговики или, если уж на то пошло, сам Санта-Клаус — я перестала в него верить: Корделия объяснила, что это всего лишь мои родители. Мы отмечаем Рождество в классе — празднование состоит в том, что мы приносим из дома печенье и молча съедаем его, сидя за партами, а мисс Ламли предоставляет за свой счёт разноцветные мармеладные бобы, по пять штук на каждого ученика. Мисс Ламли знает все правила и неукоснительно им повинуется.

На Рождество мне дарят куклу Барбару Энн Скотт. Я сказала родителям, что хочу эту куклу. Что-то надо было сказать, а я в каком-то смысле действительно ее хотела. Впервые в жизни у меня появляется кукла, изображающая девочку. Барбара Энн Скотт — знаменитая фигуристка.

Очень знаменитая. Чемпионка. Я видела ее фото в газетах.

У Барбары-куклы маленькие коньки из искусственной кожи, розовый костюмчик с белой меховой отделкой и глаза в бахроме ресниц, которые открываются и закрываются. Но она совсем не похожа на живую Барбару Энн Скотт. Судя по фотографиям, Барбара мускулистая, с мощными бедрами, а кукла — стройная, как тростинка. Барбара — женщина, кукла — девочка. Она пугает, как пугают восковые фигуры — безжизненная жизнь, при виде которой в душу вползает ужас.

Я кладу ее обратно в коробку и подтыкаю вокруг оберточную бумагу, прикрывая лицо. Я говорю родителям, что хочу поберечь куклу, но на самом деле я это делаю, чтобы она за мной не следила.

Над диваном в гостиной у нас сетка для бадминтона, развешенная фестонами по стене. Родители засовывают в ячейки полученные ими рождественские открытки. Ни у кого из моих знакомых нет такой бадминтонной сетки на стенах. У Корделии ёлка не как у других: она покрыта невесомой мишурой «волосы ангела», и все украшения на ней синие. Но Корделии подобная непохожесть на других сойдет с рук, а мне — нет. Я знаю, что рано или поздно мне придется

ответить и за бадминтонную сетку.

Мы сидим вокруг стола за рождественским ужином. С нами — студент моего отца, молодой человек из Индии, который приехал изучать насекомых и никогда не видел снега. Мы пригласили его на рождественский ужин, потому что он иностранец, он далеко от дома, ему будет одиноко, и в его стране Рождество даже не справляют. Нам это заранее объяснила мать. Он вежливый и стеснительный, и часто хихикает, глядя (с ужасом, понимаю я) на расставленные перед ним яства — картофельное пюре, подливу, желейный салат, в котором мешаются мертвенно-зеленые и красные тона, огромную индейку. Мать сказала, что у него на родине еда другая. Я знаю, что под маской улыбок и вежливости он несчастен. У меня развивается чутье: теперь я практически без усилий определяю, когда стоящий передо мной человек тайно несчастен.

Отец сидит во главе стола, сияя улыбкой, как Дружелюбный Зеленый Великан. Он поднимает бокал, от глаз разбегаются лучики, как у гнома.

— Мистер Банерджи, сэр! — Отец всегда зовет своих студентов «мистер» и «мисс». — На одном крыле не полетишь.

Мистер Банерджи хихикает и отзывается:

— Истинная правда, сэр.

Произношение у него, как у диктора новостей Би-би-си. Он поднимает собственный бокал и отхлебывает. В бокале вино. Брату и мне в бокалы налили клюквенный сок. В прошлом или позапрошлом году мы связали бы шнурки под столом, чтобы подавать тайные сигналы друг другу рывками и подергиваниями. Но мы оба переросли это, каждый по своей причине.

Отец черпает большой ложкой начинку, раскладывает по тарелкам ломтики темного и белого мяса; мать добавляет картофельное пюре и клюквенный соус и спрашивает мистера Банерджи, очень отчетливо выговаривая слова, водятся ли у него на родине индейки. Он говорит, что, насколько ему известно, нет. Я сижу напротив индийца, болтая ногами, и завороженно разглядываю его. Костлявые запястья торчат из слишком широких рукавов, кисти — длинные и худые, кожа вокруг ногтей обкусана, совсем как у меня. Я решаю, что он очень красив — смуглый, со сверкающими белыми зубами и темными глазами, в которых отражается ужас. В газете воскресной школы, где на первой странице изображены дети, танцующие вокруг Иисуса — желтые, коричневые, в национальных костюмах, — есть один мальчик

такого цвета. Мистер Банерджи не в национальном костюме, на нем пиджак и галстук, как на других мужчинах. Но мне трудно поверить, что он мужчина, он так не похож на всех остальных. Он скорее создание вроде меня: чуждое и недоверчивое. Он боится нас. Он понятия не имеет, что мы выкинем в следующий момент, какого невозможного дела от него потребуем, какую еду заставим есть. Неудивительно, что он обкусывает пальцы.

— Немного с грудины, сэр? *Sternum*, — спрашивает отец, и мистер Банерджи приободряется, услышав знакомое слово.

— А, *sternum*, — говорит он, и я понимаю, что они вдвоем вошли в роднящий их мир биологии, убежище от мучительного внешнего мира хороших манер и неловких пауз, в котором мы все сидим. Полосуя индейку разделочным ножом, отец показывает всем нам, но особенно — мистеру Банерджи, куда крепятся летательные мышцы. Вместо указки отец использует сервировочную вилку. Конечно, говорит он, домашняя индейка утратила способность летать.

– *Meleagris gallopavo*, — говорит он, и мистер Банерджи подается вперед; латынь его приободряет. — Мозг этого существа — размером с

горошину. Птичьи мозги, иными словами. Его разводят за способность нагуливать вес, особенно на голенях, — он указывает, где у индейки голени, — а отнюдь не за умственные способности. Впервые индеек одомашнили индейцы майя.

Он рассказывает, как у одного фермера все индейки утонули, потому что у них не хватило ума укрыться под навес во время грозы. Вместо этого они стояли, задрав головы к небу и разинув клювы. Дождь залил им глотки, и они захлебнулись. Отец объясняет, что это байка, ходящая среди фермеров и наверняка выдуманная, но глупость индеек в самом деле вошла в легенду. Он говорит, что дикие индейки, некогда весьма распространенные в лиственных лесах наших мест, гораздо умней и могут ускользнуть даже от умелого охотника. И еще они умеют летать.

Я сижу, ковыряясь в своей тарелке с рождественским ужином, а мистер Банерджи ковыряется в своей. Мы оба не столько съели, сколько размазали картофельное пюре. Дикие твари умнее домашних, это ясно. Дикие твари хитры, они умеют избежать ловушек и позаботиться о себе. Я делю всех знакомых мне людей на диких и ручных. Моя мать — дикая. Отец и брат — тоже дикие. Мистер Банерджи тоже дикий, но более

пуглив. Кэрол — ручная. Грейс — тоже ручная, но в ней еще проглядывают редкие остатки дикости. Корделия — дикая, точно и несомненно.

— Человеческой жадности нет пределов, — говорит отец.

— Правда, сэр? — спрашивает мистер Банерджи.

Отец объясняет: он слышал, что какой-то материн сын проводит эксперимент, желая вывести индейку с четырьмя ногами вместо двух ног и двух крылышек, потому что на голенях больше мяса.

— Но как подобное создание станет передвигаться, сэр? — спрашивает мистер Банерджи, и мой отец одобрительно кивает:

— Хороший вопрос.

Он рассказывает мистеру Банерджи, что какие-то кретины-ученые пытаются вырастить кубический помидор, который, по их замыслу, удобнее паковать в ящики, чем круглый:

— Конечно, все это в ущерб вкусу и запаху. Вкус их не интересует. Они вырастили голых кур, думая, что те будут нести больше яиц, если не придется тратить энергию на отращивание перьев. Но эта тварь так мерзла, что пришлось вдвое сильней отапливать курятник, и в итоге

обошлось дороже.

— Природу не обманешь, сэр, — отзывается мистер Банерджи. Я уже знаю, что это правильный ответ. Одно дело — исследовать природу. Даже защищаться от нее, в определенных пределах. Но вот пытаться ее обмануть — совсем другое.

Мистер Банерджи говорит, что теперь вывели новую породу голых кошек. Он читал о ней в журнале. Хотя лично он не понимает, какой в этом смысл. Это самая длинная его речь за весь вечер.

Брат спрашивает, водятся ли в Индии ядовитые змеи, и мистер Банерджи, уже немного освоившись, начинает их перечислять. Мать улыбается — вечер проходит значительно удачней, чем она ожидала. Она ничего не имеет против ядовитых змей, даже за обеденным столом — главное, чтобы присутствующие были довольны.

Отец съел все, что было у него на тарелке, и роется в полости индейки в поисках дополнительной начинки. Индейка похожа на связанного безголового младенца. Она перестала прикидываться пищей и явилась мне в истинном обличье — большая мертвая птица. Я ем крыло. Крыло одомашненной индейки, самой глупой птицы в мире. Такой глупой, что она даже летать разучилась. Я ем утраченный полёт.

25

После Рождества мне предлагают работу. Катать Брайана Файнштейна в колясочке вокруг квартала, после школы, раз в неделю, кроме тех дней, когда очень холодно. За это мне будут платить двадцать пять центов — куча денег.

Файнштейны живут рядом с нами, в большом доме, который как-то внезапно построили там, где раньше была большая куча грязи. Миссис Файнштейн маленького даже для женщины роста, пухленькая, с темными кудрявыми волосами и прекрасными белыми зубами. Их часто видно, потому что она много смеется, морща при этом нос, как щенок, и мотая головой, отчего ее золотые серьги поблескивают. Я не уверена, но мне кажется, что эти серьги продеты в настоящие дырки у нее в ушах — раньше я такого не видела.

Я звоню в дверь, и миссис Файнштейн открывает.

— Моя маленькая спасительница! — восклицает она. Я жду в прихожей, и с моих сапог течет на расстеленные газеты. Миссис Файнштейн в розовом домашнем платье в цветочек и домашних туфлях без задника, на каблуках — туфли украше-

ны настоящим мехом — суетливо убегает наверх, чтобы принести Брайана. В прихожей пахнет аммиаком от мокрых пеленок Брайана, которые лежат в ведре и ждут, когда их заберет рассыльный пеленочной компании. Мне кажется очень странным, что кто-то может прийти, забрать твое белье и постирать. На столике рядом с прихожей у миссис Файнштейн всегда стоит ваза с апельсинами. Больше никто не ставит апельсины просто так, разве что на Рождество. За вазой — золотой подсвечник, похожий на ветвистое дерево. Все это — сладкая вонь преющих детских пеленок, ваза с апельсинами и золотое дерево — сливаются у меня в единый образ суперэлегантности.

Миссис Файнштейн, хлопая домашними туфлями, спускается по лестнице. Брайан упакован в голубой комбинезончик, изображающий зайчика, с ушками. Миссис Файнштейн звонко целует сына в щеку, играючи встряхивает вверх-вниз, укладывает в коляску и застегивает водонепроницаемый чехол.

— Ну вот, Брай-Брай, — говорит она. — Теперь мамочка может хотя бы посидеть и подумать спокойно.

Она смеется, морщит нос, трясет золотыми серьгами. У нее туго налитая, пахнущая молоком

кожа. Миссис Файнштейн не похожа ни на одну мать из тех, что я знаю.

Я выкатываю Брайана на холод, и мы отправляемся вокруг квартала, по хрустящему снегу, посыпанному золой из соседских каминов и испещренному конскими яблоками. Я не могу понять, отчего миссис Файнштейн говорит, что Брайан мешает ей думать, — ведь он никогда не плачет. Вообще никаких звуков не издает. Но и не спит. Просто лежит в колясочке и серьезно смотрит на меня круглыми голубыми глазами, а кнопка-нос все больше краснеет. Я не пытаюсь его развлекать. Но он мне нравится: он молчалив, но при этом не критикует.

Когда мне кажется, что час прошел, я качу коляску обратно, и миссис Файнштейн восклицает:

— Да неужто уже пять часов!

Я прошу выдать мне плату пятицентовиками вместо одного четвертака, чтобы денег казалось больше. Миссис Файнштейн долго смеется, услышав это, но выполняет мою просьбу. Я держу свои сбережения в старой жестяной чайнице, на которой нарисована пустыня, пальмы и верблюды. Мне нравится вытряхивать деньги на кровать, чтобы они рассыпались по всему покрывалу. Я не считаю их, а раскладываю по годам: 1935,

1942, 1945. На каждой монете — голова короля, аккуратно обрубленная у шеи. Но короли разные. На монетах, выпущенных раньше, чем я родилась, король с бородой, а на новых — без бороды, потому что это король Георг, тот самый, который висит у нас в классе. Мне доставляет странное удовольствие сортировать деньги в кучки отрубленных голов.

Мы с Брайаном катим вокруг квартала, опять и опять. Мне трудно понять, прошел ли час, потому что у меня нет часов. Из-за угла впереди выходят Корделия и Грейс, за ними плетется Кэрол. Они видят меня и подходят ближе.

— Что рифмуется с Элейн? — спрашивает Корделия. — Элейн — съешь коробочку соплей.

Кэрол смотрит в коляску:

— Ой, какие ушки! А как его зовут?

В голосе звучит зависть. Брайан видится мне в новом свете. Кому попало не доверят катать младенца.

— Брайан, — отвечаю я. — Брайан Файнштейн.

— Файнштейн — это еврейское имя, — говорит Грейс.

Я не знаю, что значит «еврейское». Слово «еврей» мне знакомо, в Библии оно часто попадается, но я не знала, что на свете бывают живые, насто-

ящие евреи, а тем более — в соседнем доме.

— Евреи — это жиды, — говорит Кэрол и косится на Корделию, ища одобрения.

— Не будь вульгарной, — одергивает ее Корделия взрослым голосом. — Мы не употребляем слово «жиды».

Я спрашиваю мать, что такое «еврейское». Она говорит, что это такая религия. У мистера Банерджи тоже другая религия, но не еврейская. На свете есть разные религии. Что касается евреев, то Гитлер очень много их убил во время войны.

— Почему? — спрашиваю я.

— Он был параноиком, — отвечает отец. — Страдал мегаломанией.

Эти слова мне ничего не говорят.

— Он был плохой человек, — объясняет мать.

Я качу Брайана по грязному от золы снегу, обходя выбоины. Он пучит на меня глаза снизу вверх, нос покраснел, крохотный ротик не улыбается. Личность Брайана обрела новую глубину: он еврей. В нем есть что-то сверх обычного, что-то героическое; это ощущение не могут развеять даже голубые ушки заячьего комбинезончика. Еврейское — это запах пеленок, апельсины в вазе, золотые серьги миссис Файнштейн и ее, кажется, по-настоящему проколотые уши, но еще это

слово означает древние и важные вещи. Еврея не каждый день встретишь.

Рядом возникают Корделия, Грейс и Кэрол.

— Ну, как поживает наша маленькая детка? — спрашивает Корделия.

— С ним все в порядке, — осмотрительно отвечаю я.

— Я не про него, я про тебя.

— Можно я его покатаю? — спрашивает Кэрол.

— Мне не велели, — отвечаю я. Если она что-нибудь сделает не так, вывернет Брайана Файнштейна вниз головой в сугроб, вина будет моя.

— Не очень-то и хотелось всяких еврейских детей катать, — парирует она.

— Евреи убили Христа, — официальным тоном заявляет Грейс. — Так в Библии написано.

Но евреи не интересуют Корделию. У нее на уме другое.

— Если тот, кто водит машину — водила, то как называется тот, кто ловит жуков? — спрашивает она.

— Не знаю.

— Какая ты глупая. Так называется твой отец, верно ведь? Ну давай же. Догадайся. Это очень просто.

— Жучила? — говорю я.

— И ты такие вещи говоришь про своего родного отца?! Тупица, он *энтомолог*. Как тебе не стыдно! Тебе следовало бы рот с мылом вымыть.

Я знаю, что «жучила» значит что-то плохое, но не знаю, почему. И все равно я предала и была предана.

— Мне надо идти, — говорю я.

Толкая колясочку к дому миссис Файнштейн, я беззвучно плачу, а Брайан бесстрастно смотрит на меня.

— Прощай, Брайан, — шепчу я ему.

Я говорю миссис Файнштейн, что не могу больше у нее работать, потому что нам очень много задают на дом. Я не могу сказать ей правду: Брайану, когда он со мной, угрожает необъяснимая опасность. Я вижу как наяву: Брайан воткнут головой в сугроб; Брайан в колясочке несется вниз по ледяному склону у моста прямо в ручей, полный мертвецов; Брайана швыряют в воздух, и заячьи ушки встают дыбом от ужаса. Я не смогу сопротивляться бесконечно.

— Ничего, миленькая, ничего, — говорит миссис Файнштейн, заглядывая в мои красные, плачущие глаза. Она обнимает меня и дает мне лишние пять центов. Меня еще никто не называл «миленькая».

Я иду домой, зная, что предала миссис Файнштейн и себя тоже. «Жучила», — думаю я про себя. Я повторяю это слово, пока оно не распадается на бессмысленные слоги. «Илажуч». Это слово — бессмысленное, как «жид», но от него разит злой волей, оно исполнено силы. Какой ущерб я нанесла отцу?

Я беру все пятицентовики с королевскими головами, полученные у миссис Файнштейн, и трачу их в лавке по дороге из школы. Я покупаю лакричные жгуты, мармеладные бобы, многослойные черные шары с зернышком в середине, пакетики с сухой смесью для шипучки, которую нужно пить через соломинку. Я раздаю их поровну — приношение, искупление — в ждущие руки подруг. На единый миг, предшествующий дарению, я любима.

26

Сегодня суббота. За все утро ничего не произошло. На стрехе над южным окном растут сосульки, и под солнцем с них капает — размеренно, словно кран подтекает. Мать на кухне печёт, отец и брат куда-то делись. Я обедаю одна и наблюдаю за сосульками.

На обед крекеры, оранжевый сыр и стакан мо-

лока, и еще миска алфавитного супа. Моя мать считает, что алфавитный суп — забавное лакомство для детей. В нем плавают буквы, белые буквы: заглавные A, O, S, R, реже X или Z. Когда я была маленькая, я вылавливала буквы и составляла из них слова на краю тарелки. Или съедала свое имя, одну букву за другой. Теперь я просто ем суп, без особого интереса. Он оранжево-красный, со вкусом и запахом, а вот буквы совершенно безвкусные.

Звонит телефон. Это Грейс.

— Хочешь выйти поиграть? — спрашивает она нейтральным голосом, пустым и негнущимся, как глянцевая бумага. Я знаю, что рядом с ней стоит Корделия. Если я откажусь, меня в чем-нибудь обвинят. Если соглашусь, то придется выходить. Я соглашаюсь.

— Мы придем и заберем тебя, — говорит Грейс.

В животе тупая тяжесть, как будто его набили землей. Я надеваю комбинезон и сапоги, вязаную шапку и варежки. Говорю матери, что иду играть.

— Смотри не замерзни, — отвечает она.

Солнце на снегу ослепляет. Снежные наносы на дороге покрыты ледяной коркой — верхний слой подтаял на солнце, а потом опять замерз.

Мои сапоги проламывают корку, оставляя четкие следы. Вокруг никого нет. Я иду к дому Грейс в ослепительном белом сиянии. Воздух словно плывет, исполненный, даже переполненный света; я чувствую, как он давит мне на глаза. Я чувствую себя прозрачной, как рука, прижатая к фонарику, или медузы, которых я видела на фото в журналах — они плавают в море, будто наполненные водой живые воздушные шары.

Я вижу всех троих в конце улицы — ко мне приближаются три очень темных силуэта. Их пальто выглядят почти черными. Когда они подходят, даже их лица кажутся темными, словно в тени.

— Мы сказали, что придем за тобой, — говорит Корделия. — Мы не сказали, что ты можешь явиться сюда.

Я молчу.

— Она должна отвечать, когда мы к ней обращаемся, — говорит Грейс.

— В чем дело? Ты что, оглохла? — спрашивает меня Корделия.

Их голоса звучат как будто издалека. Я отворачиваюсь, и меня рвет в сугроб. Я не нарочно это сделала и не ожидала, что так случится. Меня каждое утро мутит, я привыкла, но сейчас меня тошнит по-настоящему, алфавитным супом,

смешанным с ошметками жеваного сыра, удивительно ярким красным и оранжевым на белом снегу. Кое-где видны покореженные буквы.

Корделия молчит. Грейс говорит:

— Тебе лучше пойти домой.

Кэрол у них за спиной говорит таким голосом, словно сейчас заплачет:

— Ей на лицо попало.

Я иду обратно домой, обоняя запах рвоты у себя на комбинезоне, чувствуя ее вкус во рту и в носу. Как будто там застряли кусочки морковки.

Я лежу в постели, рядом стоит ведро для мытья полов, и меня невесомо качает на волнах жара. Меня тошнит еще несколько раз — напоследок выходит лишь немного зеленой жижицы. «Ну, теперь мы все этим переболеем», — говорит мать и оказывается права. Ночью я слышу торопливые шаги, звуки рвоты и шум воды в унитазе. Я чувствую себя очень маленькой и защищенной, болезнь обволакивает меня, как вата.

Я начинаю болеть чаще. Иногда мать, заглянув мне в горло с фонариком, пощупав лоб и померив температуру градусником, посылает меня в школу, но иногда мне позволяют остаться дома. В эти дни я чувствую облегчение, словно долго бежала и наконец достигла укрытия, где можно

передохнуть: не навсегда, но на время. От жара в мыслях приятная пустота. Я наслаждаюсь прохладой окружающих предметов, выдохшимся имбирным элем, который мне дают пить, его тонким послевкусием.

Я полулежу в кровати, опираясь спиной на подушки. Рядом на стуле — стакан воды. Я прислушиваюсь к дальним звукам, доносящимся от матери: миксеру, пылесосу, музыке по радио, шороху полотерной машины, похожему на озерный прибой. Лучи зимнего солнца косо падают через окно, в щель между не до конца задернутыми занавесками. Теперь у меня в спальне есть занавески. Я созерцаю потолочный светильник — сквозь матовое желтоватое стекло, как сквозь мутное желе, просвечивают тени двух-трех проникших внутрь дохлых мух. Или я созерцаю дверную ручку.

Иногда я вырезаю всякое из журналов и клею в скрэпбук клеем «Лепаж» из бутылочки, похожей на шахматного слона. Я вырезаю женщин из «Хорошей хозяйки», «Дамского домашнего журнала», «Шатлен». Если мне не нравятся лица этих женщин, я отрезаю головы и приклеиваю другие. Женщины в платьях с рукавами-фонариками и пышными юбками, в белых фартуках,

очень туго стянутых на талии. Женщины поливают антисептиком микробов, живущих в унитазах; протирают до блеска окна; избавляются от прыщей с помощью особого мыла или моют шампунем жирные волосы; убивают неприятные запахи, втирают крем в шершавые морщинистые руки, прижимают к щеке рулоны туалетной бумаги.

На других картинках нарисованы женщины, делающие то, что не положено. Одни сплетничают, другие — неряхи, третьи склонны командовать. Некоторые слишком много вяжут. «Пешком, в трамвае, стоя, сидя — все вяжет, никого не видя», — гласит одна подпись. На картинке нарисована женщина, которая вяжет в трамвае: спицы колют соседних пассажиров, а клубок катится, разматываясь, по проходу. За некоторыми женщинами следят страж-птицы, черно-красные создания, словно сошедшие с детского рисунка, у них большие глаза и ножки-палочки. «Это страж-птица, она следит за любительницами совать нос в чужие дела, — написано под картинкой. — Это страж-птица, она следит за ТОБОЙ».

До меня доходит, что несовершенству, неверным шагам нет предела. Даже когда вырастешь — как бы старательно ты ни терла, что бы ни

делала, всегда обнаружится какое-нибудь незамеченное пятно, у тебя на лице вскочит прыщ, ты ошибешься, и кто-нибудь нахмурится. Но мне почему-то нравится вырезать всех этих несовершенных женщин с морщинками на лбу, по которым видно, что они беспокоятся, и наклеивать их в скрэпбук.

В двенадцать часов по радио передают «Веселую компашку». Она стучится в дверь:

Тук-тук-тук, открой скорее!
Кто стучится нынче в двери?
Мы, «Веселая компашка»!
Открывай скорей, дурашка!
Если ты здоров и счастлив,
Будешь ты всегда удачлив.
Поскорее просыпайся
И в компанию вливайся.
И с «Веселою компашкой»
Будет весело, не страшно!

Веселая компашка переполняет меня беспокойством. Что будет с тем, кто нездоров или несчастлив? Они не говорят. Сами они вечно счастливы, или во всяком случае, утверждают, что это так; но мне не верится, что можно быть

все время счастливым. Значит, они врут хотя бы иногда. Но когда? Какая доля их фальшиво звучащего смеха на самом деле фальшива?

Чуть позже я слышу сигналы точного времени из Обсерватории Доминиона: сначала писк, вроде позывных космического корабля, потом молчание, потом однократный длинный сигнал. Он означает час дня. Время идет; в тишине, предшествующей сигналу, обретает форму будущее. Я зарываюсь головой в подушку. Я не хочу это слышать.

27

Зима тает, оставляя грязную корку печной золы, мокрой бумаги, прелых прошлогодних листьев. У нас во дворе появляется большая куча перегноя, потом куча скатанных квадратов газона. Мои родители в грязных сапогах и запачканных землей штанах выкладывают квадраты на почву, словно кафельную плитку. Родители дергают пырей и одуванчики, сажают зеленый лук и рядки салата. Откуда ни возьмись появляются кошки, роются и присаживаются в мягкой, только что вскопанной гряде, и отец швыряет в них выкопанными пучками одуванчиков.

— Проклятые твари, — говорит он.

Почки на деревьях становятся желтыми, а мы достаем скакалки. Мы стоим на площадке у дома Грейс, под райской яблоней, облитой темно-розовым цветом. Я кручу скакалку, Кэрол крутит другой конец, Грейс и Корделия прыгают. Со стороны это выглядит, как будто девочки играют.

Мы скандируем:

Дело было как-то раз,
Ко мне шайка ворвалась…
В дом разбойники ввалились,
Было их двадцать четыре.
Говорили: «Дама, дама,
Встань-ка прямо, встань-ка прямо,
Трижды, дама, повернись,
Трижды, дама, поклонись,
Покажи нам, что под платьем!»
Каждый молвит: «Вот те на те!»

Грейс, которая прыгает в середине, крутится вокруг своей оси, касается асфальта, безмятежно вскидывает одну ногу, слегка улыбаясь. Она редко путается в скакалке.

Для меня эта песенка звучит угрожающе. Намекает на какую-то тайную гадость. В ней много непонятного: разбойники и их странные при-

казы, дама и ее наклоны, трюки, которые она проделывает по команде, словно дрессированная собачка. А что значит *«Вот те на те!»* в самом конце песни? Может, ее выкидывают из дома, а разбойники остаются внутри, могут забрать что угодно, разбить что угодно, творить все, что им вздумается? Или это значит, что ее убивают? Я представляю себе, как она висит на райской яблоне, в петле из скакалки. Мне ее не жаль.

Светит солнце, шарики снова появляются из зимних тайников. В школьном дворе слышатся голоса детей: «Чистик, чистик! Водный, водный! Два за один!» Мне они кажутся голосами призраков или попавших в капкан зверей: тонкие завывания усталой боли.

По пути из школы домой мы проходим по деревянному мосту. Я иду позади других. Там, где доски сломаны, можно разглядеть землю внизу. Я вспоминаю, как брат давным-давно зарыл где-то там, под мостом, банку, полную чистиков, водных и кошачьих глаз. Она до сих пор в земле — сияет в темноте, в тайне. Я думаю, не спуститься ли мне туда в одиночку, несмотря на зловещих таинственных мужчин, выкопать сокровище, забрать всю тайну себе. Я никогда не смогу найти банку, потому что у меня нет карты. Но мне нравится

думать о том, о чем не знают другие.

Я нахожу свой синий «кошачий глаз» там, где он пролежал всю зиму — в углу ящика письменного стола. Я разглядываю его, держа так, чтобы через него пробивался солнечный свет. Та часть, которая называется глазом, заключенная в кристальное стекло, — такая синяя, такая чистая. Как будто что-то вмерзло в лед. Я кладу шарик в карман и беру с собой в школу, но не предлагаю его в качестве мишени. Я держусь за него, катаю между пальцами.

— Что это у тебя в кармане? — спрашивает Корделия.

— Ничего. Просто шарик.

Сейчас сезон игры в шарики, они в карманах у всех. Корделия решает не цепляться ко мне из-за шарика. Ей невдомёк, какой силой он обладает, как защищает меня. Порой, когда он при мне, я вижу как будто его зрением. Люди движутся, как яркие одушевленные куклы, открывают и закрывают рты, но слов не слышно. Я могу рассматривать их формы и размеры, их цвета и больше ничего про них не чувствовать. Я живая, лишь когда смотрю своими собственными глазами.

Мы задерживаемся в городе дольше обычного.

Мы никуда не едем, а уже начались летние каникулы; когда я ложусь спать, еще светло; влажная жара накрывает улицы пропаренным одеялом. Я пью виноградный напиток из порошка (на вкус он не как виноград, а как средство от насекомых) и гадаю, когда же мы поедем на север. Я говорю себе, что мы вообще не поедем — чтобы не разочаровываться. Но, хотя у меня есть «кошачий глаз», я знаю, что долго здесь не выдержу. Я взорвусь, только не наружу, а внутрь. Я читала в журнале «Нэшнл джиографик» про тяжелых водолазов — про то, зачем они носят толстые металлические костюмы: иначе невидимое давление глубоко под водой раздавит их, как грязь в кулаке, сплюснет. Там так и было написано: сплюснет. В этом слове слышится тупая безнадежная окончательность, будто захлопнулась свинцовая дверь.

Я сижу в машине, упакованная, как сверток, на заднем сиденье. Грейс, Корделия и Кэрол стоят под яблонями и смотрят. Я сжимаюсь, избегая их взглядов. Я не хочу притворяться, претерпевать ритуал прощания. Когда мы отъезжаем, они машут вслед.

Мы едем на север. Торонто остается позади — буроватый мазок воздуха на горизонте, как дым от дальнего пожара. Я оборачиваюсь только

теперь.

Листья становятся меньше, желтее, складываются и прячутся обратно в почки. Воздух свежий, хрусткий. Я вижу на обочине ворона — он клюет сбитого машиной дикобраза. Иглы торчат, как гигантский репейник, кишки розовые и перемешанные, как яичница-болтунья. Я вижу северную гранитную скалу, она вздымается прямо из земли, а дорога разрезает ее пополам. Я вижу лохматое озеро, по берегам которого торчат из болота мертвые деревья. Печь для опилок, пожарную башню.

У дороги стоят три индейца. Они ничем не торгуют — у них нет корзин, да и для черники еще рано. Они просто так стоят, и, похоже, уже давно. Они мне знакомы, но лишь как декорации. Видят ли они меня, глядящую на них из окна автомобиля? Наверно, нет. Я для них размытое пятно, одно из многих лиц в машине, пронесшейся мимо. Я не могу притязать на внимание с их стороны или со стороны всего этого.

Я сижу на заднем сиденье машины, пахнущей бензином и сыром, и жду родителей, которые пошли покупать продукты. Машина стоит рядом с лавкой — осевшим, серым от времени деревянным домиком, который не рассыпается лишь

благодаря приколоченным к нему жестяным рекламным щиткам: «СИГАРЕТЫ “ЧЕРНЫЙ КОТ”», «ПЛЕЙЕРС», «КОКА-КОЛА». Это даже не деревня, а просто небольшое расширение на шоссе, у моста, у реки. Когда-то я захотела бы знать, как называется эта река. Стивен стоит на мосту, роняет деревяшки с той стороны, что выше по течению, засекает время, которое им нужно, чтобы выплыть с другой стороны, и вычисляет скорость потока. Сезон мошкары уже начался. Несколько штук залетело в машину, они всползают по стеклу, подпрыгивают и снова ползут вверх. Я наблюдаю за ними; вижу сгорбленные спинки, брюшки, похожие на маленькие красно-черные луковицы. Я давлю их на окне, оставляя красные потеки собственной крови.

Я начинаю ощущать не то чтобы радость, но облегчение. У меня больше не перехватывает горло, я перестала стискивать зубы, кожа на ступнях понемногу зарастает, раны на пальцах рук частично зажили. Я могу ходить, не наблюдая за собой со спины, и разговаривать, не слыша со стороны свой голос. Теперь я могу быть свободной от слов, деградировать в бессловесность, погрузиться опять в ритмы преходящести, как в мягкую постель.

Этим летом мы снимаем домик на северном берегу Великого озера. Рядом есть еще домики, в основном пустые; других детей, кроме нас, в кемпинге нет. Озеро — огромное, холодное, синее, коварное. Оно топит грузовые суда и людей. В ветреную погоду волны грохочут не хуже океанских. Мне совсем не страшно в нем купаться. Я вхожу в ледяную воду, глядя, как погружаются ступни, а потом ноги целиком — длинные, белые, в воде они тоньше, чем на суше.

У озера широкий пляж, и в одном конце его — стадо валунов. Я провожу с ними много времени. Они округлые, как тюлени, только жесткие; они нагреваются на солнце и долго хранят тепло вечером, когда воздух уже холодный. Я снимаю их своим фотоаппаратом «Брауни». Я даю им клички коров.

Над пляжем, на дюнах, обычная песчаная растительность: пушистое медвежье ушко, вика с фиолетовыми цветочками, чина, осока, режущая ноги; а дальше начинается лес — дубы, колосистые клены, березы, тополя вперемешку с пихтами и елями. Иногда встречается ядовитый плющ. Этот лес — тайный, настороженный, хотя заблудиться в нем трудно — он так близко к берегу.

В лесу я натыкаюсь на дохлого ворона. Живые вороны выглядят не такими крупными. Я тычу в него палочкой, переворачиваю и вижу червей. Пахнет гнилью, ржавчиной и еще чем-то странным — как будто едой, которую я однажды пробовала, но теперь не могу вспомнить. Ворон черный, но не как цвет, скорее как дыра. Клюв у него грязно-желтый, роговой, как старые ногти на ногах. Глаза высохли и запали.

Мне уже приходилось видеть мертвых животных — лягушек, кроликов. Но этот ворон мертвее их. Он смотрит на меня высохшим глазом. Я могу проткнуть его палкой прямо через этот глаз. Что бы я ни делала, он ничего не почувствует. Никто не может сделать ему больно.

С берега этого озера удить трудно. Стоять не на чем — нет никакого причала. Кататься на лодке без взрослых нам не позволяют, из-за течений; и вообще лодки у нас нет. Стивен занимается другими делами. Он коллекционирует трубы грузовых кораблей, ходящих по озеру — разглядывает их в бинокль. Он составляет шахматные задачи и решает их, или заготавливает лучину на растопку, или ходит один на долгие прогулки с определителем бабочек. Ему неинтересно ловить бабочек и прикалывать их булавками на доску;

он просто хочет их видеть, определять и пересчитывать. Он ведет список увиденных бабочек на последней странице определителя.

Я люблю разглядывать бабочек на иллюстрациях в определителе. Больше всего мне нравится бабочка сатурния луна, огромная, бледно-зеленая, с полумесяцами на крыльях. Брат находит такую и показывает мне.

— Только не трогай, — говорит он. — А то сотрешь пыльцу с крыльев, и она не сможет летать.

Но я не играю с ним в шахматы. Не начинаю составлять собственный список пароходных труб или бабочек. Я постепенно теряю интерес к играм, в которых не могу выиграть.

На опушке леса, куда проникает солнечный свет, растет черемуха. Красные ягоды спеют и становятся прозрачными. Они такие терпкие, что вяжут рот. Я собираю их в ведерко из-под кулинарного жира, выбираю сучки и листики, и мать заготавливает варенье на зиму. Она варит ягоды, отцеживает косточки через марлю, добавляет сахар. Разливает варенье в нагретые банки и запечатывает крышки парафином. Я считаю красивые красные банки. Я помогала их делать. На вид они ядовитые.

Словно мне кто-то разрешил, я вдруг начинаю видеть сны. Яркие, цветные и беззвучные.

Мне снится, что мертвый ворон ожил, но на вид остался таким же — мертвым. Он прыгает, хлопает полуистлевшими крыльями, и я просыпаюсь с колотящимся сердцем.

Мне снится, что я в Торонто, что я одеваюсь как для зимы, но платье мне не впору. Я натягиваю его через голову и силюсь просунуть руки в рукава. Я иду по улице, и части моего тела торчат из платья. Куски голой кожи. Мне стыдно.

Мне снится, что мой синий «кошачий глаз» светит в небе, как солнце или как планеты в нашей книге про солнечную систему. Но от него не тепло, а холодно. Он начинает приближаться, но не становится больше. Он падает с неба, целясь прямо мне в голову, блестящий и стеклянистый. Он ударяет меня по голове, проходит прямо внутрь, но мне не больно — только холодно. Я просыпаюсь оттого, что замерзла. С меня свалились одеяла.

Мне снится, что деревянный мост через овраг начал разваливаться. Я стою на нем, доски трещат и расходятся, мост шатается. Я иду по остаткам, цепляясь за перила, но не могу выбраться на холм, где стоят другие люди, потому что мост ни

к чему не прикреплен. Моя мать тоже на холме, но она с кем-то разговаривает.

Мне снится, что я собираю ягоды черемухи и кладу в ведерко из-под кулинарного жира. Только это не черемуха. Это ядовитые ягоды белладонны, прозрачные, ярко-красные. Они наполнены кровью, как брюшки кровососущей мошкары. Когда я касаюсь их, они лопаются, и кровь течет мне на руки.

Я никогда не вижу во сне Корделию.

По вечерам отец играет с нами в салочки на берегу, он бегает неуклюже, как медведь, и на ходу смеется: «уфф, уфф, уфф». Мелкие монетки сыплются у него из карманов на песок. Вдали медленно проплывают озерные пароходы, таща за собой хвосты дыма. Слева садится солнце, розовое и безмятежное. Я смотрю в зеркало над умывальником: мое лицо загорело и округлилось. Мать улыбается мне в кухоньке с дровяной печкой и обнимает меня одной рукой. Она думает, что я счастлива. Иногда вечерами мы жарим маршмеллоу на костре — родители хотят сделать нам приятное.

VI. Кошачий глаз

28

В подвале у «Симпсона» раньше продавали уцененную одежду и гаечные ключи. Ныне здесь царит роскошь. Горы импортного шоколада, прилавок с мороженым, ряды мудрёного печенья и деликатесных консервов, которые тикают, как часы, с каждой секундой приближаясь к окончанию срока годности. Есть даже прилавок, где варят эспрессо. Стильное заведение на уровне мировых стандартов. А когда-то я покупала тут дешевые ночнушки на те небольшие деньги, что родители давали мне на одежду, и то приходилось ждать распродаж, где обычно попадались вещи на размер больше. Весь этот шоколад меня подавляет. При виде его я вспоминаю Рождество и липкую тяжесть, какая наваливается, когда переешь сладостей. Жадность и пресыщенность.

Я присаживаюсь к кофейному прилавку и заказываю капучино, чтобы побороть вялость, одолевшую меня из-за всего этого сахарного декадентства. Прилавок из зеленого мрамора, то ли поддельного, то ли настоящего; над ним

миленький балдахин — потуги на итальянский стиль, — а рядом крутящиеся табуреточки. Отсюда открывается вид на сапожную мастерскую, это не очень стильно, зато действует на меня успокаивающе. Несмотря на весь этот шоколад, люди по-прежнему отдают обувь в починку, а не просто выбрасывают, чуть каблук начал стираться.

Я вспоминаю обувь своего детства — коричневые «оксфорды» с потертыми носами, замененной подошвой и новыми набойками, изношенные грязно-белые кроссовки, коричневые сандалии с двумя пряжками, которые надевались на носки. Как правило, обувь была коричневая. Она существовала в том же мире, что и ростбиф, приготовленный в скороварке вместе с обмякшей морковкой, ватной картошкой и луковицей, распадающейся на скользкие слои. У скороварки наверху была такая штука вроде свистка. Если за ней забывали следить, крышку срывало, как будто бомба взорвалась, и все овощи взлетали к потолку и прилипали, расквашенные в пюре. Однажды такое произошло у моей матери. Хорошо, что ее в это время не было рядом и она не обварилась. Увидев, что случилось, она не стала ругаться. Только засмеялась и сказала: «Вот это я понимаю, терпение лопнуло!»

У нас в семье готовила в основном мать, но не особо любила это занятие. Она вообще не любила работу по дому. В пароходном сундуке, что стоял у нас в подвале, вместе с вечерним платьем разрезного бархата из двадцатых годов и бриджами для верховой езды лежали приборы из настоящего серебра — вычурные солонки и перечницы, щипцы для сахара в форме куриных лапок, розовые вазы, богато украшенные серебряными цветами. Они лежали, завернутые в папиросную бумагу, и чернели — потому что иначе их пришлось бы регулярно чистить. Наши ножи, вилки и ложки и так приходилось полировать старой зубной щеткой, чтобы прочистить все узоры. Резные ножки обеденного стола были настоящими пылесборниками, как и всякие безделушки — цацки, как их называла мать, — обычные украшения каминных полок в других домах. Однако мать любила заниматься выпечкой, хотя, может быть, мне просто хочется так думать.

Что бы я сделала на месте матери? Она должна была понимать, что со мной происходит, или, по крайней мере, догадываться, что творится неладное. Даже когда всё только начиналось, она не могла не заметить мою молчаливость, обкусанные пальцы, темные пятна на губах,

где я обрывала кожу. Если бы это происходило сейчас, с моим ребенком, я бы знала, что делать. Но тогда? Тогда возможностей было меньше, и о многих вещах не говорили вслух.

Однажды я создала серию картин о матери. Их было шесть. Шесть панелей, как двойной триптих или полоска комиксов, в два ряда — три сверху, три снизу. На первом мать была изображена цветными карандашами, в кухне нашего городского дома, в платье конца сороковых. Даже у моей матери был фартук с нагрудником — в голубой цветочек, с темно-синим кантом, — даже она время от времени его надевала. Вторая картина изображала ее же, но в виде коллажа из старых женских журналов — не фотографий, но иллюстраций и оформления, типичных тухло-зеленых, выцветших синих и грязно-розовых тонов. На третьей картине была опять та же фигура, но белая на белом; выпуклые части выложены синельной проволокой, приклеенной на белый холст. Если смотреть слева направо, то казалось, что мать медленно растворяется, превращаясь из живой женщины в тень на вавилонском барельефе.

Нижние три картины демонстрировали обратное превращение: сперва синельная проволока,

потом та же фигура коллажем, и последняя — цветная, со всеми реалистическими деталями. Но здесь мать была в брюках, сапогах и мужском пиджаке, и варила варенье из черемухи на костре под открытым небом. Это можно было понять как материализацию — из белого тумана синельной проволоки в ощутимый свет дня.

Я назвала эту серию «Скороварка». Из-за того, что она появилась в определенный год, и из-за событий тех лет кое-кто решил, что эта картина изображает богиню плодородия. Меня это ужасно смешило — я-то знала, как мать ненавидела работу по дому. Другие думали, что это про женское рабство, третьи — что это стерео- типизирующее изображение женщины, занятой принижающим и отупляющим домашним трудом.

Я создала эту композицию сразу после смерти матери. Наверно, я хотела ее воскресить. Хотела сделать ее бессмертной, хотя на земле не бывает ничего бессмертного. Эти портреты моей матери насквозь пропитаны временем, как и все на свете.

Я допиваю капучино, расплачиваюсь и оставляю на чай косящему под итальянца официанту, который меня обслуживал. Я понимаю, что ничего не куплю в продуктовом отделе «Симпсона»,

он меня пугает. В повседневной жизни и в путешествиях я бы не испугалась: я взрослый человек и привыкла ходить за покупками. Но как найти здесь, в подвале, то, что мне нужно прямо сейчас? Я зайду по дороге в какую-нибудь мелочную лавочку на углу, где продают молоко до полуночи и подчерствевший нарезанный белый хлеб. Такими лавками сейчас владеют люди одного цвета с мистером Банерджи. Или китайцы. Они не обязательно дружелюбней, чем бледные, как тесто, прежние владельцы этих лавок, но общее содержание их неодобрения легче отгадать; детали, впрочем, остаются тайной.

Я снова еду вверх на эскалаторе и погружаюсь в парфюмерный туман первого этажа. Здесь нечем дышать, слишком много мускуса, и всё пересиливает запах денег. Я выбираюсь наружу и иду на запад, мимо убийц-манекенов в витринах, мимо двустворчатого здания городской думы.

Впереди на тротуаре лежит тело. Прохожие огибают его, бросают взгляд вниз, отводят глаза и спешат дальше. Я вижу, как идущие в мою сторону перестраивают свои лица, чтобы те гласили: «Это меня не касается».

Подойдя, я обнаруживаю, что это женщина. Она лежит на спине и смотрит прямо на меня.

— Дама, — говорит она. — Дама, дама!

Это слово испытало много превратностей. Благородная дама. Раз — и в дамки. Эй, дамочка, куда прёте. Дамская комната (зачеркнуто и исправлено на «Женский туалет»). Но все же это — крайнее средство мольбы. В час нужды можно обратиться к потенциальной благодетельнице и «женщина», но «дама» звучит как набат. Так сейчас назвала меня она.

«Что если это сердечный приступ?» — думаю я. Приглядываюсь: у нее на лбу кровь, немного, просто ссадина. Должно быть, ударилась головой, когда падала. И никто не остановится, а она лежит на спине, раскинув руки — плотная женщина лет пятидесяти с чем-то, в бедняцком зеленом пальто, габардиновом, и жалких туфлях, покрытых трещинами.

— Дама, — говорит она. А может, и что-то другое говорит, но я уже попалась.

Я оглядываюсь через плечо — нет ли других добровольцев, но желающих не находится. Я опускаюсь на колени и спрашиваю:

— У вас все в порядке?

Вопрос дурацкий, потому что ответ на него, совершенно очевидно, «нет». В ее бедственном состоянии явно поучаствовали рвота и алкоголь.

Я уже вижу, как веду ее выпить кофе, а потом куда? Я не смогу от нее отделаться, она увяжется за мной в студию, наблюёт в ванну и уснёт на футоне. Я — легкая добыча, они видят меня издалека, различают в толпе, какое бы суровое лицо я ни строила. Уличные рэперы, мунисты, юноши с гитарами, что клянчат у меня жетоны метро. Стоит беспомощному в меня вцепиться, и я сама становлюсь беспомощной.

— Она просто пьяная, — говорит какой-то прохожий. Что значит «просто»? Это уже само по себе ад.

— Ну-ка, — говорю я. — Давайте я вам помогу. Вставайте.

Слабачка, мысленно говорю я себе. Сейчас она попросит денег, и ты ей дашь, и она потратит их на дешевый портвейн. Но она уже на ногах, она висит на мне. Если получится дотащить ее до ближайшей стенки, прислонить и отряхнуть от пыли, то можно будет подумать о бегстве.

— Ну вот, — говорю я. Но она не хочет облокачиваться на стену, она облокачивается на меня. Изо рта у нее пахнет так, словно там произошел несчастный случай. Теперь она плачет — рыдает, не скрываясь, как ребенок; она вцепилась пальцами в мой рукав.

— Не бросай меня, — говорит она. — Боже. Не бросай меня одну.

Глаза у нее закрыты, в голосе чистая нужда, чистое горе. Он бьёт мне в самую слабую, сострадательную часть души; но я — лишь замена, и кто знает, какую дыру, какую потерю я закрываю собой. Я ничего не могу сделать.

— Вот, — говорю я. Роюсь в кошельке, достаю десятку и сую, скомканную, ей в руку. Откупаюсь. Я — доверчивая сердобольная дура. У меня на сердце рана, она болит, и из нее текут деньги.

— Дай бог здоровья, — говорит она. Голова ее мотается из стороны в сторону и назад, ударяясь о стену. — Всяческих милостей от Бога… от Божьей матери…

Невнятное благословение, но кто докажет, что я в нем не нуждаюсь? Эта женщина, должно быть, католичка. Можно найти храм, запихнуть ее в дверь, как посылку. Она ихняя, вот пусть они с ней и разбираются.

— Мне надо идти, — говорю я. — У вас все будет хорошо.

Я откровенно вру. Она широко открывает глаза, пытаясь сфокусировать зрение. Ее лицо вдруг притихает.

— Я про тебя знаю, — говорит она. — Ты Божья

Матерь, и ты меня не любишь.

Настоящий алкогольный бред, и человек совершенно не тот. Я выдергиваю руку, словно из розетки под током.

— Нет, — говорю я.

Она права, я ее не люблю. Глаза у нее не карие, а зеленые. Глаза Корделии.

Я иду прочь, руки у меня обагрены виной. Я отпускаю себе грех: я хороший человек. Что, если бы она умирала. Кроме меня, никто не остановился.

Я дура, потому что путаю это с добротой. Я не добра.

Я слишком много знаю, чтобы быть доброй. Я знаю себя.

Я знаю, что я мстительна, жадна, скрытна и коварна.

29

Мы возвращаемся в сентябре. На севере ночи холодные и листья уже начинают желтеть, но в городе еще жарко, еще влажно. Здесь поразительно шумно, воняет бензином и асфальтом, плавящимся от жары. Воздух в нашем доме затхлый, застоявшийся, он был заперт на жаре все лето. Из кранов поначалу течет ржавь. Я принимаю ванну в красноватой, едва теплой воде. Мое

тело уже начало костенеть, выдавливать из себя чувства. Будущее захлопывается вокруг меня, как дверь.

Корделия все это время ждала меня. Я понимаю это, когда вижу ее на остановке школьного автобуса. Весной она чередовала доброту и жестокость, перемежая их периодами равнодушия; но сейчас она стала жестче, беспощадней. Словно ее гонит потребность — понять, как далеко можно зайти. Она теснит меня, будто к краю, к обрыву: еще шаг назад, другой — и я упаду.

Мы с Кэрол теперь в пятом классе. У нас новая учительница, мисс Стюарт. Она шотландка, у нее акцент. «Здрррравствуйте, девочки», — говорит она. Она держит на столе пучок засушенного вереска в банке из-под варенья и миниатюрный портрет Красавчика Принца Чарли, которого погубили англичане. У него была такая же фамилия, как у нее. В ящике стола она держит флакон лосьона для рук. Она готовит его сама.

Во второй половине дня она заваривает себе чай. Он пахнет не столько чаем, сколько снадобьем, которое она подливает из маленькой серебряной фляжки. У нее голубовато-белые волосы, очень красиво завитые. Она ходит в шуршащих шелковистых лиловых платьях и носит в

рукаве кружевной платочек. Она часто надевает марлевую повязку на рот и нос, как у медсестер, потому что у нее аллергия на меловую пыль. Это не мешает ей кидаться в мальчишек, если они не слушают на уроке, щетками для стирания с доски. Она кидает незаметно и не сильно, но всегда попадает. После того, как она попадает в мальчишку, он должен принести щетку обратно и вернуть ей. Мальчишки не обижаются на нее за это; они, кажется, считают, что если в тебя бросили щеткой — это знак отличия.

Мисс Стюарт любят все. Кэрол говорит, нам повезло, что мы в ее классе. Я бы тоже ее любила, будь у меня силы на это. Но я слишком онемела, слишком порабощена.

Я ношу свой стеклянный «кошачий глаз» в кармане, чтобы за него держаться. Он лежит у меня в руке, как драгоценный камень, бесстрастно созерцая всё, что происходит вокруг, сквозь плоть и ткань. С его помощью я возвращаюсь в себя и начинаю смотреть собственными глазами. Впереди идут Корделия, Грейс и Кэрол. Я замечаю, какую они принимают форму, когда идут, как переходит тень с одной ноги на другую, пятна цвета, красный квадрат кофты, синий треугольник юбки. Они впереди — как марионетки, маленькие и

четкие. Я могу видеть их или не видеть — как пожелаю.

Я дохожу до тропы, ведущей к мосту, и иду по ней, мимо плетей паслёна с красными ягодами, мимо колышущихся листьев, мимо крадущихся кошек. Те трое уже на мосту, но вот они остановились — ждут меня. Я смотрю на овалы их лиц, очертания волос вокруг. Лица у них как заплесневелые яйца. Ноги несут меня под горку.

Я думаю о том, как бы стать невидимой. Я представляю себе, как ем ядовитые ягоды паслёна, что растет у тропы. Я представляю себе, как пью хлорку из бутылки с черепом и костями, что стоит на полке в стиральной комнате. Я представляю себе, как прыгаю с моста и разбиваюсь, словно тыквенная голова — половина глаза, половина ухмылки. Я развалюсь на куски, как тыква, я буду мертвая, как мертвецы.

Я не хочу ничего такого делать, я боюсь этих вещей. Но я представляю себе, как Корделия велит мне сделать что-то из этого — не презрительно, а по-доброму. Я слышу ее сочувственный голос у себя в голове: «Ну-ка, давай. Ну же». И я все сделаю, чтобы угодить ей.

Я думаю, не рассказать ли брату, не попросить ли у него помощи. Но что я ему скажу? Я не могу

предъявить ни фонарь под глазом, ни разбитый нос: Корделия не применяет силу. Если бы мальчишки меня гоняли или дразнили, он бы знал, что делать. Но мальчишки меня не трогают. Против девочек, их косвенных методов, их шепотков он бессилен.

И еще мне стыдно. Я боюсь, что брат надо мной посмеется, будет презирать меня за то, что я разнюнилась из-за каких-то девчонок, устроила шум из ничего.

Я на кухне, смазываю формочки для маффинов. Я вижу узоры, которые маргарин рисует на металле. Я вижу лунки своих ногтей, рваную плоть. Мои пальцы движутся все кругом и кругом.

Мать готовит тесто для маффинов — отмеряет соль, просеивает муку. Сито шуршит сухо, как наждачная бумага.

— Тебе не обязательно с ними играть, — говорит мать. — Наверняка есть еще девочки, с которыми ты можешь дружить.

Я смотрю на нее. Несчастье обволакивает меня, как медленный ветер. Что она заметила? О чем догадалась? Как намерена поступить? Она может сказать их матерям. Это самое худшее, что можно сделать. Но в то же время я думаю, что это маловероятно. Моя мать не похожа на других матерей,

она не укладывается в саму идею матери. Она не живет в доме так, как живут в своих домах они; она воздушна, ее трудно пришпилить к месту. Другие матери не катаются на коньках на ближайшем катке, не гуляют сами по себе в овраге. Они кажутся мне взрослыми в каком-то смысле, в котором ее взрослой не назовешь. Я представляю себе мать Кэрол, одетую в гарнитур, мать Корделии с очками на цепочке и туманным взглядом на мир, мать Грейс с ее шпильками и обвисшим фартуком. Моя мать явится к ним в брюках, с букетиком сорняков, ни с чем не сообразная. Они ей просто не поверят.

— Когда я была маленькая и кто-нибудь обзывался, мы обычно говорили: «Кто обзывается, тот сам так называется», — говорит мать. Ее рука без остановки месит тесто — умелая, сильная.

— Они меня не обзывают. Они мои подруги.

Я сама в это верю.

— Ты должна уметь постоять за себя, — говорит моя мать. — Не позволяй им тобой помыкать. Не будь бесхребетной. Тебе нужно отрастить хребет.

Она плюхает тесто в формочки.

Я думаю о сардинках. У них есть хребет. Он съедобный. Косточки хрустят на зубах; одно прикосновение, и они распадаются. Наверно, и у

меня такой хребет: его все равно что нету. Я сама виновата в том, что со мной происходит. В том, что не отрастила хребет.

Мать ставит миску с тестом и обнимает меня:

— Если бы я знала, что делать…

Это признание. Теперь я убедилась в том, что раньше только подозревала: в этой истории она бессильна.

Я знаю, что маффины надо ставить в духовку сразу, иначе они не поднимутся и будут испорчены. Я не могу позволить себе отвлечься, утешиться. Если я дам слабину, даже тот жалкий хребет, что у меня есть, рассыплется в прах.

Я отодвигаюсь от матери:

— Нужно поставить их в духовку.

30

Корделия приносит в школу зеркальце. Карманное, прямоугольное, без рамки. Она вынимает его, держит передо мной и говорит:

— Ты только посмотри на себя! Только посмотри!

В голосе звучит отвращение, как будто ее терпение лопнуло. Как будто мое лицо само по себе затеяло какую-то каверзу и преступило черту. Я смотрю в зеркало, но не вижу ничего необычного.

Всего лишь мое лицо — с темными пятнами на губах там, где я оборвала кожицу.

Мои родители устраивают вечеринки с бриджем. Мебель в гостиной отодвигают к стенам и раскладывают два металлических карточных стола и восемь карточных стульев. Посреди каждого стола стоит вазочка с солеными орехами и другая со смесью конфет, которые называются «смесь для бриджа». Еще на каждом столе по две пепельницы.

Потом начинаются звонки в дверь, и приходят люди. Дом наполняется чуждым запахом сигарет — завтра утром он будет все еще здесь, вместе с немногими оставшимися конфетами и орехами, — и взрывами смеха, которые становятся все громче. Я лежу в постели и слушаю этот смех. Я чувствую себя одинокой, выброшенной. И еще я не понимаю, почему всё это оживление, шумы и запахи называются бриджем. Все это совсем не похоже на бриджи, которые я видела в сундуке у матери.

Иногда на бридж приходит мистер Банерджи. Я во фланелевой пижаме прячусь в углу прихожей, надеясь мельком его увидеть. Я вовсе не влюблена в него, ничего подобного. Я хочу его видеть, потому что беспокоюсь за него и чувствую душев-

ное сродство с ним. Я хочу знать, как он держится, как справляется с жизнью, в которой его заставляют есть индеек и делать разные другие вещи. Не очень хорошо, судя по затравленному взгляду темных глаз и слегка истеричному смеху. Но если он может выстоять против тех, кто на него охотится (а на него точно идет охота), значит — и я могу. Во всяком случае, я так думаю.

Торонто скоро посетит принцесса Элизабет. Она приехала в Канаду вместе со своим мужем, он герцог. Это *королевский визит*. По радио передают приветственный гул толпы и торжественный голос описывает цвет одежды принцессы. Каждый день она в костюме другого цвета. Фоном звучит скрипичная музыка приморских канадских провинций, а я скрючилась на полу в гостиной, разложив газету «Звезда Торонто» и прижав ее локтями, и изучаю фотографию принцессы на первой странице. Она кажется старше, чем должна быть, и обыкновенней; уже не в форме герл-гайдов, как во времена Лондонского блица, но и не в вечернем платье и диадеме, как королева на портрете у нас в классе. Принцесса одета в обычный костюм и перчатки, в руке у нее сумочка, как у любой прохожей, а на голове дамская шляпка. Но все же это принцесса. Вся

вторая страница газеты заполнена ее фотографиями: женщины приседают перед ней в реверансе, девочки подносят ей букеты. Она одаривает их улыбкой — всегда одной и той же, благосклонной. Эту улыбку называют «лучистой».

День за днем я, скрючившись на полу, листаю газеты. Я слежу за тем, как принцесса движется по карте — самолетом, поездом, автомобилем, из одного города в другой. Я запоминаю планы ее возможного проезда через Торонто. У меня будет хороший шанс ее увидеть — она проедет прямо рядом с нашим домом, по ободранной дороге, покрытой выбоинами, у которой с одной стороны кладбище с тонкими молодыми деревцами и свежими кучами земли, а с другой — пять новых гор грязи, стоящих в ряд.

Горы грязи — с нашей стороны дороги. Они появились недавно на месте полоски чахлого поля. Рядом с каждой горой — ее собственная яма, приблизительно в форме подвала дома, а на дне ямы слой грязной воды. Мой брат заявил, что одна из этих гор принадлежит ему; он собирается вырыть в ней штольню с вершины вниз, а потом другую сбоку, чтобы сделать боковой вход. Что именно он собирается делать внутри горы, никому не ведомо.

Я не знаю, зачем принцессу повезут мимо этих гор. Я не думаю, что ей почему-либо захочется их увидеть, но точно не могу утверждать, ведь она обозревает множество других вещей, которые ненамного интересней. На одной фотографии она стоит у здания муниципалитета какого-то города, на другой — у фабрики рыбных консервов. Но независимо от того, хочет ли она увидеть наши горы грязи, с них будет удобно смотреть на нее.

Я с нетерпением жду ее визита. Я чего-то ожидаю от него — хоть и не знаю, чего. Это та самая принцесса, что не побоялась бомбежки в Лондоне, та, что была смелой и мужественной. Мне кажется — в этот день что-то случится для меня. Что-то изменится.

Наконец *королевский визит* прибывает в Торонто. День пасмурный, местами накрапывает; поплёвывает с неба, как говорят. Я выхожу заранее и взбираюсь на вершину средней горы. Вдоль дороги, среди чахлых сорняков, уже выстроились в неровный ряд дети и взрослые. Кое у кого из детей в руках британские флажки. У меня тоже такой, их раздавали в школе. Народу немного — наш район заселен негусто, и к тому же многие соседи пошли в центр города, где есть тротуары. Я вижу Грейс, Кэрол и Корделию, они стоят дальше

на дороге, у дома Грейс. Я надеюсь, что они меня не заметят.

Я стою на горе грязи, британский флажок уныло свисает с древка. Время идет, но ничего не происходит. Я думаю, не пойти ли домой послушать радио, чтобы узнать, где именно сейчас принцесса, но вдруг на дороге слева показывается полицейская машина, едет вдоль кладбища. Начинается дождик. В отдалении слышатся приветственные крики.

Появляются мотоциклы, потом автомобили. Я вижу, как люди, стоящие на дороге, поднимают руки, слышу там и сям крики «Ура». Машины едут слишком быстро, несмотря на выбоины. Я не знаю, какая из них — та самая.

Потом я вижу. Из одной машины торчит рука в бледной перчатке и машет. Вот она уже поравнялась со мной, вот движется мимо. Я не машу британским флажком и не кричу — я понимаю, что уже поздно, я не успею сделать то, к чему все это время готовилась и что стало мне ясно только сейчас. Нужно сбежать с горы, растопырив руки для равновесия, и броситься перед машиной принцессы. Перед машиной, на машину или в машину. Тогда принцесса велит затормозить. Обязательно велит, чтобы меня не переехать. Я

не мечтаю о том, что меня куда-то увезут в королевском автомобиле, я реалистка. И вообще я не хочу бросать родителей. Но моя жизнь изменится, станет другой, для меня что-нибудь сделают.

Машина с перчаткой удаляется, уже завернула за угол, а я не тронулась с места.

31

Мисс Стюарт любит изобразительное искусство. Она велела нам принести из дома старые отцовские рубашки, и мы надеваем их, чтобы не испачкаться. Пока мы вырезаем, раскрашиваем и клеим, она расхаживает по классу в марлевой маске, заглядывая нам через плечо. Но если кто-нибудь, какой-нибудь мальчишка, нарочно рисует глупую картинку, она поднимает ее и всем показывает с наигранным возмущением:

— Этот мальчик думает, что он очень умный. Твои мозги рррассчитаны на большее, дорррогой!

И щелкает его по уху указательным и большим пальцами.

Мы вырезаем для мисс Стюарт все обычные бумажные фигуры — тыквы, рождественские колокольчики, — но и другими вещами тоже занимаемся. Мы творим сложные цветочные узоры

с помощью циркуля, приклеиваем на картонные подложки странные предметы: перья, блестки, ярко окрашенные макаронины, куски соломинок для питья. Мы коллективно создаем фрески на доске или на коричневой бумаге из больших рулонов. Мы рисуем картинки из жизни других стран: Мексику с кактусами и сомбреро, Китай, где жители носят конические шляпы и плавают на лодках с нарисованным глазом, Индию, в которой мы пытаемся изобразить грациозных женщин, задрапированных в шелк, с медными кувшинами на головах и драгоценными камнями на лбу.

Мне нравятся эти картинки чужой жизни, потому что я могу в них поверить. Мне отчаянно нужно верить, что где-то живут эти иные, иностранные люди. Неважно, что в воскресной школе мне рассказывают: жители тех стран либо голодают, либо язычники, либо то и другое сразу. Неважно, что на мою еженедельную лепту их обращают в христианство, учат и кормят. Мисс Ламли считала, что они коварны, едят никому не известную или отвратительную пищу и замышляют вероломство против британцев. Но я предпочитаю версию мисс Стюарт, в которой солнце у них над головой — радостно-желтое,

пальмы — ярко-зеленые, их одежда украшена цветами, а их народные песни полны радости и веселья. Женщины трещат меж собой на непонятном языке и смеются, показывая идеально ровные белоснежные зубы. Если эти люди есть на свете, я могу когда-нибудь уехать туда, где они живут. Мне необязательно оставаться здесь.

Сегодня, говорит мисс Стюарт, мы нарисуем то, чем будем заниматься после школы.

Мои одноклассники склоняются над партами. Я знаю, что они нарисуют: как они прыгают через скакалку, лепят веселых снеговиков, слушают радио, играют с собакой. Я смотрю на свой лист бумаги, все еще пустой. Наконец я рисую свою кровать и себя, лежащую в ней. У моей кровати темное деревянное изголовье с завитушками. Я рисую окно и комод. Потом я раскрашиваю ночь. Рука, держащая черный карандаш, нажимает все сильней, и вот картинка почти полностью черная, виднеются лишь слабые очертания кровати и моей головы на подушке.

Я смотрю на картинку в отчаянии. Я не это собиралась нарисовать. Это непохоже ни на чей другой рисунок, это неправильно. Мисс Стюарт разочаруется во мне, скажет, что мои мозги рассчитаны на большее. Я уже чувствую, что она

стоит у меня за спиной, заглядывает мне через плечо; я слышу запах ее лосьона для рук, и другой запах — чая, который не чай. Она проходит чуть вперед, чтобы я ее увидела. Голубые глаза, окруженные морщинками, смотрят на меня поверх марлевой маски.

Несколько секунд она молчит. Потом спрашивает, но не сердито:

— Почему у тебя на каррртине так темно, дорррогая?

— Потому что ночь, — отвечаю я. Идиотский ответ, я это понимаю, как только слова вылетают у меня изо рта. Мой голос едва слышен даже мне самой.

— Понятно, — говорит она. Она не говорит, что я нарисовала не то или что должна же я после школы заниматься чем-то еще кроме сна. Она мимолетно касается моего плеча, прежде чем двинуться дальше по проходу. Ее прикосновение вспыхивает на миг — и гаснет, как задутая ветром спичка.

На окнах класса цветут бумажные сердца. Мы изготавливаем огромный почтовый ящик для посланий Валентинова дня, оклеив картонную коробку розовой гофрированной бумагой и красными сердцами в кружевах. В щель на крышке

мы засовываем свои валентинки, вырезанные из специальных книжечек, которые продаются в универмаге «Вулворт». Особенные, лучшие валентинки предназначаются людям, которые нам особенно нравятся.

В сам Валентинов день всю вторую половину дня мы празднуем. Мисс Стюарт обожает празднества. Она принесла несколько десятков печений в форме сердечек, которые сама испекла. Они украшены розовой глазурью и серебряными шариками. Есть еще маленькие сердечки из корицы и пастельные с надписями. Это послания из какой-то далекой эры, не нашей. «Ото то!». «Она — моя крошка». «Ах ты мальчуган!»

Мисс Стюарт сидит за своим столом и наблюдает, а несколько девочек вскрывают ящик и разносят валентинки. Стопка валентинок растет у меня на парте. Большинство из них — от мальчиков. Я это определяю по корявому почерку и еще по тому, что большинство открыток не подписано. На других только инициалы или «Угадай кто» вместо подписи. На некоторых стоят буквы «Х» и «О». Все валентинки от девочек аккуратно подписаны полными именами, чтобы не было ошибки — кто кому что подарил.

По дороге домой из школы Кэрол хихикает

и показывает свои открытки от мальчиков. У меня больше открыток от мальчиков, чем у нее, больше, чем собрали Корделия и Грейс в своем шестом классе. Но это знаю только я. Я спрятала валентинки у себя в парте, чтобы их не увидели по дороге домой. Когда меня спрашивают, я говорю, что получила совсем мало открыток. Я берегу, как сокровище, мысль, которая нова для меня, но не удивляет: мальчики — мои тайные союзники.

Кэрол только десять лет и девять месяцев, но у нее уже растет грудь. Пока не очень большая, но соски уже не плоские, а остроконечные, и под ними все набухло. Это легко заметить, потому что Кэрол выпячивает грудную клетку, ходит в свитерках в обтяжку, да еще и одергивает их так, чтобы обрисовать груди. На перемене она жалуется, что они болят. И что придется начать носить лифчик. «Да хватит уже про твои дурацкие сиськи», — говорит Корделия. Она старше, но у нее груди пока нет.

Кэрол щиплет себе губы и щеки, чтобы они покраснели. Она выуживает из мусорного ведра использованную губную помаду матери, прячет и приносит в школу. После школы она кончиком мизинца выковыривает помаду и мажет губы. Перед тем, как войти в дом, она стирает помаду

салфеткой, но, видимо, не до конца.

Мы играем наверху, в комнате Кэрол. Когда мы спускаемся вниз, на кухню, чтобы попить молока, мать Кэрол восклицает:

— Что это у вас на лице, мадам?

Прямо в нашем присутствии она вытирает Кэрол лицо грязным посудным полотенцем.

— Чтобы я больше не видела такой дешевки! В твоем возрасте, подумать только!

Кэрол извивается, плачет и самозабвенно визжит. Мы смотрим — завороженно и в ужасе.

— Ну погоди, вот отец вернется! Будешь знать, как выставлять себя на всеобщее обозрение, — говорит мать Кэрол холодным, бешеным голосом. Как будто, если на тебя смотрят, это само по себе уже плохо. Тут она вспоминает о нашем присутствии. — А ну-ка, идите отсюда!

Через два дня Кэрол рассказывает, что отец всыпал ей по первое число — ремнем, пряжкой ремня, прямо по голой попе. Она говорит, что ей больно сидеть. Но это звучит так, словно она гордится. После школы, когда мы у нее в комнате, она показывает: задирает юбку, спускает трусы, и мы видим, что там и правда отметины, похожие на царапины, не очень красные, но все же.

Эти вещественные доказательства как-то не

вяжутся с образом отца Кэрол, веселого мистера Кэмпбелла с мягкими усами, который зовет Грейс «прелестные карие глазки», а Корделию «мисс Лобелия». Очень странно думать, что он может хлестать кого-то ремнем. Но отцы и их повадки загадочны. Например, я знаю (хотя мне никто не говорил), что мистер Смиитт ведет у себя в воображении тайную жизнь, состоящую из поездов и побегов. Отец Корделии в тех редких случаях, когда мы его видим, очень мил, он шутит с нами и улыбается так, что хоть сейчас на рекламный плакат, но почему Корделия его боится? А она его боится. Все отцы, кроме моего, днем невидимы; днем правят матери. Но отцы выходят по ночам. С наступлением темноты они являются домой — носители настоящей власти, о которой нельзя говорить. В них кроется больше, чем видно глазу. И потому мы верим рассказу про ремень.

Кэрол говорит, что видела мокрое пятно на простыне своей матери — утром, когда та еще не застелила постель. Мы на цыпочках входим в спальню ее родителей. Кровать с лохматым шенилловым покрывалом до того аккуратно застелена, что мы боимся отвернуть одеяло и посмотреть. Кэрол открывает ящик тумбочки у кровати матери, и мы заглядываем внутрь. Там

лежит резиновая штука вроде шляпки гриба и тюбик зубной пасты, в котором никакая не зубная паста. Кэрол говорит, эти штуки нужны для того, чтобы не получались дети. Никто из нас не хихикает и не смеется над ней. Мы читаем этикетку. Каким-то образом красные отметины на попе придали словам Кэрол больший вес.

Кэрол лежит на своей собственной кровати, покрытой белым покрывалом с рюшечками — занавески в комнате такие же. Кэрол изображает больную неизвестно чем. Мы намочили полотенце, положили ей на лоб, принесли ей стакан воды. Болезнь стала игрой, в которую мы играем.

— Ой, я такая больная, ой, мне так плохо, — стонет Кэрол, извиваясь на кровати. — Сестра, сделайте что-нибудь!

— Надо послушать ее сердце, — говорит Корделия. Она задирает на Кэрол свитер и майку. Мы все бывали у врачей, нам известны проделываемые походя унизительные процедуры. — Это не больно.

Вот груди, они будто распухли, соски синеватые, как вены на лбу.

— Пощупай ее сердце, — приказывает мне Кэрол.

Я не хочу его щупать. Не хочу касаться этой

набухшей, неестественной плоти.

— Давай-давай, — говорит Корделия. — Делай что тебе велено.

— Она не слушается, — говорит Грейс.

Я протягиваю руку и кладу ее на левую грудь. На ощупь она как воздушный шар, наполовину заполненный водой, или полуостывшая овсянка. Кэрол хихикает:

— Ой, у тебя такие холодные руки!

Меня охватывает тошнота.

— Дура, я сказала «сердце», — говорит Корделия. — Я не сказала «сиську». Ты что, не знаешь, чем они отличаются?

Приезжает «скорая», и мою мать выносят на носилках. Я этого не вижу — мне рассказывает Стивен. Это произошло среди ночи, когда я спала. Стивен завел привычку тайно вставать и наблюдать звезды из окна своей спальни. Он говорит, что звезды гораздо лучше видно, когда большая часть городских огней погашена. Он говорит, что просыпаться среди ночи легко — нужно просто выпить на ночь два стакана воды. А потом сосредоточиться на времени, когда хочешь проснуться. Так делали индейцы.

И вот он не спал, и слушал, и прошмыгнул на другую сторону дома, где окно выходит на улицу.

Он говорит, что «скорая» ехала с мигалкой, но без сирены, потому я ничего и не слышала.

Утром, когда я просыпаюсь, отец на кухне жарит бекон. Он умеет это делать, хотя никогда не готовит дома — только на костре. В спальне родителей на полу кучка мятых простыней, одеяла сложены стопкой на стуле; на матрасе огромная овальная клякса крови. Но когда я возвращаюсь из школы, простыней уже нет, кровать застелена, и смотреть больше не на что.

Отец говорит, что произошел несчастный случай. Но какой может быть несчастный случай в постели? Стивен говорит, что это был ребенок — ребенок, который вышел наружу слишком рано. Я не верю: у женщин, которые носят ребенка, большие животы, а у моей матери не было такого живота.

Мать возвращается домой из больницы слабая. Ей велели отдыхать. К этому никто не привык, даже она сама. Она не слушается приказа, встает как обычно, при ходьбе опирается рукой о стену или о мебель, стоит у раковины, сгорбясь. Плечи покрыты кофтой. Иногда матери приходится бросать какое-нибудь дело на полдороге, идти и ложиться. Кожа у нее бледная и сухая. Мать будто прислушивается к чему-то — может быть, к ка-

кому-то звуку, который слышится снаружи, — но звука нет. Иногда мне приходится повторять — с первого раза она не слышит. Как будто она уехала куда-то, а меня оставила; или забыла, что я здесь.

Все это пугает меня даже больше, чем пятно крови. Отец велит нам больше помогать маме — это значит, что он тоже испуган.

Потом мать поправляется, а я нахожу у нее в корзинке для рукоделия маленький вязаный носочек, пастельно-зеленый. Я гадаю, почему она связала только один. Она не любит вязать, так что, может быть, она связала один, а потом ей надоело.

Мне снится, что мои настоящие родители — миссис Файнштейн и мистер Банерджи.

Мне снится, что моя мать родила ребенка — одного из двух близнецов. Он серый. Где другой близнец, я не знаю.

Мне снится, что наш дом сгорел. От него ничего не осталось. На том месте, где он стоял, торчат почерневшие пни, будто от лесного пожара. Рядом вздымается огромная гора грязи.

Мои родители мертвы, но в то же время живы. Они лежат бок о бок, в летней одежде, и погружаются в землю — она твердая, но при этом прозрачная, как лед. Они скорбно глядят на меня,

удаляясь.

32

Сегодня суббота. Мы едем в Корпус — на что-то, называемое «конверсат». Я не знаю, что такое конверсат, но я рада, что еду в Корпус — там мыши, змеи, опыты и никаких девочек. Отец спрашивает меня, не хочу ли я позвать подругу. Я говорю, что нет. Брат приводит Дэнни, у которого все время течет из носа. Он носит вязаные жилеты с узором из ромбиков и собирает марки. Они сидят на заднем сиденье — брата уже не укачивает — и говорят на «поросячьей латыни»:

— У-эй я-тебэй из-эй у-носэй ечет-тэй!

— У-нэй и-эй то-чэй? Очешь-хэй окушать-пэй?

— Ям-нэй ям-нэй!

Я знаю, что это — во всяком случае, со стороны Дэнни — по большей части спектакль, рассчитанный на меня. Он думает, я, как все девочки, начну дергаться и визжать. Когда-то я ответила бы чем-нибудь столь же тошнотворным, но такие вещи, как поедание соплей, меня больше не интересуют. Я смотрю в окно машины, притворяясь, что ничего не слышала.

Конверсат оказывается чем-то вроде музея. Зоологический отдел устроил день открытых дверей

для широкой публики — чтобы познакомить ее с наукой и стимулировать ее интеллект. Так сказал мой отец, ухмыляясь, чтобы показать, что это отчасти шутка. Еще он сказал, что многим людям не помешала бы стимуляция интеллекта. Мать ответила, что, по ее мнению, лично ее интеллект уже достаточно стимулирован, так что она лучше поедет за продуктами.

На конверсат приходит много народу. По выходным в Торонто нечем особо заняться. У Корпуса праздничный вид; к обычным запахам — мышиного помета, средства для мытья паркетов и полироля — примешиваются запахи зимней одежды, табачный дым и женские духи. На стенах расклеены гирлянды из разноцветной бумаги, а между ними — бумажные стрелки, указывающие путь по коридорам, вверх и вниз по лестнице и в разные комнаты. В каждой комнате своя выставка, сгруппированная по темам — в зависимости от того, чему предположительно должны научиться посетители.

В первой комнате выставлены куриные эмбрионы в разных стадиях развития — от красной точки до большеголового, пучеглазого цыпленка с перьями вроде булавок. Он не миленький и пушистый, как цыплята на пасхальных от-

крытках, но склизкий, с поджатыми когтями и чуть приоткрытыми веками, меж которыми виден полумесяц агатово-синего глаза. Эмбрионы заспиртованы: очень сильно пахнет формальдегидом. В другой комнате выставлена банка с близнецами — настоящими мертвыми идентичными человеческими близнецами, все еще прикрепленными к плаценте. У них серая кожа, и они плавают в чем-то похожем на грязную воду от мытья посуды. В их вены и артерии впрыснута разноцветная резина — в вены синяя, а в артерии красная, и мы видим, что их кровеносные системы соединены. Еще тут есть человеческие мозги в бутылке, похожие на огромный вялый серый грецкий орех. Мне не верится, что у меня в голове такая штука.

Еще в одной комнате стоит стол, где снимают отпечатки пальцев, и тогда можно проверить, правда ли они у тебя не такие, как у всех остальных людей. Здесь выставлен большой лист картона с увеличенными фотографиями отпечатков пальцев. Нам всем — брату, Дэнни и мне — снимают отпечатки. Дэнни и брат шутили по поводу куриных эмбрионов и близнецов: «Очешь-хэй урочку-кэй а-нэй ин-ужэй?» — но почему-то не задержались рядом с ними. Зато в этой ком-

нате они проявляют бурный энтузиазм. Каждый ставит другому черное пятно на лбу чернильным пальцем и громко, зловеще произносит: «Метка черной руки!», пока наш отец, проходя мимо, не велит им прекратить. С ним — прекрасный мистер Банерджи из Индии. Он нервно улыбается мне и спрашивает:

— Как поживаете, мисс?

Он всегда зовет меня «мисс». Среди по-зимнему бледных лиц он выглядит еще темнее; его зубы сияют и сияют.

Рядом с отпечатками пальцев раздают листки бумаги: их можно попробовать на вкус и сказать, горькие они, как косточки персика, или кислые, как лимоны. Это доказывает, что некоторые вещи наследуются. Здесь же стоит зеркало; предлагается высунуть язык перед ним и проверить, можешь ли ты свернуть его в трубочку или подвернуть уголки, чтобы получилось похоже на лист клевера. Некоторые люди не умеют делать ни того, ни другого. Дэнни и мой брат оккупируют зеркало и строят мерзкие рожи, растягивая пальцами уголки рта и выворачивая веки, чтобы было видно красное.

Мы пробираемся сквозь толпу по коридорам, следуя бумажным стрелкам, голубым и желтым.

У нас на ногах боты. Мы не сняли пальто. В здании жарко. Лязгающие батареи жарят на полную катушку, и воздух наполняется чужим дыханием.

Мы приходим в комнату, где лежит вскрытая черепаха. Она в белом эмалированном лотке, какие можно увидеть в мясных лавках. Она живая; или, может быть, мертвая, но ее сердце еще живое. Эта черепаха — эксперимент, который показывает, что сердце рептилии может биться еще долго после того, как она сама умрет.

В нижнем щитке панциря выпилена дырка. Черепаха лежит на спине, так что можно заглянуть в дырку, до самого сердца, которое бьется себе — медленно, блестя темно-красным в своей пещерке. Оно дергается, как хвост червя, когда его потрогаешь, опять удлиняется, снова дергается. Как будто кулак сжимается и разжимается. Как глаз.

К сердцу приделали провод, а другой конец подключили к громкоговорителю, и сердце бьется на всю комнату, мучительно медленно, будто старик поднимается по лестнице. После каждого удара я не знаю, будет ли еще один. Шаг, пауза, треск — как радиосигналы, которые, по словам брата, приходят из открытого космоса, — потом еще удар и слышен судорожный вдох. Жизнь

утекает из черепахи, и я слышу это через громкоговоритель. Скоро она вытечет совсем, и черепаха останется пуста.

Я не хочу тут быть, но в комнате очередь — и позади меня, и впереди. Все эти люди — взрослые; я потеряла из виду Дэнни и брата. Меня теснят драповые пальто, мои глаза — на уровне их второй пуговицы. Я слышу другой звук, он перекрывает сердцебиение черепахи, как приближающийся ветер; шелест, вроде листьев тополя, но меньше, суше. Я вижу вокруг себя черную кайму, она сжимается. Это что-то вроде выхода из туннеля, и он стремительно удаляется; или это я удаляюсь от него, от пятна солнечного света. В следующий миг я вижу множество бот и доски пола, простирающиеся вдаль. Все это на уровне моих глаз. У меня болит голова.

— Она упала в обморок, — говорит кто-то, и так я узнаю, что именно сделала.

— Наверно, перегрелась.

Меня выносят на серый холодный воздух; это мистер Банерджи несет меня, что-то расстроенно бормоча. Выбегает отец и велит мне сесть так, чтобы голова была между колен. Я повинуюсь и гляжу на верхи своих ботиков. Отец спрашивает, не тошнит ли меня, и я говорю, что нет. Выходят

брат и Дэнни и молча смотрят на меня. Наконец брат говорит:

— А-онэй ала-упэй вэй морок-обэй, — и они уходят обратно в здание.

Я остаюсь на улице, отец пригоняет машину, и мы едем домой. Я начинаю понимать, что совершила открытие, которое может оказаться полезным. Из места, где ты не хочешь быть, но должна, есть выход. Упасть в обморок — это как отойти вбок, выйти из собственного тела, из времени, или перейти в другое время. Когда приходишь в себя, уже наступило будущее. Время прошло без твоего участия.

— Представь себе десять стопок тарелок, — говорит Корделия. — Это твои десять шансов.

Каждый раз, когда я что-нибудь делаю не так, одна стопка падает и разбивается. Я отчетливо вижу эти тарелки. Корделия тоже их видит — именно она произносит «Трах-тарарах!» Грейс тоже видит, немножко, но ее «трахтарарахи» неуверенные, она смотрит на Корделию, чтобы та подтвердила. Кэрол пробует раз-другой, но над ней смеются: «Это был не трах-тарарах!»

— Всего четыре осталось, — говорит Корделия. — Следи за собой. Ну?

Я молчу.

— А ну прекрати ухмыляться, — говорит она.

Я молчу.

— Трах! — говорит Корделия. — Только три осталось!

Никто никогда не объясняет, что случится, если разобьются все стопки.

Я стою спиной к стене, у двери с надписью «ДЕВОЧКИ». Холод поднимается по ногам и заползает в рукава. Мне запрещено двигаться. Я уже забыла, почему. Я открыла, что могу наполнить голову музыкой («На честном слове и на одном крыле», «Мы — веселая компашка») и забыть почти обо всем на свете.

Сейчас перемена. Мисс Ламли с медным колокольчиком патрулирует двор. Лицо ее съежилось от холода. Она сосредоточилась на своем деле. Я ее все так же боюсь, хотя она больше не моя учительница. Мимо проходят шеренги девочек, сцепившись руками, и скандируют: «Мы идем без остановки». Другие мирно прогуливаются парочками. Они с любопытством смотрят на меня, потом отводят взгляд. Так люди в машинах на шоссе притормаживают и глядят из окон, если на обочине — авария. Они притормаживают, но не останавливаются. Они видят чужие неприятности и знают, когда следует держаться от них

подальше.

Я стою чуть поодаль от стены. Запрокидываю голову, смотрю в серое небо и задерживаю дыхание. Вызываю у себя головокружение. Я вижу стопку тарелок — она качается и начинает валиться набок. Бесшумный взрыв, разлетаются осколки. Небо съеживается в булавочную головку, и меня накрывает волна осенних листьев. Потом я вижу собственное тело, лежащее на земле. Оно просто лежит, и все. Я вижу, как девочки толпятся и показывают пальцами, вижу мисс Ламли, которая проталкивается и с трудом наклоняется ко мне. Но все это видно мне сверху, будто я в воздухе, где-то рядом с надписью «ДЕВОЧКИ», смотрю вниз, как птица.

Я прихожу в себя. Надо мной, всего в нескольких дюймах от моего лица — лицо мисс Ламли. Она хмурится еще сильней обычного, словно я натворила дел. Девочки обступили нас кольцом и толкаются, чтобы лучше видеть.

У меня кровь — я разбила себе лоб. Меня ведут в кабинет медсестры. Она стирает кровь и прилепляет пластырем марлевый тампон. Вид собственной крови на мокром белом полотенце доставляет мне глубокое удовлетворение.

Корделия слегка сбавила напор: кровь — это

внушительно, еще внушительней, чем рвота. По дороге домой Корделия и Грейс подчеркнуто заботливы, берут меня под руки, спрашивают, как я себя чувствую. От такого внимания с их стороны я трепещу. Я боюсь расплакаться, возрыдать огромными слезами примирения. Но не плачу — я уже научилась осторожности.

В следующий раз, когда Корделия велит мне стоять у стены, я снова падаю в обморок. Теперь у меня это почти всегда получается, когда я хочу. Я задерживаю дыхание, слышу набегающий шорох, вижу черноту, ускользаю вбок, прочь из своего тела, и оказываюсь где-то еще. Но у меня не всегда получается смотреть сверху, как в первый раз. Иногда меня окружает сплошная чернота.

Я стала известна как «та девочка, что все время падает в обморок».

— Она это нарочно делает, — говорит Корделия. — Ну-ка, давай, я хочу посмотреть, как ты падаешь. Давай-давай, упади.

Но теперь, когда она велит, у меня не получается.

Я начинаю проводить время вне тела, не теряя сознания. В этом состоянии я вижу все нечетко, будто меня две и одна наложена поверх второй, но не очень аккуратно. Есть прозрачный край, а

рядом — кромка сплошной плоти, которая не чувствует — как шрам. Я вижу происходящее, слышу, что мне говорят, но могу не обращать внимания. Глаза открыты, но меня нет. Я в стороне.

VII. Богоматерь Неустанной Помощи

33

Я иду от «Симпсона» на запад, все еще в поисках какой-нибудь еды. Наконец покупаю ломоть пиццы навынос и ем на ходу, руками, сложив его вдвое и откусывая. Когда Бен рядом, я питаюсь по расписанию, нормальной едой, потому что так питается он, но когда я одна, то ем всякую дрянь и кусочничаю — мои старые повадки одиночки. Для меня это вредно, но я не должна забывать, каково мне приходится, когда я веду вредный для себя образ жизни. Иначе я начну принимать Бена как должное — со всеми его галстуками, стрижками и грейпфрутами на завтрак. А так я сильнее ценю его.

Вернувшись в студию, я звоню Бену, вычтя три часа, чтобы понять, сколько сейчас на западном побережье. Но слышу только свой собственный голос в автоответчике, а за ним гудок — словно официальные сигналы точного времени Обсерватории Доминиона, гласящие, что будущее

наступило. «Я тебя люблю», — говорю я, чтобы Бен потом послушал. Тут я вспоминаю, что он сейчас в Мексике и вернется одновременно со мной.

На улице уже стемнело. Можно выйти и поесть чего-нибудь больше похожего на ужин, или попробовать сходить в кино. Вместо этого я заползаю на футон, под перину, с чашкой кофе и телефонным справочником Торонто и начинаю искать фамилии. Смиттов больше нет — уехали, умерли или повыходили замуж. Кэмпбеллов столько, что и палкой не разгонишь. Я нахожу Джона — под фамилией, которую когда-то носила сама. Иосифа Хрбика, однако, нет, хотя есть Хрбеки, Хрены, Храстники и Хрицусы.

Ризли тоже больше нет.

Нет и Корделии.

Мне странно опять лежать в постели Джона. Мне не приходило в голову, что этот футон — постель Джона, ведь я его никогда здесь не видела. Но, конечно, это так. Футон гораздо опрятней, чем знакомые мне постели Джона в прошлом, и гораздо чище. Его первым ложем был матрас на полу, с брошенным сверху спальным мешком. Я ничего не имела против, мне даже нравилось; как будто я опять живу в палатке. Обычно его постель окружал паводок пустых чашек, стаканов и

тарелок с объедками. Это мне нравилось меньше. В те времена существовали правила этикета относительно подобного беспорядка: можно было его игнорировать, можно было убирать, но между одним и другим пролегала граница. Мужчина решал, что ты делаешь ему авансы, пытаешься его завоевать.

Однажды мы лежали на этом самом матрасе — в самом начале, когда я еще не начала убирать тарелки. Вдруг дверь спальни открылась и вошла совершенно незнакомая мне женщина. В грязных джинсах и бледно-розовой футболке; лицо худое и словно выцветшее, с огромными зрачками. Мне показалось, что она под каким-то наркотиком — тогда как раз начались времена, когда это стало возможно. Она стояла и молчала, с напряженным белым лицом, спрятав одну руку за спину, а я натянула на себя спальный мешок, чтобы прикрыться.

— Эй, — сказал Джон.

Она вынула руку из-за спины и что-то швырнула в нас. Это оказался бумажный пакет, полный теплых макарон, прямо с томатным соусом. От удара пакет разорвался, и нас облепило макаронами. Женщина вышла, так и не сказав ни слова, и хлопнула дверью.

Я испугалась, а Джон расхохотался.

— Что это было? Как, черт возьми, она сюда попала?

— Через дверь, — ответил он, не прекращая смеяться. Он вытащил у меня из волос макаронину и склонился ко мне, чтобы поцеловать. Я поняла, что эта женщина его подружка или бывшая подружка, и разозлилась на нее. Мне не пришло в голову, что у нее могли быть веские причины. Я еще не начала натыкаться на чужие шпильки в ванной — оставленные, чтобы пометить территорию, как собачьи «подписи» на столбике. Мазки губной помады, стратегически размещенные на подушках. Джон умел заметать следы, и если он их не заметал, значит, не хотел. Еще мне не пришло в голову, что у нее, значит, был ключ от квартиры.

— Она сумасшедшая, — сказала я. — По ней психушка плачет.

Мне совсем не было ее жалко. В каком-то смысле я ею восхищалась. Она не оглядывалась на приличия, на правила хорошего тона. Ее переполняла энергия простой недвусмысленной ярости. Швырнуть пакет макарон — в этом была простота, бесшабашность, небрежное величие. Этот жест подводил черту. Мне еще предстояло

пройти долгий путь, чтобы стать способной на такой поступок.

34

Грейс читает молитву перед едой.

— Восхвали Господа и передай патроны, — говорит мистер Смиитт и тянется к фасоли в томате.

— Ллойд! — восклицает миссис Смиитт.

— Да что такого-то, — отвечает мистер Смиитт и одаряет меня однобокой улыбкой. Тетя Милдред поджимает усатый рот. Я жую резиновую еду Смииттов. Под скатертью я терзаю кутикулы. Воскресенье идет своим ходом.

После тушеного ананаса Грейс зовет меня в подвал, играть в школу. Я иду с ней, но вскоре вынуждена снова подняться наверх, так как мне нужно в туалет. Я попросила разрешения у Грейс, как мы просим разрешения у учителей в школе. Поднимаясь по лестнице из подвала, я слышу разговор тети Милдред и миссис Смиитт, моющих посуду на кухне:

— Она самая настоящая язычница, — говорит тетя Милдред. Как бывший миссионер она большая специалистка по язычникам. — Все, что ты для нее сделала, ни на йоту ничего не изменило.

— Она изучает Писание, Грейс мне рассказы-

вает, — отвечает миссис Смиитт, и я понимаю, что они говорят обо мне. Я замираю на верхней ступеньке лестницы, откуда видна кухня: стол, на котором свалена грязная посуда, и частично спины двух женщин.

— Они все изучают Писание, — говорит тетя Милдред. — Их можно учить до посинения. Но это всего лишь зубрежка. Отвернешься на минуту, и они тут же возвращаются к прежней жизни.

Это так нечестно, что меня словно бьют под дых. Как они могут?! Мое сочинение на тему «Трезвенность» было особо отмечено! Я писала про то, как пьяные попадают в аварии на машине и замерзают до смерти в холода, потому что алкоголь расширяет кровеносные сосуды. Я даже знаю, что такое кровеносные сосуды! Я даже написала эти слова правильно! Я могу читать наизусть целые псалмы, целые главы из Писания, я могу подпевать всем разноцветным слайдам в воскресной школе, не глядя на экран, потому что выучила все песни.

— Чего и ждать от такой семейки? — говорит миссис Смиитт. Она не объясняет, что не так с моей семьей. — Другие дети это чувствуют. Они знают.

— Ты не думаешь, что они с ней слишком суро-

вы? — спрашивает тетя Милдред. Она произносит это со смаком. Ей хочется знать, насколько именно они суровы.

— Это Божие наказание, — отвечает миссис Смиитт. — Она его заслужила.

Горячая волна проходит по моему телу. Это стыд, мне и раньше доводилось его ощущать — но он смешан с ненавистью, которой я раньше не знала или знала не в таком чистом виде. У этой ненависти есть форма — форма миссис Смиитт с единой огромной грудью и без талии. Эта ненависть сидит у меня в груди, подобно мясистому сорняку, сочному, с белым стеблем, как у репейника с вонючими листьями и мелкими зелеными репешками, растущего в засаженной кошками земле у тропы, ведущей на мост. Густая, тяжелая ненависть.

Я стою на верхней ступеньке, окаменев от ненависти. Но она направлена не на Грейс и не на Корделию. Я не захожу так далеко. Я ненавижу миссис Смиитт, ведь то, что я считала тайной, внутренним делом девочек, детей, оказалось вовсе не тайной. Ее обсуждали и сочли приемлемой. Миссис Смиитт все знала и одобряла. Она ничего не сделала, чтобы прекратить происходящее. Она считает, что я это заслужила.

Она переходит от раковины к кухонному столу, чтобы забрать очередную партию грязной посуды, и теперь я вижу ее целиком. Перед моим внутренним взором молнией проносится яркая картина: миссис Смиитт в бледных отжимных валиках стиральной машины, ногами вперед, кости трещат и уплощаются, кожа и мясо съезжают ближе к голове, которая вот-вот взорвется, как огромный воздушный шар, переполненный кровью. Умей я, как герои комиксов, пускать из глаз смертоносные лучи, я бы испепелила ее на месте. Она права, я язычница. Я не умею прощать.

Она, словно почувствовав мой взгляд, оборачивается и видит меня. Мы встречаемся глазами; она знает, что я все слышала. Но она не вздрагивает, не смущается, не чувствует потребности извиниться. Она самодовольно улыбается, не разжимая губ. И говорит — не мне, а тете Милдред:

— У маленьких кувшинчиков большие уши.

Ее больное сердце плавает в теле, как глаз. Злобное око. Оно меня видит.

Мы сидим на деревянной скамье в подвале церкви, в темноте, и смотрим на стену. Свет отражается в очках Грейс, которая, скосив глаза, наблюдает за мной.

Без воли нашего Отца
Смерть не настигнет и птенца.
И, коли птах Господь призрел,
Сколь ваш счастливее удел.

На слайде изображена мертвая птица, лежащая на огромной ладони, и падающий на нее луч света.

Я открываю рот, но не пою. Я теряю веру в Бога. Он у миссис Смиитт в кармане. Она точно знает, какие события — посланное от него наказание. Он с ней заодно, а меня они к себе не пускают.

Я думаю про Иисуса, который меня предположительно любит. Но он этого никак не проявляет, и я решаю, что от него помощи ждать не приходится. Против миссис Смиитт и Бога он ничего не поделает, потому что Бог сильнее. Бог вовсе не отец нам. Теперь я представляю его себе как нечто огромное, жесткое, неумолимое, безликое и несущееся вперед, словно по рельсам. Бог — что-то вроде паровоза.

Я решаю больше не молиться Богу. Когда настает время Господней молитвы, я стою молча и только шевелю губами.

«И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим».

Я отказываюсь это произносить. Если эти слова значат, что я должна простить миссис Смиитт либо отправиться в ад после смерти, я выбираю ад. Иисус наверняка знал, как трудно прощать, потому и вставил это в молитву. Он всегда требовал чего-нибудь невозможного, например — чтобы человек отдал все свои деньги.

— Ты не молилась, — шепчет мне Грейс.

У меня холодеет в животе. Что хуже — отрицать или признаться? В любом случае накажут.

— Молилась, — говорю я.

— Нет. Я слышала.

Я молчу.

— Ты соврала, — радостно говорит Грейс, забывая, что надо шептать.

Я все молчу.

— Ты должна попросить у Бога прощения. Я так делаю каждый вечер.

Я сижу в темноте, обрывая кутикулы. Я думаю о том, как Грейс просит у Бога прощения. Но за что? Бог прощает, только если ты жалеешь о сделанном, а Грейс никогда ни о чем не жалеет. Она никогда не думает, что поступила неправильно.

Грейс, Корделия и Кэрол идут впереди, я отстаю от них на целый квартал. Сегодня они не разрешают мне идти с ними, потому что я не слу-

шалась, но и не разрешают мне слишком сильно отставать. Я шагаю в такт песне «Мы — веселая компашка». У меня в мозгах пустота — ничего, кроме этих слов. Я иду, опустив голову, разглядывая тротуар и водосточную канаву — нет ли там серебряной бумаги от сигарет. Хотя я давно уже не собираю серебряную бумагу. Я знаю, что ничего ценного с ней не сделаешь.

Я вижу лист бумаги с цветной картинкой. Поднимаю его. Я знаю, кто там нарисован: это Дева Мария. Эта бумажка — из школы Богоматери Неустанной Помощи. «Ссаные помочи». Дева Мария — в длинном голубом одеянии, под которым совсем не видно ее ног. На голове у нее белое покрывало, а поверх него — корона и желтый нимб, из которого торчат лучи света, как гвозди. Она улыбается печально, разочарованно; руки распростерты, словно она приглашает гостей, а сердце — снаружи, и в него воткнуто семь мечей. Во всяком случае, это выглядит как мечи. Сердце большое, красное и гладкое, как атласная подушечка для булавок или валентинка. Под картинкой написано: «Семь скорбей».

Дева Мария иногда мелькает в газете, которую нам выдают в воскресной школе, но ее не изображают в короне или с сердцем вроде подушечки

для булавок, и ее никогда не увидишь саму по себе. Она всегда служит фоном. Ее не очень-то и восхваляют, разве что на Рождество, да и то главную роль в это время играет младенец Иисус. Когда миссис Смиитт и тетя Милдред говорят о католиках — это иногда случается за воскресным обедом, — то неизменно отзываются о них с презрением. Католики молятся статуям и пьют за причастием настоящее вино, а не виноградный сок. «Они поклоняются папе римскому», — говорят Смиитты. Или: «Они поклоняются Деве Марии». Словно это что-то ужасно плохое.

Я внимательно смотрю на картинку. Но я знаю, что оставить ее себе — опасно, и я ее выбрасываю. Это верное решение — те трое уже остановились, ждут, чтобы я их догнала. Любой мой поступок, за исключением ходьбы, привлекает их внимание.

— Что это ты сейчас подобрала? — спрашивает Корделия.

— Бумагу.

— Какую еще бумагу?

— Просто бумагу. Газету из воскресной школы.

— Зачем ты ее подобрала?

Когда-то я бы обдумала этот вопрос и постаралась ответить правдиво. Теперь я говорю:

— Не знаю.

Это единственный возможный ответ, который не приведет к насмешкам или дальнейшему допросу.

— Что ты с ней сделала?

— Выбросила.

— Не подбирай предметы на улице, — говорит Корделия. — На них микробы.

На этом она оставляет меня в покое.

Я решаю делать нечто опасное, бунтарское, возможно, даже кощунственное. Раз я больше не могу молиться Богу, я буду молиться Деве Марии. Это решение меня пугает, словно я собираюсь что-то украсть. Сердце бьется сильней, руки холодеют. Я чувствую, что обязательно попадусь.

Я решаю, что надо встать на колени. В церкви Смииттов мы не встаем на колени, но мне известно, что у католиков есть такое обыкновение. Я опускаюсь на колени рядом с кроватью и складываю руки, как дети на рождественских открытках, только на мне пижама в синюю полоску, а те дети всегда в ночных рубашках. Я закрываю глаза и стараюсь думать о Деве Марии. Я хочу, чтобы она мне помогла или, по крайней мере, подала знак, что слышит меня. Но я не знаю, что сказать. Меня никогда не учили к ней обращаться.

Я пробую представить, как бы она выглядела,

если бы я встретила ее на улице: во что она была бы одета — по-современному, наподобие моей матери, или в это голубое платье с короной, и если в голубое платье — то собралась бы толпа на нее поглазеть? Может, люди решили бы, что она только что играла в рождественской пьесе. Но если у нее снаружи сердце, пронзенное мечами, это просто так не объяснишь. Я пытаюсь придумать, что бы я ей сказала. Но она уже знает. Она знает, как я несчастна.

Я молюсь все жарче. Мои молитвы — бессловесные, наперекор всему, отчаянные, безнадежные, бесслёзные. Ничего не происходит. Я до боли тру глаза кулаками. Мне мерещится лик, потом голубое пятно, и наконец я вижу лишь сердце. Вот оно, алое, круглое, окруженное темным светом, чернотой вроде светящегося бархата. В центре вспыхивает что-то золотое и гаснет. Точно, это сердце. Оно похоже на мою красную пластиковую сумочку.

35

Середина марта. На стеклах окон классной комнаты расцветают бумажные тюльпаны к Пасхе. На земле еще лежит снег — грязным кружевом, хотя зима уже мягчает и тускнеет. Небо становит-

ся ниже и непроницаемей.

Мы идем домой под низким глухим небом, серым и набухшим от сырости. Из него сыплются влажные мягкие хлопья, скапливаются на крышах и на ветках. Время от времени эти скопления соскальзывают и падают на землю с глухим ватным стуком. Ветра нет, все звуки приглушены снегом.

Не холодно. Я развязываю уши синей вязаной шерстяной шапки, чтобы они свободно болтались. Корделия снимает варежки, лепит снежки, швыряет в деревья, телефонные столбы, куда попало. Сегодня у нее выдался дружелюбный день: она берет под руки меня и Грейс, и мы маршируем по улице, распевая: «Мы идем без остановки». Я тоже пою. Мы вместе прыгаем и скользим.

Ко мне возвращается доля той эйфории, что я когда-то ощутила при виде первого снега: мне хочется ловить снежные хлопья ртом. Я позволяю себе, на пробу, смеяться, как смеются другие. Мой смех — притворство, попытка быть нормальной.

Корделия бросается навзничь на чей-то белый газон перед домом, растопыривает руки, движет ими в снегу вверх-вниз, делая снежного ангела. Хлопья падают ей на лицо, в смеющийся рот, тают, прилипают к бровям. Она моргает, закры-

вает глаза, чтобы в них не попадал снег. На миг мне кажется, что это какая-то совсем незнакомая девочка, сияющая светом еще неведомых добрых возможностей. Или жертва дорожной аварии, которую отбросило в снег.

Она открывает глаза, тянется к нам руками, мокрыми и красными, и мы ставим ее на ноги так, чтобы не нарушить получившийся рисунок. У снежного ангела перистые крылья и крохотная голова. Там, где руки Корделии останавливались — ближе к бокам — отпечатались ее пальцы, как когти.

Мы забыли о времени — уже темнеет. Мы бежим по улице, ведущей к мосту через овраг. Даже Грейс бежит — неуклюже, крича нам: «Подождите!» Сегодня для разнообразия в хвосте плетется она.

Корделия первой добегает до холма и несется вниз. Она пробует ехать, но снег слишком рыхлый, недостаточно ледяной, к тому же с примесью золы и гравия. Она падает и катится кубарем. Мы думаем, что она это нарочно — так же, как делала снежного ангела. Мы в восторге несемся к ней, запыхавшись и хохоча. Подбегаем как раз когда она встает.

Мы прекращаем смеяться — теперь мы видим,

что она упала случайно, а не нарочно. Она не любит, когда с ней что-то происходит не по ее замыслу.

— Ты ушиблась? — спрашивает Кэрол дрожащим голосом, она испугана, она уже видит, что дело серьезное. Корделия не отвечает. Ее лицо снова закаменело, взгляд злобный.

Грейс переходит на другое место так, чтобы оказаться сзади Корделии — самую малость позади. С этой позиции она улыбается мне плотно сжатыми губами.

— Ты смеялась? — обращается ко мне Корделия. Я решаю, что она спрашивает, смеялась ли я над ее падением.

— Нет, — отвечаю я.

— Она смеялась, — ровным тоном говорит Грейс. Кэрол переступает ногами, чтобы оказаться на другой стороне дорожки, подальше от меня.

— Я дам тебе еще один шанс, — говорит Корделия. — Ты смеялась?

— Да, но…

— Отвечай только «да» или «нет».

Я молчу. Корделия взглядывает на Грейс, будто ища одобрения. Вздыхает — преувеличенный вздох, как у взрослой женщины.

— Ты опять лжёшь. Что нам с тобой делать?

Мне кажется, что мы стоим тут уже очень давно. Становится холодно. Корделия протягивает руку и стягивает с меня вязаную шапку. Спускается по склону, выходит на мост, колеблется мгновение. Подходит к перилам и швыряет мою шапку вниз, в овраг. Белый овал ее лица поворачивается ко мне:

— Иди сюда.

Значит, ничего не изменилось. Время будет тянуться так же, как раньше — бесконечно. Мой смех все-таки был ненастоящий, это я просто так задыхалась.

Я иду туда, где у перил стоит Корделия. Снег не хрустит под ногами, а проминается, будто утрамбовываешь вату. Звук такой, словно у меня внутри головы заполняют дырку в зубе. Я обычно боюсь так близко подходить к краю моста, но сейчас — нет. Страх — определенное чувство, а я сейчас не чувствую ничего определенного.

— Вон твоя дурацкая шапка, — говорит Корделия. И правда, шапка лежит внизу, все еще синяя на белом снегу, даже в сумерках. — Иди туда и подними ее.

Я смотрю на Корделию. Она хочет, чтобы я спустилась в овраг, где подстерегают плохие

мужчины и где нам запрещено ходить. Я думаю, что будет, если я вдруг возьму и не пойду. Что сделает Корделия?

Я вижу, что это и ей приходит в голову. Может, она зашла слишком далеко и наконец наткнулась на какой-то стержень во мне, способный сопротивляться. Если я сейчас не повинуюсь — кто знает, как далеко зайдет мой бунт. Двое остальных тоже спустились с холма и смотрят — с безопасной точки на середине моста.

— Ну, иди же, — говорит Корделия уже мягче, словно подбадривает, а не приказывает. — Тогда получишь прощение.

Я не хочу туда спускаться. Это запрещено и опасно; уже темно, и склон наверняка скользкий, вдруг я не смогу влезть опять наверх. Но там моя шапка. Если я приду домой без нее, придется объяснять. Придется рассказать всё. А если я откажусь идти в овраг, что сделает Корделия? Может быть, рассердится и навсегда перестанет со мной разговаривать. Может быть, столкнет меня с моста. До сих пор она ничего такого не делала, не била меня, не щипала, но теперь, после того, как она бросила мою шапку с моста, кто знает, на что она еще окажется способна.

Я иду к концу моста.

— Когда возьмешь шапку, досчитай до ста, — приказывает Корделия. — Тогда можешь подниматься наверх.

Она больше не сердится. Она говорит так, словно объясняет правила игры.

Я лезу вниз по крутому склону, держась за ветки и стволы деревьев. Это даже не настоящая тропа, просто след, протоптанный теми, кто здесь поднимается и спускается: мальчишками, мужчинами. Девочки здесь не ходят.

Оказавшись среди голых деревьев на дне оврага, я смотрю наверх. Силуэт моста на фоне неба. Я вижу темные очертания трех голов, наблюдающих за мной.

Моя синяя шапка лежит на льду ручья. Я стою в снегу и смотрю на нее. Корделия права, это дурацкая шапка. Я смотрю на нее и чувствую, как в душе поднимается протест, потому что эта дурацкая шапка — моя и она заслуживает, чтобы над ней насмехались. Я больше не хочу ее носить никогда в жизни.

Я слышу — где-то журчит вода, внизу, подо льдом. Я делаю шаг на лед, тянусь к шапке, подбираю ее и проваливаюсь. Я стою по пояс в ручье, и меня окружают вставшие дыбом осколки льда.

Меня пронзает холод. Ботики наполняются

водой, и туфли внутри них — тоже; вода пропитывает лыжные брюки. Наверно, я взвизгнула или издала какой-то другой звук, но сама, кажется, ничего не слышала. Я вцепляюсь в шапку и смотрю вверх, на мост. Там никого нет. Они, должно быть, ушли, убежали. Вот зачем мне велели считать до ста: чтобы они могли убежать.

Я пытаюсь двигать ногами. Они очень тяжелые, потому что в боты налилась вода. При желании я могла бы так и стоять тут. Сейчас уже настоящие сумерки, снег на земле синевато-белый. Он занес старые шины и куски ржавой жести, торчащие из воды; кругом — синие арки, синие пещеры, чистые и безмолвные. Вода в ручье холодная и мирная, она течет прямо с кладбища, с могил и костей. Это вода из мертвецов — растворенных, прозрачных, и я стою в ней. Если я скоро не пошевелюсь, то замерзну в ручье. Я стану мертвецом, упокоенным, прозрачным, как они.

Я иду вброд, обламывая края льда. Идти в ботах, полных воды, тяжело; можно поскользнуться и совсем свалиться в воду. Я хватаюсь за ветку, вытягиваю себя на берег, сажусь в синий снег, снимаю боты и выливаю из них воду. Рукава куртки промокли до локтей, варежки тоже. Теперь мои руки и ноги как будто режут ножами, и

от боли у меня текут слезы.

Я вижу свет на краю оврага — там домá, невозможно высоко надо мной. Я не знаю, как мне лезть наверх, когда рукам и ногам так больно; я не знаю, как мне добраться до дома.

Голова наполняется черными опилками; мелкие пылинки тьмы залетают в глаза. Как будто снежинки — черные, как бывает на негативе. Снег сменился твердыми зернышками вроде града. Они шуршат на ветвях, словно перешептываются люди в битком набитой комнате, зная, что должны соблюдать тишину. Это мертвецы незримо выходят из воды и обступают меня. «Ч-ш-ш», — говорят они мне.

Я лежу на спине у ручья, глядя в небо. У меня больше ничего не болит. Небо отливает красным. Мост выглядит по-другому: он как будто поднялся выше и стал более сплошным, словно перила исчезли или заполнился промежуток между ними и мостом. И еще он светится — на нем лужицы света, зеленовато-желтого, я никогда не видела такого. Я сажусь, чтобы разглядеть получше. Тело кажется невесомым, как в воде.

На мосту кто-то стоит, я вижу темный силуэт. Сначала я думаю, что это Корделия за мной вернулась. Потом понимаю, что это не ребенок

— слишком высокий. Лица не видно, только очертания. Один из источников желто-зеленого света — прямо за головой у этого человека, и свет как будто исходит лучами от головы.

Я знаю, что надо вставать и идти домой, но кажется гораздо легче остаться тут, в снегу, под градинами, нежно гладящими мне лицо. И еще мне очень хочется спать. Я закрываю глаза.

Кто-то обращается ко мне. Вроде бы голос зовет, только очень тихо, словно чем-то приглушен. Я вообще не уверена, что слышала. Я с натугой открываю глаза. Человек, стоящий на мосту, выходит наружу за перила. Или проходит сквозь них. Это женщина, я вижу длинную юбку. Или это длинный плащ? Она не падает, а приближается ко мне, словно шагая, но ведь там нет ничего, по чему она могла бы шагать. У меня нету сил на испуг. Я лежу в снегу, охваченная летаргией, и с ленивым любопытством слежу за женщиной. Мне тоже хотелось бы так ходить по воздуху.

Вот она совсем близко. Я вижу белое сияние ее лица, темный платок или капюшон на голове. Или это волосы? Она протягивает ко мне руки, и меня охватывает счастье. Под распахнутым плащом светится что-то красное. Это сердце, думаю я. Это сердце, которое снаружи, оно светится, как

неон, как пылающий уголь.

И вдруг я ее больше не вижу. Но чувствую, что она рядом, не как обнимающие меня руки, но как дуновение теплого воздуха. Она мне что-то говорит.

«Теперь ты можешь идти домой, — говорит она. — Все будет хорошо. Иди домой».

Слова не звучат вслух, но она говорит именно это.

36

Пятна света на мосту исчезли. Я взбираюсь наверх в темноте, вокруг шуршит град, я цепляюсь за ветки и стволы, подтягиваюсь, туфли проскальзывают на утоптанном заледенелом снегу. У меня ничего не болит — даже ноги, даже руки. Я как будто лечу. Теплое дуновение движется вместе со мной, нежно касаясь лица.

Я знаю, кого видела. Это Дева Мария, сомнений нет. Даже когда я ей молилась, то не была уверена, что она по правде есть, но теперь я это знаю точно. Кто еще умеет так ходить по воздуху? У кого пылающее сердце? Да, не было ни голубого платья, ни короны; ее одежда казалась черной. Но ведь сейчас темно. Может, корона тоже была, просто я ее не видела. И вообще она может оде-

ваться по-разному, в платья разного цвета. Это совершенно неважно, важно то, что она явилась меня спасти. Она не хотела, чтобы я замерзла в снегу. Она до сих пор со мной, невидимая, окутывает меня теплом и убирает боль, она меня все-таки услышала.

Я уже на главной тропе; светящиеся окна теперь ближе, прямо надо мной, по обе стороны. У меня слипаются глаза. Я даже иду не по прямой — меня шатает. Но я продолжаю передвигать ноги: шаг, другой.

Впереди — улица. Выйдя на нее, я вижу свою мать, она идет очень быстро. Пальто у нее нараспашку, голова не покрыта, полузастегнутые ботики хлопают. Увидев меня, она переходит на бег. Я застываю на месте и смотрю, как она бежит в пальто, полы которого разлетаются в сторону, и неуклюжих ботах. Я словно гляжу на кого-то совсем чужого, легкоатлета на соревнованиях. Я стою под фонарем, мать подбегает, и я вижу ее глаза — большие, блестящие от слез, — и волосы, припудренные снежной крупкой. Она без варежек. Она с ходу обнимает меня, и Дева Мария вдруг исчезает. Меня снова пронзают боль и холод. Я начинаю дрожать крупной дрожью.

— Я упала в воду. Я доставала свою шапку, —

бормочу я. Голос глухой, язык едва ворочается.

Мать не спрашивает: «Где ты была?» или «Почему ты так задержалась?» Вместо этого она говорит:

— Где твои боты?

Они там, в овраге, их заносит снегом. Я забыла про них, и про шапку тоже.

— Шапка упала с моста, — говорю я. Мне надо выложить это враньё как можно быстрее. Мне до сих пор не приходит в голову, что можно рассказать правду о Корделии.

Мать снимает пальто и закутывает меня. Губы плотно сжаты, лицо испуганное и в то же время сердитое. Такое лицо у нее бывало в нашем детстве, когда там, на севере, мне или брату случалось пораниться. Она просовывает руку мне под мышку и тащит за собой. Каждый шаг отзывается болью в ногах. Я начинаю гадать, накажут ли меня за спуск в овраг.

Когда мы приходим домой, мать стаскивает с меня мокрую, заледеневшую одежду и сажает меня в теплую ванну. Внимательно осматривает пальцы моих рук и ног, нос, мочки ушей.

— Где были Грейс и Корделия? — спрашивает она. — Они видели, что ты упала в воду?

— Нет. Их там не было.

Я вижу, что она обдумывает, не позвонить ли их матерям — независимо от любых моих слов. Но я слишком устала, мне уже все равно.

— Мне помогла женщина, — говорю я.

— Какая женщина? — спрашивает мать, но я знаю, что правду говорить нельзя. Если я скажу все как есть, мне не поверят.

— Просто женщина.

Мать говорит, мне очень повезло, что нет обморожения. Я знаю, что такое обморожение — это когда пальцы отваливаются. Так Бог наказывает пьяниц. Мать вливает в меня чашку чая с молоком и укладывает в постель с грелкой, под фланелевые простыни, с двумя дополнительными одеялами сверху. Я все еще дрожу. Возвращается отец, и я слышу, как они тихо, беспокойно переговариваются в прихожей. Потом отец входит и кладет ладонь мне на лоб, и растворяется в тенях.

Мне снится, что я бегу по улице, на которой стоит наша школа. Я совершила какой-то проступок. Осень, горят костры из листьев. За мной гонится толпа. Она кричит.

Невидимая рука хватает мою руку и поднимает меня ввысь. Наверх ведут ступени, и я взбираюсь по ним. Кроме меня, их никто не видит. Теперь

я стою в воздухе, люди смотрят на меня, задрав головы, но не могут достать. Они все еще кричат, но я их больше не слышу. Рты открываются и закрываются бесшумно, как у рыб.

Меня не пускают в школу два дня. Весь первый день я лежу в постели, плавая в хрупкой стеклянистой ясности жара. На второй день я начинаю обдумывать случившееся. Я помню, как Корделия бросила мою вязаную синюю шапку с моста. Я помню, как провалилась сквозь лед, и как мать бежала ко мне, и ее голова была присыпана крупкой. Все эти моменты несомненны, но промежутки между ними — в тумане. Там мертвецы и женщина в плаще, но скорее, как сон. Теперь я уже не уверена, что это в самом деле была Дева Мария. Я верю, что это была она, но я этого не знаю.

Я получаю от Кэрол открытку «Желаю скорейшего выздоровления» — ее засунули в щель для писем у нас на двери. В выходные Корделия звонит мне по телефону:

— Мы не знали, что ты упала в воду. Мы извиняемся, что не подождали тебя. Мы думали, что ты идешь за нами.

Голос звучит очень обдуманно, с точно отрепетированной интонацией, без тени раскаяния.

Я знаю: она сочинила что-то, чтобы скрыть подлинные события. Как и я. Я знаю, что ее заставили извиниться и что потом я буду за это расплачиваться. Но это первое извинение, которое я от нее услышала. Хоть оно и вынужденное, теперь я чувствую себя не сильнее, а слабее. Я не знаю, что сказать.

— Ничего, — выдавливаю я из себя. Думаю, что искренне.

Когда я снова прихожу в школу, Корделия и Грейс держатся вежливо, но отстраненно. Кэрол явно сильней испугана или сильней заинтересована.

— Моя мама сказала, что ты чуть не замерзла до смерти, — шепчет она, когда мы строимся в пары перед звонком. — Меня отлупили щеткой для волос. Всыпали по первое число.

Снег на газонах тает; на полах везде грязь — в школе, дома на кухне. Корделия осторожно присматривается ко мне. Когда мы идем из школы домой, я ловлю на себе ее оценивающие взгляды. Разговор натужный — мы притворяемся, что все нормально. Мы заходим в лавку и покупаем лакричные жгуты. Платит Кэрол. Мы трогаемся дальше, сося лакрицу, и Корделия произносит:

— Я считаю, Элейн нужно наказать за то, что

она наябедничала. А вы как думаете?

— Я не ябедничала, — говорю я. У меня больше ничего не обрывается в животе, мне не приходится с усилием сдерживать слезы, а ведь раньше я бы именно так реагировала на подобное ложное обвинение. Мой голос — ровный, спокойный, разумный.

— Не смей возражать, — говорит Корделия. — Почему тогда твоя мать звонила нашим матерям?

— Да, почему? — подхватывает Кэрол.

— Не знаю, и мне плевать, — отвечаю я. И сама изумляюсь этим словам.

— Ты грубишь, — говорит Корделия. — А ну убери ухмылку с лица!

Я все еще трусиха, по-прежнему боюсь ее; это не изменилось. Но я поворачиваюсь и иду прочь. Словно шагаю с обрыва, веря, что воздух меня удержит. И он меня держит. Я понимаю, что не обязана ее слушаться. И что гораздо хуже — и гораздо лучше — я никогда не была обязана ее слушаться. Я могу делать что хочу.

— Не смей от нас уходить! — говорит Корделия у меня за спиной. — А ну вернись сюда сейчас же!

Но я теперь понимаю подлинную суть ее слов. Они — имитация. Она подражает кому-то из

взрослых. Это такая игра. Во мне никогда не было недостатков, которые следовало искоренять. Это всегда была игра, и меня обдурили. Я сваляла дурака. Я сержусь на себя так же сильно, как на них.

— Десять стопок тарелок, — говорит Грейс. Когда-то этого было достаточно, чтобы призвать меня к покорности. Но теперь я думаю, что это просто глупо.

Я все иду. Меня переполняет отвага, от нее кружится голова. Они — не мои лучшие подруги. Они мне вообще не подруги. Меня с ними ничто не связывает. Я свободна.

Они плетутся за мной, комментируя мою походку, мой вид сзади. Если бы я обернулась, то увидела бы, как они меня передразнивают.

— Задавака! Задавака! — кричат они. В их голосах слышится ненависть, но вместе с ней — потребность. Я нужна им, а они мне — нет. Я к ним равнодушна. Во мне что-то твердое, кристаллическое, словно стеклянное ядрышко. Я перехожу улицу и иду дальше, жуя лакрицу.

Я больше не посещаю воскресную школу, я отказываюсь играть после уроков с Грейс, Корделией и даже с Кэрол. Я больше не хожу домой по мосту через овраг, а выбираю кружной путь

— через кладбище. Когда они приходят втроем к нашей задней двери и зовут меня играть, я говорю, что занята. Они пытаются выманить меня показной добротой, но я больше не попадаюсь на эту удочку. Я читаю у них во взглядах жадность. Я будто вижу их насквозь. Почему я раньше так не умела?

Я много времени провожу за чтением комиксов в комнате брата, когда его там нет. Мне хотелось бы взбираться на небоскребы, летать благодаря волшебному плащу, прожигать дыры в металле кончиками пальцев, носить маску, видеть сквозь стены. Я бы хотела бить людей — преступников — и чтобы от каждого удара кулака разлетался лучами желтый или красный огонь. Ба-бах! Трах! Бубух! Я знаю, что мне хватит решимости. Я намерена каким-то образом всему этому научиться.

В школе я завожу новую подругу, ее зовут Джилл. Она любит другие игры — настольные. Я прихожу к ней домой, и мы играем в «Пиковую даму», «микадо», «снап». Грейс, Корделия и Кэрол слоняются на окраинах моей жизни, заманивая, насмехаясь, выцветая с каждым днем, все сильнее развоплощаясь. Я их уже почти не слышу, потому что не слушаю.

VIII. Половина лица

37

Много лет подряд я заходила в церкви. Я говорила себе, что хочу посмотреть на произведения искусства; я не знала, что ищу что-то. Я не осматривала церкви специально, даже если они были в путеводителе и имели историческую ценность. Я никогда не посещала их во время служб, сама эта идея была мне неприятна: меня интересовало то, что находится в церквях, а не то, что в них делают. По большей части я натыкалась на них случайно и входила, повинуясь импульсу.

Войдя, я не уделяла внимания церковной архитектуре, хотя и разбираюсь в ней: когда-то я писала рефераты о клерестериях и нефах. Я смотрела на витражи, если они в этой церкви были. Я предпочитала католические храмы протестантским, и чем вычурней, тем лучше — есть на что поглядеть. Мне нравилась беззастенчивая пышность; позолота и барочные излишества меня не пугали.

Я читала памятные надписи на стенах и на плитах пола, особый пунктик у богатых англи-

кан — они думали, что накопят больше бонусов у Господа, если их имена выбьют на какой-нибудь плите. Еще англикане любят изодранные военные флаги и всякие памятники погибшим на войне.

Но главное — я искала статуи. Статуи святых, фигуры крестоносцев на крышке саркофага, настоящих или тех, кто лишь притворялся крестоносцем; разного рода фигуры. Статуи Девы Марии я приберегала на закуску. Я приближалась к ним с надеждой, но всегда уходила разочарованная. Я не узнавала в этих статуях ту, кого они должны были изображать. Это были раскрашенные куклы, пресные, в бело-голубых нарядах, благочестивые и безжизненные. А потом я думала: с какой стати я ожидала чего-то другого?

Первый раз я поехала в Мексику с Беном. Это было к тому же наше первое путешествие вдвоем, и вообще мы впервые проводили время вместе. Я думала, что это ненадолго. Я даже не решила, хочу ли, чтобы в моей жизни опять появился мужчина; к этому времени я уже не считала, что лучшее средство забыть мужчину — завести другого. Я выдохлась. Но каким облегчением оказалось — быть с человеком без закидонов, которого так легко обрадовать.

Мы поехали сами по себе, на две недели. Оказалось, что эта поездка имеет некоторое отношение к бизнесу Бена. Сару мы оставили в семье ее лучшей подруги. Мы начали с Веракруса, попробовали местных креветок и проверили отели на предмет тараканов, потом взяли машину напрокат и поехали в горы, ища, как всегда, что-нибудь живописное и не кишащее туристами.

Мы наткнулись на небольшой городок у озера. По мексиканским меркам там было очень тихо. Мексика вообще показалась мне какой-то нутряной — как будто тело вскрыли и вывернули кровью наружу. Возможно, городок был не похож на другие из-за озерной прохлады.

Пока Бен осматривал рынок, ища, что бы сфотографировать, я зашла в церковь. Небольшую, бедную на вид. Внутри никого не было. Пахло древней кладкой, запущенностью, затхлостью. Я бродила по проходам, глядя на грубо намалеванные маслом остановки крестного пути, они выглядели как детские картинки-раскраски. Нарисовано было плохо, но искренне, от души.

И тут я увидела Деву Марию. Я ее не сразу узнала — она была не в обычном бело-голубом с золотом наряде, а в черном. Короны у нее тоже не было. Голова склонена, лицо в тени, руки распростер-

ты ладонями наружу. У ее ног торчали огарки свечей, а черное платье было чем-то увешано — сначала я решила, что звездами, но оказалось, что это маленькие медные или оловянные руки, ноги, овцы, ослы, куры и сердца.

Я поняла. Это — Богоматерь потерянных вещей. Она возвращает утраченное. Она единственная из толпы деревянных, мраморных и алебастровых мадонн показалась мне настоящей.

Возможно, стоило помолиться ей, преклонить колени, зажечь свечу. Но я не стала этого делать, потому что не знала, о чем молиться. Что я потеряла? Что могла бы повесить ей на платье?

Через некоторое время пришел Бен и нашел меня.

— Что случилось? — спросил он. — Что ты делаешь на полу? Тебе нехорошо?

— Нет, — ответила я. — Ничего. Просто отдыхаю.

От лежания на холодном камне я промерзла насквозь, окоченела, руки и ноги свело судорогой. Я не помнила, почему оказалась на полу.

Мои дочери — обе — прошли через фазу, когда на всё отвечали «И?» Это означало «Ну и что?» Это началось, когда старшей исполнилось двенадцать или тринадцать лет. Они скрещивали руки

на груди и смотрели пустым взглядом на меня, или на своих подруг, или друг на друга. «И?»

— Не надо так говорить, — просила я. — Это меня с ума сводит.

— И?

Корделия в этом возрасте пользовалась тем же словечком. Так же скрестив руки, с таким же неподвижным лицом и пустым взглядом. «Корделия! Надень перчатки, на улице холодно». — «И?» «Я не могу прийти, мне надо делать уроки». — «И?»

«Корделия, — думаю я. — Ты заставила меня поверить, что я — ничтожество».

«И?»

На это у меня нет ответа.

38

Лето приходит и уходит, наступает осень, потом зима, и умирает король. Я слышу это по радио в обеденный перерыв. Я иду обратно в школу по заснеженной улице и думаю: «Король умер». Теперь всё, что случилось при его жизни, окончательно ушло в прошлое: война, самолеты, летящие на одном крыле, озеро грязи вокруг нашего дома, много всего. Я думаю о его головах на монетах, числом много тысяч — теперь это го-

ловы мертвого человека, а не живого. Все деньги будут менять, и все марки тоже. Теперь на них будет королева. Та, что раньше была принцессой Элизабет. Я помню, как разглядывала ее на фотографиях, где она была гораздо моложе. У меня есть и еще какое-то воспоминание о ней, но оно очень туманно и мне почему-то неприятно.

Корделия и Грейс обе перескочили через класс. Теперь они в восьмом, хотя им всего по одиннадцать лет, а их одноклассникам по тринадцать. Мы с Кэрол Кэмпбелл еще только в шестом. Мы все теперь ходим в другую школу, ее наконец построили с нашей стороны оврага, так что нам не нужно ездить на автобусе и обедать в подвале. Новая школа — современное одноэтажное здание из желтого кирпича, снаружи похожее на почту. Классные доски в ней гладкие, щадящие зрение зеленые, вместо шершавых черных, а пол — линолеумный, пастельных цветов вместо скрипучего дощатого, как в школе имени королевы Марии. Нет отдельных дверей для мальчиков и девочек, раздельных площадок для игры. Даже учителя тут другие: моложе и мягче. Среди них есть молодые мужчины.

Я забыла многое — и даже забыла сам факт, что я это забыла. Я помню свою старую школу,

но лишь смутно, будто последний раз была там пять лет назад, а не пять месяцев. Я помню, что ходила в воскресную школу, но без подробностей. Я знаю, что мне неприятно думать про миссис Смиитт, но не знаю, почему. Я забыла, как падала в обморок, забыла про стопки тарелок, про то, как провалилась в ручей и видела Деву Марию. Я забыла все плохое, что со мной случилось. Хотя я встречаю Корделию, Грейс и Кэрол каждый день, я не помню ничего, связанного с ними; помню только, что когда-то мы дружили — когда я была маленькая, до того, как у меня появились другие подружки. Что-то произошло, что-то, связанное с этими тремя, но оно — как текст мельчайшим шрифтом, как даты древних битв. Их имена для меня словно имена в сноске учебника или написанные угловатым, как паучьи ножки, почерком, побуревшими чернилами на форзаце старинной Библии. Не вызывают никаких чувств. Как дальние родственники, живущие далеко и едва мне знакомые. Кусок времени куда-то пропал.

Никто никогда не говорит об этом пропавшем куске, кроме моей матери. Иногда она произносит что-нибудь вроде: «Когда у тебя были трудности», и я теряюсь. О чем она? Эти намеки на трудные времена кажутся мне туманно угрожающими и

смутно оскорбительными: я не из тех девочек, у которых бывают трудности. Мне всегда легко. Вот я на групповой фотографии шестого класса, с широкой улыбкой. «Счастлива, как устрица» — так обычно говорит моя мать. Я счастлива, как устрица — в жесткой раковине, плотно закрытой.

Мои родители трудятся в доме и во дворе. Отец отделывает подвал и выгораживает там комнаты — это дело не быстрое, он пилит и стучит молотком в свободное от работы время, оборудуя фотолабораторию и чулан для домашних консервов. Перед домом у нас теперь настоящий газон. В саду посадили персик и грушу, заложили грядку для спаржи и целый огород других овощей. Бордюры ломятся от цветов: тюльпаны и нарциссы, ирисы, пионы, гвоздики, хризантемы; на каждый месяц свои. Иногда меня заставляют помогать, но обычно я наблюдаю со стороны, как родители самозабвенно возятся в грязи кверху задом, копают, полют, пачкая колени глиной. Они как дети в песочнице. Я люблю цветы, но знаю, что ради них не пошла бы на такие труды, такие усилия, не стала бы так пачкаться.

Деревянный мост через овраг сносят. Все говорят, что давно пора, по нему уже опасно ходить. Его заменят бетонным. Однажды я иду туда,

останавливаюсь на верху склона с нашей стороны оврага и смотрю, как сносят мост. Внизу у ручья лежит куча гнилых досок. Сваи еще стоят, как стволы мертвых деревьев, и кое-где торчат поперечины, но перил уже нет. Мне становится неспокойно, словно там внизу что-то захоронено — безымянное, но очень важное, — или будто на мосту кто-то есть, кого-то забыли там по ошибке, и теперь он застрял посередине и не может выбраться на твердую землю. Но, конечно, на мосту никого нет.

Корделия и Грейс заканчивают среднюю школу и переходят в старшие классы, в другие места: Корделия, по слухам, в частную школу Святого Себастьяна для девочек, а Грейс — в математическую в северном районе города. Она хорошо складывает числа, в аккуратные столбики. В последнем классе средней школы она все еще ходит с косичками. Кэрол на переменах крутится возле мальчишек, и часто двое-трое за ней гоняются. Они любят швырять ее в сугробы и натирать ей лицо снегом или, когда снега нет, связывать ее скакалками. Убегая от них, она сильно машет руками. Бежит она, странно вихляясь, медленно, чтобы ее поймали, и когда это случается, громко визжит. Она носит подростковый лифчик. Другие

девочки ее недолюбливают.

На обществоведении я делаю доклад про Тибет, про молитвенные колеса и переселение душ, и про то, что у тамошних женщин по два мужа. На естествознании я провожу опыты по выращиванию разных растений из семян. У меня есть мальчик, как у всех. Время от времени он посылает мне записки на уроках, написанные очень черным карандашом. Иногда бывают вечеринки — с неловкими танцами, дурацкими шутками, возней (среди мальчишек) и мокрыми, неумелыми поцелуями со стуком зубов. Мой возлюбленный вырезает мои инициалы на своей новенькой парте и получает за это ремня. Он и за другое временами получает ремня. Это — предмет восхищения. Я впервые в жизни вижу телевизор, он похож на сцену с маленькими черно-белыми марионетками и не впечатляет.

Кэрол Кэмпбелл куда-то уезжает, но я этого не замечаю. Я перескакиваю из шестого класса сразу в восьмой, пропустив хронологию английских монархов и кровеносную систему, оставив позади своего бой- френда. Я стригусь. Я давно хотела это сделать. Мне надоели длинные волнистые волосы, которые нужно собирать резинками или заколками, мне надоело быть ребенком. Я с

удовлетворением наблюдаю, как волосы падают с меня, словно рассеивается туман, и проступает голова — резче вылепленная, четче очерченная. Я готова идти в старшие классы. Я не прочь пойти туда прямо сейчас.

А пока я готовлюсь к этому, совершая перестановку в своей комнате. Я вычищаю из шкафа старые игрушки, выворачиваю все ящики письменного стола. В глубине ящика я нахожу одинокий стеклянный шарик «кошачий глаз» и несколько старых высохших каштанов. И еще — красную пластиковую сумочку, которую, как я помню, мне когда-то подарили на Рождество. Сумочка детская. Когда я беру ее в руки, в ней что-то гремит; внутри обнаруживается пятицентовик. Я беру его, чтобы потратить, а в сумочку кладу стеклянный шарик. Каштаны я выбрасываю.

Я нахожу свой старый фотоальбом с черными страницами. Я давно не пользуюсь фотоаппаратом, так что и про альбом забыла. В нем подклеены черными треугольничками фотографии, но я совершенно не помню, как их снимала. Например, несколько изображений чего-то вроде больших валунов у озера. И подписи: «Зорька», «Ромашка». Почерк мой, но не помню, чтобы я это писала.

Я уношу находки в подвал и кладу в сундук — место для всех старых вещей, которые не идут на выброс. Там лежит свадебное платье матери, несколько вычурных серебряных столовых приборов, портреты в сепиевых тонах, изображающие неизвестных мне людей, таблички для ведения счета в бридже, украшенные шелковыми кистями, еще довоенные. Тут есть и несколько наших с братом рисунков — его космические корабли с красными и золотыми взрывами, мои хрупкие старомодные девочки. Я с отвращением гляжу на их фартуки и бантики, примитивные лица и руки. Мне неприятно смотреть на вещи из своего детства. Я решаю, что эти рисунки очень неумелые. Что сейчас я рисую гораздо лучше.

За день до начала занятий в новой школе у нас звонит телефон. Это Мамочка Корделии; она хочет поговорить с моей матерью. Я решаю, что у них какие-то скучные взрослые дела, и продолжаю читать газету на полу в гостиной. Но мать, положив трубку, приходит ко мне.

— Элейн, — произносит она. Это что-то необычное: она не часто использует мое имя. Голос у нее серьезный.

Я поднимаю голову от приключений мага Мандрагора. Она смотрит на меня:

— Это звонила мама Корделии. Корделия записалась в твою школу. Ее мама спрашивает, не хотите ли вы ходить в школу и из школы вместе.

— Корделия? — повторяю я. Я не видела ее и не говорила с ней целый год. Она исчезла без следа. Я выбрала именно эту школу, потому что могу ходить туда пешком, а не ездить на автобусе; почему бы не ходить вместе с Корделией? — Хорошо.

— Ты уверена, что тебе этого хочется? — спрашивает мать с некоторым беспокойством. Она не объясняет, с чего вдруг Корделия теперь будет в моей школе, а я не спрашиваю.

— Почему же нет? — говорю я. Я уже соскальзываю в легкомыслие, типичное для этого возраста, но еще я не могу понять, на что мать намекает. Меня попросили оказать Корделии — или ее маме — какую-то мелкую любезность. Моя мать всегда считает, что подобные услуги следует оказывать, когда тебя об этом просят. Что же ее вдруг смутило?

Она не отвечает. Вместо этого она зависает. Я возобновляю чтение комикса.

— Так я позвоню ее маме, или ты хочешь сама поговорить с Корделией?

— Позвони ты, — говорю я. И добавляю: — По-

жалуйста.

У меня сейчас нет особого желания говорить с Корделией.

Наутро я захожу за ней — для меня это по дороге в школу. Дверь открывается, в проеме стоит Корделия, но она изменилась. Она уже не длинная, не поджарая; она отрастила полноразмерную грудь, прибавила в бедрах, лицо тоже как-то отяжелело. У нее уже не прическа «паж», а длинные волосы. Они собраны в хвост резинкой, к которой приделаны маленькие белые тряпочные ландыши на проволоке. В челке высветлена прядь перекисью водорода. Губная помада у нее оранжевая, и лак на ногтях тоже оранжевый. Я пользуюсь бледно-розовой помадой. При виде Корделии я понимаю, что не выгляжу как подросток — я выгляжу как маленькая девочка, одетая подростком. Я до сих пор худая и плоская. Мне страшно хочется быть старше.

Мы идем в школу вместе, сперва почти молча. Мимо заправки, мимо похоронного бюро, потом с милю вдоль полосы магазинов, универмага «Вулворт», аптеки «I.D.A.», лавки зеленщика, скобяной лавки — все они располагаются в двухэтажных зданиях желтого кирпича с плоскими крышами. Мы прижимаем к груди стопки учебников, и

пышные хлопчатобумажные юбки шуршат вокруг голых ног. Сейчас, в конце лета, все газоны тускло-зеленые или желтые, истоптанные.

Я предполагала, что Корделия будет на класс старше меня. Оказывается, нет, она со мной сравнялась. Ее исключили из школы Святого Себастьяна за то, что она пририсовала пенис летучей мыши. Во всяком случае, так она рассказывает. Она говорит, что на доске в классе была нарисована летучая мышь с развернутыми крыльями и маленьким бугорком между ног. И когда учитель вышел из класса, Корделия подошла к доске, стерла бугорок и нарисовала другой, побольше и подлиннее — «не так уж намного больше» — и тут учитель вернулся и поймал ее с поличным.

— И это все? — спрашиваю я.

Не совсем. Еще она аккуратно подписала под бугорком: «Мистер Малдер». Малдером звали учителя.

Наверняка она еще что-то натворила, но рассказывает только об этом. И, подумав, добавляет, что ее к тому же оставили на второй год.

— Я была слишком маленькая для этой программы, — говорит она. Это звучит так, словно она повторяет чужие слова, вероятнее всего — слова

своей матери. — Мне было всего двенадцать лет. Не следовало переводить меня через класс.

Сейчас ей тринадцать лет. Мне двенадцать. Меня тоже перевели через класс. Я гадаю, не случится ли и со мной то же — вдруг я тоже начну пририсовывать пенисы летучим мышам и останусь на второй год.

39

Школа, в которую мы ходим, называется Бёрнемская. Она построена недавно — прямоугольная, с плоской крышей, ничем не украшенная, невыразительная, похожая на фабрику. Это последняя мода в современной архитектуре. Внутри — длинные коридоры с пестрыми полами из какого-то материала, похожего на гранит, но не гранита. Желтоватые стены уставлены темно-зелеными шкафчиками. В школе есть актовый зал и система громкого оповещения.

Каждое утро нас оповещают по этой системе. Сначала идет чтение Писания и молитвы. Я склоняю голову во время молитв, но молиться отказываюсь, сама не зная почему. Затем директор рассказывает о ближайших мероприятиях, а также напоминает, чтобы мы не бросали на пол обертки от жвачки и не любезничали в коридо-

рах, как супруги со стажем. Директор — мистер Маклеод, но все зовут его «Железный Купол» за лысое темя. Он шотландец. У Бёрнемской школы есть собственная тартановая расцветка, школьный герб с чертополохом и парой ножей, таких, какие шотландцы носят в гетрах, и девиз на гэльском языке. Всё это — тартан, герб, девиз и официальные цвета школы — принадлежит клану, к которому относится сам мистер Маклеод.

В вестибюле рядом с портретом королевы висит портрет леди Флоры Маклеод и двух ее внуков, играющих на волынке, на фоне Данвеганского замка. Нас призывают считать этот замок своим родовым обиталищем, а леди Флору — своей духовной водительницей. На пении мы разучиваем песню о лодке, идущей на Скай — про Красавчика Принца Чарли и про то, как он бежал от англичан, которые хотели его убить. Мы учим наизусть «Вы, кого водили в бой…»[7] и стихи про мышь[8], которые часто вызывают хихиканье, так как в

---

[7] notes: 7

«Вы, кого водили в бой Брюс, Уоллес за собой…» — патриотическая шотландская песня (1793), текст которой написан Робертом Бернсом. Веками служила неофициальным гимном Шотландии. Цитируется по переводу С. Маршака.

[8] notes: 8

Имеется в виду стихотворение Роберта Бернса «Полевой мыши, гнездо которой разорено моим плугом».

них встречается слово «грудь». Я еще никогда не ходила в старшие классы, поэтому шотландский колорит воспринимаю как должное. Он слегка затушевывает чуждость малочисленных армян, греков и китайцев, учащихся в нашей школе, — мы все одинаково утопаем в море тартана.

Я очень мало кого знаю здесь, и Корделия тоже. Когда я заканчивала среднюю школу, в моем классе было всего восемь человек, а у Корделии — четыре. Так что школа для нас полна незнакомцев. Кроме того, мы в разных параллелях, а значит, даже не можем поддержать друг друга морально.

Я самая маленькая в классе. Этого следовало ожидать, так как я еще и самая младшая. У всех девочек уже выросла грудь; они источают сонный запах жаркого дня и пудры; кожа лица у них на вид скользкая, блестящая от маслянистых выделений. Я побаиваюсь их и не люблю раздевалку, где мы облачаемся в синие хлопчатобумажные спортивные костюмы с шароварами и с нашими именами, вышитыми на нагрудном кармане. В раздевалке я чувствую себя еще худосочней, чем обычно; случайно поймав свое отражение в зеркале, я вижу, как у меня выпирают ключицы и ребра. Во время игры в волейбол все прочие

девицы тяжеловесно топчутся вокруг меня: голоса у них подчеркнуто-пронзительные, а новая, лишняя плоть трясется, как желе. Я стараюсь держаться от них подальше — просто потому, что они крупней и могут сбить меня с ног. Но на самом деле я их не боюсь. В каком-то смысле я их презираю, потому что они похожи на Кэрол Кэмпбелл — все время визжат и трепыхаются.

Среди мальчиков есть писклявые, у которых еще не поломался голос, но многие мальчишки огромны. Кое-кому из них пятнадцать, почти шестнадцать лет. По бокам головы волосы у них длинные, зачесаны назад и уложены на затылке бриолином в «утиный хвост». И еще они бреются. Некоторые выглядят так, словно вынуждены бриться почти все время. Они сидят на задних партах и высовывают длинные ноги в проход. Они уже оставались на второй год по крайней мере однажды; они уже махнули рукой на школу, а школа махнула рукой на них, и они просто отбывают время, ожидая освобождения. В коридорах они выкрикивают что-то вслед проходящим девочкам, иногда громко чмокают в их сторону или околачиваются вокруг их шкафчиков. На меня они не обращают внимания, я для них ребенок.

Но я не чувствую себя младше одноклассников.

В каком-то смысле я старше их. В нашем учебнике по гигиене и здоровью есть глава о подростковых эмоциях. Если ей верить, меня должен все время сотрясать ураган подростковых эмоций — я должна каждую минуту то смеяться, то плакать. Как они выражаются, «словно на американских горках». Но ко мне это описание совершенно не подходит: я спокойна, я гляжу на выходки своих соучеников, ведущих себя точно по учебнику, со смесью научной любознательности и почти стариковской снисходительности. Когда Корделия произносит: «Правда ведь, он просто душка?», мне очень тяжело понять, что она имеет в виду. Иногда я в самом деле плачу без причины, как написано в учебнике. Но я не могу поверить в собственную печаль, не воспринимаю ее всерьез. Я рассматриваю в зеркало себя плачущую, заинтригованная зрелищем собственных слез.

В обед мы сидим вместе с Корделией в школьной столовой, среди отделки в бледных тонах, за длинными белесыми столами. Мы едим обеды, которые прели в наших шкафчиках с самого утра и слегка пахнут физкультурными кедами, пьем шоколадное молоко через соломинки и обмениваемся комментариями (остроумными и саркастическими, как нам кажется) в адрес

других учеников и учителей. Корделия уже умеет это делать, потому что проучилась год в старшей школе. Она поднимает воротник своей блузки и наигранно презрительно усмехается. «Он катышек», — говорит она. Или: «Ну и козёл». Эти слова относятся только к мальчикам. Девочки могут быть мальчишницами, задаваками, дешевками, серыми мышками; они также могут быть зубрилами и подлизами, как мальчики — если считается, что они слишком прилежны в учебе. Но катышками и козлами девочки быть не могут. Мне нравится слово «катышек». Я думаю, что имеются в виду катышки свалявшейся шерсти, которые образуются на свитерах. У всех мальчишек, которых называют катышками, такие свитера. Я тщательно срезаю все катышки с собственной одежды.

Корделия собирает глянцевые фото кинозвезд и певцов — она выписывает их, выискивая адреса фан-клубов в журналах про кино, где на последней странице рекламируют полупрозрачное женское бельё фирмы «Фредерик из Голливуда» и шоколадные жевательные таблетки для похудения. Корделия крепит эти фото кнопками к доске объявлений, висящей у нее над письменным столом, или приклеивает скотчем к стенам

своей комнаты. Когда я прихожу к Корделии в гости, мне всегда кажется, что за мной наблюдает целая толпа людей — их глянцевые черно-белые глаза следуют за мной по комнате. Некоторые снимки с автографами, и мы разглядываем их под лампой, чтобы понять, продавило ли перо бумагу. Если нет, значит, автограф не настоящий, а напечатанный. Корделии нравится Джун Аллисон. Еще ей нравятся Фрэнк Синатра и Бетти Хаттон. Про Бэрта Ланкастера она говорит, что он самый «секси» из всех.

По дороге из школы домой мы заходим в магазин пластинок и слушаем диски на 78 оборотов в будочке, обитой пробкой. Иногда Корделия покупает пластинку на свои карманные деньги (ей дают больше, чем мне), но по большей части она только слушает. Она ждет, что я, подобно ей, буду закатывать глаза в экстазе и стонать. Ей известны все ритуалы. Она знает, как нам положено себя вести, раз мы старшеклассницы. Но я считаю такое поведение наигранным и фальшивым; выполняя ритуалы, я не могу не чувствовать, что притворяюсь.

Мы несем пластинки домой к Корделии, ставим на проигрыватель в гостиной и врубаем полную громкость. Возникает Фрэнк Синатра

— бестелесный голос, он елозит по нотам, будто кто-то поскальзывается на грязном тротуаре. Он въезжает на ноту, пошатывается, снова обретает равновесие и сползает липкой жижей к следующей ноте.

— Правда, он потрясный? — спрашивает Корделия. Она бросается на диван — ноги перекинуты через подлокотник, голова свисает вниз. Она ест пончик, посыпанный сахарной пудрой, и нос у нее тоже испачкан в этой пудре. — Мне кажется, он прямо вот тут, водит рукой вверх и вниз мне по хребту.

— Угу, — отвечаю я.

Приходят Утра и Мира. Утра говорит:

— Ты что, опять по *нему* страдаешь?

А Мира:

— Корделия, дорогая, ты бы не могла немного убавить громкость?

Теперь она разговаривает с Корделией особенно нежным голоском и часто называет ее «дорогая».

Утра уже студентка. Она ходит на вечеринки студенческих братств. Мира в последнем классе школы, но не нашей. Обе стали еще прекрасней, очаровательней и утонченней. Они носят кашемировые свитера и жемчужные серьги-гвоздики

и курят сигареты. Они их называют «сигами». Яйца они называют «яйками», а завтрак — «зайкой». Если они хотят сказать «беременная», то произносят «бэ-рэ». Мать они по-прежнему зовут Мамочкой. Они сидят, курят и болтают — небрежно, с полупрезрительной иронией — о своих знакомых. Этих знакомых зовут как-нибудь вроде Микки, Бобби, Робби или даже Пудель. По именам трудно понять, мальчики это или девочки.

— Ты уже напитала свою персону? — спрашивает Утра у Корделии. Это их новое выражение. Оно означает: «Ты уже наелась?» — Это вообще-то для ужина.

Она имеет в виду пончики.

— Там еще много, — Корделия, по-прежнему свисая вниз головой, смахивает сахарную пудру с носа.

— Корделия, — говорит Утра. — Не задирай так воротник. Это выглядит дешево.

— Не дешево, а четко, — отвечает Корделия.

— «Четко»! — Утра закатывает глаза и выдыхает дым через нос. — Ты выражаешься как в рекламе бриолина.

Корделия наконец садится нормально, высовывает язык и смотрит на Утру.

— И? — наконец произносит она. — Что ты

вообще понимаешь? Тебе уже на пенсию пора.

Утра, которой уже можно пить коктейли вместе со взрослыми дома перед ужином, а вот в барах пока нельзя, кривит рот.

— По-моему, ей вредно учиться в старших классах, — говорит она Мире. — Она становится твердолобой.

Утра произносит это слово насмешливо, врастяжечку, чтобы показать, что она уже переросла такие выражения.

— Берись за ум, Корделия, а то опять останешься на второй год. Ты ведь знаешь, что тогда сказал папа.

Корделия краснеет и не находит что ответить.

Корделия начинает красть в магазинах. Она не говорит «украсть», она говорит «стырить». Она «тырит» губную помаду в «Вулворте» и пакеты лакричных конфет в кафе-аптеке. Она входит, покупает какую-нибудь мелочь вроде заколок-невидимок, и когда продавщица отворачивается, доставая сдачу из кассы, Корделия хватает что-нибудь с прилавка и прячет под полой или в кармане плаща. Уже наступает осень, и мы ходим в длинных плащах, хлопающих по ногам, с большими мешковатыми накладными карманами, очень удобными для этого. Мы выходим

из магазина, и Корделия показывает мне свою добычу. Она, похоже, думает, что в этом нет ничего плохого; она восторженно смеется, глаза у нее сверкают, щеки раскраснелись. Как будто выиграла приз.

В универмаге «Вулворт» старые деревянные полы, изъеденные за много лет зимней кашей с сапог покупателей, и тусклые люстры, свисающие с потолка на длинных металлических стеблях. Здесь нет ничего такого, что нам могло бы понадобиться, кроме разве что губной помады. Здесь продают рамки для фотографий, куда вставлены странно окрашенные снимки каких-то кинозвезд, чтобы было понятно, как будет выглядеть эта рамка со вставленной фотографией. Этих актеров зовут как-нибудь вроде Рамон Новарро и Линда Дарнелл — давно забытые звёзды былой эпохи. Еще тут есть уродливые шляпы, старушечьи шляпки с вуальками и гребёнки с поддельными стразами. Здесь практически всё поддельное. Мы ходим вдоль стеллажей, опрыскивая себя одеколонами, пробуя губную помаду на запястьях, щупая товар и громко критикуя его, а продавщицы, женщины средних лет, сверлят нас глазами.

Корделия тырит розовый нейлоновый шарф,

и ей кажется, что одна из продавщиц это замечает, так что мы некоторое время не ходим в «Вулворт». Мы идем в кафе-аптеку и покупаем там эскимо, и, пока я расплачиваюсь, Корделия тырит два журнала с комиксами-ужастиками. Мы идем из магазина дальше домой и на ходу по очереди читаем эти журналы вслух, с выражением, наподобие радиопьесы. Мы делаем паузы, чтобы похохотать. Мы сидим на низкой каменной ограде перед похоронным бюро, чтобы вместе смотреть на картинки, читаем и смеемся.

Комиксы нарисованы очень детально и раскрашены в кричащие цвета, среди которых преобладают зеленый, фиолетовый и сернисто-желтый. Корделия читает рассказ про двух сестер — одна из них хорошенькая, а у другой огромный ожог вполлица. Он багровый и сморщенный, как давно упавшее яблоко. У хорошенькой сестры есть бойфренд, она ходит с ним на танцы, а та, что с ожогом, ненавидит сестру и любит ее бойфренда. Из ревности она вешается перед зеркалом. Но ее дух переходит в зеркало, и когда хорошенькая перед ним причесывается и поднимает взгляд, то видит, что из зеркала на нее смотрит обожженная сестра. Хорошенькая сестра падает в обморок от ужаса, а обожженная вылезает из зеркала и

перебирается в ее тело. Она захватывает власть над телом, и ей удается провести бойфренда. Она даже соблазняет его на поцелуй, но ее лицо, ныне идеальное, зеркало — единственное из всех — отражает в подлинном, изуродованном виде. И бойфренд это замечает. К счастью, он знает, что нужно сделать. Он разбивает зеркало.

— Рыдания, — произносит Корделия. — О, Боб! Это было… ужасно! Ничего, дорогая, всё уже позади. Она ушла… обратно… туда, откуда пришла… навсегда. Теперь мы можем по-настоящему быть вместе, ничего не страшась. Объятие. Конец. Буэ!

Я читаю следующий рассказ — про мужчину и женщину, которые утонули в море, но обнаруживают, что они не совсем мертвые. Вместо этого они ужасно разбухшие, жирные и живут на необитаемом острове. Они больше не любят друг друга, потому что они такие толстые. И вот мимо идет корабль, и они ему машут. «Они нас не видят! Они проходят прямо сквозь нас! О нет… ведь это значит… мы обречены так жить вечно! Неужели для нас нет выхода?»

На следующей картинке они вешаются. Толстые тела болтаются на пальмах, а их когда-то худые тела, прозрачные, одетые в обрывки купальных костюмов, держась за руки, уходят в

океан. Объятие. Конец.

— Два раза буэ, — говорит Корделия.

Она читает про мертвеца, который вылезает из болота — тело разбухло и отваливается кусками, — чтобы задушить брата, который его в этом болоте и утопил. Я читаю про водителя, который подбирает голосующую на дороге красивую девушку, а потом оказывается, что она уже десять лет как мертва. Корделия читает про человека, на которого наложил проклятие жрец вуду, и у него на руке выросла огромная клешня омара и напала на него самого.

Когда мы доходим до дома Корделии, она не хочет брать журналы с собой. Говорит, что кто-нибудь может их найти и поинтересоваться, откуда они у нее. Даже если она скажет, что купила их, ей все равно влетит. В конце концов их забираю я. Ни одной из нас не приходит в голову, что их можно просто выбросить.

Я приношу комиксы домой, и до меня доходит, что я не хочу оставлять их на ночь в своей комнате. Одно дело смеяться над ними при дневном свете, но совсем другое, как я теперь понимаю, чтобы они были тут, рядом со мной, пока я сплю. Я представляю себе, как они светятся в темноте мертвенным сернисто-желтым светом. Я пред-

ставляю себе, как они испускают клубящиеся щупальца тумана, обретающие плоть у меня на тумбочке. Я боюсь выяснить, что в моем теле заперт кто-то другой; боюсь увидеть в зеркале другую девочку, похожую на меня, но с темным ожогом вполлица.

Я знаю, что ничего этого на самом деле случиться не может, но сама мысль мне не нравится. Выбрасывать комиксы я тоже не хочу: это значит выпустить их на свободу, и тогда они могут выйти из-под контроля. Так что я несу их в комнату Стивена и запихиваю в стопку его собственных старых комиксов, до сих пор лежащих у него под кроватью. Он их больше не читает, так что и эти не найдет. Какие бы эманации ни исходили от них по ночам, Стивен неуязвим. Я считаю, что ему по плечу всё, в том числе и подобные вещи.

40

Воскресный вечер. В камине горит огонь; занавески задернуты, чтобы не пускать в дом тяжелую ноябрьскую темноту. Отец сидит в кресле и проверяет студенческие рисунки, изображающие гусениц елового почкоеда в разрезе, с пищеварительной системой. Мать поджарила на гриле сыр с беконом. Мы слушаем по радио

программу Джека Бенни, которая перемежается музыкально-песенной рекламой сигарет «Лаки страйк». В шоу участвует человек с хриплым голосом и другой, который говорит: «Огухчик в сехедину и гохчицы свеъху». Я понятия не имею, что первый изображает чернокожего, а второй еврея. Для меня они просто люди со странной манерой разговаривать.

Старого радиоприемника с зеленым глазом больше нет, его сменил другой, в гладком, без узоров, шкафчике светлого дерева, где есть еще и проигрыватель. Тарелки с поджаренным сыром мы ставим на деревянные кофейные столики, которые можно убрать один в другой; эти столики тоже светлые, а ножки у них широкие сверху и сужаются книзу, безо всяких завитушек и выпуклостей. Никаких пылесборников. Эти ножки похожи на ноги толстых женщин, как их рисуют в комиксах: ни коленок, ни щиколоток. Светлое дерево привозят из Скандинавии. Наше столовое серебро переехало в корабельный сундук. Теперь у нас новые столовые приборы, из нержавеющей стали.

Все эти вещи выбирала не мать, а отец. Он и парадную одежду ей покупает; мать смеется и говорит, что весь ее вкус сосредоточен во рту.

Насколько ей известно, стул — чтобы на нем сидеть, и ей все равно, какие на нем узоры — розовые петунии, фиолетовые горохи — лишь бы не ломался. Можно подумать, что она, как кошка, видит только движущиеся предметы. Она становится еще более равнодушна к моде и расхаживает в нарядах, подобранных на скорую руку, — лыжная куртка, старый платок, непарные варежки. Она говорит, ей все равно, как это выглядит, лишь бы грело.

Что еще хуже, она увлеклась танцами на льду: ходит на занятия на ближайший крытый каток, где изображает танго и вальс под жестяную музычку, держась за руки с другими женщинами. Мне чудовищно стыдно, но, по крайней мере, это происходит в помещении, где ее никто не видит. Можно только надеяться, что с приходом зимы она не вздумает практиковаться на катке под открытым небом, где ее может увидеть кто-нибудь из моих знакомых. А она сама даже не подозревает, какой урон может нанести. Она никогда не говорит: «Что скажут люди?!» — как это говорят, или по идее должны говорить, другие матери. Она говорит, что видала их всех с высокой колокольни.

Я считаю, что с ее стороны это безответственно.

Но в то же время выражение «видала их всех с высокой колокольни» мне приятно. Оно превращает мою мать в не-мать, во что-то вроде птицы-мутанта. Я теперь очень придирчиво отношусь к собственной одежде и завела привычку обозревать себя сзади с помощью ручного зеркальца: вдруг где-то нитка прилипла или подол отпоролся. Взгляд с высокой колокольни — это роскошь. Такую элегантную, непочтительную беззаботность я хотела бы воспитать в себе — в отношении одежды и многого другого.

Брат сидит на стуле — тоже светлого дерева и с сужающимися книзу ножками. Брат стал крупней и старше — внезапно, словно в тот момент, когда я отвернулась. Теперь он бреется. Поскольку сегодня выходной, он не побрился, и рот у него обведен полосой тонких щетинок. Брат в мокасинах — старых, в которых он ходит дома, с дырками под большими пальцами, — и старом бордовом свитере с V-образным вырезом. У свитера протерлись локти, и от дырок поползли петли. Брат не позволяет матери заштопать или заменить этот свитер. Мать часто говорит, что видала все относящееся к одежде с высокой колокольни, но это равнодушие не распространяется на дырки, обтерханные края и грязь.

Этот драный свитер и дырявые мокасины — одежда, в которой брат занимается. По будним дням он вынужден носить пиджак, галстук и серые фланелевые брюки, всё это требуется в школе. Он не может сделать прическу «утиный хвост» или даже «ёжик»; его волосы подбриты с затылка, а спереди разделены на косой пробор, как у английских мальчиков-хористов. Это тоже требование школы. С этой прической он выглядит как герой приключенческой книжки двадцатых годов, или даже раньше — таких книжек много у нас в подвале — или как офицер воздушных войск союзных держав из комикса. У него такой же нос и подбородок, как на иллюстрациях к этим книгам, только тоньше; симпатичный, аккуратный, старомодный вид. Глаза у него тоже подходящие: пронизывающие, голубые, слегка фанатичные. К мальчикам, заботящимся о своей внешности, он питает уничтожающее презрение. Он зовет их слащавыми манекенами.

Брат учится в частной школе для очень умных мальчиков. Она частная, но недорогая — туда попадают после трудных экзаменов. Родители с некоторым беспокойством спрашивали меня, не хочу ли я пойти учиться в частную школу для девочек; они думали, что я почувствую себя

обделенной, если они не постараются и для меня тоже. Я все знаю про эти школы — там заставляют носить юбки из шотландки и играть в хоккей на траве. Я сказала, что эти школы — для снобов и там очень низкие академические требования. Это правда; но я в любом случае ни за что не пошла бы учиться в школу для девочек. Сама идея наполняет меня клаустрофобной паникой; школа, в которой одни только девочки, — все равно что капкан.

Брат тоже слушает Джека Бенни. Слушая, он левой рукой сует в рот квадратики жареного сыра, а правой держит карандаш, который непрерывно движется. Брат едва смотрит на блокнот, куда пишет, но время от времени выдирает страницу и комкает ее. Скомканные страницы падают на пол. Подобрав их после окончания радиопостановки, чтобы бросить в мусорное ведро, я вижу, что они исписаны цифрами — длинные рядки цифр и символов тянутся бесконечно, переходят со строки на строку, как слова в письме или зашифрованное послание.

Иногда брат приглашает к себе друзей. Они сидят у него в комнате, поставив между собой шахматный стол и не двигаясь, за исключением рук. Руки поднимаются, зависают над доской и

пикируют. Иногда игроки сопят, говорят что-нибудь вроде «Ага», или «Размен», или «Вот тебе». А иногда обмениваются добродушными, непонятными ругательствами: «Ты сурд!», «Ты тупой угол!», «Ты атавизм!» Съеденные фигуры — кони, пешки, слоны — выстраиваются за пределами доски. Время от времени — чтобы посмотреть, как идет игра, — я приношу играющим стаканы молока и ванильно-шоколадное печенье, которое испекла сама по рецепту из «Поваренной книги Бетти Крокер». Это я так выделываюсь, но особого отклика не встречаю. Мальчики сопят, выпивают молоко, держа стаканы левой рукой, пихают в рот печенье, не сводя глаз с доски. Слоны опрокидываются, королева падает, король окружен. «Мат в два хода», — говорят игроки. Палец опускается на доску и сбивает короля. «Играем матч из пяти партий», — говорят они. И начинают все снова.

По вечерам брат делает уроки. Иногда необычным образом. Он встает на голову, чтобы кровь прилила к мозгам, или стреляет шариками жеваной бумаги в потолок. Весь потолок вокруг плафона у него в комнате покрыт, как прыщами, комками когда-то пережеванной бумаги. В другие разы на брата нападают приступы бешеной физической активности: он колет лучину на рас-

топку в огромном количестве, гораздо больше, чем нам нужно, или бегает трусцой в овраге, надев ужасные мешковатые штаны, зеленый свитер, еще более потрепанный, чем бордовый, и потертые серые кроссовки, похожие на те, что иногда валяются на пустырях. Брат говорит, что готовится к марафону.

Часто брат меня как будто не замечает. Он думает о других вещах, серьезных и важных. Он сидит за обеденным столом — правая рука движется, лепя шарики из хлебных крошек, — и смотрит на стену за спиной у матери, где висит картина, изображающая три семенные коробочки молочая в вазе. Отец тем временем объясняет, почему род человеческий обречен. На сей раз, как выясняется, из-за изобретения инсулина. Теперь диабетики не умирают, как раньше, а живут долго и передают диабет своим детям. Скоро по закону геометрической прогрессии все люди на земле станут диабетиками, а поскольку инсулин добывают из коровьих желудков, весь мир — те части, что еще не заняты людьми, которые, кстати говоря, тоже размножаются как попало, — покроется стадами коров для производства инсулина. Коровы отрыгивают метан. В атмосфере уже слишком много метана, он вытеснит весь

кислород и, возможно, превратит земной шар в гигантскую теплицу. Полярные шапки растают, и Нью-Йорк уйдет под воду, не говоря уже о других прибрежных городах. Еще надо беспокоиться из-за расширения пустынь и эрозии почв. Если даже нас не зарыгают до смерти коровы, мы вскоре обнаружим вокруг себя пустыню Сахара, бодро говорит отец, доедая мясной рулет.

Отец ничего личного не имеет против диабетиков или даже коров. Просто он любит прослеживать цепочки мыслей до логического завершения. Мать объявляет, что на десерт у нас кофейное суфле.

Когда-то брат сильнее заинтересовался бы судьбой рода человеческого. Теперь он говорит, что если Солнце превратится в сверхновую звезду, пройдет восемь минут, прежде чем мы об этом узнаем. Он смотрит на вещи в долговременной перспективе. Он имеет в виду, что мы все равно обуглимся, так какая разница — несколькими коровами больше или меньше? Брат все еще коллекционирует увиденных бабочек, но в остальном все дальше уходит от биологии. Если смотреть на мир в целом, человечество — лишь капля зеленой плесени на поверхности, говорит брат.

Отец ест кофейное суфле и слегка хмурится. Мать тактично наливает ему чаю. Я понимаю, что будущее рода человеческого — поле битвы, и Стивен только что выиграл очко, а отец проиграл. Проигрывает тот, кого судьба человечества волнует сильнее.

Теперь я знаю об отце больше, чем тогда: я знаю, что он хотел уйти воевать пилотом, но его не пустили — его работу сочли важной для фронта. Я еще не поняла, почему гусеницы почкоеда были важны для фронта, но, очевидно, были. Может, поэтому отец всегда и водит машину так быстро — хочет выйти на взлет.

Теперь я знаю, что он вырос на ферме в лесах Новой Шотландии, где не было ни водопровода, ни электричества. Поэтому он может построить что угодно и что угодно порубить: там, на ферме, все умели пользоваться топором и пилой. Отец окончил школу заочно, он сидел за кухонным столом и занимался при свете керосиновой лампы. Деньги на учебу в университете он заработал рубкой леса и чисткой кроличьих клеток. Когда-то он играл на скрипке на деревенских танцах. Ему было двадцать два года, когда он впервые услышал оркестр. Все это мне известно, но непостижимо. И еще я жалею, что знаю это. Мне хочется, чтобы

мой отец был просто отцом, каким был всегда, а не отдельным от меня человеком с собственной биографией, достойной мифа. Если знаешь слишком много о других людях, оказываешься в их власти — они могут заявить на тебя права, обязать тебя понимать причины их поступков, и ты становишься уязвимым.

Я жестоковыйно отворачиваюсь от грядущей участи человеческого рода и начинаю считать в уме, сколько мне нужно скопить денег, чтобы купить новый свитер из натуральной шерсти. На уроках «домашней экономики», где на самом деле учат шить и готовить, я научилась втачивать молнию и делать шов «в замок». Теперь я многое шью себе сама, так дешевле. Правда, вещи моей работы не всегда выглядят так, как на обложке выкройки. От матери в этом деле мало помощи — что бы я ни надела, если оно не рваное, она неизменно говорит, что я выгляжу просто замечательно.

Я прибегаю к советам миссис Файнштейн, соседки, с чьим ребенком я сижу по выходным.

— Тебе очень идет синий, миленькая. И мареновый. Ты будешь чудо как хороша в мареновом.

Потом она уходит на весь вечер с мистером Файнштейном — волосы у нее уложены в вы-

сокую прическу, рот ярко-алый, она идет, чуть пошатываясь, в маленьких туфельках на высоченном каблуке, в звенящих браслетах и качающихся золотых серьгах. А я читаю Брайану Файнштейну книжку про маленький паровозик и укладываю его спать.

Иногда мы со Стивеном, как в детстве, моем вместе посуду, и тогда он вспоминает, что он мой брат. Я мою, он вытирает и задает мне тоном доброго дядюшки благосклонные снисходительные вопросы, которые меня бесят. Например, как мне нравится в девятом классе. Сам он в одиннадцатом, неизмеримо выше меня. Совершенно незачем лишний раз тыкать меня в это носом.

Но иногда в эти посудомойные вечера он открывает, как мне кажется, краешек своей души. Он рассказывает, какие клички носят учителя в его школе. Все они грубые, например, Подмышка или Человек-Табуретка. Иногда мы вместе изобретаем новые ругательства, загадочно-непристойные.

— Фрюха, — говорит он.

— Пвать, — парирую я и добавляю, что это глагол. Мы сгибаемся пополам от смеха и падаем на кухонные столы. Наконец в кухню входит мать и спрашивает:

— Чем это вы, дети, тут занимаетесь?

Иногда брат решает, что его долг — меня развивать. Он, похоже, невысокого мнения о большинстве девочек и не хочет, чтобы я выросла такой же. Не хочет, чтобы я была пустоголовой вертушкой. Он боится, что я стану тщеславной. По утрам он приходит к дверям ванной комнаты и спрашивает, способна ли я отлепиться от зеркала.

Он считает, что я должна развивать свои мозги. Чтобы помочь мне в этом, он изготавливает ленту Мёбиуса — вырезает длинную полосу бумаги, перекручивает и склеивает. У ленты Мёбиуса только одна сторона — это можно проверить, проведя пальцем по ее поверхности. По словам Стивена, это помогает представить себе бесконечность. Он рисует для меня бутылку Клейна, у которой нет внутренней и наружной сторон — точнее, ее внутренняя сторона совпадает с наружной. Бутылку Клейна труднее уложить в голове, чем ленту Мёбиуса — вероятно, потому, что она называется бутылкой, а мне сложно представить себе бутылку, не предназначенную для того, чтобы наливать в нее что-нибудь. Я не понимаю, какой тогда в ней смысл.

Стивен рассказывает, что интересуется проблемами двумерных вселенных. Он просит меня представить себе, как выглядела бы трехмерная

вселенная для идеально плоского существа. Если трехмерный человек находится в двумерной вселенной, ее жители будут воспринимать его только в точках пересечения — как два овала, два двумерных сечения ног. Бывают и пятимерные вселенные, и семимерные. Я изо всех сил пытаюсь их вообразить, но не могу пойти дальше трех измерений.

— Почему трех? — спрашивает Стивен. Это его любимый прием — задавать мне вопросы, на которые у него уже есть ответ, или есть ответ иной, чем у меня.

— Потому что их только три, — отвечаю я.

— Ты хочешь сказать, что мы воспринимаем только три измерения, — говорит он. — Мы ограничены возможностями нашего собственного восприятия. Как, по-твоему, видит мир муха?

Я знаю, как видит мир муха. Я неоднократно разглядывала мушиные глаза под микроскопом.

— Фасеточно, — отвечаю я. — Но все равно каждая фасетка воспринимает только три измерения.

— Ты права, — говорит Стивен, и я чувствую себя взрослой, достойной этой беседы. — Но на самом деле мы воспринимаем четыре.

— Четыре?

— Время тоже измерение, — объясняет он. — Оно неотделимо от пространства. Мы живем в пространстве-времени.

Он говорит, что не существует четко очерченных объектов, сохраняющих неизменность независимо от течения времени. Он говорит, что пространство-время искривлено, и в искривленном пространстве-времени кратчайшее расстояние между двумя точками — не прямая, а кривая, следующая этому искривлению. Он говорит, что время можно растянуть или сжать и что в некоторых местах оно бежит быстрее, чем в других. Он говорит, что, если взять идентичных близнецов и посадить одного в очень быструю ракету на неделю, он вернется и обнаружит, что брат теперь старше его на десять лет. Я говорю, что, наверно, это будет очень печально.

Брат улыбается. Он говорит, что вселенная подобна воздушному шару, на котором нарисовали точки и стали его надувать. Точки — это звезды; они со временем становятся все дальше и дальше друг от друга. Он говорит, что по-настоящему интересный вопрос — какова наша вселенная: бесконечная и неограниченная или бесконечная, но ограниченная, как воздушный шар. Но воздушный шар вызывает у меня мысли только о

взрыве, который произойдет, когда шар лопнет.

Брат говорит, что пространство — это в основном пустота и что материя на самом деле не сплошная. Это просто кучка разрозненных атомов, движущихся с большей или меньшей скоростью. И вообще материя и энергия — это разные аспекты одного и того же. Как будто все сделано из затвердевшего света. Стивен говорит, что знай мы достаточно, мы могли бы проходить сквозь стены, словно они из воздуха. Знай мы достаточно, мы могли бы двигаться быстрее света, и в этой точке пространство станет временем, а время — пространством и можно будет путешествовать во времени, вернуться обратно в прошлое.

Это первая из его идей, которая меня по-настоящему заинтересовала. Я бы хотела посмотреть на динозавров и на многое другое, в том числе на древних египтян. С другой стороны, в этой концепции есть что-то пугающее. Я не уверена, что мне хочется путешествовать в прошлое. Еще я не уверена, что хочу так впечатляться словами Стивена. Это дает ему слишком большое преимущество. И вообще нормальные люди не ведут подобных речей. Они звучат как отрывок из комикса — из тех, где изобретают лучевую пушку.

И потому я говорю:

— А какой в этом смысл?

Он улыбается:

— Если мы научимся это делать, то будем знать, что это возможно.

Я говорю Корделии, что, по словам Стивена, мы могли бы проходить сквозь стены, если бы знали достаточно. Я лишь одну из его идей способна пересказать. Остальные слишком сложны для меня или слишком причудливы.

Корделия смеется. Она говорит, что мой брат мозговитый и что не будь он таким милым, он был бы катышком.

Стивен устраивается работать на лето — ведет кружок гребли на каноэ в лагере для мальчиков. Я никуда не устраиваюсь, мне только тринадцать лет. Я еду с родителями на север, в окрестности Су-Сент-Мари, где отец наблюдает за экспериментальной колонией гусениц коконопрядов в клетках, затянутых сеткой.

Стивен пишет мне письма карандашом на страницах, вырванных из линованных рабочих тетрадей. В письмах он высмеивает все, на что глаз упадет, в том числе других вожатых лагеря и девушек, за которыми они гоняются в свободное время. Он описывает этих вожатых — с вулкани-

ческими прыщами, с клыками, торчащими изо рта, свисающими языками, как у псов, и глазами, скошенными от перманентного поглупения, вызванного присутствием девушек. Это наводит меня на мысль, что я обладаю определенной властью, или буду обладать. Я ведь тоже девушка. Я хожу рыбачить — в основном для того, чтобы было о чем написать брату. Кроме этого мне почти не о чем рассказывать.

Корделия пишет настоящими чернилами, черными. Ее письма полны прилагательных в превосходной степени и восклицательных знаков. Она ставит над і вместо точек маленькие кружочки, похожие на глаза сиротки Энни из комикса или на пузырьки. В конце она приписывает что-нибудь вроде «Жду ответа, как соловей лета».

«Как мне скучно!!!» — пишет она, подчеркнув последнее слово трижды. Она, кажется, даже скучает с энтузиазмом. И все же ее восторженность — наигранная. Иногда я вижу ее, когда она думает, что я на нее не смотрю: ее лицо становится неподвижным, далеким, бездумным. Как будто внутри никого нет. Но она тут же поворачивается ко мне и хохочет: «Правда, просто прелесть, когда они вот так закатывают рукав и суют внутрь си-

гаретную пачку? Для этого нужно иметь бицепс!» И все сразу становится как обычно.

Мне кажется, что я считаю дни до окончания срока. Я плаваю в имеющемся озере, ем изюм и крекеры, густо намазанные арахисовой пастой и медом, читаю детективные романы и дуюсь, потому что рядом нет ни одного моего сверстника. Неизменная бодрость родителей меня не утешает. Может, мне даже легче было бы, будь они мрачны, как я, или даже мрачнее; тогда я чувствовала бы себя обыкновеннее.

IX. Проказа

41

Уже ближе к полудню меня будит телефонный звонок. Это Чарна.

— Привет! — говорит она. — Мы попали в раздел «Культура»! И в статье три — можете пересчитать — три фотографии! Это просто круть!

Я вздрагиваю при мысли о том, как она представляет себе круть. И что значит «мы»? Но она довольна: меня повысили, вместо раздела «Жизнь» я теперь в «Культуре». Это хороший знак. Я вспоминаю свои былые идеи о бессмертии творца. Тогда я хотела достичь славы Леонардо да Винчи. Теперь меня засунули между рок-группами и новым фильмом. Искусство — это то, что сходит тебе с рук, сказал кто-то там. Это звучит так, словно искусство — что-то вроде краж в магазинах или другое мелкое преступление. А может, так оно и есть: искусство было и остается чем-то сродни воровству. Вооруженный захват визуального.

Я знаю, что ничего хорошего про меня не написали. Но любопытство побеждает. Я одеваюсь и

спускаюсь на улицу в поисках ящика с газетами. Мне хватает выдержки не открывать газету сразу, а подождать до возвращения в квартиру.

Заголовок гласит: «СВАРЛИВАЯ ХУДОЖНИЦА ВСЕ ЕЩЕ СПОСОБНА ВОЗМУЩАТЬ СПОКОЙСТВИЕ». Я подмечаю: «художница» вместо «живописец», многозначительное «все еще» — намек, что я в шаге от старческого маразма. Андреа, инженю с прической-желудем, со мной расквиталась. Я удивлена, что она использовала старомодное словечко «сварливая». Оно напоминает о сварах и о сваренном обеде, то и другое подходит по смыслу. Но, вероятно, заголовок придумывала не она.

Фотографий в самом деле три. На одной — моя голова, снятая чуть снизу, так что кажется, будто у меня двойной подбородок. На других двух — картины. Миссис Смиитт, совершенно голая, тяжело летит по воздуху. Вдали виден церковный шпиль с луковицей. К спине миссис Смиитт прилеплен, как клоп-солдатик, мистер Смиитт, у обоих блестящие коричневые насекомые-крылья, изображенные в масштабе и тщательно выписанные. «Жучила. Благовещение» — гласит подпись к картине. На другой миссис Смиитт одна, с ножом, сточенным до полумесяца, и очищенной картофелиной. Она обнажена от талии

вверх и от бедер вниз. Это картина из серии «Имперские панталоны». Фотографии неудачные, поскольку черно-белые. На них картины выглядят как поляроидные снимки. Я-то знаю, что на самом деле панталоны миссис Смиитт — интенсивного синего цвета, над которым я трудилась несколько недель. Они словно источают темный, удушливый свет.

Я пробегаю первый абзац статьи: «Выдающаяся художница Элейн Ризли вернулась в Торонто, свой родной город, к открытию ретроспективной выставки своих работ, которую давно пора было устроить». «Выдающаяся» — слово из эпитафии. Осталось только улечься на мраморную плиту и накрыться простыней. Меня цитируют — как обычно, искажая мои слова. Мой костюм тоже не обошелся без комментариев: «Элейн Ризли, на вид совершенно безобидная, в поношенном голубом тренировочном костюме, способна, однако, на едкие и намеренно провокационные высказывания в адрес современных женщин».

Я втягиваю в себя кофе и перехожу сразу к последнему абзацу: неизбежное «эклектический», обязательное «постфеминизм», «однако» и «несмотря на». Старый добрый Торонто с его предосторожностями и оговорками. Я бы предпо-

чла открытую перестрелку, чтобы клочки летели, серу и адский пламень. Тогда я, по крайней мере, знала бы, что еще жива.

Я мстительно думаю о торжественном открытии выставки. Может, мне стоит поступить намеренно провокационно, подтвердить их худшие подозрения? Надеть что-нибудь из спецэффектов работы Джона — обгорелое лицо с одним ободранным, заплывшим кровью глазом, пластмассовую руку, из которой брызжет кровь. Или сунуть ноги в полые слепки ступней и ввалиться в галерею, как персонаж фильма про безумного ученого.

Я ничего такого не собираюсь делать, но перебор возможностей меня утешает. Всё происходящее как бы отдаляется, сводится к фарсу или розыгрышу, в котором я не участвую — только высмеиваю его.

Корделия увидит статью в газете и, может быть, посмеется. Хотя ее нет в телефонной книге, она должна быть где-то здесь, в городе. На нее это похоже — сменить фамилию. А может, она вышла замуж. Может, даже не один раз. Женщин, как правило, трудно искать. Они ускользают в чужое имя и исчезают в глубинах.

В любом случае она увидит статью. Узнает

миссис Смиитт и хорошенько повеселится. Она поймет, что это я, и придет. Войдет и увидит себя — с подписью, с датой, в раме, на стене. Ее нельзя ни с кем спутать: длинная линия челюсти, кривоватая губа. На картине она изображена в комнате, одна; стены комнаты окрашены пастельно-зеленым.

Это единственная из моих картин, где есть Корделия — Корделия сама по себе. Картина называется «Половина лица». Название странное, ведь лицо изображено целиком. Но за спиной у нее, на стене, наподобие ренессансных медальонов или звериных голов — лосей, медведей, — какие раньше попадались в барах на севере, висит другое лицо, накрытое белой тканью. Кажется, что это театральная маска. Возможно, и так.

Эта картина мне далась нелегко. Трудно было зафиксировать Корделию в один момент времени, в одном возрасте. Я хотела изобразить ее тринадцатилетнюю и этот вызывающий, почти воинственный взгляд. «И?»

Но глаза меня подвели. В этих глазах нет силы; они придают лицу неуверенное, колеблющееся выражение. В них виден упрёк. Испуг.

На этой картине Корделия боится меня.

Я боюсь Корделию.

Я не боюсь увидеть Корделию. Я боюсь стать Корделией. Потому что в каком-то смысле мы с ней поменялись местами, но я забыла, когда.

42

Лето кончилось, и я пошла в десятый класс. Я все еще младше и ниже всех, но я выросла. Точнее, у меня выросла грудь. Еще у меня теперь бывают месячные, как у всех нормальных девочек; я посвящена в тайну, я тоже могу сидеть на скамейке во время игр в волейбол, ходить к медсестре за аспирином и ковылять по коридорам, зажав между ногами, словно сплющенный заячий хвост, прокладку, пропитанную кровью цвета печенки. В этом есть свои плюсы. Я брею ноги — брить там почти нечего, но мне приятна эта процедура. Я сижу в ванне и вожу бритвой по икрам — мне хотелось бы, чтобы они были толще, выпуклее, как у чирлидерш. Брат тем временем бормочет под дверью:

— Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи, я ль на свете всех милее, всех румяней и белее?

— Пошел вон, — безмятежно говорю я. Теперь у меня есть на это право.

В школе я молчалива и бдительна. Я делаю все уроки. Корделия выщипывает брови в две тонкие ниточки, еще тоньше, чем у меня, и красит ногти лаком «Лед и пламя». Она теряет разные вещи — например, гребенки, а еще — домашнее задание по французскому. Она пронзительно хохочет в коридорах. Она выдумывает новые, затейливые ругательства, например «анальное отверстие представителя семейства псовых» (это значит «собачья жопа») или «экскременты могущественного сверхъестественного высшего существа» («срань господня»). Она начинает курить, и ее ловят за этим занятием в туалете для девочек. Учителя, должно быть, ломают голову — почему мы с Корделией дружим, что нас объединяет.

Сегодня, когда мы возвращаемся из школы, идет снег. Огромные мягкие хлопья, как холодные мотыльки, падают, лаская нам щеки. Мы с Корделией в приподнятом настроении. Мы скачем по тротуару в сумерках, а мимо проплывают машины, приглушенные и замедленные снегом. Мы поём:

Запомните имя
Лидии Пинкем,
Чьи снадобья жёнам здоровье дарят!

Эта песенка — из рекламы, которую крутят по радио. Мы не знаем, что такое снадобья Лидии Пинкем, но всё, что предназначено для «жён», имеет отношение к месячным или еще чему-нибудь такому, о чем не принято говорить. Так что эта песенка нас смешит. Еще мы поём:

Проказа,
В стакан упали оба глаза,
Такая страшная зараза…

Или:

Ты отдала мне руку и сердце,
Я в холодильник их положил…

Мы поем эти и другие переделки популярных песен, которые кажутся нам очень остроумными. Мы бежим и скользим в резиновых сапогах с подвернутым верхом, лепим снежки и кидаемся в фонарные столбы, пожарные гидранты, даже в проезжающие машины и — настолько близко, насколько смелости хватает — в прохожих на тротуаре, это в основном женщины, которые выгуливают собак или идут с сумками из магазина. Чтобы скатать снежок, надо положить учебники на землю. Мы бросаем не метко и почти всегда промахиваемся. Только один раз мы по ошибке

попадаем в женщину в меховой шубе, со спины. Она оборачивается и сердито смотрит на нас, и мы убегаем — за угол, на боковую улицу, — так хохоча от ужаса и неловкости, что едва держимся на ногах. Корделия бросается навзничь на заснеженный газон.

— Дурной глаз! — взвизгивает она.

Мне почему-то неприятно смотреть, как она лежит в снегу, раскинув руки.

— Вставай, — говорю я. — Схватишь воспаление легких.

— И? — отвечает Корделия, но встает.

Зажигаются фонари, хотя еще не темно. Мы доходим до того места, где на другой стороне дороги начинается кладбище.

— Помнишь Грейс Смиитт? — спрашивает Корделия.

Я отвечаю «да». Я в самом деле ее помню, но нечетко, с пробелами. Я помню, какая она была, когда мы только познакомились, и потом — в яблоневом саду, в венке из цветов; и еще потом, гораздо позже, когда она была в восьмом классе и готовилась уйти в другую школу. Я даже не знаю, в какую школу она перешла. Я помню ее веснушки, ее улыбочку, ее жесткие косы, словно из конского волоса.

— Они экономили туалетную бумагу, — говорит Корделия. — Четыре квадратика на раз, даже если идешь по-большому. Ты знала?

— Нет, — отвечаю я. Но мне кажется, что когда-то я и впрямь об этом знала.

— А помнишь черное мыло, которым они пользовались? Помнишь? Оно пахло гудроном.

До меня доходит, что мы сейчас делаем: мы высмеиваем семью Смииттов. Корделия помнит про них много всего: серое белье, капающее с веревки в подвале, овощной нож, сточенный до узкой полоски, зимние пальто из итоновского каталога. Согласно Корделии, одежду следует покупать в универмаге «Симпсона». Туда мы теперь ездим в субботу утром, с непокрытой головой, трясясь в трамвае, идущем в центр, одну остановку за другой. А выписывать товары по итоновскому каталогу — еще хуже, чем отовариваться в универмаге Итона.

— Семейство Бух-Бух! — вопит Корделия в воздух, пронизанный снежными хлопьями. Это жестоко и вместе с тем метко; мы фыркаем от смеха. — Что ест на ужин семейство Бух-Бух? Жилы от мяса!

Игра идет полным ходом. Какого цвета у них нижнее белье? Цвета рубероида. Почему у мис-

сис Бух-Бух на лице пластырь? Она порезалась, когда брилась. Можно сказать о них, выдумать про них все, что угодно. Они беззащитны, они в нашей власти. Мы представляем себе, как муж и жена Бух-Бух занимаются любовью, но это уже слишком, невообразимо, тошнотворно. Тошнотворно — это новое словечко, мы его подцепили от Утры.

— Что делает Грейс Бух-Бух для развлечения? Выдавливает прыщи! — Корделия так хохочет, что складывается пополам и чуть не падает. — Хватит, хватит, я сейчас описаюсь!

Она говорит, что прыщи у Грейс появились в восьмом классе; а теперь их должно быть еще больше. Это не выдумка, а правда. Мы смакуем мысль о прыщах Грейс.

Смиитты в нашей версии — полностью лишенные обаяния, скупые, тяжелые, как сырое тесто, скучные, как белый маргарин, который они, по нашим словам, едят на десерт. Мы высмеиваем их набожность, их мелочную экономию, размеры их ног, их фикус, в котором они отразились целиком. Мы говорим о них в настоящем времени, будто все еще с ними знакомы.

Игра дарит мне глубокое наслаждение. Я не могу объяснить подобную жестокость со своей

стороны; не спрашиваю себя, отчего эта игра мне так приятна или зачем Корделия ее затеяла, почему настаивает, чтобы мы в нее играли, взбадривает ее снова, когда игра начинает сходить на нет. Корделия косится на меня, словно оценивая, как далеко — насколько дальше — я могу зайти в этом, как мы обе понимаем, низком предательстве. Я еще раз мельком представляю себе Грейс — она исчезает в дверях своего дома, на ней юбка с лямками и свитер в катышках. Мы все ее обожали. Но теперь — нет. И в нынешней версии, версии Корделии, этого никогда и не было.

Мы бежим по улице под снегом, открываем калитку кованого железа в ограде кладбища и входим. Мы здесь первый раз.

Этот конец кладбища еще не совсем освоен. Здешние деревья — пока лишь саженцы; без листьев они кажутся еще более временными. Земля в основном нетронута, но кое-где на ней шрамы вроде следов гигантских когтей, ямы, что-то раскопано. Надгробных камней мало, и они новые: продолговатые блоки гранита, отполированные до пресвитерианского блеска, буквы сугубо утилитарные, без каких-либо попыток их приукрасить. Они напоминают мне мужские плащи.

Мы идем среди этих надгробий, показывая, какие из них — самые серые, самые нелепые — могло бы выбрать семейство Бух-Бух, чтобы похоронить кого-то из своих. Отсюда через сетку-рабицу забора видны дома на другой стороне улицы. В одном из них живет Грейс Смиитт. Мне странна и необъяснимо приятна мысль о том, что Грейс, может быть, сейчас дома, в обычной на вид кирпичной коробке с белыми столбиками крыльца, и понятия не имеет, что мы о ней говорим. Миссис Смиитт, возможно, тоже дома — лежит на бархатном диване, накрывшись пледом; я помню, что у нее было такое обыкновение. Фикус стоит на лестничной площадке, он не сильно вырос. Фикусы растут очень медленно. А вот мы выросли, и дом кажется нам меньше.

Впереди простирается кладбище — многие акры кладбища. Овраг у нас сейчас слева, там виднеется краешком новый бетонный мост. Я мельком припоминаю старый мост и ручей под ним; наверно, сейчас прямо у нас под ногами растворяются мертвецы, превращаются в воду, холодную и прозрачную, и текут под гору. Но я тут же об этом забываю. Я говорю себе, что на кладбище нет никаких ужасов. Оно для этого чересчур практично, чересчур безобразно, чересчур

аккуратно. Оно похоже на кухонную полку, куда убирают всё подряд.

Несколько минут мы идем молча, не зная, куда направляемся и зачем. Деревья становятся выше, а надгробия — старее. Теперь нас окружают кельтские кресты, изредка попадаются ангелы.

— Как нам отсюда выбраться? — спрашивает Корделия с нервным смешком.

— Если пойдем дальше в эту сторону, то наткнемся на дорогу. Слышишь, машины шумят.

— Мне надо сигу, — говорит она. Мы находим скамейку и садимся, чтобы Корделия могла освободить обе руки, прикрыть сигарету от ветра и зажечь. На ней нет ни перчаток, ни платка. Зажигалка у нее маленькая, черная с золотом.

— Посмотри-ка, это домики мертвецов, — говорит она.

— Мавзолеи, — знающим тоном отвечаю я.

— Семейный мавзолей Бух-Бухов, — она пытается взбодрить напоследок все ту же тему.

— У них не может быть мавзолея. Для них это слишком шикарно.

— «Итон», — читает Корделия. — Это, наверно, те самые, чей магазин, шрифт такой же. Здесь покоятся каталоги Итона.

— Мистер и миссис Каталог!

— Интересно, надето ли на них корректирующее белье, — Корделия затягивается. Мы пытаемся воскресить былую веселость, но не получается. Я думаю про Итонов, обоих (а может, их там больше), убранных в хранилище — словно они шубы или золотые часы, — в свою личную усыпальницу, и эта мысль еще странней оттого, что мавзолей Итонов стилизован под древнегреческий храм. Как именно они лежат внутри? На помостах? В саркофагах под каменными крышками, заросшими паутиной, как рисуют в комиксах-ужастиках? Я думаю об их драгоценностях, сверкающих в темноте, — конечно, на них надеты драгоценности, — и об их длинных сухих волосах. После смерти у трупа растут волосы. И ногти. Я не знаю, откуда мне это известно.

— Между прочим, миссис Итон на самом деле вампир, — врастяжечку произношу я. — Она выходит по ночам. Одетая в длинное белое бальное платье. Вот эта дверь со скрипом открывается, и она выходит.

— Пить кровь Бух-Бухов, которые слишком поздно гуляют по улицам, — с надеждой подхватывает Корделия, гася окурок.

Я не присоединяюсь к веселью.

— Нет, серьезно. Выходит. Я знаю.

Корделия испуганно смотрит на меня. Падает снег, сумерки, на кладбище никого, кроме нас.

— Да? — спрашивает она, ожидая услышать шутку.

— Да. Иногда мы с ней выходим вместе. Потому что я тоже вампир.

— Неправда, — Корделия встает, отряхивает снег. Неуверенно улыбается.

— Откуда ты знаешь? Почему ты так уверена?

— Ты же ходишь днем, — говорит она.

— Это не я. Это моя сестра-близнец. Ты просто не знаешь, что я — одна из двух близнецов. Идентичных — на вид нас не отличить. И вообще мне надо прятаться только от солнца. В такие дни, как сегодня, я могу ходить свободно. У меня есть гроб, наполненный землей, я в нем сплю. Он внизу, в… в… в… — я лихорадочно соображаю, где он может быть, — в подвале.

— Ты просто дурачишься, — говорит Корделия.

Я тоже встаю.

— Дурачусь?! — я понижаю голос. — Я правду говорю. Ты моя подруга, и я решила, что должна открыть тебе правду. Я на самом деле мертвая. Я мертва уже много лет.

— Ну, кончай играть, — резко отвечает Корделия. Я удивлена тем, как приятна ее неуверен-

ность, моя власть над ней.

— Во что играть? Я вовсе не играю. Но тебе не о чем беспокоиться. Я не буду пить твою кровь. Ты моя подруга.

— Не вредничай, — говорит Корделия.

— Сейчас нас запрут на кладбище.

До обеих доходит, что это может быть чистой правдой. Мы несемся по дорожке, задыхаясь и хохоча, и находим ворота, которые, к счастью, все еще открыты. За ними шумит Янг-стрит, полная машин: час пик.

Корделия хочет показать, какие из машин принадлежат семейству Бух-Бух, но мне уже надоело. У меня своя, более ощутимая, более злонамеренная причина торжествовать: между нами проскочил силовой разряд, и я оказалась сильнее.

43

Я уже в одиннадцатом классе и догнала по росту многих девочек — то есть я еще не очень высокая. Я ношу темно-серую юбку-карандаш, в которой трудно ходить, хотя в ней заложена встречная складка, и свитер с рукавом «летучая мышь», красный в серую полоску переменной ширины. У меня широкий черный эластичный

пояс, туго стягивающий талию, с золоченой пряжкой, и бархатные балетки, которые трутся друг о друга, когда я хожу, и выпирают в стороны. У меня короткий жакет, который я ношу с юбкой-карандашом. Таков модный силуэт: квадратный и расширенный сверху, на длинном узком стебле из бедер и ног. У меня злой язык.

Я даже знаменита своим злоязычием. Я не пускаю его в ход, пока меня не трогают, но когда это случается, я открываю рот, и из него вылетают короткие комментарии, полностью уничтожающие противника. Мне даже не приходится их выдумывать — они возникают сами, как облачка мысли с зажигающейся лампочкой в комиксах. «Не будь болячкой» и «Рыбак рыбака видит издалека» — стандартные отповеди у девочек, но я иду гораздо дальше. Я не стесняюсь сказать «болячка на заднице», что противно правилам хорошего тона, и прибегаю к собственным сокрушительным изобретениям, таким как «ходячий прыщ» и «вонючая подмышка». Если девочка называет меня мозговитой, я парирую: «Лучше быть мозговитой, чем безмозглой, как ты».

— Ты что, голову маслом намазала? — спрашиваю я. Или: — Не соси, когда разговариваешь!

Я знаю, где слабые места. «Сосать» — особенно

удачное слово, особенно убийственное. Его обычно говорят мальчишки друг другу. У меня оно вызывает ассоциации с младенцами и пальцами. Я пока не исследовала вопрос, что еще можно сосать и при каких обстоятельствах.

Девочки в школе уже знают про мое ядовитое жало и умеют его избегать. Я хожу по коридорам, окруженная аурой опасных слов, и ко мне относятся с опаской, что меня вполне устраивает. Как ни странно, из-за того, что я такая вредная, у меня становится не меньше, а больше подруг — во всяком случае, с виду. Девочки меня боятся, но знают, где самое безопасное место: у меня за спиной, на полшага позади. «С Элейн ужасно весело, она такая остроумная», — говорят они без особой убежденности. Некоторые девочки уже собирают фарфор и домашнюю утварь, они завели себе сундуки для приданого. Подобные штуки меня смешат и вызывают презрение. И все же мне бывает неприятно, если я случайно обижаю кого-то. Я хочу, чтобы все наносимые мною обиды были намеренными.

У меня нет возможности испытать свой злой язык на мальчишках, поскольку они не говорят мне ничего провокационного. Кроме Стивена. Теперь мы с ним перекидываемся гадостями,

у нас это вроде игры. «Вот тебе». «А вот тебе». Как правило, я затыкаю ему рот вопросом: «Кто тебя стриг? Газонокосильщик?» Стивен трепетно относится к своей прическе. А иногда, если он весь расфуфыренный, в форме своей частной школы: «Ты выглядишь как амбассадор универмага Симпсона». Амбассадоры Симпсона — это мальчики-подлизы, которые на официальном ежегодном фото класса позируют в блейзерах с вышитым на кармане гербом, выглядят очень чистенькими и аккуратными и рекламируют универмаг Симпсона.

— Ваш острый язык когда-нибудь доведет вас до беды, мадам, — говорит отец. Слово «мадам» означает, что я слишком близко подошла к какому-то краю, оно затыкает мне рот, но лишь ненадолго. Я научилась получать удовольствие от риска, от головокружения, которое настигает, когда понимаешь, что вышла за пределы допустимого. Что идешь по тонкому льду или по воздуху.

Больше всего от моего языка достается Корделии. Ей даже не нужно меня провоцировать, я на ней тренируюсь. Мы сидим на холме, откуда видно футбольное поле. Мы в джинсах, которые в школе разрешается носить только в дни футбольных игр. Слишком длинные отвороты

джинсов подколоты английскими булавками для белья — это последний писк моды. Чирлидерши в юбочках до середины бедра скачут по полю, маша бумажными помпонами; они не длинноногие и золотые, как на обороте журнала «Лайф», а разноразмерные, разномастные и приземистые. Однако я все еще завидую их икрам. На поле выбегает футбольная команда.

— Ах, Грегори! — восклицает Корделия. — Настоящий качок.

— А мозгами — кабачок, — парирую я.

Корделия смотрит обиженно:

— А я считаю, что он красавчик.

— Красавчик — надень слюнявчик.

Когда Корделия говорит, что не стоит присаживаться на сиденья школьных унитазов, не протерев их, так как можно заразиться, я спрашиваю:

— Кто сказал? Твоя мамочка?

Я высмеиваю ее любимых певцов:

— Любовь, любовь, любовь. Они вечно стонут.

Я теперь яростно презираю чересчур бурные излияния чувств и «сопли». Я зову Фрэнка Синатру «поющий торт», а Бетти Хаттон — «живая шарманка». И вообще эти люди отстали от жизни. Сентиментальные нюни. Будущее за рок-н-рол-

лом. «Сердца из камня» — это больше похоже на дело.

Иногда Корделия находится с ответом, но не всегда. Она говорит: «Это жестоко». Или высовывает язык из угла рта и меняет тему. Или закуривает.

Я сижу на истории, чертя каракули в тетради. Мы проходим Вторую мировую войну. Учитель обожает свой предмет. Он скачет перед доской, размахивая руками и указкой. Он коротышка с непослушной прядью волос и хромает. По слухам, он сам воевал. Он нарисовал на доске большую карту Европы белым мелом, а желтым пунктиром — границы между странами. Армии Гитлера наступают розовыми стрелками. Вот происходит аншлюс. Вот Гитлер захватывает Польшу. Вот сдается Франция. Я рисую тюльпаны и деревья, провожу линию почвы и тщательно прорисовываю все корневые системы. В Ла-Манше появляются подводные лодки — зеленые. Я рисую лицо девочки, сидящей через проход от меня. Начинается блиц, бомбы спускаются с неба, как зловещие серебряные ангелы, разрушают Лондон квартал за кварталом, дом за домом; каминные полки, печные трубы, супружеские ложа, вырезанные вручную и передаваемые из поколения в поколение, разлетаются на пыла-

ющие щепки, история превращается в осколки. «То был конец эпохи», — говорит учитель. Нам трудно это понять, говорит он, но ничто никогда уже не будет таким же. Видно, что он глубоко переживает. Очень неловко за него. «Таким же, как что?» — думаю я.

Мне с трудом верится, что я уже жила на свете, когда творились все эти очерченные мелом события. Все эти статистические смерти. Я жила на свете, когда женщины носили смешные наряды с подкладными плечами и утянутой талией, с баской, прикрывающей зад, словно фартук, надетый задом наперед. Я рисую женщину с широкими плечами и в широкополой шляпе. Я рисую собственную руку. Кисти — это труднее всего. Попробуй изобрази их так, чтобы не вышло похоже на связку сосисок.

Я гуляю с мальчиками. Я это не планирую, оно само получается. Мои отношения с мальчиками беспроблемны — это значит, что я не прикладываю никаких усилий. Это с девочками мне трудно, это от девочек я чувствую необходимость защищаться, а не от мальчиков. Я сижу у себя в спальне, срезая катышки с шерстяных свитеров, и тут звонит телефон. Это окажется очередной мальчик. Я выношу свитер в прихожую, где стоит

телефон, сижу там на стуле, прижав трубку к уху плечом, и продолжаю срезать катышки, пока тянется разговор, состоящий во многом из пауз.

Паузы мальчикам необходимы по природе; их нельзя пугать обилием слов, произносимых слишком быстро. То, что мальчики говорят вслух, не так важно. Самое важное — в паузах между словами. Я знаю, чего хотим мы оба: сбежать. Он хочет сбежать от взрослых и других мальчиков. Я хочу сбежать от взрослых и других девочек. Мы ищем необитаемый остров — мимолетный, нереальный, но он существует.

Отец меряет шагами гостиную, звеня ключами и мелочью в карманах. Он нетерпелив, он поневоле слышит эти односложные восклицания, бормотания, паузы. Он выглядывает в прихожую и делает двумя пальцами «ножницы», имея в виду, что я должна оборвать разговор. «Мне надо идти», — говорю я. Мальчик издает звук, как будто воздух выходит из проколотой велосипедной шины.

Я многое знаю о мальчиках. Я знаю, что творится у них в голове, когда они смотрят на девушек и женщин. Они не могут признаться в этом другим мальчикам, да и вообще никому. Они боятся, что их тела — не такие, как у других, боятся ска-

зать что-нибудь не то, боятся, что их осмеют. Я знаю, какие разговоры они ведут между собой в физкультурной раздевалке или куря украдкой за спортзалом. «Шибанутая мочалка», «сучка», «кошелка» — такими словами и даже хуже они называют девочек. Я не держу на них обиды за эти слова. Я знаю, они из того же ряда, что заспиртованные бычьи глаза и поедание соплей — мальчишки обязаны ими обмениваться, чтобы показать свою силу и стойкость. Если мальчик говорит такие слова, это не обязательно значит, что он не любит настоящих живых девочек вообще или одну настоящую живую девочку. Иногда настоящие живые девочки бывают альтернативой этим словам, иногда — их воплощением, а иногда лишь фоновым шумом.

Я не считаю, что какие бы то ни было из этих слов относятся ко мне. Они относятся к другим девочкам, которые расхаживают по школьным коридорам и ничего не знают об этих словах, встряхивают волосами, качают бедрышками, словно считают себя соблазнительными, говорят друг с другом слишком громко и беззаботно, никого этим не обманывая; или наоборот, ведут себя подчеркнуто невинно, как свежие от росы ромашки. И все это время их окружают облака без-

молвных слов — «шибанутая мочалка», «сучка», «кошелка», — тычут в них пальцами, низводят, ставят на место, чтобы научить послушанию. С этими словами нужно уметь обращаться — проскакивать в паузы между ними, мысленно отражать их, уворачиваться от них. Примерно как ходить сквозь стены.

Все это я знаю о мальчиках вообще. Ничто из этого не относится к конкретным мальчикам, тем, с которыми я гуляю. Эти обычно старше меня, хотя не носят набриолиненных «утиных хвостов» и кожаной одежды. Они гораздо приятнее. Когда я куда-нибудь иду с ними, то должна возвращаться домой вовремя. Если я прихожу позже, отец ведет со мной долгие беседы, объясняя, что вернуться домой вовремя так же важно, как успеть на поезд. Если я не приду вовремя на вокзал, поезд уедет без меня, ведь верно?

— Но ведь дом — не поезд, — говорю я. — Он никуда не уедет.

Отец вне себя, он бренчит ключами в кармане:

— Дело не в этом!

— Мы беспокоимся, — объясняет мать.

— О чем? — спрашиваю я. С моей точки зрения, беспокоиться совершенно не о чем.

От моих родителей в этом, как и в других делах,

толку никакого. Они не хотят покупать телевизор, хотя в других семьях телевизоры есть. Отец говорит, что телевизор превращает людей в идиотов, а кроме того, испускает опасные лучи, и еще по нему передают сообщения, действующие на подсознание. Когда за мной заходит очередной мальчик, отец возникает из подвала — в старой фетровой шляпе, с молотком или пилой в руке, — и сдавливает ему руку медвежьей хваткой. Он окидывает мальчика взглядом прищуренных проницательных глазок с хитринкой и называет его «сэр», словно одного из своих аспирантов. Мать изображает светскую даму и почти ничего не говорит. Или заявляет прямо при мальчике, что я сегодня прелестна.

По весне отец и мать, чтобы проводить меня, возникают из-за угла в мешковатых штанах, которые надевают для садовых работ. Родители тащат мальчика на задний двор, где у нас теперь лежит большая куча цементных блоков — отец сложил их туда на случай, если они как-нибудь потом пригодятся. Родители настойчиво демонстрируют мальчику клумбу ирисов, словно он пожилая дама; и он вынужден что-нибудь сказать про ирисы, хотя голова у него сейчас занята чем угодно, только не цветами. А иногда отец

пытается втянуть мальчика в познавательную беседу на злобу дня или спрашивает, читал ли он то или это, и вытаскивает книги из шкафа, пока мальчик переминается с ноги на ногу. Потом мальчик неловко говорит мне: «А твой отец шутник».

Мои родители ведут себя как неуправляемые, чумазые, проказливые младшие братья и сестры, которые могут вдруг выпалить что-нибудь и поставить всю семью в неловкое положение. Я вздыхаю и делаю вид, что ничего особенного не происходит. Мне кажется, что я старше своих родителей. Много старше. Я чувствую себя древней старухой.

С мальчиками я не занимаюсь ничем таким, из-за чего стоит беспокоиться. Всё как у всех. Мы ходим в кино, где садимся в секцию для курящих и обжимаемся. Иногда мы ходим в кинотеатры для автомобилистов на открытом воздухе, едим попкорн и опять же обжимаемся. Существуют правила, которые регулируют обжимания: он посягает, она отталкивает, он посягает, она отталкивает. Пояс для чулок трогать не положено, лифчик тоже. И расстегивать молнии. Губы мальчиков отдают сигаретами и солью, а кожа пахнет лосьоном после бритья «Олд спайс». Мы ходим

на танцы и крутимся под рок-н-роллы или медленно переступаем в синем свете среди других таких же пар. После формальных танцевальных вечеров мы идем к кому-нибудь домой или в ресторан «Сент-Чарльз», а потом обжимаемся, хоть и недолго — к этому времени мне обычно уже пора уходить. Для формальных танцевальных вечеров у меня есть особые платья, которые я шила сама, так как у меня нет денег их купить. У них многослойные тюлевые юбки на жестком кринолине, и я все время беспокоюсь, что крючки расстегнутся. У меня есть атласные туфли подходящего к платью цвета или с серебряными ремешками. Я надеваю клипсы, от которых адски болят мочки ушей. На эти танцевальные вечера мальчики присылают мне бутоньерки, которые я потом проглаживаю утюгом и держу в ящике стола: сплющенные гвоздики, побуревшие с краев бутоны роз, пучки мертвой растительности, словно коллекция засушенных голов, только из царства флоры, а не фауны.

Мой брат Стивен относится к этим мальчикам с презрением. Он считает, что они все идиоты и недостойны того, чтобы я воспринимала их всерьез. Он смеется над ними за глаза и коверкает их имена. Не Джордж, а Жоржик-Коржик; не Роберт,

а Чмоберт. Стивен предлагает пари на то, сколько продержится тот или иной ухажер. «Этому я даю три месяца, — говорит он, увидев какого-нибудь мальчика в первый раз. Или: — Ну и когда ты собираешься его бросить?»

Я не обижаюсь на брата. Я ничего другого от него и не ожидаю, потому что он частично прав. Я не чувствую к этим мальчикам ничего такого, что чувствуют девочки в комиксах про истинную любовь. Я не томлюсь в ожидании звонка. Мне нравятся эти мальчики, но я в них не влюбляюсь. Описания томящихся влюбленных девушек в подростковых журналах — на каждой щеке по слезинке, словно жемчужные серьги, — ко мне совсем не подходят. В каком-то смысле отношения с мальчиками для меня несерьезное дело. Но отчасти — серьезное.

Часть, которую я воспринимаю всерьез, — это их тела. Я сижу в прихожей, зажав трубку плечом, и слушаю тело собеседника. Не столько его слова, сколько паузы — и в этих паузах их тела воссоздают себя заново, или я их создаю, они обретают форму. Когда я хочу видеть мальчика, это значит — я скучаю по его телу. Я изучаю их руки, подносящие сигареты к губам во тьме кинозала, наклон плеча, угол бедра. Я искоса разглядываю

мальчиков при разном освещении. Моя любовь к ним визуальна: вот та часть их, которой я хотела бы владеть. «Не двигайся, — думаю я. — Замри. Подари мне это». Вся власть, какую имеет надо мной мальчик, действует через глаза. А когда он мне надоедает, эта усталость отчасти физическая, но также отчасти зрительная.

Это лишь в определенной степени имеет отношение к сексу; но некоторое — точно имеет. У одних мальчиков есть машины, а у других нет, и с ними я езжу на автобусах, на трамваях, на только что открывшемся метро — оно чистое, в нем никогда ничего не происходит, и оно похоже на длинный туалет, отделанный кафелем пастельных цветов. Мальчик провожает меня домой. Мы выбираем кружной путь. Пахнет сиренью, скошенной травой или горящими листьями, смотря по времени года. Мы идем по новому бетонному пешеходному мосту, над нами склоняются ивы, а внизу журчит ручей. Мы стоим на мосту в тусклом свете фонарей, опираясь спиной на перила — я обнимаю мальчика, а он меня. Мы задираем друг другу одежду и проводим рукой по спине — я чувствую, как напрягается его хребет, натянутый до звона, вот-вот лопнет. Я чувствую его тело по всей длине, в изумлении касаюсь его

лица. Лицо мальчика так меняется, смягчается, открывается, жаждет. Тело — чистая энергия, отвердевший свет.

44

В овраге находят убитую девочку. Не в нашем, возле дома, а в другом ответвлении большого оврага, дальше на юг, мимо кирпичного завода, там, где река Дон, окаймленная плакучими ивами, заваленная мусором и грязная, лениво вьется по направлению к озеру. Никто не ожидает подобных происшествий в Торонто, где жители даже не запирают на ночь задние двери домов и задвижки оконных рам. Но, значит, такое все же случается. Об убийстве написали на первых полосах всех газет.

Девочка — моя ровесница. Ее велосипед нашли рядом с телом. Ее задушили, а также надругались над ней. Мы знаем, что значит «надругались». В газетах печатают ее прижизненные фотографии, они уже приобрели тот потусторонний вид, какой фотографии обычно принимают с годами. Это печать ушедшего времени, невозвратного, невосстановимого. В газетах публикуют подробное описание ее одежды. На ней был свитер из ангорки и меховая горжетка с помпонами — та-

кие сейчас в моде. У меня нет горжетки, но мне хотелось бы ее иметь. У нее была белая, но бывают и из коричневой норки. На свитере она носила брошку в виде двух птичек с красными глазами— стеклышками. В общем, обычная школьная одежда. Я жадно впитываю все детали, но меня поражает несправедливость. Мне кажется ужасно нечестным, что можно в один прекрасный день выйти из дома в самой обыкновенной одежде, и тебя убьют без предупреждения, и потом все эти люди будут на тебя смотреть, обследовать. Убийство должно быть обставлено более торжественно.

Я давно уже решила, что в овраге нет никаких страшных мужчин. Я думала, что это лишь страшилка, сочиненная матерями. Но, похоже, они все-таки существуют, вопреки моим убеждениям.

Мысль об убитой девочке меня беспокоит. После того, как проходит первоначальный шок, никто в школе о ней не упоминает. Даже Корделия не хочет о ней говорить. Как будто эта девочка сама совершила что-то постыдное, допустив, чтобы ее убили. И за это ее отправили туда, куда отправляют всё, о чем нельзя говорить, — вместе со светлыми волосами, свитером из ангорки и

всей ее обыкновенностью. Она всколыхнула во мне что-то, как ветер вздымает опавшие листья. Я вспоминаю про куклу, которая у меня когда-то была, — с белой меховой опушкой по подолу юбки. Я вспоминаю, как боялась этой куклы. Я не думала о ней много лет.

Мы с Корделией сидим за обеденным столом и делаем уроки. Я помогаю Корделии, пытаюсь объяснить ей, как устроен атом, но она отказывается воспринимать его всерьез. Ядро атома похоже на ягоду малины, а электроны с кольцами — на планету Сатурн. Корделия высовывает язык из угла рта и хмурится, глядя на ядро.

— Это похоже на малину, — говорит она.

— Корделия, — говорю я. — Экзамен завтра!

Молекулы ее не интересуют. Она никак не может взять в толк периодическую таблицу элементов. Она отказывается понимать, что такое масса. Она отказывается понимать, почему взрывается атомная бомба. У нас в учебнике физики есть картинка: взрыв, грибовидное облако и все такое. Для Корделии эта бомба ничем не отличается от любой другой.

— Масса и энергия — разные аспекты, — объясняю я. — Именно поэтому $E=mc^2$.

— Все было бы проще, не будь Чистюля Перси

таким мерзким, — говорит Корделия. Чистюля Перси — наш учитель физики. Он похож на дятла Вуди из мультика — у него такие же рыжие волосы дыбом. И еще он шепелявит.

В гостиную заходит Стивен, заглядывает нам через плечо.

— Неужели вам все еще втюхивают физику для малышей?! — негодующе восклицает он. — До сих пор рисуют атом похожим на малину?!

— Вот видишь! — говорит мне Корделия.

Я чувствую, что Стивен подрывает мой авторитет.

— Это атом, который будет на экзамене, так что лучше тебе его выучить, — говорю я Корделии. А Стивену: — Тогда как же он выглядит на самом деле?

— Как куча пустоты, — отвечает Стивен. — Его, можно сказать, на самом деле и нет. Несколько пылинок, удерживаемых на месте разными силами. На субатомном уровне нельзя даже сказать, что материя существует. Можно только сказать, что она имеет тенденцию к существованию.

— Ты окончательно запутаешь Корделию, — говорю я. Корделия тем временем закурила и смотрит в окно — там белки гоняются друг за другом по газону. Она не обращает внимания на

наш диалог.

Стивен смотрит на Корделию.

— Корделия имеет тенденцию к существованию, — произносит он.

Корделия не гуляет с мальчиками так, как я, но все же гуляет. Время от времени я устраиваю нам двойные свидания, организуя ей кавалера с помощью своего. Корделии всегда достается мальчик поплоше; она это знает и отказывается от него.

Корделия, кажется, не может решить, какие мальчики ей на самом деле нравятся. Те, что со стрижкой, как у моего брата, — рохли и катышки; но и те, что носят «утиный хвост» — скользкие ходоки, хотя и «секси». Она считает, что мальчики, с какими гуляю я — они обычно стригутся под ежик, — слишком инфантильны для нее. Она уже не ходит с поднятым воротником, забросила ярко-красные помады и лаки ради сдержанно-розовой палитры. Она теперь увлекается диетами и ухаживает за собой. Так это называют в журналах: уход за собой. Как за лошадью. Корделия теперь стрижется короче и одевается скромнее.

Но в ней есть что-то такое, отчего мальчикам становится не по себе. Как будто она заучила роль и переигрывает — слишком внимательна к ним, слишком вежлива. Она смеется, когда ей

кажется, что мальчик пошутил: «Очень остроумно, Стэн». Она это говорит, даже если он и не думал шутить, и тогда он не может понять, не издевается ли она.

Иногда она и впрямь издевается, иногда нет. Из нее выскакивают неподходящие словечки. Когда мы доедаем гамбургеры с жареной картошкой, Корделия жизнерадостно обращается к мальчикам:

— Ну что, вы уже напитали свои персоны?

Они смотрят на нее, открыв рты. Эти мальчики — не из тех, у кого дома пользуются кольцами для салфеток.

Она задает им наводящие вопросы, пытается втянуть их в разговор, как взрослая. Будто не знает, что с мальчиками самое правильное — не мешать им существовать в их собственных паузах. Смотреть на них лишь уголком глаза. Корделия пытается глядеть на них прочувствованно, в упор; это их ослепляет, и они замирают, как кролики в лучах фар. Когда она с мальчиком на заднем сиденье машины, я определяю по дыханью и аханью, что она и тут заходит слишком далеко.

— Твоя подруга, она какая-то странная, — говорят мне потом мальчики, но не могут объяснить,

в чем ее странность. Я решаю — это оттого, что у нее нет братьев, а только сестры. Она думает, с мальчиками важно, какие слова говоришь; она никогда не изучала тонкости и нюансы мужского молчания.

Но я знаю: на самом деле ее не интересует, что они говорят. Она сама мне об этом сказала. Она считает большинство из них тупыми. Ее попытки завязать с ними разговор — это спектакль, имитация. В их присутствии она смеется изысканно, тихо, словно актриса на радио. Но иногда она забывается и тогда смеется слишком громко. Она чему-то подражает — какой-то модели у себя в голове, какой-то роли или образу, которых никто, кроме нее, не видит.

В нашу школу приезжает театральная труппа Эрла Грея. Она приезжает каждый год. Труппа ездит от одной старшей школы к другой, она уже известна этим. Каждый год она ставит одну пьесу Шекспира: ту, что будет на экзаменах в тринадцатом классе, которые надо сдать, чтобы попасть в университет. В Торонто совсем немного театров, а именно — два, так что на эти постановки ходят многие. Ученики — потому что пьеса будет на экзамене, а родители — потому что им не часто выпадает случай побывать в театре.

В театральную труппу Эрла Грея входит сам Эрл Грей, который играет ведущую мужскую роль, миссис Эрл Грей, которая играет ведущую женскую роль, и горстка других актеров, которых все считают родственниками Эрла Грея и которые обычно совмещают две или три роли сразу. Статистами работают ученики той школы, в которой труппа выступает на этой неделе. В прошлом году ставили «Юлия Цезаря», и Корделия играла в массовке. Ей пришлось намазать лицо жженой пробкой, изображающей грязь, завернуться в принесенную из дома простыню и говорить вместе со всей толпой «ребарбора, ребарбора», когда Марк Антоний обращался с речью к римлянам.

В этом году ставят «Макбета». Корделия играет служанку, а также солдата в финальной сцене битвы. На этот раз ей придется принести из дома автомобильный клетчатый плед. Ей повезло, потому что у нее есть и килт — старая тартановая юбка Утры, оставшаяся еще с тех пор, когда та ходила в частную школу для девочек. Кроме этих ролей, Корделия выполняет обязанности ассистента по реквизиту. Она прибирает реквизит после каждого представления и раскладывает по порядку — всегда в одной и той же последовательности, чтобы актеры могли, не думая, схватить

нужную вещь за кулисами и бежать на сцену.

Репетиции длятся три дня, и Корделия очень возбуждена. Я это чувствую по тому, как она курит одну сигарету за другой по дороге из школы, по ее наигранной скуке и по небрежности, с которой она время от времени упоминает настоящих профессиональных актеров, называя их по имени. Младшие актрисы, говорит она, очень старательно шутят. Они называют трех вещих сестер «Три вещи», а Корделию — «беломордой»[9] и угрожают подбросить ей в кофе «лягушиное бедро и совиное перо»[10]. Они уверяют, что речь леди Макбет «Прочь, проклятое пятно!» обращена к ее собаке, которую зовут Пятно и которая только что нагадила на ковер. Корделия рассказывает, что настоящие актеры никогда не произносят название «Макбет» вслух, потому что это приносит несчастье. Вместо этого они говорят просто «Шотландская пьеса».

— Но ты его только что произнесла, — говорю я.

— Что?

---

[9] notes: 9

«Макбет», акт 5, сцена 3: «Чтоб черт тебя обуглил, беломордый!» (цит. по пер. Б. Л. Пастернака).

[10] notes: 10

Там же, акт 4, сцена 1.

— «Макбет».

Корделия замирает посреди тротуара.

— О боже! И правда.

Она притворяется, что ей смешно, но на самом деле выбита из колеи.

В конце пьесы Макдуфф отрубает Макбету голову и выносит ее на сцену. Роль головы играет кочан капусты, завернутый в белое посудное полотенце; Макдуфф бросает голову оземь, и она падает, издавая впечатляющий звучный стук, будто настоящая голова из костей и плоти. Во всяком случае, так происходило на репетициях. Но в ночь перед первым представлением — а всего их было запланировано три — Корделия видит, что кочан начал загнивать; он размяк, подмокает и воняет квашеной капустой. Она заменяет его на свежий.

Представление дают в школьном актовом зале, где проводятся общешкольные собрания и репетиции хора. Это премьера, и зал битком набит. Все идет без сучка и задоринки, если не считать хихиканья зрителей в неподходящий момент, анонимного выкрика из зала: «Давай, валяй!», когда Макбет колеблется у двери в комнату Дункана, и воплей и свиста при появлении леди Макбет в ночной рубашке. Я высматриваю

Корделию в сцене битвы, и вот она — бежит через сцену в килте, с деревянным мечом, с дорожным пледом на плечах. Но когда в самом конце приходит Макдуфф и бросает кочан, завернутый в полотенце, то кочан вместо того, чтобы упасть и замереть, отскакивает, прыгает по сцене — скок-поскок, как резиновый мяч, — и валится с края. Это смазывает трагический эффект, и занавес опускается под взрывы смеха.

Виновата Корделия — она заменила кочан. Она убита стыдом.

— Оказывается, он должен быть гнилой! — рыдает она за сценой, куда я пришла поздравлять ее с удачным выступлением. — Они мне только теперь сказали!

Актеры уговаривают Корделию, что ничего страшного, что это новаторский прием. Она краснеет, смеется и пытается сделать вид, что ничего особенного не произошло, но я вижу, что она чуть не плачет.

Мне бы ее жалеть, но я ее не жалею. Наоборот, когда мы назавтра идем из школы, я говорю:

— Скок-поскок, плюх!

— Не надо, — отвечает Корделия безжизненным, свинцовым голосом. Это не шутка. На миг я сама удивляюсь, почему так жестока к своей

лучшей подруге. Ведь Корделия — моя лучшая подруга.

Время проходит, и мы становимся старше. Вот мы уже самые старшие, мы в тринадцатом классе. Мы можем смотреть свысока на приходящих в школу учеников — всего лишь детей, какими когда-то были и мы. Мы можем умиляться им. Мы доросли до биологии. Ее преподают нам в кабинете химии, так что мы уходим из класса, где сидим все время, и объединяемся с другими тринадцатыми классами. Поэтому Корделия — моя напарница на биологии, мы вместе сидим за химическим лабораторным столом, черным, со встроенной раковиной. Корделия не любит биологию, как раньше не любила физику (которую едва вытянула на удовлетворительную оценку), но ей надо взять какой-нибудь естественно-научный предмет, а биология, по ее мнению, проще многого другого.

Нам выдают наборы для вскрытия с ножами-скальпелями (которые могли бы быть и поострее), лотки со слоем воска на дне и упаковку булавок, словно на уроках швейного дела. Сначала мы вскрываем червя. Каждому выдают по червю. Мы смотрим на схему строения червя в учебнике биологии: примерно это мы должны увидеть

после вскрытия. Черви свиваются и сплетаются в лотке с восковым дном, ощупывая рыльцем стенки в поисках выхода. От них пахнет как из ямки в земле.

Я пришпиливаю своего червя с обоих концов и делаю аккуратный продольный разрез; червяк извивается, как на рыболовном крючке. Я закрепляю булавками его кожу по обе стороны. Я вижу червячье сердце, которое вовсе не в форме сердечка, центральную артерию, по которой идет червячья кровь, пищеварительную систему, набитую грязью.

— Фу, — говорит Корделия, — как ты можешь!

Я думаю, что она с каждым днем все больше разнюнивается. Распускает сопли. Когда учитель не смотрит, я выручаю Корделию — вскрываю и ее червяка. Потом я рисую строение вскрытого червяка и делаю красивые каллиграфические подписи.

Приходит очередь лягушек. Лягушка лягается, и с ней труднее, чем с червяком — она слишком похожа на плывущего человека. Я усыпляю ее хлороформом, по инструкции, и ловко вскрываю, закрепляя булавками. Зарисовываю внутренности лягушки со всеми завитушками и пузырьками, ее крохотные легкие, хладнокровное сердце

амфибии.

Корделия и до лягушки дотронуться не может. Она говорит, ее тошнит при одной мысли о том, чтобы проткнуть кожу скальпелем. Она смотрит на меня — бледная, с большими глазами. Запах лягушки для нее невыносим. Я вскрываю за нее и лягушку. У меня это хорошо получается.

Я запоминаю, как выглядят статоцисты рака, его жабры и все детали его рта. Я запоминаю строение кровеносной системы кошки. Учитель — он вообще-то футбольный тренер у мальчиков, но недавно прошел летний курс по зоологии, чтобы преподавать нам этот предмет — заказывает для нас мертвую кошку, вены и артерии которой накачаны голубым и розовым латексом. Когда кошка прибывает, учитель разочарован — она явно протухла, это ощущается даже сквозь формальдегид. Так что нам не приходится ее вскрывать, мы только перерисовываем ее строение из учебника.

Но мне мало червей, лягушек и кошек. Я хочу большего. По субботам после обеда я езжу в Зоологический корпус и пользуюсь микроскопом в пустой лаборатории. Я смотрю на слайды — черви-планарии в разрезе, с треугольными головами и скошенными глазками, бактерии, сочно окра-

шенные в малиновый, фиолетовый, голубой. Они подсвечены снизу, и от них захватывает дух, словно от витражей. Я рисую их, обводя структуру цветными карандашами, но мне так и не удается воспроизвести эту лучистую яркость.

Мистер Банерджи — ныне доктор Банерджи — обнаруживает, чем я занимаюсь. Он приносит слайды, которые, по его мнению, должны мне понравиться, и робко, но страстно вручает их — с заговорщическим смешком, будто нас роднит восхитительная, доступная только посвященным тайна или религиозный культ.

— Паразит коконопряда, — говорит он, благоговейно помещая слайд на чистый лист бумаги у меня на столе. — Яйцо почкоеда.

— Спасибо, — говорю я, и он смотрит на мои рисунки, поднимая их за уголки ловкими, обкусанными у кутикул пальцами:

— Очень хорошо, очень хорошо, мисс. Скоро вы сможете занять мое место.

Он теперь женат — жена приехала из Индии — и у него есть маленький сын. Я иногда вижу их — они заглядывают в дверь лаборатории. Ребенок кроток и полон сомнений, жена пуглива. У нее золотые серьги и полосатый шарф. Из-под бурой канадской зимней куртки видно красное сари, а

из-под подола сари — зимние боты.

Корделия приходит ко мне домой, я помогаю ей делать домашнее задание по зоологии, и она остается на ужин. Отец, накладывая говяжье рагу, рассказывает, что каждый день на земном шаре вымирает один биологический вид. Он говорит, что мы отравляем реки и разрушаем генофонд планеты. Он говорит, что, когда вид вымирает, его место занимают другие виды — заполнить экологическую нишу, ибо природа не терпит пустоты. Он говорит, что на свободное место приходят сорняки, тараканы и крысы; скоро из всех цветов останутся одни одуванчики. Он говорит, размахивая вилкой, что, если человечество как биологический вид будет все так же неконтролируемо размножаться, возникнет новая эпидемия, чтобы восстановить равновесие. Все это происходит, потому что люди пренебрегают элементарными уроками, которые преподносит нам наука; вместо этого люди занимаются политикой, религией и войнами, убивают друг друга и ищут этому предвзятые оправдания. Наука, с другой стороны, непредвзята и беспристрастна. Она — единственный универсальный язык. Это язык чисел. Когда мы уже будем стоять по уши в смерти и мусоре, то прибегнем к науке, чтобы

она нас выручила.

Корделия выслушивает все это с едва заметной улыбочкой. Она считает моего отца старомодным и странным. Я слышу его как бы ее ушами: нормальные люди не говорят на такие темы за обеденным столом.

Я хожу ужинать к Корделии. Ужины в ее семье делятся на два типа: когда отец дома и когда его нет. Когда его нет, все идет кувырком. Мамочка является к столу рассеянная, не сняв халата, в котором рисует, а Утра, Мира и сама Корделия приходят в джинсах и мужских рубашках, с бигудями в волосах. Они вскакивают из-за стола и дефилируют на кухню, потому что не хватило масла или забыли поставить солонку. Они говорят все разом — неторопливо и словно забавляясь чем-то — и стонут, когда приходит их очередь убирать со стола. Мамочка же только приговаривает: «Девочки, девочки», — но без особой убежденности. У нее уже не хватает сил выражать свое разочарование.

Но когда отец Корделии дома, все совсем иначе. На стол ставят цветы и свечи. Мамочка выходит в жемчугах, салфетки аккуратно скатаны и вставлены в кольца, а не засунуты под край тарелки. Никто ничего не забывает. Никаких бигудей,

запрещено ставить локти на стол, даже спины становятся прямее.

Сегодня ужин со свечами. Отец Корделии сидит во главе стола — бровастый, похожий на волка, — и обрушивает на меня всю мощь своего тяжеловесного, ироничного, пугающего обаяния. Он способен внушить тебе, что его мнение о тебе очень важно, потому что истинно, а вот твое мнение о нем не имеет ни малейшего значения.

— Я попал в бабье царство, — говорит он, притворяясь очень расстроенным. — Единственный мужчина и полный дом женщин. Они меня даже не пускают по утрам в ванную, побриться.

Он шутливо напрашивается на мое сочувствие, зовет меня в сообщницы. Но я не нахожу нужных слов.

— Пусть скажет спасибо, что мы его до сих пор терпим, — говорит Утра. Ей сходит с рук толика нахальства, жеребячьи вольности. У нее и прическа подходящая. Мира, когда отец на нее надавит, дарит ему взгляд, полный упрека. Корделия не умеет ни того, ни другого. Но вся семья подыгрывает отцу.

— Что же вы нынче изучаете? — спрашивает он меня. Он каждый раз об этом спрашивает. Любой мой ответ его забавляет.

— Строение атома, — отвечаю я.

— Ах, строение атома. Как же, помню. И что же атом может сегодня сказать в свое оправдание?

— Какой именно? — отвечаю я, и он смеется:

— В самом деле, какой именно. Очень остроумно.

Может, как раз это ему и нужно — своего рода дуэль, обмен ударами. Но у Корделии не получается — она его слишком сильно боится. Боится ему не угодить. И все же он недоволен. Сколько раз я это видела — ее скомканные слова, неуклюжие попытки умаслить отца. Но что бы она ни делала, что бы ни говорила, его это не удовлетворяет, потому что она сама в каком-то смысле неудовлетворительна.

Я смотрю на это и злюсь. Мне хочется пнуть ее. Разве можно так унижаться? Когда она наконец научится?

Корделия проваливает полугодовую контрольную по зоологии. Ей как будто все равно. Половину времени, отведенного на экзамен, она исподтишка рисовала карикатуры на всех учителей подряд. Она показывает их мне по дороге из школы домой, нарочито смеясь.

Иногда мне снятся мальчики. Это безмолвные сны, сны тела. Они остаются со мной еще несколь-

ко минут после пробуждения, и я роскошествую в них, но скоро забываю.

Случаются и другие сны.

Мне снится, что я не могу двинуться с места. Не могу говорить, даже дышать не могу. Я в железном легком. Тело стиснуто металлом, словно жесткой цилиндрической кожей. Эта жесткая кожа за меня дышит: вдох — выдох. Я плотная и тяжелая, и ничего не чувствую, кроме этой тяжести. Моя голова торчит с одного конца. Я смотрю на потолок — там плафон, как будто из желтоватого мутного льда.

Мне снится: я примеряю горжетку у зеркала, что стоит на комоде. У меня за спиной кто-то есть. Если я передвинусь так, чтобы заглянуть в зеркало, то смогу посмотреть себе через плечо, не оборачиваясь. Тогда я узнаю, кто это.

Мне снится, что я нашла красную пластиковую сумочку, спрятанную то ли в ящике стола, то ли в сундуке. Я знаю, что там внутри сокровище, но не могу ее открыть. Я пытаюсь, пытаюсь, и в конце концов сумочка лопается, как воздушный шар. Она полна дохлых лягушек.

Мне снится, что мне дали голову, завернутую в белое посудное полотенце. Я вижу сквозь ткань очертания носа, подбородка, губ. Я могу раскрыть

полотенце и увидеть, чья это голова, но не хочу — я знаю, что, если развернуть голову, она оживет.

45

Корделия рассказывает мне, что в детстве разбила градусник и съела немного ртути, чтобы заболеть и не ходить в школу. Иногда она совала палец себе в горло, чтобы ее вырвало, или держала градусник у лампы, чтобы нагнать температуру. Однажды мать поймала ее на этом — Корделия передержала градусник, и он показал 43 градуса. После этого ей стало трудней жульничать.

— Сколько тебе было лет? — спрашиваю я.

— Не помню. Еще до старшей школы. Ну знаешь, в том возрасте, когда выкидывают подобные штучки.

Сегодня вторник, середина мая. Мы сидим в кабинке в кафе «Саннисайд». Здесь есть прилавок, где наливают газированную воду — он из крапчатого кроваво-красного камня с хромированной отделкой, а вдоль него располагаются круглые крутящиеся табуретки, приделанные к полу. Они обиты черной кожей, возможно — искусственной, и тихонько пукают, когда на них садишься, поэтому мы с Корделией, как и все остальные де-

вочки, предпочитаем сидеть в кабинках. Они из темного дерева, и крышки столов, расположенных между двумя скамьями, такие же красные, как прилавок с газировкой. Сюда приходят ученики Бёрнемской школы после уроков, чтобы курить и пить кока-колу с плавающими в ней коктейльными вишнями. Говорят, если выпить кока-колы с двумя таблетками аспирина, то опьянеешь. Корделия говорит, что пробовала и что это совершенно не похоже на настоящее опьянение.

Мы пьем не кока-колу, а молочный коктейль. В каждую порцию воткнуто по две соломинки. Мы стягиваем бумажные покрышки с соломинок так, что они собираются в короткие гусеницы-гармошки. Потом мы капаем на них из своих стаканов с водой, бумажные гусеницы расправляются, и кажется, будто они ползут. Столы в «Саннисайд» усеяны мокрыми полосками бумаги.

— Почему утка не перешла дорогу? — спрашивает Корделия. В нашей школе бушует эпидемия дурацких вопросов-загадок — про курицу, переходящую дорогу, и про дураков. «Зачем дурак выбросил часы из окна? — Он хотел посмотреть, как летит время».

— Потому что хотела доказать, что она не курица, — скучающим голосом говорю я. — А зачем

дурак копал яму?

— Зачем? — спрашивает Корделия. Она не запоминает даже тех шуток, которые уже слышала.

— Затем, что ему надо было сняться на фото по пояс.

— Ха-ха-ха, — говорит она. Выражать презрение к чужим шуткам считается обязательным, это часть ритуала.

Корделия рисует на столе завитушки из пролитой воды.

— Ты помнишь, как я копала ямы?

— Какие ямы? — я не помню никаких ям.

— У нас на заднем дворе. Ох, как мне хотелось яму. Я начала копать, но земля была слишком твердая и камней полно. Я перешла в другое место. Я копала после уроков, день за днем. У меня были мозоли на руках от лопаты, — она задумчиво улыбается, вспоминая.

— Зачем тебе понадобилась яма?

— Я хотела поставить туда стул и сидеть. Сама по себе.

— Зачем? — смеюсь я.

— Не знаю. Наверно, мне хотелось иметь такое место, которое было бы только моё, где ко мне не лезли бы. Когда я была маленькая, то сидела на стуле в прихожей. Помню, я тогда думала, что

если совсем не двигаться и не попадаться под руку и молчать, то я буду в безопасности.

— В безопасности от чего? — спрашиваю я.

— Просто в безопасности. Наверно, когда я была совсем маленькая, я часто получала. От папы. Когда он выходил из себя. Никогда нельзя было знать заранее. Он говорил: «А ну убери ухмылку с лица», — она гасит сигарету, которая дымилась в пепельнице. — Знаешь, я ужасно не хотела переезжать в этот дом. Я ненавидела всех в школе королевы Марии и всякие скучные занятия типа прыгать через скакалку. У меня там не было ни одной нормальной подруги, кроме тебя.

Черты Корделии вдруг плавятся и перестраиваются; из-под нынешнего лица проступает она девятилетняя. Это происходит мгновенно. Словно я стояла на улице, в темноте, и за освещенным окном промелькнула тень, открывая жизнь, идущую внутри дома, во всей ее четкости, в деталях. На протяжении этого мига я вижу. А потом — нет.

Кровь приливает к голове, желудок сжимается, словно в меня летело что-то опасное, но промахнулось. Словно меня поймали на краже или на лжи; словно я услышала, как обо мне говорят гадости за глаза. Такая же волна стыда, вины и

ужаса — и холодного презрения к себе. Но я не знаю, откуда взялись эти чувства, что такого я сделала.

И не хочу знать. Что бы это ни было, оно мне не нужно и нежеланно. Я хочу быть здесь, сидеть в майский вторник в кабинке кафе «Саннисайд» и смотреть, как Корделия деликатно высасывает остатки молочного коктейля через две соломинки. Она ничего не заметила.

— О, вспомнила еще один. Почему птицы улетают на зиму в теплые края?

— Почему?

— Потому что идти туда пешком очень долго.

Корделия закатывает глаза, совсем как Утра:

— Очень смешно.

Я закрываю глаза. Перед моим мысленным взором — квадрат темноты и растения с фиолетовыми цветами.

46

Я начинаю избегать Корделию, сама не зная почему.

Я больше не устраиваю с ней двойных свиданий. Отговариваюсь тем, что у моего нынешнего мальчика нет подходящих друзей. Я говорю, что мне нужно оставаться в школе после уроков, и

это правда: я рисую декорации для следующих школьных танцев — пальмы и девушек в тропических юбочках.

Время от времени Корделия поджидает меня, и мне приходится идти домой вместе с ней. Она болтает безостановочно, будто все нормально, а я по большей части молчу; впрочем, я никогда не была особо разговорчива. Через некоторое время она говорит преувеличенно бодрым тоном:

— Но что я все про себя и про себя. Что у тебя новенького?

Я улыбаюсь и отвечаю:

— Ничего особенного.

Иногда она шутит:

— Ну ладно, хватит обо мне, давай поговорим о тебе. Что ты обо мне думаешь?

И я, подхватывая шутку, отвечаю:

— Ничего особенного.

Корделия проваливает все больше и больше контрольных. Но ее это, кажется, не волнует. Во всяком случае, она не хочет обсуждать эту тему. Я больше не помогаю ей с уроками — я знаю, что даже если сделаю за нее уроки, она ничего не усвоит. Она не может ни на чем сосредоточиться. Даже когда она просто разговаривает — по дороге домой — то меняет тему посреди предложения,

так что за смыслом ее речей очень трудно следить. Еще она перестала за собой ухаживать и опять стала неопрятной, как много лет назад. Выбеленная прядь отросла, теперь она двуцветная, и это раздражает. На чулках у Корделии затяжки, на блузках не хватает пуговиц. Губная помада нанесена не по контуру рта.

Решено, что Корделии лучше всего опять поменять школу, и она уходит в другую. После этого она звонит мне — сперва часто, потом реже. Она говорит, что надо как-нибудь пересечься. Я не отказываюсь, но и не назначаю конкретной даты. Через некоторое время после начала беседы я говорю:

— Мне нужно идти.

Семья Корделии переезжает в другой дом, побольше, в район побогаче нашего, чуть дальше на север. В ее старый дом въезжают какие-то голландцы. Они разводят массу тюльпанов. На этом с Корделией вроде бы покончено.

Я сдаю выпускные экзамены после тринадцатого класса, один предмет за другим. Мы сидим за партами в спортзале. Листья уже полностью распустились, ирисы цветут, наступила жара; спортзал раскален, как печка, и мы сидим там, перегреваясь, и пишем, пропитываясь запахами

спортсменов былых времен. Учителя зорко патрулируют проходы. Несколько девочек падают в обморок. Один мальчик тоже падает — потом выясняется, что он выпил стоявший в холодильнике кувшин томатного сока, в котором на самом деле была смешана «Кровавая Мэри» для бридж-клуба его матери. Когда тела выносят, я едва поднимаю взгляд от страницы.

Я знаю, что хорошо сдам оба экзамена по биологии. Я могу нарисовать что угодно: строение уха рака, человеческий глаз, гениталии лягушки, цветок львиного зева (*Antirrhinum majus*) в сечении. Я знаю разницу между корневищем и корневым клубеньком, я могу подробно описать процесс фотосинтеза, я знаю, как пишется *Scrofulariaciae*. Но посреди экзамена по ботанике меня осеняет — внезапно, как эпилептический припадок — что я не хочу быть биологом, как думала раньше. Я стану художником. Я смотрю на страницу, где обретает форму жизненный цикл гриба — от споры до плодового тела, — и понимаю это с абсолютной ясностью. Моя жизнь изменилась — бесшумно, в единый миг. Я продолжаю писать про клубни, луковицы и бобовые, будто ничего не случилось.

Как-то вечером, вскоре после окончания экзаменов, звонит телефон. Это Корделия. Я понимаю,

что ожидала ее звонка.

— Мне хочется тебя видеть, — говорит она. Я не хочу с ней встречаться, но знаю, что пойду. Я понимаю, что ее «хочется» означает «нужно».

Назавтра я еду в метро, потом в автобусе на север через раскаленный город — туда, где теперь живет Корделия. Я никогда не была в этом районе. Улицы вьются, пересекаясь, дома большие, тяжеловесные, в георгианском стиле, обсаженные внушительными кустарниками. Идя по дорожке к дому, я вижу (или мне кажется, что вижу) в окне лицо Корделии, бледное и туманное. Я не успеваю позвонить, как она открывает дверь.

— Ну, привет, — говорит она. — Сколько лет, сколько зим.

Ее веселость — фальшивая, и мы обе это знаем, потому что Корделия выглядит ужасно. Волосы утратили блеск, лицо как сырое тесто. Она сильно поправилась, но тело не плотное, а рыхлое, раздутое, отечное. Она снова пользуется яркой красно-оранжевой губной помадой, от которой ее лицо кажется желтоватым.

— Знаю, — говорит она. — Я выгляжу как Старая Халда.

В доме холодно. Пол прихожей — в черно-белую клетку; наверх уходит красивая центральная

лестница. Рядом на лакированном столике цветочная композиция с гладиолусами. В доме тихо, только часы бьют в гостиной. Кажется, здесь больше никого нет.

Мы идем не в гостиную, но в заднюю часть дома, мимо лестницы и через дверь на кухню, где Корделия разводит мне в чашке растворимый кофе. Кухня очень красивая, с идеальной планировкой, оформлена в бледных тонах и в целом действует успокаивающе. Холодильник и плита — белые. Сейчас кое-кто покупает цветные холодильники, бледно-зеленые или розовые, но мне эти цвета не нравятся, и мне приятно, что матери Корделии они тоже не нравятся. На кухонном столе — я узнаю в нем обеденный стол из их прежнего дома, только из середины вынули две доски — раскрыта линованная школьная тетрадь. Меня приводит в ужас открытие, что я хотела видеть этот стол больше, чем Корделию.

Корделия роется в холодильнике и достает вскрытую упаковку магазинных пончиков:

— Я ждала удобного случая их доесть.

Но откусив лишь раз, она закуривает.

— Ну как, чем ты нынче занята? — она говорит преувеличенно жизнерадостно, таким тоном она разговаривала с мальчиками. Сейчас он меня

просто пугает.

— Все как обычно. Ну, ты знаешь. Досдавала экзамены.

Мы смотрим друг на друга. Ее дела плохи, это ясно. Я не знаю, хочет ли она, чтобы я об этом заговорила.

— А ты как? — спрашиваю я.

— Мне взяли репетитора, — говорит она. — Считается, что я занимаюсь. Чтобы поступить на летние курсы.

Мы обе знаем, даже не говоря об этом вслух, что она, значит, снова осталась на второй год, несмотря на переход в другую школу. Должно быть, совсем плохо сдала экзамены. Если она не сдаст их с новой попытки или еще как-нибудь, она никогда не попадет в университет.

— И как репетитор, хороший? — спрашиваю я.

— Наверно. Ее зовут мисс Дингл. По правде. Она все время моргает, у нее слезятся глаза. Она живет в квартире, в трущобах. У нее нижнее белье цвета лососины — я видела, она сушит его на карнизе для занавески в своей трущобной ванной. Я научилась отвлекать ее от предмета — достаточно спросить, как ее здоровье.

— От какого предмета? — спрашиваю я.

— О, да от любого. Физика, латынь. От чего

угодно. — Она, кажется, слегка пристыжена, но вместе с тем горда и возбуждена. Как тогда, когда она тырила вещи из магазинов. Таковы теперь ее достижения: она научилась водить за нос репетитора. — Не знаю, почему они все думают, что я учусь целыми днями. Я много сплю. Или пью кофе, курю и слушаю пластинки. Иногда отпиваю капельку виски из папиного графина. И доливаю водой. А ему и невдомек!

— Но, Корделия! Тебе же нужно чем-то заниматься!

— Зачем? — в голосе звучит нотка былой воинственности. В этой шутке есть доля правды.

И я не могу привести ни одной причины. Я не могу сказать: «Потому что все чем-то занимаются», не могу сказать: «Тебе же нужно как-то зарабатывать на жизнь», потому что ей совершенно явно не нужно зарабатывать на жизнь, она живет в этом огромном доме и не работает. Она может и дальше так жить, как женщины в стародавние времена — всякие незамужние тетушки, старые девы, что навсегда остаются в родительском доме. Маловероятно, что родители ее выгонят.

Поэтому я говорю:

— Тебе надоест такая жизнь.

Корделия смеется преувеличенно громко:

— Ну хорошо, я буду учиться, и что? Сдам экзамены. Поступлю в университет. Выучу всё. И превращусь в мисс Дингл. Нет, спасибо.

— Не будь идиоткой. Никто не говорит, что ты должна превратиться в мисс Дингл.

— Может, я и вправду идиотка, — говорит она. — Я не могу сосредоточиться на этом всем. Только взгляну на страницу, и все буквы превращаются в черные точечки.

— Может, тебе пойти в школу секретарей? — только выговорив это, я чувствую себя предательницей. Она знает, какого мнения мы обе о девушках, которые учатся в школе секретарей, с их выщипанными в ниточку бровями и розовыми нейлоновыми блузками.

— Вот спасибо.

Пауза.

— Ну ладно, давай не будем об этом. — Она снова говорит преувеличенно жизнерадостным голосом. — Давай о чем-нибудь веселом. Помнишь тот кочан? Который прыгал?

— Да, — отвечаю я. Мне приходит в голову, что, возможно, она беременна или была беременна. Такая мысль естественна, когда девочка бросает школу. Но я решаю, что это маловероятно.

— Я чуть не умерла от стыда. А помнишь, как мы ездили в даунтаун, фотографироваться в автомате на Центральном вокзале? Мы считали себя суперчеткими!

— Да, прямо перед тем, как метро открылось, — отвечаю я.

— Мы кидали снежками в старух. И пели эти дурацкие песни.

— «Проказа», — говорю я.

— «Ты отдала мне руку и сердце», — подхватывает она. — Тогда мы думали, что круче нас только яйца. А сейчас я вижу детишек этого возраста и думаю: «Сопляки!»

То время помнится ей золотым веком: а может, ей просто так кажется, потому что тогда было лучше, чем сейчас. Но я не хочу, чтобы она припоминала дальше. Я хочу защититься от всех дальнейших, мрачных воспоминаний, убраться, не нарушая приличий, пока не случилось что-нибудь постыдное. Корделия балансирует на краю наигранной веселости и в любой момент может рухнуть в противоположность — отчаяние, слезы. Я не хочу видеть ее в таком состоянии, поскольку мне нечем ее утешить.

Я ожесточаю свое сердце. Она ведет себя как дура. Ей не обязательно сидеть взаперти и тянуть

дальше эту мрачную, низкого пошиба трагедию. Ей открыто множество путей, разные возможности, и единственное, что ей мешает — отсутствие силы воли. «Соберись, — хочется крикнуть мне. — Возьмись за ум».

Я говорю, что мне нужно ехать домой, что у меня планы на вечер. Я вру, и Корделия это подозревает. Как она ни опустилась, чутье на светскую ложь у нее прежнее.

— Ну конечно, — говорит она. — Я понимаю.

Взрослым, далеким голосом.

Теперь, когда я подчеркнуто заторопилась, мне приходит в голову, что одна из причин — я не хочу столкнуться с ее матерью, когда та вернется, откуда она там должна вернуться. Мать Корделии будет смотреть на меня с укором, словно это я виновата, что Корделия теперь в таком состоянии. Словно она разочарована не в Корделии, а во мне. С какой стати мне это терпеть из-за того, в чем нет моей вины?

— Пока, — говорю я в прихожей. Я кратко сжимаю предплечье Корделии, отскакиваю прежде, чем она успевает чмокнуть меня в щеку. Поцелуи в щеку приняты у них в семье. Я знаю, Корделия от меня чего-то ждала: какой-то ниточки в прежнюю жизнь или к прежней себе. И я знаю, что не

смогла протянуть эту ниточку. Я в отчаянии от себя, своей жестокости и равнодушия, недоброты. Но в то же время мне становится легче.

— Я тебе скоро позвоню, — говорю я. Я вру, но Корделия делает вид, что не знает этого.

— Это будет очень мило, — говорит она, прикрывая вежливостью нас обеих.

Я иду по дорожке от дома к улице и оборачиваюсь. Вот опять ее лицо, как расплывчатое отражение луны, за стеклом в окне фасада.

X. Рисование с натуры

47

Есть несколько видов расстройства памяти. Иногда человек забывает существительные. Или числительные. Бывают и более сложные амнезии. При одной полностью теряешь свое прошлое; начинаешь с нуля, учишься завязывать шнурки, есть вилкой, читать, петь. Тебя знакомят с твоими родственниками и друзьями, словно вы никогда не встречались; тебе дается еще один шанс — это лучше, чем прощение, потому что можно начать с полной невиновности. При другой форме амнезии сохраняешь память о давнем прошлом, но теряешь настоящее. Не помнишь, что случилось пять минут назад. Если человек, которого ты знаешь всю жизнь, выходит из комнаты и возвращается, ты приветствуешь его, как после двадцатилетней разлуки; рыдаешь без конца от облегчения и радости, словно он восстал из мертвых.

Порой я гадаю, какой вид амнезии постигнет меня. Потому что знаю: какой-то непременно постигнет.

Много лет подряд я хотела стать старше. И вот — стала.

Я сижу в суровом ультрачерном интерьере «Квази», пью красное вино и смотрю через окно на улицу. За стеклом проплывает Корделия; растворяется и вновь собирается из частей, превращаясь в кого-то другого. Я опять обозналась.

Зачем ее так назвали? Такой груз подвесили девочке на шею. «Сердце луны» или «драгоценный камень моря», смотря на каком языке. Третья сестра, единственная, что говорила правду. Упрямая, отвергнутая, неуслышанная. Будь ее имя Джейн — может, и ее жизнь сложилась бы по-другому?

Меня мать назвала в честь своей лучшей подруги, как тогда было принято. Элейн. Когда-то мне казалось, что это имя звучит слишком жалобно. Я предпочла бы что-нибудь более определенное, односложное: Дот или Пэт, будто ногу твердо поставили на землю. В таком имени трудно ошибиться. В нем нет ничего водянистого. Но со временем имя «Элейн» затвердело, схватилось вокруг меня. Сейчас оно кажется мне прочным, но гибким, как разношенная перчатка.

Здесь изобилует неочерный цвет — кожа, блестящий винил. На этот раз я пришла подготовленной: в черной водолазке и черном плаще

с капюшоном. Но текстура у меня все равно не та. И возраст: тут одни двенадцатилетки. Это Джон предложил сюда пойти. На него похоже: цепляться за доску для сёрфинга до тех пор, пока ее не перевернет новейшей набежавшей волной.

У него всегда был пунктик: опаздывать, демонстрируя, что у него множество дел и все они важнее меня. Сегодня — не исключение. Он впархивает на полчаса позже условленного. Правда, на этот раз он извиняется. Неужели чему-то научился? Или новая жена выдрессировала? Смешно, что я до сих пор называю ее новой.

— Ничего страшного, я сделала на это поправку. Я рада, что тебе разрешили выйти поиграть. — Это небольшой пробный пинок в сторону жены.

— Пообедать с тобой — это не игрушки, — ухмыляется он.

Он прекрасно понял, что я хотела сказать. Мы разглядываем друг друга. За четыре года у него прибавилось морщин, бакенбарды и усы еще сильней поседели.

— Не говори ничего про лысину.

— Какую лысину? — Я даю понять, что закрою глаза на его увядание, если он закроет глаза на моё. Этот намек он тоже ловит.

— Ты выглядишь хорошо как никогда. Тебе идет

на пользу, когда твои картины раскупаются.

— А как же. Это всяко лучше, чем лизать задницы и кромсать женские тела для дешевых ужастиков.

Когда-то на этом мы сцепились бы до крови, но, похоже, он смирился со своей жизненной участью.

— Если проживу достаточно долго, то уже не я буду лизать, а мне. Со времен взрывающегося глазного яблока меня обожают. Сейчас я весь в чужих слюнях, с головы до ног.

Здесь открывается простор для сексуальных намеков, но я пас. Вместо этого я думаю, что он прав: мы, какие ни на есть, стали истеблишментом в искусстве. Во всяком случае, так это выглядит со стороны. Когда-то мои друзья и знакомые кончали самоубийством, разбивались на мотоцикле или уходили иной безвременной смертью. Теперь это болезни: сердечные приступы, рак. Измены тела. Миром заправляют люди моих лет, мужчины моих лет, лысеющие, одолеваемые болячками, и это меня пугает. Когда мировые лидеры были старше меня, я могла верить в их мудрость. Могла надеяться, что они выше злобы, гнева и потребности в любви. Но теперь-то я знаю. Я гляжу на фото в газетах и журналах и

думаю: какие похоти, какие фурии движут этими людьми?

— А как твоя настоящая работа? — я иду на мировую, даю ему понять, что все еще воспринимаю его всерьез.

Это ему неприятно:

— Неплохо. Но в последнее время я ею не очень-то занимался.

Мы молчим, думая о том, чего не успеваем сделать. У нас осталось совсем немного времени, чтобы стать теми, кем мы когда-то хотели стать. Джон подавал надежды. Но теперь лучше об этом не говорить. Надежды — товар с ограниченным сроком хранения.

Мы говорим о Саре — легко и без соперничества, будто мы ее дядя и тетя. Мы говорим о моей выставке.

— Ты, наверно, видел, как меня растоптали в газете.

— А тебя растоптали? — спрашивает он.

— Я сама виновата. Нагрубила интервьюерше, — говорю я, пытаясь изобразить раскаяние. — Я уже начала превращаться в сварливую старую ведьму.

— Иначе я был бы в тебе разочарован. Пускай журналисты попотеют, им за это платят.

Мы оба смеемся. Он меня знает. И знает, какой какашкой я могу быть.

Я смотрю на него с ностальгией, которую, по слухам, питают мужчины к войне, к боевым товарищам. Я думаю: когда-то я швыряла в этого человека разными вещами. Я швырнула в него стеклянной пепельницей, дешевой, причем она не разбилась. Я швырнула ботинок (его) и сумочку (мою), даже не закрыв ее, так что Джона осыпало дождем ключей и мелочи. Самым тяжелым случаем оказался переносной телевизор: я залезла на кровать и швырнула его в Джона, предварительно раскачавшись на пружинах матраса. Правда, отпустив телевизор, я тут же подумала: «Господи, только бы он увернулся!» Когда-то я думала, что способна убить Джона. Сегодня я лишь слегка сожалею, что мы не были с друг другом более цивилизованны. И все равно меня это изумляет: взрыв, тормоза слетают, обломки в гамме техниколор. Изумительно, мучительно и почти смертельно.

Теперь, когда я в безопасности от него, а он от меня, я могу вспоминать его с нежностью и даже в деталях, чего нельзя сказать о некоторых других мужчинах. Старые любовники, как старые фотографии, выцветают постепенно, будто

погруженные в кислоту: сперва исчезают прыщи и родинки, потом тени, потом сами лица, и наконец не остается ничего, кроме общих очертаний. Что останется, когда мне будет семьдесят? Ничего от барочного экстаза, от гротескного влечения. Одно-два слова, зависшие во внутренней пустоте. Может, палец ноги, ноздря или усы еще будут плавать, как завиток водоросли, среди других обломков кораблекрушения.

Напротив меня, по ту сторону черного, как ночь, столика Джон, хоть и съежившийся отчасти, все еще движется и живет. Во мне шевелится узкий серпик боли, тоски: «Не уходи! Еще не время! Побудь со мной!» Будет глупо, как всегда, открыть ему мою сентиментальность, мою слабость.

Нам приносят что-то приблизительно тайское: сочную, пряную курицу, салат из экзотической растительности — красные листья с фиолетовыми искрами. Цветная пища. Так теперь едят — во всяком случае, те, кто ест в подобных заведениях; Торонто перестал быть городом тушеной говядины и переваренных овощей. Я помню, как впервые попробовала авокадо. Мне было двадцать два. Совсем как мой отец с его оркестром. Но сейчас я из духа противоречия скучаю по десертам времен своего детства, лакомствам

военных лет — простым, недорогим и пресным: тапиоковой каше с желатинистыми шариками, похожими на рыбьи глаза, карамельному пудингу «Джелл-О», сычужному творогу. Творог делали, сквашивая молоко белыми таблетками, которые продавались в железной трубочке, и подавали с ложкой виноградного варенья. Думаю, такого уже давно никто не готовит.

Джон заказал целую бутылку вина — что там мелочиться по одному стакану. Это тень его прежнего фанфаронства, павлиньего хвоста, и меня она радует.

— Как там твоя жена? — спрашиваю я.

— О, — он опускает взгляд, — мы с Мэри-Джин решили пожить отдельно.

Это, возможно, объясняет появление травяного чая: тайные происки молодого, травоядного существа.

— Небось, завел себе молоденькую штучку. Они теперь говорят «а он такой» вместо «а он говорит», ты заметил?

— Вообще-то это Мэри-Джин от меня ушла.

— Мне очень жаль, — отвечаю я. Мне действительно тут же становится его жаль, я негодую — как она смела с ним так обойтись, холодная бесчувственная стерва. Я встаю на его сторону,

несмотря на то, что много лет назад сама поступила точно так же.

— Наверно, я отчасти виноват. — Раньше он ни за что не признал бы ничего подобного. — Она сказала, что не смогла до меня достучаться.

Я уверена, она не только это сказала. Он что-то потерял: какую-то иллюзию, без которой, как я когда-то думала, не мог обойтись. Он осознал, что и ему ничто человеческое не чуждо. Или он ломает комедию ради меня, желая показать, что идет в ногу со временем? Может быть, не стоило убеждать мужчин, что они тоже люди. Это лишь выбило их из колеи. Сделало их хитрей, коварней, увертливей, их стало труднее видеть насквозь.

— Если бы ты не вел себя как чокнутый, может, все и получилось бы. У нас с тобой, в смысле.

Это его подхлестывает.

— Кто чокнутый? — он опять ухмыляется. — Скажи, кто кого тогда отвез в больницу?

— Если бы не ты, меня не надо было бы никуда везти.

— Это несправедливо, сама же знаешь.

— Ты прав. Это несправедливо. Я рада, что ты тогда отвез меня в больницу.

Прощать мужчин неизмеримо легче, чем женщин.

— Я тебя провожу, — говорит он, когда мы выходим на улицу. Мне это было бы приятно. Мы с ним так хорошо ладим — теперь, когда нам нечего делить. Я понимаю, почему тогда в него влюбилась. Но сейчас у меня нет на это сил.

— Ничего, — я не хочу признаваться, что сама не знаю, куда иду. — Спасибо за студию. Свистни, если тебе понадобится оттуда что-нибудь забрать.

Я знаю, он не придет, пока я тут — для нас все еще слишком неловко и опасно оказаться вместе за дверью, которая запирается.

— Может, потом как-нибудь выпьем вместе, — говорит он.

— Может.

Расставшись с Джоном, я иду на восток по Куин-стрит, мимо уличных торговцев, продающих футболки с игривыми надписями, мимо витрин с атласными трусиками и поясами для чулок. Я думаю о картине — уже много лет прошло с тех пор, как я ее написала. Она называлась «Падающие женщины». Тогда многие мои картины зародились благодаря тому, что я неправильно понимала некоторые слова.

На этой картине не было мужчин, но она была про мужчин — тех, из-за которых женщины пада-

ют. Я не приписывала этим мужчинам никаких намерений. Они были как погода — безличны. Они просто промачивали тебя до нитки или шарахали ударом, как молния, и неслись дальше, бездумные, как метель. Некоторые были как камни — ряд острых, скользких камней с зазубренными краями. Можно осторожно пробираться меж ними, глядя себе под ноги, но если поскользнешься, то упадешь и поранишься, и не будет никакого смысла винить в этом камни.

Вот, видимо, что означает выражение «падшие женщины». Это женщины, которые упали на мужчин и поранились. В этих словах есть намек на движение сверху вниз, против твоей воли, но не по воле другого человека. Падшие женщины — это не те, которых стянули вниз или столкнули. Они просто упали. Конечно, была еще история Евы и грехопадения; но в ней никто не падал, в ней только ели, как в большинстве сказок для детей.

На картине «Падающие женщины» были изображены женщины, числом три, которые как бы в результате несчастного случая падали с моста — юбки раздуты в колокола потоком воздуха, волосы струятся вверх. Они падали на мужчин, зазубренных, темных и бездумных, незримо под-

стерегающих далеко внизу.

48

Я смотрю на голую женщину. Нарисованную, ее назвали бы обнаженной, но она живая. Это первая виденная мною в жизни голая женщина, если не считать меня самой в зеркале. Девочки в школе переодевались на физкультуру, не снимая белья, а это совсем другое. И женщины в эластичных цельных купальниках с лайкрой и оберегающей скромность юбочкой на рекламных объявлениях — не то же самое.

Впрочем, даже эта женщина не совсем голая: на левое бедро у нее накинута простыня, и конец простыни пропущен между ногами — лобковых волос не видно. Она сидит на табуретке, и сплющенные ягодицы выпирают в стороны. Плотная спина сгорблена, правая нога перекрещивает левую у колена, правый локоть опирается о правое колено, левая рука отведена назад и опирается кистью о табуретку. Глаза у женщины скучающие, голова опущена — так ей велели сидеть. Похоже, ей неудобно, все тело затекло, и еще ей холодно: я вижу мурашки у нее на плечах. У нее толстая шея. Волосы — короткие, курчавые, рыжие с темными корнями, и я подозреваю, что она

жует жвачку: время от времени она украдкой, медленно двигает челюсть вбок. Ей запретили шевелиться.

Я пытаюсь рисовать эту женщину угольной палочкой. Я стремлюсь к текучести линий. Так наш преподаватель посадил эту женщину: чтоб была текучесть линий. Я бы охотнее рисовала твердым карандашом: уголь попадает мне на пальцы и размазывается, и им очень трудно рисовать волосы. И еще эта женщина меня пугает. В ней очень много плоти, особенно ниже талии; на животе складки, груди обвислые, с огромными темными сосками. Резкий свет флюоресцентных ламп, падающий на женщину сверху вниз, превращает ее глазницы в провалы и подчеркивает линии, идущие от носа к подбородку; но тело такое массивное, что кажется — голова приставлена задним числом. Женщина некрасива, и мне страшно, что я тоже стану такой.

Я на вечерних занятиях. Предмет называется «Рисование с натуры». Занятия проходят по вторникам в Торонтовском колледже искусств, в большой голой мастерской, за которой — сугубо утилитарная лестница, за ней лежит Маккол-стрит, потом Куин-стрит с трамвайными рельсами и пьяницами, а дальше — весь

унылый город Торонто, похожий на скопление ящиков. Нас в мастерской двенадцать, у каждого вселяющий надежды, почти неначатый альбом бристольского картона и черные от угля пальцы: две женщины постарше, восемь молодых людей, девушка моего возраста и я. Я не учусь в колледже искусств, но даже те, кто здесь не учится, могут записаться на курс при определенных условиях. Условие заключается в том, что надо убедить преподавателя в серьезности своих намерений. Впрочем, сколько я продержусь — неясно.

Преподавателя зовут мистер Хрбик. Ему лет тридцать пять, у него густые темные курчавые волосы, усы, орлиный нос и глаза почти лиловые, как ягоды шелковицы. У него есть привычка пристально смотреть на ученика — молча и, кажется, даже не мигая.

Именно глаза я заметила первыми, когда пришла на собеседование. Он сидел в крохотном, заваленном бумагами кабинете в здании колледжа, откинувшись на стуле и жуя конец карандаша. Увидев меня, он отложил карандаш.

— Сколько вам лет? — спросил он.

— Семнадцать. Почти восемнадцать.

— Ах, — он вздохнул, будто услышав плохую новость. — И что вы сотворили?

Мне показалось, он меня в чем-то обвиняет. Но тут я поняла, что он имеет в виду: я должна была принести нечто, называемое «портфолио недавних работ», то есть картин, чтобы он мог понять, хорошо ли я рисую. Но у меня было совсем мало работ. Практически единственное мое соприкосновение с искусством имело место в девятом классе, на уроках по художественной культуре, когда нам крутили «Лунную сонату» и мы должны были иллюстрировать ее волнистыми цветными линиями. Иногда мы рисовали тюльпаны в вазе. Я никогда в жизни не бывала в картинной галерее. Правда, однажды я прочитала в журнале «Лайф» статью про Пикассо.

Прошлым летом я устроилась горничной в дом отдыха в Маскоке — застилать кровати и мыть туалеты, чтобы подработать — и купила в местной сувенирной лавке набор для масляной живописи. Названия красок на маленьких тюбиках звучали для меня как пароль и отзыв: «Кобальтовый синий», «Жженая умбра», «Малиновый краплак». В свободное время я шла с этим набором вдоль берега озера и садилась спиной к дереву. Сосновые иглы кололи меня снизу, комары клубились вокруг, а я смотрела на плоскую воду цвета листового железа — по

ней двигались моторные лодки лакированного красного дерева с флажками на корме. В этих лодках иногда катались другие горничные — из тех, что ходили на запретные вечеринки в номера к отдыхающим, пили там виски с имбирным элем из бумажных стаканчиков и, по слухам, ни в чем не отказывали. Иногда в прачечной, над сложенным постельным бельем, происходили ссоры со слезами.

Я не знала, как писать маслом или даже что писать, но знала, что надо начать. Через некоторое время я изобразила пивную бутылку без этикетки, дерево в форме поломанного венчика для взбивания и несколько расплывчатых скал цвета грязи с яростно-синим озером на заднем плане. И еще закат, который вышел похожим на пролитое непонятно что.

Я извлекла все это из черной папки, в которой принесла работы. Мистер Хрбик нахмурился, покрутил карандаш и ничего не сказал. Я была обескуражена и благоговела перед ним, потому что он обладал властью — он мог не дать мне хода. Я видела, что он счел мои картины плохими. Они и были плохие.

— Что-нибудь еще? — спросил он. — Рисунки?

С отчаяния я включила в «портфолио» свои

старые рисунки со времен занятий биологией, сделанные твердым карандашом и раскрашенные. Я знала, что рисую лучше, чем пишу маслом, я дольше этим занимаюсь. Терять мне было нечего. Я вытащила рисунки.

— Как вы это назвали? — спросил он, держа рисунок вверх ногами.

— Это внутренности червя, — ответила я.

Он вроде бы не удивился.

— Это?

— Планария. Окрашенное сечение.

— А это?

— Репродуктивная система лягушки. Самца, — уточнила я.

Мистер Хрбик уставился на меня блестящими лиловыми глазами:

— Почему вы хотите попасть на курс?

— Меня больше никуда не берут, — я поняла, как провально звучу. — Это моя единственная надежда. Я не знаю больше никого, кто стал бы меня учить.

— А почему вы хотите учиться?

— Не знаю, — ответила я.

Мистер Хрбик снова взял карандаш и сунул его в угол рта, как сигарету. Потом опять вытащил. Накрутил волосы на пальцы.

— Вы — совершеннейший дилетант. Но иногда это лучше. Мы можем начать с ничего. — Он впервые улыбнулся мне. У него были неровные зубы. — Посмотрим, что мы сможем из вас сделать.

Мистер Хрбик расхаживает по мастерской. Он разочаровался во всех нас, включая натурщицу — она бесит его тем, что тайком жует жвачку.

— Сидите смирно! — говорит он ей, дергая себя за волосы. — Довольно жвачки!

Натурщица злобно смотрит на него и сжимает челюсти. Он берет ее за руки и за голову, лицо которой мрачно, и придает всему этому нужную позу, будто имеет дело с манекеном.

— Попробуем еще раз.

Он ходит взад-вперед, заглядывая нам через плечо и что-то бурча, а мастерская полнится песчаным шершавым шорохом угля по бумаге.

— Нет, нет! — говорит мистер Хрбик юноше. — Это *тело*.

Он произносит «тэло».

— Это не автомобиль. Думайте о пальцах, ласкающих эту плоть, о руке, которая проводит по ней. Вы должны быть тактильны.

Я пытаюсь думать так, как он говорит, но меня передергивает. У меня нет никакого желания

проводить рукой по телу этой женщины, по коже, покрытой мурашками.

Одной из женщин постарше он говорит:

— Нам не нужно хорошенькое. Тэло не хорошенькое, как цветок. Рисуйте то, что есть.

Он останавливается у меня за спиной, я сжимаюсь и жду.

— Мы не медицинский учебник делаем, — говорит он мне. — У вас получился труп, а не женщина.

Он произносит «жэншина».

Я смотрю на то, что у меня вышло. Мистер Хрбик прав. Я старательна и точна, но я нарисовала бутылку в форме человеческого тела — инертную, безжизненную. Мужество, которое привело меня сюда, испаряется. Я бездарна.

Но в конце занятия, когда модель неловко поднялась на затекшие ноги, вцепилась в простыню и поплелась одеваться, когда я убираю уголь, мистер Хрбик подходит и становится рядом. Я вырываю из альбома сегодняшние рисунки, намереваясь их скомкать, но он быстро накрывает мою руку своей.

— Сохраните их.

— Зачем? Они никуда не годятся.

— Позже вы посмотрите на них и увидите,

какой большой путь прошли. Вы очень хорошо рисуете предметы. Но вы пока не умеете рисовать жизнь. Бог сначала создал тэло из грязи, а потом вдохнул в него душу. Необходимо и то, и другое. Грязь и душа. — Он кратко улыбается и сжимает мне плечо. — Необходима страсть.

Я растерянно смотрю на него. Его слова нарушают все границы: у нас о телах говорят лишь при обсуждении болезней, о душах — только в церкви, о страсти — лишь когда имеют в виду секс. Но мистер Хрбик — иностранец и, конечно, не может этого знать.

— Вы незаконченная жэншина, — добавляет он, понизив голос, — но здесь вы будете закончены.

Он не знает, что «законченный» — то же самое, что «отъявленный». Он хочет меня подбодрить.

49

Я сижу в затемненной аудитории в подвале Королевского музея Онтарио, откинувшись на царапучий плюш жесткого сиденья, и обоняю пыль, затхлость, несвежую обивку и сладковатую пудру прочих студенток. Я чувствую: глаза у меня становятся все круглее и круглее, зрачки расширяются, как у совы. Я уже час гляжу на слайды — пожелтевшие, иногда не в фокусе, — на кото-

рых изображены белые мраморные женщины с плоскими макушками. На их головы опираются каменные архитравы, с виду очень тяжелые; неудивительно, что у женщин плоские макушки. Эти мраморные женщины зовутся кариатидами — первоначально так назывались жрицы храма Артемиды в Карии. Ныне они уже не жрицы, а лишь архитектурные украшения, играющие по совместительству роль несущих колонн.

Нам показывают и множество слайдов с колоннами — разных видов и разных периодов: дорические, ионические, коринфские. Дорические — самые прочные и простые, коринфские — самые легкие и богаче всех украшенные: рядами листьев аканфа, переходящими в грациозные волюты и спирали. Длинная указка высовывается из темноты рядом с экраном, опускается на волюты и спирали, показывая, кто из них кто. Потом эти слова понадобятся мне — я должна переварить их и изрыгнуть на экзамене, так что я стараюсь записывать, пригибаюсь низко к блокноту, чтобы видеть, что пишу. Теперь я много времени провожу, записывая непонятные слова в темноте.

Я надеюсь, что через месяц, когда мы перейдем от греков и римлян к Средневековью и Ренес-

сансу, мне станет проще. Слово «классический» для меня стало означать «выбеленный временем и слегка побитый». У большинства греческих и римских творений не хватает частей тела, и тотальная безрукость, безногость и безносость, не говоря уже об отломанных пенисах, начинает мне надоедать. И еще серость и белизна, хотя я, к своему удивлению, узнала, что большинство мраморных статуй было раскрашено в яркие цвета — желтые волосы, голубые глаза, телесного цвета кожа. Иногда их одевали в настоящую одежду, как кукол.

Этот курс — обзорный. Он должен сориентировать нас по эпохам для подготовки к другим, более специализированным курсам. Это часть программы по археологии и истории искусств в университете Торонто — единственный дозволенный путь, который пролегает где-то рядом с живописью. И еще — единственный, который я могу себе позволить: я заработала стипендию на обучение в университете. Впрочем, родители ничего иного от меня и не ожидали. «Ты обязана использовать мозги, которые достались тебе от Бога», — часто говорит мой отец, хотя мы оба знаем, что на самом деле этот дар у меня от него. Если я уйду из университета, потеряю стипендию, он

не видит возможности оплатить мне какое-либо другое обучение.

Когда я сообщила родителям, что не хочу идти в биологию, а намерена стать художницей, они встревожились. Мать сказала, что если я по-настоящему хочу этим заниматься, то хорошо, но их с отцом волнует, чем я буду зарабатывать себе на жизнь. Искусство — это не способ заработка. Это приемлемое хобби, все равно что клеить фигурки из ракушек или резать по дереву. Но когда я пошла учиться археологии и истории искусств, родители успокоились: я всегда могу переключиться на археологию и что-нибудь копать — это более серьезное занятие.

В самом худшем случае я получу университетский диплом, а имея диплом, можно преподавать. Меня, впрочем, такая перспектива не радует: я вспоминаю мисс Крейтон, учительницу искусствоведения в Бёрнемской школе, пухлую и затюканную, которую мальчишки — те, что в коже и бриолине, — периодически запирали в чулане для рисовальных припасов.

Одна подруга моей матери говорит ей, что искусством всегда можно заниматься дома, в свободное время.

Все прочие учащиеся на факультете археологии

и истории искусств — девушки, за исключением одного юноши. Аналогично, все преподаватели — мужчины, за исключением одной женщины. Единственный студент и единственная преподавательница считаются странными: у первого какая-то кожная болезнь, у второй — заикание на нервной почве. Ни одна из студенток не намерена стать художницей: все они хотят преподавать рисование старшеклассникам, только одна собирается быть куратором в галерее. Некоторые на вопрос о будущем отвечают туманно — это значит, они надеются выйти замуж до того, как придется выбирать то или иное занятие.

Ходят они в кашемировых гарнитурах, пальто верблюжьей шерсти, добротных твидовых юбках и жемчужных серьгах-гвоздиках. Туфли у них на аккуратном среднем каблуке. Они носят приталенные блузки, джемперы или жилетки с юбкой и пуговицами в тон. Я тоже такое ношу, я стараюсь слиться с фоном. В перерывах между лекциями я пью кофе и ем пончики в компании других студенток, сидя в различных общих комнатах, столовых и кофейнях. Слизывая сахар с пальцев, девушки обсуждают моду или мальчиков, с которыми гуляют. Две уже обручены. Глаза у них во время этих бесед затуманиваются,

словно набухают слезой, или подергиваются пленкой, — кажется, что их очень легко обидеть или ранить, как слепых новорожденных котят; но еще они хитры, себе на уме, исполнены жадности и коварства.

Мне в их обществе неловко, будто я прокралась сюда под ложным предлогом. Мистеру Хрбику и тактильному отношению к телу не место в археологии и истории искусств; мои жалкие попытки рисовать голых женщин будут восприняты здесь как напрасная трата времени. Искусство уже создано — где-то в другом месте. Нам осталось только его вызубрить. Рисование с натуры было бы сочтено претенциозным и смешным занятием.

Но оно — мой спасательный круг, моя настоящая жизнь. Я начинаю вычеркивать все, что с ним несовместимо, отсекая от себя лишнее. Я сделала ошибку, придя на первое занятие в клетчатом сарафане и белой блузке с закругленным воротничком. Но я быстро учусь. Я переключаюсь на то, что носят мальчики и вторая девушка — черные водолазки и джинсы. Это не мимикрия, как другая моя одежда; это — заявление о том, на чьей я стороне, и со временем я набираюсь храбрости ходить в этом даже днем, на занятия в

университете; кроме джинсов, которые в университете никто не носит — вместо них я надеваю черные юбки. Я отращиваю челку, отрезанную в школе, и закалываю волосы назад, надеясь придать себе суровый вид. Университетские девушки в кашемирах и жемчугах шутят про богемных битников и начинают меня сторониться.

Две женщины на курсах рисования тоже замечают, как я преобразилась.

— Кто умер? — спрашивают они. Их зовут Бэбс и Марджори, и они профессиональные художницы, портретистки. Бэбс рисует детей, а Марджори — собаковладельцев с собаками. Курс рисования с натуры они берут, по их словам, чтобы освежить свои знания. Сами они ходят не в водолазках, но в халатах, как беременные. Друг друга они зовут «девочка», пронзительными голосами комментируют работы друг друга и курят в туалете, словно им это запрещено. Они ровесницы моей матери, и мне ужасно стыдно сидеть в одной комнате с ними и голой натурщицей. В то же время я считаю их несколько вульгарными. Впрочем, они мне напоминают не столько мать, сколько нашу соседку миссис Файнштейн.

Миссис Файнштейн в последнее время носит приталенные красные костюмы и задорные

шляпки-таблетки, отделанные красными вишнями в цвет. Она видит меня в новой одежде и разочарована. «Элейн стала похожа на итальянскую вдову, — говорит миссис Файнштейн моей матери. — Она себя запустила. Ужасно жалко. Ей бы хорошую стрижку и чуточку макияжа, и она могла бы быть очень эффектной». Мать передает эти слова мне, улыбаясь, словно они ее смешат, но я знаю — так она выражает беспокойство. Я стала почти неряхой. «Запустить себя» — это очень нелестные слова: так говорят о женщинах постарше, которые располнели и ходят нечесаными, в неопрятной одежде.

Конечно, в этих словах есть доля правды. Я себя запускаю. Ввысь.

50

Я в пивной с другими учащимися курсов, пью десятицентовое разливное пиво. Приходит хамоватый официант, балансируя круглым подносом на одной руке, и плюхает перед нами стаканы — они как обычные стаканы для воды, только с пивом. Пена переливается через край. Мне не очень нравится вкус пива, но я уже научилась его пить. Я даже знаю, что нужно посолить немного сверху, чтобы пена осела.

В этой пивной грязно-красный ковер, убогие черные столы, стулья, обитые пластиком, и плохое освещение. Здесь воняет, как из пепельницы в машине. Другие пивные, в которых мы бываем, ничем не отличаются. Они называются как-нибудь вроде «Ландис-Лейн» или «Таверна “Кленовый лист”», и в них всегда темно, даже днем, потому что им запрещено иметь окна, в которые можно заглянуть с улицы. Это для того, чтобы не совращать малолетних. Я тоже малолетняя, по закону пить можно с двадцати одного года, но у меня ни разу не спрашивают документы. Джон говорит, я так молодо выгляжу, что официанты думают: я не рискнула бы сюда зайти, если бы мне в самом деле было меньше двадцати одного.

Пивные делятся на два зала. «Только для мужчин» — там собираются шумные пьяницы и алкоголики из тех, что пьют спирт для растирания. Там пол посыпан опилками, пахнет пролитым пивом, застарелой мочой и рвотой. Порой оттуда слышатся вопли и звук разбиваемого стекла, а потом два официанта-амбала выводят посетителя за дверь. Он машет руками, нос у него расквашен.

В залах «Для дам с сопровождающими» чище,

тише, приятнее, и пахнет лучше. Мужчину туда пустят только в компании женщины, а женщин не пускают в зал «Только для мужчин». Предположительно так сделали для того, чтобы проститутки не приставали к посетителям, а пьяные посетители — к посетительницам. Колин — он из Англии — рассказывает нам о пабах, где есть камины, можно играть в дартс, прогуливаться и даже петь, но в наших пивных ничего из этого не разрешено. Они для того, чтобы пить пиво, и всё. Если будешь слишком много смеяться, тебя могут попросить на выход.

Учащиеся с курсов «Рисование с натуры» предпочитают зал «Для дам с сопровождающими», но чтобы их туда пустили, с ними должна быть женщина. Поэтому они приглашают меня и даже покупают мне пиво на свои. Я — их пропуск. Иногда я единственная, кто может с ними пойти после занятия, потому что Сюзи, это моя ровесница, часто ссылается на занятость, а Марджори и Бэбс идут домой. Они замужем, и их не воспринимают всерьез. Юноши зовут их «живописицы».

— Если они — живописицы, кто тогда я?

— Девушка-живописец, — шутя отвечает Джон.

Колин — он обладает зачатками хороших ма-

нер — объясняет:

— Если женщина плохо рисует, она — живописица. А если хорошо, то она живописец.

Они не произносят слово «художник». По их мнению, любой живописец, называющий себя художником, просто кретин.

Я уже бросила искать кавалеров, чтобы сходить на обычное свидание: почему-то мне теперь кажется, что это несерьезно. Вообще-то с тех пор, как я ношу черные водолазки, меня почти перестали приглашать: мальчики в блейзерах и белых рубашках точно знают, какие девочки им подходят. В любом случае они — мальчики, а не мужчины. Их розовые щеки, манера хихикать, собравшись стайкой, манера делить девушек на «плохих» и «хороших», энергичные неловкие попытки перейти границы чулочного пояса и лифчика мне уже неинтересны. А интересны мне усы со стажем и желтые от никотина пальцы; морщинки — следы былых невзгод, тяжелые веки, терпение, порожденное усталостью от жизни. Мужчины, умеющие выдувать сигаретный дым изо рта и вдыхать его через нос, даже не задумываясь. Я не знаю, откуда взялся этот образ. Он будто вдруг материализовался из воздуха, уже законченный.

Студенты с курсов не похожи на это описание, хотя и блейзеров не носят. Они носят намеренно неопрятную, заляпанную краской одежду и свежеотпущенную бороду. Они — переходная форма. Они разговаривают, но не доверяют словам; один из них, Редж, родом из Саскачевана, так невнятен, что практически нем — и эта бессловесность придает ему особый статус, словно изобразительное искусство съело часть его мозга и он стал юродивым, святым. Англичанину Колину не доверяют — он говорит не то чтобы много, но слишком хорошо. Настоящие живописцы изъясняются бурчанием. Как Марлон Брандо.

Но они способны выразить свои чувства. Они пожимают плечами, бормочут, выпаливают куски фраз, машут руками: резкое движение кулака, открытая ладонь, рывки, словно что-то лепят из воздуха. Иногда этот язык знаков призван выразить мнение по поводу чужих картин: «Говно», — говорят они или, много реже: «Фан-ёпть-тастика!» Они крайне редко что-либо одобряют. Еще они считают Торонто деревней. «Здесь ничего никогда не происходит», — говорят они, и многие их беседы вращаются вокруг планов побега. Париж уже всё, а в Англию не хочет ехать даже англичанин Колин:

— Там все рисуют желто-зеленым. Желто-зеленым, как гусиное говно. Депресняк, блин.

Их влечет только Нью-Йорк. Теперь всё главное происходит там.

После нескольких кружек они могут заговорить о женщинах. Они обсуждают своих подруг. Некоторые живут вместе с подругами; эти называют их «моя старуха». Иногда они шутят о натурщицах, которые позируют нам на занятиях (к нам каждый раз приходит другая). Они говорят «я б ей вдул», словно это зависит исключительно от их желания или нежелания. Они выражают свое мнение о натурщице, чмокая губами воздух либо изображая тошнотное отвращение. «Корова», — говорят они. «Кошелка». «Полный отстой». При этом они порой косятся на меня, словно ожидая реакции. Когда описания становятся слишком детальными — «П…да как жопа у слона». — «А ты откуда знаешь? Часто трахаешь слонов?» — они шикают друг на друга, словно в присутствии матерей; будто еще не решили, кто я такая.

Я ни на что из этого не обижаюсь. Наоборот, я думаю, что мне даны особые привилегии; я — исключение из какого-то правила, которое мне даже не известно.

Я сижу в зловонии, пивном тумане и сигарет-

ном дыму, чуточку пьянея, держа рот на замке, а глаза открытыми. Мне кажется, я отчетливо вижу этих парней, потому что мне от них ничего не нужно. На самом деле я очень многого от них ожидаю. Я ожидаю, чтобы меня приняли как свою.

Одно их развлечение мне не нравится: они высмеивают мистера Хрбика. Его зовут Иосиф, и они прозвали его Сталин — за усы, восточноевропейский акцент и суровость к ученикам. Это нечестно, потому что, как я знаю — как мы все уже знаем к этому времени, — ему пришлось скитаться по четырем странам из-за превратностей войны, он застрял за железным занавесом, питался отбросами и чуть не умер с голоду, но потом ему удалось бежать во время венгерского восстания — вероятно, с риском для жизни. Он никогда не упоминал конкретные обстоятельства. Точнее, он вообще ни о чем из этого не говорил во время занятий. Тем не менее, нам это известно.

Но мальчиков его биография не впечатляет. Рисование — мура, а мистер Хрбик — атавизм. Они называют его «Пэ Эл», это значит «перемещенное лицо», старое ругательство, которое я помню еще со школы. Так мы звали беженцев из Европы, а еще — тех, кто был неуклюж, не

знал, как себя вести, и вообще не вписывался. Мальчики передразнивают акцент мистера Хрбика и его манеру говорить про тело. Они ходят на «Рисование с натуры» только потому, что это обязательный предмет. «Рисование с натуры» — отстой, нынче все самое главное происходит в живописи действия[11], а для нее уж точно не надо уметь рисовать. И уж точно не надо уметь рисовать жирную корову без трусов. Несмотря на это, они сидят на занятиях, как и я, вовсю скрипя углем по бумаге и создавая рисунок за рисунком — груди и ягодицы, бедра и шеи, а в некоторые вечера — исключительно ступни. Мистер Хрбик тем временем расхаживает по мастерской, дергая себя за волосы и отчаиваясь.

Лица мальчиков бесстрастны. Для меня их презрение очевидно, но мистер Хрбик его не замечает. Я его жалею. И еще я ему благодарна за то, что он разрешил мне заниматься. И еще я им восхищаюсь. Война уже достаточно далеко отодвинулась, чтобы покрыться налетом романтики,

---

[11] notes: 11

Живопись действия (*англ.* Action Painting) — направление в абстрактном экспрессионизме. Суть живописи действия заключается в том, что её главная цель — сам акт творения, а не полученный результат. В технике вместо традиционных способов нанесения (например, кистью) краска наливается, разбрызгивается и так далее, что позволяет раскрыть подсознание художника. В этом стиле работали такие художники, как Джексон Поллок и Джоан Митчелл.

а он прошел войну. Я гадаю, есть ли у него на теле шрамы от пуль или иные знаки благодати.

Сегодня в зале «Для дам с сопровождающими» таверны «Кленовый лист» я не одна с мальчиками. С нами еще и Сюзи.

У Сюзи желтые волосы — я вижу, что она их накручивает на бигуди, укладывает, а потом взлохмачивает. И подкрашивает кончики в пепельный блонд. Она тоже ходит в джинсах и черных водолазках, но ее джинсы — обтягивающие, как вторая кожа, и она обычно носит что-нибудь на шее — серебряную цепочку или медальон. Она красит глаза, рисуя толстую черную линию по веку, на манер Клеопатры, пользуется черной тушью для ресниц и знойными темно-синими тенями, так что глаза окружены каймой цвета синяков, словно оба подбиты; пудра у нее белая, а помада бледно-розовая, и в результате Сюзи выглядит как после болезни или многонедельного недосыпа. У нее полные бедра и не по росту большая грудь, будто она резиновая игрушка, которой надавили на голову и резина выпятилась в некоторых местах. У нее задыхающийся голосок и удивленный смешок; даже ее имя похоже на пуховку от пудреницы. Я считаю ее пустышкой, которая валяет дурака в художественном колле-

дже, потому что ей не хватило ума поступить в университет. А вот относительно мальчиков я таких выводов не делаю.

— Сталин сегодня был в ударе, — говорит Джон. Он высокий, большерукий и носит бакенбарды. На нем джинсовая куртка с большим количеством кнопок. После англичанина Колина Джон — самый красноречивый в нашей компании. Он использует такие выражения, как «чистое искусство» и «плоскость картины», но лишь в обществе двух-трех человек, и никогда — в большой группе.

— О, — восклицает Сюзи с задыхающимся смешком, словно втягивает, а не выдыхает воздух, — это очень зло! Не надо его так называть!

Меня это задевает: она сказала что-то такое, что я сама давно должна была высказать вслух, но не осмелилась; и еще, даже этот упрек у нее вышел так, словно кошка трется у ног; словно восхищенное прикосновение к мужскому бицепсу.

— Помпезный старый пердун, — говорит Колин, чтобы привлечь к себе внимание Сюзи.

Она обращает на него взор глаз, обведенных синим.

— Он не старый, — серьезно говорит она. — Ему всего тридцать пять лет.

Все хохочут.

Но откуда она знает? Я смотрю на нее и начинаю соображать. Однажды я пришла на занятия раньше времени. Натурщицы еще не было на месте, я сидела в мастерской одна, и тут явилась Сюзи, уже без пальто, а сразу после нее — мистер Хрбик.

Сюзи подошла туда, где я сидела, и воскликнула:

— Правда, какой ужасный снег?

Обычно она со мной не заговаривала. И это я только что пришла из-под снега; Сюзи на вид была теплая, как свежеподжаренный тост.

51

В дневное время на дворе стоит февраль. В сером лектории музея воздух сырой от мокрых пальто и тающей снежной каши, принесенной на сапогах. Многие кашляют.

Мы уже прошли Средневековье с его реликвариями и удлиненными святыми, и теперь несемся галопом по эпохе Возрождения, останавливаясь в самых важных местах. Здесь изобилуют мадонны. Как будто одна огромная Дева Мария народила целую кучу дочерей, и все они отчасти, но не в точности, похожи на нее. Они сбросили нимбы

сусального золота, утратили удлиненность и плоскогрудость, типичную для каменных и деревянных статуй, и обрели некоторую пышность. Они реже возносятся на небеса. Некоторые — серьезные, с лицом как тесто, они сидят у камина или на стуле типичного для эпохи стиля, или у открытого окна, через которое видно, как вдали кроют крышу; другие — с беспокойным видом, третьи — бело-розовые, кровь с молоком, с нимбами будто из золотой проволоки и тончайшими золотыми прядками волос, выбившихся из-под покрывала. Вдали — ясные итальянские небеса. Девы склоняются над колыбелью в сюжетах Рождества или держат младенца Иисуса на коленях.

Иисус не очень-то похож на настоящего младенца — у него слишком тощие и длинные руки и ноги. И даже когда похож, он не выглядит как новорожденный. Я видела новорожденных детей, у них сморщенные, как курага, личики, а эти Иисусы абсолютно другие. Они будто родились уже годовалыми. А может, они — съёжившиеся взрослые. На этих картинах много синего и красного цвета и все время кормят грудью.

Сухой голос из темноты сосредоточен на формальных атрибутах сюжетов, расположении складок ткани, подчеркивающем круговую ком-

позицию, рисовании текстур, использовании перспективы в изображении арок и плит пола. Кормления грудью мы будто не замечаем; указка из темноты никогда не останавливается на голых грудях, которые порой бывают неприятного зеленовато-розового цвета или покрыты синими венами; иногда рука нажимает на сосок, а изредка даже изображено молоко. В такие минуты студентки начинают ерзать; они не хотят думать о грудном вскармливании, и уж точно о нем не хочет думать преподаватель. За кофе девушек пробирает дрожь отвращения: они крайне брезгливы и будут кормить из бутылочки, тем более что это гигиеничней.

— Кормление грудью художники изображали, чтобы показать смирение Девы Марии, — объясняю я. — В ту эпоху женщины отдавали детей кормилицам, если только могли себе это позволить.

Я вычитала это в книге, которую выкопала в глубинах библиотечного стеллажа.

— Ну и ну, Элейн, — говорят девушки. — Какая ты мозговитая.

— Другой важный момент здесь — то, что Христос явился на землю в виде млекопитающего, — продолжаю я. — Интересно, во что Мария

его пеленала? Вот это я понимаю, реликвия: господня пеленка. И отчего нету изображений Христа на горшке? Я знаю, что где-то хранится крайняя плоть Господа, а вот как насчет господней какашки?

— Ты ужасна!

Я ухмыляюсь, закидываю щиколотку на колено другой ноги и ставлю локти на стол. Мне нравится подкалывать девочек такими мелкими, примитивными шпильками: так я доказываю, что сама на них не похожа.

Это одна моя жизнь, дневная. Моя другая, настоящая жизнь проходит по вечерам.

Я внимательно наблюдаю за Сюзи и подмечаю все, что она делает. Она не ровесница мне на самом деле, а на два с лишним года старше, ей почти двадцать один. Она живет не дома с родителями, а в однокомнатной квартирке в одном из новых высотных зданий на Авеню-роуд, к северу от Сент-Клэр. Считается, что за эту квартиру платят ее родители. Иначе как она могла бы себе такое позволить? В этих зданиях есть лифты и просторные вестибюли с растениями в горшках. И еще у них есть названия, что-нибудь типа «Монте-Карло». Жить в таком месте — смелый поступок, признак незаурядной натуры,

как бы ни насмехались над этим живописцы; в таких домах медсестры снимают квартиры на троих. Сами живописцы обитают на Блуре или Куин-стрит, на вторых этажах двухэтажных домиков, над скобяными лавками или оптовой торговлей чемоданами. Или на боковых улицах, где иммигранты.

Сюзи остается после занятий, приходит раньше, околачивается в колледже; во время занятий она смотрит на мистера Хрбика только искоса, украдкой. Я натыкаюсь на нее, когда она выходит из его кабинета, и она подскакивает и улыбается мне, потом поворачивается и кричит фальшиво и слишком громко:

— Спасибо, мистер Хрбик! До следующего вторника!

Она слегка взмахивает рукой, хотя дверь прикрыта и он ее не видит; этот взмах предназначен мне. Наконец до меня доходит то, что я должна была понять сразу: у Сюзи роман с мистером Хрбиком. И еще — она думает, что об этом никто не догадался.

Тут она ошибается. Я слышу, как Марджори и Бэбс обсуждают это в околичных выражениях:

— Понимаешь, девочка, есть разные способы получить оценку за курс.

— Если б я могла это сделать, просто раздвинув ноги!

— Размечталась! Давно прошли те дни, а?

И они смеются — необидно, будто все это в порядке вещей или даже забавно.

Я совсем не считаю эту любовную связь смешной. Так я называю их отношения; я не могу отделить слово «любовь» от слова «связь», хотя мне не ясно, кто из них кого любит. Я решаю, что это мистер Хрбик любит Сюзи. Или не любит, а одурманен ею. Мне нравится слово «одурманен» — оно наводит на мысли о сладкой истоме и пьяных от сиропа мухах. Сама Сюзи неспособна на любовь, она слишком приземленная. Я думаю, что из них двоих она сохраняет хладнокровие, контролирует ситуацию; она играет с ним, как кошка с мышкой — острыми лакированными коготками, словно с киноафиши сороковых годов. Я даже знаю, какого цвета коготки: она красит их лаком «Лед и пламя». Такая жестокость не вяжется с ее манерой чуть что смотреть жалобно и обиженно, заискивать. Сюзи навевает на окружающих чувство вины, как сладостный аромат, и одурманенный мистер Хрбик, шатаясь, бредет навстречу судьбе.

Поняв, что другие ученики в курсе — Бэбс и

Марджори искусно намекнули, — Сюзи смелеет. Она начинает упоминать о мистере Хрбике, называя его по имени: Иосиф говорит, Иосиф думает. Она всегда знает, где он. Иногда он уезжает на выходные в Монреаль, где рестораны гораздо лучше и вина приличные. Сюзи это точно знает, хотя никогда там не была. Она подкидывает нам кусочки информации: он был женат в Венгрии, но жена с ним не поехала, и теперь он в разводе. У него две дочери, он носит их фотографии в бумажнике. Его убивает разлука с ними — «Просто убивает», — тихо говорит Сюзи, и глаза ее туманятся.

Марджори и Бэбс жадно впитывают все это. Они уже не считают Сюзи прошмандовкой — она практически на грани респектабельности. Они ее подначивают:

— Слушай, я тебя очень понимаю! Он такой милый, просто куколка!

— Да, так бы и съела! Но в мои-то годы это будет совращение младенца!

В туалете они сидят в соседних кабинках и говорят громко, перекрывая журчание струи, а я стою у зеркала и слушаю:

— Очень надеюсь, он знает, что делает. Такая милая девочка.

Они имеют в виду, что он должен на ней жениться. А может, что он должен на ней жениться, если она забеременеет. Так поступают порядочные люди.

Живописцы, напротив, с Сюзи грубы:

— Господи, да хватит уже про своего Иосифа! Можно подумать, у него из жопы солнце светит!

Но она не может молчать. Она защищается пугливым, виноватым хихиканьем, что еще больше раздражает их, да и меня тоже. Я вижу по глазам, что она полна до краёв и ничего не может удержать в себе.

Я чувствую, что мистер Хрбик нуждается в защите, а может, даже в спасении. Я пока не знаю, что мужчина может быть достойным восхищения в одних аспектах и полнейшим козлом в других. И еще одного я пока не знаю: то, что для мужчины — рыцарственное поведение, для женщины — чудовищная глупость; мужчинам гораздо проще отделаться от единожды возложенной на себя роли спасателя.

52

Я все еще живу с родителями, как это ни постыдно; но какой смысл платить за общежитие,

если университет — в том же городе? Так считает мой отец, и это разумно. Знал бы он, что я не в общежитие хочу переехать, а в квартирку без лифта, на втором этаже над пекарней или табачной лавкой, где под окном грохочут трамваи, а потолок покрыт выкрашенными в черный цвет лотками из-под яиц.

Но я больше не сплю в своей детской комнате с плафоном ванильного цвета и занавесками на окне. Я удалилась в подвал, утверждая, что там мне удобнее будет заниматься. Там, внизу, в тускло освещенном чулане рядом с бойлером я устроила себе царство эрзаца и убожества. В шкафу со старым экспедиционным снаряжением я выкопала древнюю армейскую раскладушку и комковатый брезентовый спальный мешок, опередив мать: она собиралась перенести в подвал мою кровать, чтобы я спала на нормальном матрасе. К стенам я прилепила афиши местных театров: «В ожидании Годо» Беккета, «Нет выхода» Сартра. Афиши намеренно заляпаны отпечатками пальцев, буквы на них черные, словно чернильные, а призрачные фигуры людей наводят на мысль, что они полиняли в стирке. Еще я повесила на стены свои тщательно выполненные рисунки ступней. Моя мать считает

афиши мрачными, а отдельные ступни вызывают у нее недоумение; у любых ступней должно быть тело. Я гляжу на нее прищурясь: что она вообще понимает.

Отец же считает, что у меня талант к рисованию, но он пропадает даром. Гораздо лучше было бы его применить к поперечным сечениям стеблей и клеткам водорослей. Для отца я — биолог-дезертир.

Отцовский взгляд на жизнь стал существенно мрачнее после отъезда мистера Банерджи, который вернулся в Индию. В этом отъезде есть какая-то тайна; о нем почти не говорят. Мать утверждает, что мистер Банерджи тосковал по родине, и намекает на нервный срыв, но здесь кроется нечто большее. «Они не захотели его повысить», — говорит отец. Это «они» (а не «мы») и «не захотели» (вместо «не повысили») весьма многозначительно. «Его не ценили как следует». Кажется, я знаю, что это значит. Отец всегда был весьма низкого мнения о человеческой природе, но оно не распространялось на ученых. А теперь распространяется. Отцу кажется, что его предали.

Я слышу над головой шаги родителей, расхаживающих по дому, звуки обыденной жизни

— миксер, телефон, новости по радио. Все это просачивается сюда, вниз, словно сквозь пелену, так бывает во время болезни. Когда зовут есть, я возникаю из темноты, моргая от яркого света. Я сижу в ступоре и почти полном молчании, ковыряя вилкой фрикасе из курицы и картофельное пюре, пока мать комментирует мою бледность и отсутствие аппетита, а отец рассказывает что-нибудь интересное и познавательное, словно я еще ребенок. Осознаю ли я, что азотистые удобрения уничтожают рыбу в водоемах, провоцируя чрезмерный рост водорослей? Слышала ли я о новой болезни, которая нас всех сделает слабоумными калеками, если фабрики по производству бумаги не перестанут сбрасывать в реки ртуть? Я не осознаю и не слышала.

— Может быть, ты недосыпаешь, дорогая? — спрашивает мать.

— Нет, — вру я.

Отец замечает в газете рекламу нового фильма про гигантских насекомых, возникших под влиянием радиации.

— Как тебе известно, — говорит он, — кузнечики подобного размера не могли бы существовать. При таком масштабе их дыхательная система просто не справится.

Мне это не известно.

В апреле, когда почки на деревьях еще не распустились, а я готовлюсь к сессии, моего брата Стивена арестуют. Это происходит вполне ожидаемым образом.

Стивена не было дома (лучше бы он сидел дома и поддерживал меня в дискуссиях за обеденным столом). Он не был дома целый год. Он носится по всему миру, как бешеный. Он изучает астрофизику в университете Калифорнии, получив степень бакалавра за два года вместо четырех. Сейчас он в аспирантуре.

Я плохо представляю себе Калифорнию — я там никогда не была. Но мне кажется, что там всегда тепло и солнечно. Небо — яркое, анилиново-синее, деревья — сверхъестественно зеленые. Я населяю Калифорнию красивыми загорелыми мужчинами в темных очках и длинноногими блондинками, тоже загорелыми, в белых кабриолетах.

Среди этих модников в темных очках мой брат сильно выделяется. Закончив элитную школу для мальчиков, он вернулся к былой неопрятности и ходит в мокасинах и свитерах с протертыми локтями. Он не стрижется, пока ему об этом не напомнят, а кто будет ему напоминать? Он ходит

среди пальм, насвистывая, не замечая ничего кругом, и голову его окружает нимб невидимых цифр. Что думают о нем калифорнийцы? Вероятно, принимают за бездомного бродягу.

В день, о котором идет речь, он взял бинокль и определитель и поехал на природу на своем подержанном велосипеде искать калифорнийских бабочек. Он натыкается на многообещающее поле, слезает с велосипеда и вешает на него замок; он вообще-то предусмотрителен в известной степени. Он направляется в поле, где, как я себе представляю, растет высокая трава с небольшими кустиками. Он видит двух экзотических калифорнийских бабочек и начинает их преследовать, останавливаясь, чтобы посмотреть на них в бинокль; но на таком расстоянии он не может определить, что это за бабочки, а каждый раз, когда он пытается к ним подойти, они взлетают.

Он доходит за ними до края поля, где стоит забор из сетки. Бабочки пролетают сквозь забор, брат его перелезает. За забором — другое поле, более ровное, и растительности там меньше. Его пересекает проселочная дорога, но брат не обращает на нее внимания, а следует дальше за бабочками — они красно-бело-черной расцветки с рисунком вроде песочных часов, брат таких

никогда не видел. С другой стороны поля — еще один забор, повыше. Брат и его перелезает. И вот, когда бабочки наконец садятся на невысокий тропический куст с розовыми цветами и брат опускается на одно колено и наводит на них бинокль, подъезжает джип с тремя людьми в военной форме.

— Что вы здесь делаете? — спрашивают они.

— Здесь — это где? — брат разговаривает с ними раздраженно, потому что они спугнули бабочек и те опять улетели.

— Вы что, не видели объявлений? «Опасность, на территорию вход воспрещен»?

— Нет, — отвечает брат. — Я гнался за бабочками.

— За бабочками? — повторяет один. Другой крутит пальцем у виска:

— Псих.

Третий говорит:

— И вы думаете, мы в это поверим?

— Ваше дело, во что верить, — отвечает брат. Или что-то в этом роде.

— Умник, — говорят они, потому что именно так выражаются американцы в комиксах. Я добавляю им сигареты, торчащие из угла рта, пистолеты, всякое иное снаряжение и сапоги.

Оказывается, они военные, а эта территория — военный полигон. Они увозят брата к себе в штаб и сажают под замок. И еще конфискуют его бинокль. Они не верят, что он аспирант-астрофизик и что он гонялся за бабочками, и считают его шпионом, хотя и не понимают, почему он занимался своим делом так открыто. Шпионские романы просто кишат шпионами, которые притворяются безобидными любителями бабочек. Я это знаю, и военные тоже знают, а вот мой брат — нет.

Наконец ему разрешают позвонить, и его научный руководитель из университета приезжает и вызволяет его. Вернувшись за своим велосипедом, брат обнаруживает, что велосипед украли.

Эту историю мне вкратце рассказывают родители, пока мы едим говяжье рагу. Родители не знают, смеяться или тревожиться. Брат мне ни о чем таком не рассказывает. Он присылает письмо карандашом на листке, вырванном из блокнота со спиралью. Письма брата всегда начинаются без приветствия и кончаются без подписи, словно части одного большого письма, которое разворачивается во времени, длинное, как бумажное полотенце из рулона.

Брат сообщает, что пишет это, сидя на дереве,

откуда он смотрит футбольный матч поверх стены стадиона — это дешевле, чем покупать билет, — и ест бутерброд с арахисовой пастой — это дешевле, чем обедать в ресторане; он не любит денежных транзакций. На письме в самом деле видны жирные пятна. Брат пишет, что ему видны скачущие на поле жареные куры, украшенные бумажными кисточками. Это, видимо, чирлидерши. Он живет в студенческом общежитии с большим количеством слизистых оболочек, которые ничего не делают, только пускают слюни на девушек и нажираются американским пивом — немалое достижение, по мнению брата, поскольку в этом пойле меньше градусов, чем в шампуне, и на вкус оно тоже как шампунь. По утрам он ест разогретую замороженную готовую яичницу — она квадратная, а в желтке попадаются кристаллы льда. Чудеса современных технологий, замечает он.

Помимо всех вышеперечисленных забав, он трудится не покладая рук, чтобы разгадать природу вселенной. Животрепещущий вопрос таков: похожа ли вселенная на огромный, бесконечно раздувающийся пузырь, или она пульсирует — расширяется и сжимается? Вероятно, я умираю от любопытства, но мне придется подождать

несколько лет, пока брат получит окончательный ответ на этот вопрос. ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ, ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ, пишет он печатными буквами.

«По слухам, ты занялась картинами, — продолжает он уже нормальным почерком. — Я тоже что-то такое делал в юности. Надеюсь, ты принимаешь рыбий жир и стараешься не попадать в неприятности». На этом письмо кончается.

Я представляю себе брата, сидящего на дереве в Калифорнии. Он больше не знает, кому пишет, потому что я изменилась до неузнаваемости. И я теперь уже не знаю, кто мне пишет. Я представляю его себе таким, каким он был раньше, но, конечно, он не мог не измениться. Теперь он наверняка знает многое, чего не знал тогда. Как и я.

И еще: если он одновременно пишет письмо и ест бутерброд, как же он держится на дереве? Ему, похоже, хорошо там, на насесте. Но ему надо быть осторожнее. Я всегда считала его храбрым, но, возможно, он просто не понимает, какие могут быть последствия у его поступков. Он думает, что с ним ничего не случится, потому что он говорит про себя правду. Но он в поле, там негде укрыться, и вокруг него чужаки.

53

Я сижу с Иосифом во французском ресторане, пью белое вино и ем улиток. Это первые в моей жизни улитки и первый французский ресторан. По словам Иосифа, это единственный французский ресторан в Торонто. Он называется *La Chaumière*, что, по словам Иосифа, означает «хижина, крытая соломой». Ресторан, однако, находится не в хижине, крытой соломой, а в прозаическом уродливом здании, таком же, как все остальные здания в Торонто. Сами улитки выглядят как большие темные сгустки соплей; их едят двузубой вилкой. Улитки оказываются вкусными, хотя и жестковатыми, как резина.

Иосиф говорит, что улитки не свежие, а консервированные. Он говорит грустно, обреченно, словно это конец; но чему именно конец — неясно. Иосиф многое произносит с такой интонацией.

Например, так он впервые произнес мое имя. То было в мае, на последней неделе курса рисования с натуры. Мистер Хрбик принимал учеников по одному, чтобы обсудить, насколько они продвинулись в течение года. Бэбс и Марджори шли передо мной. Они стояли в коридоре со стаканами кофе, взятыми навынос. «Привет,

девочка», — сказали они. Марджори рассказывала, как пошла на вокзал встречать свою дочь, которая должна была приехать из Кингстона, и мужчина продемонстрировал ей себя. Ее дочь была моя ровесница и училась в Королевском университете в Кингстоне.

— Он был в плаще, хочешь верь, хочешь нет, — сказала Марджори.

— О господи, — отозвалась Бэбс.

— И я посмотрела ему в глаза… в глазок… и сказала: «У вас ничего получше не нашлось?» У него был совсем малюсенький! Неудивительно, что ему приходится бегать по вокзалам, чтобы на него хоть кто-нибудь посмотрел!

— И?

— Ну, чем выше встанет, тем больней будет, когда упадет — скажешь, нет?

Обе фыркнули, разбрызгав кофе и выкашливая дым. Я по обыкновению решила, что они ведут себя вульгарно: шутят о вещах, которые вовсе не предмет для шуток.

Из кабинета мистера Хрбика вышла Сюзи. «Привет», — сказала она, стараясь, чтобы голос звучал бодро. Макияж у нее был размазан, глаза красные. Я читала современные французские романы, и Фолкнера тоже. Я знала, чем должна

быть любовь: одержимостью с оттенком тошноты. Сюзи была как раз из девушек, которых влечет такой тип любви. С нее станется валяться в ногах, умолять, унижаться. Лечь на пол, стеная, и цепляться за ноги мистера Хрбика, так что ее волосы, как светлые водоросли, накроют черную кожу его ботинок (он в ботинках, поскольку собирался тайком сбежать). С этой точки обзора мистера Хрбика было видно только по колени, а лица Сьюзи совсем не видно. Она, должно быть, раздавлена страстью.

Но я ее не жалела, а даже чуточку завидовала.

— Бедненький кроличек, — сказала Бэбс в спину удаляющейся Сюзи.

— Уж эти мне европейцы, — сказала Марджори. — Я ни минуты не верила, что он в разводе.

— Слушай, может, он даже и не женат вообще.

— А дети у него откуда?

— Может, это племянницы или что-нибудь такое.

Я сердито посмотрела на них. Они говорили чересчур громко; мистер Хрбик наверняка слышал.

После них настала моя очередь. Я вошла в кабинет и стояла, пока мистер Хрбик смотрел мои работы, разложенные у него на столе. Я думала, что нервничаю из-за этого.

Он в молчании перекладывал листы бумаги — руки, головы, зады, — жуя свой карандаш.

— Неплохо, — сказал он наконец. — Вы продвинулись за год. Вот эта линия, вот тут, она стала гораздо свободней.

— Где? — я оперлась рукой о стол и наклонилась. Иосиф повернул голову ко мне, и его глаза оказались совсем близко. Они были не лиловые, а темно-карие.

— Элейн, Элейн, — печально сказал он. И накрыл мою руку своей. Холод пронзил меня, ударив через руку в живот; я стояла, оледенев, поняв сама себя. Неужели я именно на это надеялась, когда собиралась его спасать?

Он покачал головой, будто сдался или будто у него не было выбора, и потянул меня вниз, так что я оказалась у него между колен. Он даже не встал со стула. Я стояла на полу на коленях, запрокинув голову назад, и его руки ласкали мне шею сзади. Так меня еще никто не целовал. Это было как реклама духов: что-то иностранное, опасное и, возможно, унизительное. Я могла встать и убежать, но если я останусь, пусть лишь на минуту, перещупывания в машине или в кинотеатре, битвы за крючки лифчика будут уже не для меня. С чепухой и детскими играми покончено.

Мы поехали к Иосифу домой на такси. По дороге он сидел, отстранившись, но держал руку у меня на колене. Я тогда еще не привыкла к такси, и мне казалось, что водитель подглядывает за нами в зеркало заднего вида.

Квартира Иосифа была на Хэзелтон-авеню, не совсем в трущобах, но близко к тому. Вплотную друг к другу стояли старые дома с маленькими запущенными палисадниками, остроконечными крышами и гниющей деревянной резьбой веранд. Большинство домов были спаренные, с общей стеной. Как раз в одном из этих ветхих домов-близнецов с остроконечными крышами Иосиф и жил. Он занимал второй этаж.

Пожилой толстяк в рубахе и подтяжках сидел в кресле-качалке на соседней веранде. Он пялился на нас, пока Иосиф расплачивался с таксистом, и потом — когда мы шли по дорожке к дому.

— Славный денек, — сказал толстяк.

— Да, не правда ли? — ответила я. Иосиф не обратил внимания. Пока мы поднимались по узкой лестнице внутри дома, он легонько положил руку мне на затылок. Любая часть моего тела, которой он касался, наливалась тяжестью.

Квартира у него была трехкомнатная: гостиная, средняя проходная комната с плитой и ракови-

ной в углу, и еще одна за ней. Комнаты тесные и почти не обставленные. Будто он только что въехал или вот-вот съедет. Стены в спальне были выкрашены в сиреневый цвет. На стенах висели репродукции с удлиненными фигурами мутных цветов. Больше ничего — только матрас на полу, покрытый мексиканским одеялом. Я огляделась и решила, что вижу, как живут настоящие взрослые.

Иосиф поцеловал меня — на сей раз стоя — но я застеснялась. Я боялась, что нас кто-нибудь увидит через окно. Я боялась, что он попросит меня раздеться, а потом будет вертеть так и сяк, разглядывая со стороны. Я не любила, когда на меня смотрят сзади: этот ракурс моего тела был мне неподконтролен. Но если бы Иосиф попросил, мне пришлось бы повиноваться: любое колебание с моей стороны доказало бы, что я недостойна с ним быть.

Он лег на матрас и посмотрел на меня, как бы в ожидании. Я, поколебавшись, легла рядом, и он меня снова поцеловал, аккуратно расстегивая на мне пуговицы. Пуговицы на хлопчатобумажной блузке, которая была мне велика и которую я стала носить вместо водолазок с наступлением жары. Я обняла его и подумала: он был на войне.

— А как же Сюзи? — спросила я. И сразу поняла, что это вопрос, достойный школьницы.

— Сюзи? — переспросил Иосиф, будто пытаясь вспомнить, кто это. Его рот был у моего уха; имя прозвучало горестным вздохом.

Мексиканское одеяло оказалось кусачим, но меня это не смутило: в первый раз и должно быть неприятно. Я заранее знала и про запах резины, и про боль; но больно было не очень, и крови было вовсе не так много, как все рассказывали.

Иосиф не ожидал, что причинит мне боль.

— Я делаю тебе больно? — спросил он в какой-то момент.

— Нет, — ответила я, морщась, и он не остановился. Крови он тоже не ожидал. Ему придется отдавать одеяло в чистку, но он об этом даже не упомянул. Он был очень нежен и погладил меня по бедру.

Иосиф продолжает в том же духе все лето. Иногда он водит меня в рестораны, где на столах клетчатые скатерти и свечи, воткнутые в бутылки от кьянти; иногда — на иностранные фильмы про шведов и японцев, в небольшие полупустые кинотеатры. Но вечер всегда заканчивается у Иосифа дома, под мексиканским одеялом или поверх него. Я никогда не знаю заранее, каким

он сегодня будет в постели: иногда он занимается любовью страстно, иногда механически, иногда — рассеянно, будто рисуя завитушки на полях тетради. Меня держит в числе прочего и эта непредсказуемость. Она, и ещё его потребность во мне; по временам мне кажется — я так нужна ему, что он совершенно беспомощен и ничего не может поделать.

— Не бросай меня, — говорит он, пробегая руками по моему телу; всегда до, а не после. — Я этого не вынесу.

Это старомодно и в устах любого другого мужчины звучало бы комично, но только не в устах Иосифа. Я влюблена в его потребность во мне. От одной мысли о ней я чувствую себя напитанной, инертной, как мякоть арбуза. Из-за этого я отменяю свои планы — опять, как прошлым летом, поехать в Маскоку. Взамен я устраиваюсь работать в ресторан сети «Швейцарское шале» на Блуре. Там подают исключительно курицу. Курицу, соус, салат коул слоу и белые булочки. И один сорт мороженого, «бургундская вишня», удивительного оттенка фиолетового цвета. Я ношу униформу с моим именем, вышитым на кармане, — совсем как на тренировочном костюме в старших классах.

Иосиф иногда забирает меня после работы.

— От тебя пахнет курицей, — бормочет он в такси, утыкаясь лицом мне в шею. В такси я теряю всякую стыдливость: прижимаюсь к Иосифу, он обнимает меня, кладет руку мне под мышку или на грудь, а иногда я растягиваюсь на сиденье, и моя голова лежит у Иосифа на коленях.

И еще я съехала от родителей. Иосиф хочет, чтобы в те вечера, когда я с ним, я оставалась на всю ночь. Он хочет просыпаться и видеть меня спящую, хочет заниматься со мной любовью, пока я еще сплю. Я сказала родителям, что это только на лето — что мне нужно жить поближе к «Швейцарскому шале». Они считают, что это напрасный перевод денег. Они опять мотаются по северам, и весь дом был бы в моем распоряжении; но мое представление о себе и представление моих родителей обо мне больше не совмещаются в одном пространстве.

Если бы я поехала в Маскоку, я бы тоже летом не жила дома, но раз я осталась в городе, это совсем другое дело. Я поселилась вместе с двумя другими официантками из «Швейцарского шале» — они студентки и подрабатывают летом, как и я. Мы живем в узкой и длинной квартире на Харборд-стрит. Ванная увешана трусами и

чулками; на кухонном столе валяются бигуди, как щетинистые гусеницы; в раковине засыхает грязная посуда.

Я вижусь с Иосифом дважды в неделю и догадываюсь, что не должна звонить ему или пытаться увидеть его в другие дни. Его либо не будет дома, либо он будет с Сюзи, ведь он вовсе не перестал с ней встречаться. Но мы не должны ей рассказывать про меня: мы должны сохранить это в тайне.

— Она будет так ужасно страдать, — говорит он.

Бремя знания должен нести тот, кто пришел последним: если кому и следует страдать, то мне. Но я чувствую, что мне доверена важная тайна; мы храним ее вместе, мы оберегаем Сюзи. Для ее же блага. В этом — наслаждение, как от любого секрета: я знаю что-то, чего не знает она.

Она каким-то образом выяснила, что я работаю в «Швейцарском шале» — возможно, ей рассказал Иосиф: как бы небрежно, предупреждая случайное открытие. Может быть, его возбуждает мысль о том, что мы с ней можем оказаться в одном и том же месте. И вот она время от времени приходит выпить кофе — после обеда, когда в заведении почти никого нет. Она слегка попол-

нела, щеки стали одутловатыми. Видно, как она будет выглядеть через пятнадцать лет, если не побережется.

Я обхожусь с ней еще любезней, чем раньше. И еще я ее слегка остерегаюсь. Мало ли — вдруг, узнав правду, она окончательно съедет с катушек и кинется на меня с ножом для мяса?

Она хочет поговорить. Она хочет как-нибудь со мной встретиться. Она все еще говорит «мы с Иосифом». Вид у нее потерянный.

Иосиф обсуждает со мной Сюзи, как трудного ребенка. «Она хочет, чтобы мы поженились». Он имеет в виду, что она предъявляет неразумные требования, но все равно он глубоко страдает, даже отказывая ей в этом, как в покупке слишком дорогой игрушки. Я не хочу, чтобы меня сочли такой же: неразумной, назойливой. Я не хочу замуж за Иосифа или за кого-либо еще. Я пришла к выводу, что брак — глубоко нечестная затея, невыгодная сделка, а не свободный дар. К тому же одна мысль о браке заставит Иосифа уменьшиться, потускнеть; не такова его роль в мироустройстве. Ему предначертано быть любовником — со всей этой секретностью, почти пустой квартирой, горестными воспоминаниями и дурными снами. И вообще, я отринула всякую

возможность брака. Я вижу его в своем прошлом: невинный, увитый ленточками, словно детская кукла; безнадежно утраченный. Вместо брака я посвящу всю себя живописи. Я буду красить волосы, ходить в нелепой одежде и тяжелых, экзотических серебряных украшениях. Я буду много путешествовать. Возможно, я буду пить.

(Конечно, надо мной витает пугающий призрак беременности. Противозачаточные колпачки продают только замужним женщинам, а резинки — только из-под прилавка и только мужчинам. Мне известны истории девочек, которые слишком много позволяли на заднем сиденье автомобиля, попались, и им пришлось бросить школу, или с ними произошли странные, так и не объясненные несчастные случаи. Для этого есть шутливые выражения: «с начинкой», например. Но подобные разговоры достойны женского туалета и ничего общего не имеют с Иосифом и его бывалой сиреневой спальней. Они также не имеют ничего общего со мной, плотно окутанной чарами в минорном ключе. Но все равно я ставлю точки в карманном календарике — на всякий случай.)

В свои выходные, если у меня не назначено свидание с Иосифом, я пытаюсь заниматься

живописью. Иногда я рисую цветными карандашами. Рисую я мебель, стоящую у нас в квартире: пухлый диван из магазина Армии Спасения, заваленный одеждой, лампу с цоколем в форме луковицы, одолженную соседкиной матерью, кухонную табуретку. Но чаще у меня нет сил на это, и я только лежу в ванне и читаю детективы.

Иосиф не хочет рассказывать мне о войне или о том, как он бежал из Венгрии во время восстания. Он говорит, что это слишком тяжелые моменты и он хочет их забыть. Он говорит, что есть разные виды смерти, и одни менее приятны, чем другие. Он говорит, мне повезло, что я никогда в жизни не испытаю ничего подобного.

— В этой стране нет героев, — говорит он. — Вы должны стараться, чтобы и дальше так было.

Он говорит, что я не испорчена жизнью. Он хочет, чтобы я и дальше оставалась такой же. Когда он говорит такие вещи, то проводит руками по моему телу, словно стирая меня ластиком или разглаживая.

Но он рассказывает мне свои сны. Он очень увлечен этими снами, и в самом деле, мне больше никто не рассказывал ни о чем похожем. В них красные бархатные занавеси, красные бархатные диваны, красные бархатные комнаты. В них

белые шелковые шнуры с кистями на концах; Иосиф много внимания уделяет текстилю. В них распадающиеся чайные чашки.

Ему снится женщина, полностью завернутая в целлофан, даже лицо. И другая, которая идет по перилам балкона, облаченная в белый саван, и еще одна, лежащая лицом вниз в ванне. Пересказывая эти сны, он не смотрит прямо на меня; он как будто смотрит в точку, находящуюся в глубине моей головы. Я не знаю, как реагировать, и лишь слабо улыбаюсь. Я немного ревную к этим женщинам из его снов: ни одна из них не я. Он вздыхает и гладит меня по руке:

— Ты так молода.

На это мне совершенно нечего ответить, хоть я и не чувствую себя молодой. Прямо сейчас я чувствую себя древней старухой, изработанной и перегретой. От постоянного запаха жареной курицы у меня пропал аппетит. Конец июля, влажность висит над Торонто, как болотный газ, а кондиционер в «Швейцарском шале» сегодня сломался. Посетители жаловались. На кухне кто-то перевернул блюдо куриных ножек с булочками и соусом, и все поскальзывались. Шеф-повар назвал меня безмозглой сучкой.

— У меня нет родины, — скорбно говорит Ио-

сиф. Нежно касается моей щеки, заглядывает в глаза. — Теперь ты — моя родина.

Я съедаю еще одну консервированную, не совсем настоящую улитку. Внезапно, безо всякого предупреждения на меня обрушивается мысль, что я несчастна.

54

Корделия сбежала из дома. Впрочем, она это не так называет.

Она отыскала меня через мою мать. Мы встречаемся на кофе во время моего обеденного перерыва, но не в «Швейцарском шале». Там мне налили бы кофе бесплатно, но я уже использую любую возможность, чтобы вырваться оттуда, оказаться подальше от тошнотного запаха сырой курятины, рядов ощипанных птиц, похожих на мертвых младенцев, и гор предназначенной для клиентов еды — перемолотой, кашеобразной, едва теплой, напоминающей месиво для собаки. Так что мы идем в «Мюррейс», через дорогу от отеля «Парк Плаза». Здесь более-менее чисто, и хоть нет кондиционера, но есть вентиляторы на потолке. Здесь я хотя бы не знаю, что творится на кухне.

Корделия совсем худая, почти истощенная. На

длинном лице выступили скулы, серо-зеленые глаза кажутся большими. Каждый из них обведен зеленой линией. Корделия загорела, губы накрашены неброским оранжево-розоватым цветом. Руки костлявые, шея элегантная; волосы стянуты в узел на затылке, как у балерины. На ней черные чулки, несмотря на лето, и сандалии — но не изящные женские летние сандалии, а артистические, на толстой подошве, с грубыми крестьянскими пряжками. Еще — черная кофта из джерси с короткими рукавами и вырезом лодочкой, выгодно подчеркивающим грудь, пышная хлопчатобумажная юбка тусклого сине-зеленого цвета с абстрактными завитками и квадратами, широкий черный пояс. Два тяжелых кольца, одно из них с бирюзой, массивные квадратные серьги и браслет: мексиканское серебро. Ее не назовешь красивой, но ее внешность поражает, вот и я сейчас поражена: впервые в жизни она выглядит изысканно.

При встрече мы бросились друг к другу с протянутыми руками, полуобнялись, взвизгивая от удивления и восторга, как положено женщинам после долгой разлуки. Теперь я сижу, сгорбившись, в кафе «Мюррейс», отхлебываю посредственный кофе, Корделия разговаривает,

а я ломаю голову, зачем на всё это согласилась. Я в невыгодном положении: на мне мятая, заляпанная соусом униформа «Швейцарского шале», пропотевшая под мышками, у меня болят ноги, а волосы из-за влажности воздуха непослушные, отсыревшие и курчавятся, как опаленная шерсть. Под глазами у меня черные круги, потому что ночь я провела с Иосифом.

Корделия, с другой стороны, выставляется как может. Она хочет показать мне, чего добилась с тех пор, как была инертной, разожравшейся развалиной. Она вылепила из себя нового человека. Она полностью владеет собой, и у нее куча новостей, которыми она делится как бы небрежно.

Вот чем она теперь занимается: работает на Шекспировском фестивале в Стратфорде. Играет мелкие роли.

– *Очень* мелкие, — она пренебрежительно взмахивает браслетом и кольцами. Это значит, что роли не такие уж и мелкие. — Ну, знаешь. Третий копьеносец. Хотя, конечно, я не ношу копье.

Она смеется и закуривает. Я задаюсь вопросом, ела ли Корделия когда-нибудь улиток, и решаю, что, скорее всего, она с ними на короткой ноге. Эта мысль действует на меня угнетающе.

Шекспировский фестиваль в Стратфорде уже

обрел некоторую известность. Его основали несколько лет назад в городке Стратфорд, через который протекает река Эйвон, где водятся лебеди — как черные, так и белые. Все это я читала в журналах. Туда ездят на поезде, на автобусе или на машинах, с корзинками для пикников. Иногда остаются на все выходные и смотрят три или четыре шекспировские пьесы, одну за другой. Сначала фестиваль шел в большом шатре, наподобие цирка шапито. Но сейчас он обзавелся настоящим зданием, странным, современным, круглым в плане.

— Приходится посылать звук в три стороны сразу. Это ужасно тяжело для связок, — говорит Корделия с улыбкой, словно умаляющей сказанное; будто она посылает звук и терзает свои связки ради исполнения долга. Она как будто изобретает себя на ходу. Импровизирует.

— А что думают по этому поводу твои родители? — спрашиваю я. Этот вопрос меня в последнее время очень занимает: что подумают родители.

Ее лицо на миг становится непроницаемым:

— Они рады, что я чем-то занята.

— А как там Утра и Мира?

— Ну ты же знаешь Утру, — сдавленно отвечает Корделия. — Вечно подпускает маленькие

шпильки. Но довольно обо мне, давай поговорим о тебе. Что ты обо мне думаешь?

Это ее старая шутка, и я смеюсь.

— Нет, серьезно, чем ты теперь занимаешься? — Этот тон я помню: вежливый, но не слишком заинтересованный. — Что ты поделывала все то время, что мы не виделись?

Я вспоминаю нашу последнюю встречу и чувствую себя виноватой.

— Ничего особенного. Учусь. Ну, ты знаешь.

И правда, теперь мне кажется, что я ничего особенного не достигла. Чем я занималась весь год? Узнала немножко об истории искусства, пачкала бумагу углем. Мне нечего предъявить. Есть еще Иосиф, но его не назовешь достижением, и я решаю о нем не упоминать.

— Учишься! — отзывается Корделия. — Ох, как я рада, что мне не надо больше учиться. Господи, какая скука.

Впрочем, фестиваль в Стратфорде — это только на лето. На зиму придется искать что-нибудь другое. Может, она примкнет к труппе Эрла Грея и будет с ними объезжать школы. Может, она уже будет к этому готова.

Работу в Стратфорде она получила через одного из кузенов Эрла Грея, помнившего ее по Бёрнем-

ской школе и простыне.

— Он знает многих, а те знают кого надо, — поясняет Корделия. Она играет одного из духов, подручных Просперо, в «Буре», и выступает в обтягивающем прозрачном трико с тюлевой накидкой, расшитой сухими листьями и блёстками. — Совершенно непристойный вид.

Еще она играет моряка в первой сцене; ей это сходит с рук благодаря высокому росту. Она придворная дама в «Ричарде III» и старшая монахиня в «Мере за меру». В этой пьесе, в единственной, у нее роль со словами. Она декламирует золотистым, как мёд, голосом, с британским произношением:

> *…с мужчиной*
>
> *При старшей только сможешь говорить,*
>
> *И то, закрыв лицо, а если будешь*
>
> *С лицом открытым, то должна молчать*[12].

— На репетициях я все время путалась, — она загибает пальцы: — Говорить, закрыть, открыть,

---

[12] notes: 12

У. Шекспир, «Мера за меру», акт I, сцена 4 (цит. по пер. Т. Л. Щепкиной-Куперник).

молчать.

Она складывает ладони, как в молитве, склоняет голову. Потом встает и изображает глубокий придворный реверанс из «Ричарда III» — женщины, которые после забега по магазинам зашли в «Мюррейс» выпить чаю, пялятся на нее с открытым ртом.

— На следующий год мне очень хочется сыграть первую ведьму в «Шотландской пьесе». «Когда средь молний, в дождь и гром, Мы вновь увидимся втроем?»[13] Старик говорит, что я, возможно, уже буду готова. Он считает, что молодая первая ведьма — просто гениальная находка.

«Стариком» оказывается Тайрон Гатри, режиссер фестиваля, родом из Англии. Он настолько знаменит, что даже я не могу притвориться, что о нем не слышала.

— Потрясающе, — говорю я.

— А помнишь, как мы ставили «Шотландскую пьесу» в Бёрнемской школе? И ту капусту? Я готова была от стыда сквозь землю провалиться.

Я не хочу вспоминать. Прошлое стало прерывистым, как «блинчики» от камушка на воде, как почтовые открытки: я улавливаю какой-то образ

---

[13] notes: 13
«Макбет», акт 1, сцена 1 (цит. по пер. Б. Л. Пастернака).

себя, потом темный провал, образ, провал. Неужели я когда-то носила рукава «летучая мышь» и вельветиновые тапочки, танцевала в платьях, похожих на подкрашенный маршмеллоу, переставляла ноги по полу с каким-то незнакомцем, прижимающим свою паховую область к моей? Я давно выбросила засушенные бутоньерки, а дипломы, значки об окончании очередного класса и фотографии, наверно, лежат в подвале, у матери в корабельном сундуке, вместе с потемневшим серебром. Я мельком представляю себе эти фотографии — бесконечные ряды детей с раскрашенными губами и приклеенными ко лбу завитками волос. На этих фотографиях я никогда не улыбалась. Смотрела вдаль с каменным лицом, презирая подобные подростковые развлечения.

Я вспоминаю свой злой язык и то, какой умной я себя считала. Но тогда я не была умной. Вот сейчас и впрямь набралась ума.

— А помнишь, как мы тырили вещи в магазинах? — говорит Корделия. — Единственное, что мне было приятно тогда, в те годы.

— Почему? — спрашиваю я. Мне это занятие не очень нравилось. Я всегда боялась, что нас поймают.

— Это было что-то такое, что я могла иметь, —

отвечает она. Я не очень понимаю, что она хочет этим сказать.

Она вытаскивает из сумки солнечные очки и надевает. Вот она я — в зеркалах ее глаз, черно-белая, в двух экземплярах и в сильно уменьшенном масштабе.

Корделия достает мне бесплатный билет на Стратфордский фестиваль, чтобы я могла увидеть ее в деле. Я еду туда на автобусе. Спектакль дневной; я как раз успеваю приехать, посмотреть представление, сесть в автобус и попасть обратно в Торонто к началу своей вечерней смены в «Швейцарском шале». Играют «Бурю». Я жду появления Корделии. Когда помощники Просперо выходят на сцену — под музыку, в скачущих лучах прожектора — я всматриваюсь изо всех сил, пытаясь понять, которая из них она, скрытая под костюмом. Но не могу ее отличить.

55

Иосиф меня переделывает.

— Тебе надо ходить с распущенными волосами, — говорит он, вытаскивая шпильки из моего импровизированного узла на затылке и пропуская волосы сквозь пальцы, чтобы они рас-

пушились. — Ты будешь роскошной цыганкой.

Он целует меня в ключицу и разматывает простыню, в которую только что меня замотал.

Я стою неподвижно и позволяю ему все это делать. Я позволяю ему делать все, что он хочет. На дворе август, и двигаться слишком жарко. Над городом висит пелена, похожая на мокрый дым; она покрывает кожу сальной пленкой, просачивается в плоть. Я бреду сквозь эти дни, как зомби, механически, из одного часа в другой. Я перестала рисовать мебель; я наполняю ванну холодной водой и сажусь туда, но уже без книг. Скоро снова начнутся занятия в университете. Я даже не могу об этом думать.

— Тебе следует носить фиолетовые платья, — говорит Иосиф. — Это будет улучшение.

Он ставит меня на фоне сумерек в окне, разворачивает, чуть отстраняется, проводя рукой по моему боку вверх и вниз. Я уже не боюсь, что нас кто-нибудь увидит. Я чувствую, как у меня подгибаются колени, рот расслабляется. Когда мы вместе, Иосиф не бегает взад-вперед и не терзает шевелюру; он двигается медленно, нежно, с большой решимостью.

Иосиф ведет меня в сад на крыше отеля «Парк Плаза». Я в новом фиолетовом платье. У него

тугой лиф, глубокий вырез и пышная юбка; когда я хожу, она щекочет мои голые ноги. Волосы распущены и отсырели. Мне кажется, что у меня на голове швабра. Но я случайно ловлю свое отражение в дымчатой зеркальной стене лифта, на котором мы поднимаемся, и вижу то, что видит Иосиф: стройную женщину с облаком волос и задумчивыми глазами на бледном худом лице. Я узнаю стиль: конец девятнадцатого века, прерафаэлиты. Мне следовало бы держать в руке мак.

Мы сидим на патио под открытым небом, пьем «манхэттены» и смотрим вниз через каменную балюстраду. Иосиф в последнее время полюбил «манхэттен». Это здание — одно из самых высоких в округе. Далеко внизу преет в вечерней жаре Торонто. Деревья расползаются, как потертый мох, вдали — озеро цинкового цвета.

Иосиф рассказывает мне, что однажды прострелил голову человеку; и потом мучился лишь сознанием того, как легко это оказалось. Он говорит, что терпеть не может преподавать рисование с натуры и не намерен заниматься этим всю жизнь, похоронить себя в здешнем захолустье и учить дебилов азам.

— Я происхожу из страны, которой больше нет, а ты — из страны, которой еще нет, — говорит он.

Некогда я сочла бы эти слова глубокомысленными. Сейчас я недоумеваю, что он хочет сказать.

Что касается Торонто, Иосиф называет его безрадостным и бездушным городом. И вообще живопись — это похмелье, оставшееся после европейского прошлого.

— Она больше ничего не значит, — он взмахивает рукой, отметая живопись в сторону. Он хочет работать в кино, режиссером, в Штатах. Он поедет туда, как только сможет это устроить. У него хорошие связи. Целая сеть венгров, например. Венгров, поляков, чехословаков. В тамошней киноиндустрии гораздо больше возможностей, и это еще мягко сказано. Единственное кино, что производят в Канаде, — короткометражки, которые пускают перед большим фильмом. Про листья, планирующие на воду, или цветы, распускающиеся при замедленной съемке, под звуки флейты. Он знает людей, которые преуспели в Штатах. Они помогут ему туда попасть.

Я держу Иосифа за руку. В последнее время он занимается любовью задумчиво, словно погруженный в мысли о чем-то другом. Я обнаруживаю, что несколько пьяна; и еще — что я боюсь высоты. Я никогда в жизни не была так высоко над землей. Я представляю себе, как стою

вплотную к каменной балюстраде и медленно опрокидываюсь через нее. Отсюда видны Штаты — расплывчатой полоской на горизонте. Иосиф не сказал, что возьмет меня с собой. Я не спрашиваю.

Вместо этого он говорит:

— Ты очень молчалива. — Он касается моей щеки. — Загадочна.

Я чувствую себя не загадочной, а пустой.

— Скажи, ты готова ради меня на всё? — он заглядывает мне в глаза. Я падаю ему навстречу, высоко над землей. Так легко сказать «да».

— Нет, — говорю я. И сама удивляюсь. Я не знаю, откуда выскочило это слово, эта неожиданная, упрямая правдивость. Мой ответ звучит грубо.

— Я так и думал, — печально говорит он.

Однажды после обеда в «Швейцарское шале» заходит Джон. Сначала я его не узнаю, поскольку не смотрю на него. Я вытираю тряпкой стол — каждое движение дается с трудом, рука тяжела, как в летаргии. Эту ночь я провела с Иосифом, но сегодня вечером я не буду с ним, поскольку этот вечер не мой, а Сюзи.

В последнее время Иосиф редко упоминает о Сюзи. А если и упоминает, то с тоской, будто она отошла в прошлое или красиво умерла, как геро-

иня поэмы. Но, может быть, просто у него такая манера выражаться. Вполне возможно, что они проводят друг с другом прозаические домашние вечера — он читает газеты, пока она подает на стол запеканку. И хоть он утверждает, что я — его тайна, вполне возможно, что они обсуждают меня — так же, как мы с Иосифом когда-то обсуждали между собой Сюзи. Эта мысль меня тревожит.

Я предпочитаю представлять себе Сюзи женщиной, запертой в башне, — высоко над землей, в «Монте-Карло» на Авеню-роуд; она смотрит из окна поверх балкона, огороженного крашеным листовым железом, едва слышно рыдает и ждет прихода Иосифа. Я не могу представить себе, чтобы у нее была какая-то жизнь помимо этого. Например, я не могу себе представить, чтобы она стирала свои трусы, выжимала их в полотенце, вешала сушить в ванной, как это делаю я. Не могу представить, как она ест. Она обмякшая, лишенная воли, бесхребетная от любви; как я.

— Давно не виделись, — говорит Джон. Он проступает как фон моей руки с тряпкой. Он ухмыляется мне — зубы белеют на лице, которое явно стало смуглее. Он облокотился на стол, который я вытираю. На нем серая футболка, старые джинсы, отрезанные выше колен, и кроссовки

на босу ногу. Он выглядит здоровее, чем зимой. Я впервые вижу его при дневном свете.

Я остро осознаю, что на мне грязное форменное платье; наверно, от меня воняет потными подмышками и куриным жиром.

— Как ты сюда попал?

— Ногами. Может, попьем кофе?

Он устроился на лето в департамент дорожных работ, засыпать выбоины на дорогах и заливать гудроном трещины в асфальте. От него в самом деле слегка припахивает гудроном. Нельзя сказать, чтобы он был очень чистый.

— Может, выпьем пива чуть позже? — спрашивает он. Эти слова в его устах привычны: ему, как всегда, нужен пропуск в зал «Для дам с сопровождающими». У меня нет никаких планов на вечер, и я отвечаю:

— Почему нет? Но мне надо будет переодеться.

После работы я предусмотрительно принимаю душ и надеваю фиолетовое платье. Я встречаю Джона в таверне «Кленовый лист», и мы вместе идем в зал для дам. Мы сидим в полумраке, где по крайней мере прохладно, и пьем разливное пиво. Мне неловко в обществе одного Джона: раньше я всегда приходила с целой группой парней. Джон спрашивает, чем я занималась это время, и я

отвечаю, что ничем особенным. Он спрашивает, не видела ли я где-нибудь Сталина, и я отвечаю, что нет.

— Наверно, утонул с концами в панталончиках Сюзи. Везучий козёл.

Для Джона я по-прежнему свой парень, он не стесняется при мне говорить грубости о женщинах. Я удивлена словом «панталончики». Видно, Джон его подхватил у англичанина Колина. Я спрашиваю себя, знает ли он и про меня тоже. Отпускает ли шуточки про мои панталончики у меня за спиной. Но откуда ему знать?

Он говорит, что в департаменте дорожных работ хорошо платят, но он скрывает от других рабочих, что он живописец, особенно от тех, что постарше:

— А то подумают, что я голубой или что-нибудь такое.

Я выпиваю больше пива, чем следует, и вдруг свет начинает мигать, и оказывается, что пивную уже закрывают. Мы выходим в жаркую летнюю ночь, и мне не хочется идти домой в одиночку.

— Ты доберешься до дома? — спрашивает Джон. Я молчу. — Давай-ка я тебя провожу.

Он кладет руку мне на плечо, я чувствую, как от него пахнет гудроном, дорожной пылью и

загорелой кожей, и начинаю плакать. Я стою на улице, из зала «Только для мужчин» вываливаются пьяные, я зажимаю рот руками, плачу и чувствую себя полной дурой.

Джон растерян.

— Эй, друг, — он неловко гладит меня. — Что такое?

— Ничего, — говорю я. Оттого, что меня назвали «друг», я плачу еще сильнее. Я чувствую себя тряпкой, безобразной уродиной. Надеюсь, Джон подумает, что я просто перебрала.

Он обнимает меня за плечи и прижимает к себе:

— Пойдем-ка. Выпьем кофе.

Мы идем по улице, и я перестаю плакать. Мы подходим к двери рядом с магазином оптовой торговли чемоданами, Джон достает ключ, и мы поднимаемся по темной лестнице. За дверью второго этажа он меня целует — губами со вкусом гудрона и пива. Здесь темно. Я обхватываю его руками и вцепляюсь, словно меня затягивает в болото, а он приподнимает меня в этой позе и несет по темной комнате, ударяясь о стены и мебель, и мы вместе падаем на пол.

XI. Падающие женщины

56

Я иду на восток по Куин-стрит, все еще чуть пьяная от вина, выпитого за обедом. «Под хмельком», как когда-то говорили. Алкоголь — депрессант, потом мне будет плохо, но сейчас я полна задора и тихо напеваю что-то про себя, слегка приоткрыв рот.

Прямо передо мной скульптурная группа, медно-зеленая с черными потеками, будто это металл кровоточит: сидящая женщина со скипетром, вокруг нее три молодых солдата, марширующих вперед, их ноги перевиты не то лентами, не то бинтами. Они защищают Империю, их лица серьезны, обречены, заморожены во времени. Над ними на каменной плите стоит еще одна женщина, на сей раз — с крыльями ангела: она — Победа, а может, Смерть, а может, то и другое сразу. Это памятник англо-бурской войне, которая происходила примерно девяносто лет назад. Хотела бы я знать, помнит ли ее сейчас хоть кто-нибудь и кидают ли хоть один взгляд на этот памятник водители машин, пролетающих мимо.

Я иду на север по Юниверсити-авеню, мимо стерильного царства больниц, по старому маршруту парада Санта-Клауса. Зоологический корпус снесли — должно быть, уже давно. Где я когда-то с подоконника наблюдала за вымокшими феями и продрогшими снежинками, вдыхая ароматы змей, мышей и антисептика, там теперь пустой воздух. Кто еще, кроме меня, помнит, где этот подоконник когда-то был?

Теперь вдоль по проезжей части расположились фонтаны, квадратные клумбы и новые, странные статуи. Следуя изгибу дороги, я обхожу здание парламента, похожее на присевшую викторианскую матрону — темно-розовое, приземистое, в раздутых юбках. Перед зданием реет флаг, который я так и не научилась рисовать, ярко-алый, ныне пониженный в чине до флага провинции — «Юнион Джек» в левом верхнем углу, а правее и ниже сплетаются все эти невозможные бобры и кленовые листья. Рядом полощется по ветру новый флаг страны — две красные полосы и распластанный красный кленовый лист на белом фоне; он похож на логотип маргарина или на убитую сову в снегу. Я все еще думаю про него «новый», хотя флаг сменили уже очень давно.

Я перехожу улицу, прорезанную позади небольшой церкви — ее оставили, когда этот район застраивали заново. На доске со вставными буквами, точно такой же, на каких в магазинах рекламируют скидки текущей недели, указана тема сегодняшней проповеди: «Поверить — значит увидеть». О церковь разбивается вертикальная волна зеркальных витрин. За полированными фасадами — букеты пышных тканей, лощеной кожи, затейливых серебряных цацек. Поесть нашей пасты и умереть. Богословские взгляды тоже изменились: раньше «райское блаженство» было загробной наградой для избранных, а теперь это ресторан со специализацией по тортам. Нужно было только отбросить чувство вины и написать эти слова на вывеске.

Я поворачиваю за угол, на улочку поменьше. Иду сквозь строй дорогих бутиков: ручное вязание, французские наряды для будущих матерей, мыло, перевязанное ленточками, импортный табак, роскошные рестораны, где вино подают в тонконогих бокалах, а деньги берут за фешенебельный адрес и на покрытие накладных расходов. Магазин дизайнерских джинсов, магазин венецианской бумаги и безделушек, чулочный бутик с брыкающейся неоновой ногой

на вывеске.

Эти дома когда-то были полутрущобами; некогда территория Иосифа, где налитые пивом толстяки сидели на верандах, потея в августовском пекле, пока их дети визжали кругом, псы лежали с высунутыми языками, привязанные к забору потертой веревкой, и чахлые, обоссанные кошками бархатцы увядали вдоль потрескавшихся дорожек. Вложить тогда несколько тысяч долларов — и сейчас можно было бы стать миллионером, но кто же знал? Только не я, когда поднималась по узкой лестнице на второй этаж к Иосифу, дыша все чаще, и его рука у меня на попе становилась все тяжелее в умирающем свете летних вечеров: неторопливо, запретно и печально-восхитительно.

Теперь я знаю об Иосифе больше, чем тогда. Я знаю больше, потому что стала старше. Я лучше понимаю его меланхолию, его честолюбие, его отчаяние, пустые углы в душе, которые надо заполнить. Я знаю о сопутствующих опасностях.

Например, зачем он связался с двумя женщинами на пятнадцать лет моложе? Если бы моя дочь влюбилась в такого человека, я была бы вне себя. Точно так же, как в тот день, когда Сара и ее лучшая подруга прибежали домой из школы,

торопясь рассказать мне, что они видели в парке своего первого эксгибициониста. «Мама, мама, там был дядя без трусов!»

У меня это происшествие вызвало страх и яростный гнев. «Только тронь их, и я тебя убью». Но для девочек оно было лишь необычно и ужасно смешно.

Или вспомнить тот день, когда я впервые взглянула на свою собственную кухню после рождения Сары. Мы приехали домой из больницы, и я подумала: «Столько ножей. Столько острого, столько горячего». Я видела только то, что могло причинить ей боль.

А может, в жизни одной из моих дочерей уже есть такой человек, как Иосиф, или такой, как Джон. Скрытый, тайный. Кто знает, каких неопрятных или пожилых мальчишек они вербуют, чтобы использовать в своих целях или наперекор мне? И все это время щадят меня, ничего мне не говорят — они знают, что я приду в ужас.

Я вижу на первых полосах газет слова, которые раньше даже вслух не произносили и тем более не печатали: «половые сношения», «аборт», «инцест», — и хочу прикрыть дочерям глаза, несмотря на то, что они уже взрослые или, во

всяком случае, считаются взрослыми. Я способна ужасаться, потому что я мать; ужасаться так, как я не умела раньше.

Надо купить небольшие подарки обеим дочерям — когда они были маленькие, я всегда так делала, если уезжала. Но тогда я инстинктивно знала, что им понравится. Теперь уже не знаю. Мне трудно помнить точно, сколько им лет. Я всегда обижалась, когда моя мать забывала, что я уже взрослая. Но теперь я сама вошла в сумеречный возраст, когда выкапывают пожелтевшие детские фото и умиляются локону волос.

Я разглядываю итальянские шелковые шарфы в витрине — удивительные неопределенные цвета, серо-голубой, зеленый, как морская волна, — когда меня кто-то трогает за руку, сердце подскакивает, и я леденею.

— Корделия! — поворачиваюсь я.

Но это не Корделия. Совершенно незнакомый человек. Женщина, точнее — молодая девушка, похоже — откуда-то с Ближнего Востока: длинная пышная юбка набивного ситца почти до щиколоток, из-под нее нелепо торчат канадские сапоги на резиновом ходу; застегнутая на все пуговицы короткая куртка, платок, проходящий прямой линией по лбу и подвернутый складками на

висках, как чепец монахини. Рука, что коснулась меня, — громоздкая в северной варежке, кожа запястья между варежкой и манжетой куртки смуглая, как кофе с двойной порцией сливок. Глаза большие, как у беспризорника на сентиментальной картинке.

— Пожалуйста, — говорит она. — Они убивают много людей.

Она не говорит, где. Назови любое место. Впрочем, возможно, что у тех мест и нет имени — в наши дни беженство стало гражданством для многих. Видимо, война так и не кончилась, только разбилась на куски и разлетелась по свету, и эти куски могут залететь куда угодно, от них не спастись. Убийствам нет конца, теперь они — целая индустрия, на них делают деньги, и очень трудно отличить темную сторону от светлой.

— Да, — говорю я. На этой войне погиб Стивен.

— Некоторые здесь. У них нет, у них нет ничего. Их бы убили…

— Да, я понимаю.

Вот и ходи после этого по улицам. В машине человек лучше изолирован. И откуда мне знать, что она та, за кого себя выдает? Может, она наркоманка. Эти попрошайки — сплошные жулики.

— Со мной семья из четырех человек. Двое

детей. Они со мной, это моя, это моя ответственность. — Она слегка запинается на слове «ответственность», но все же осиливает его. Она робка, ей не нравится этим заниматься — приставать к людям на улицах.

— Да?

— И я это делаю. — Мы смотрим друг на друга. Она это делает. — На двадцать пять долларов семья из четырех человек может прожить месяц.

Что же они едят? Черствый хлеб, списанные пекарней пончики? Может, она хотела сказать «неделю»? Если она в это верит, то заслуживает моих денег. Я снимаю перчатку, роюсь в кошельке, шуршу купюрами — розовыми, голубыми, фиолетовыми. Непристойно обладать такой властью; и в то же время чувствовать себя такой бессильной. Девушка, наверно, меня ненавидит.

— Вот, — говорю я.

Она кивает. Она не то чтобы благодарна мне, просто убедилась, что ее мнение обо мне — или о себе самой — было правильным. Чтобы взять деньги, она снимает толстую вязаную варежку. Я смотрю на наши руки — ее гладкую, с бледными лунками ногтей, и мою с ободранными кутикулами и грядущей жабьей кожей. Девушка засовывает купюры между пуговицами куртки.

Видимо, у нее там спрятан кошелек — чтобы не вырвали. Она снова надевает варежку, темно-красную с вышитым розовым листком.

— Благослови вас бог, — говорит она. Не «Аллах». Если бы она сказала «Аллах», я ей, может, и поверила бы.

Я иду от нее прочь, натягивая перчатку. Каждый день этого всё больше — безмолвного воя, протянутых голодных рук, помогите, помогите, нуждаемся, нуждаемся, и этому нет конца.

57

В сентябре я покидаю «Швейцарское шале» и возвращаюсь в университет. Еще я возвращаюсь в подвал родительского дома, потому что ничего другого не могу себе позволить. В обоих этих местах подстерегает опасность: теперь я веду несколько жизней, я раздроблена на куски. Но я уже не в летаргии. Наоборот, я начеку, я сыплю искрами от адреналина, хотя летняя жара еще не спала. Всё из-за двуличия: мне нужно помнить, кому я что врала. Мне нужно прятать Иосифа от родителей, а Джона — от всех сразу. Я крадусь по жизни на цыпочках, с колотящимся сердцем, страшась разоблачения: я стараюсь не задерживаться допоздна, я вынуждена увиливать

и юлить. Как ни странно, от этого я чувствую себя не в меньшей, а в большей безопасности.

Двое мужчин лучше одного — во всяком случае, при наличии двух мужчин мне живется проще. Я говорю себе, что влюблена в обоих, а раз их двое, значит, я не обязана ничего окончательно решать ни с одним.

Иосиф предлагает мне все то же, что и всегда, плюс страх. Он между делом сообщает — примерно тем же тоном, каким рассказывал, что застрелил человека, — что в большинстве стран, в отличие от нашей, женщина принадлежит мужчине; если он застанет свою женщину с другим мужчиной, то убьет обоих, и все его поймут. Иосиф ничего не говорит о том, что должна делать женщина, если застанет своего мужчину с другой. Рассказывая, он ведет ладонью вверх по моей руке, по плечу, легко касается шеи, и я пытаюсь понять, что он подозревает. Он взял обыкновение требовать, чтобы я ему отвечала; а иногда зажимает мне рот рукой. Я закрываю глаза и чувствую его как источник силы — туманный, все время меняющий позицию. Я подозреваю, что, если бы могла взглянуть на него объективно, обнаружила бы в нем что-нибудь нелепое. Но я на это неспособна.

Что касается Джона — я знаю, что он мне предлагает. Побег — вместе сбежать от взрослых. Веселье и беспорядок. Проказы.

Я думаю рассказать ему про Иосифа и посмотреть на реакцию. Но здесь подстерегает опасность иного порядка. Джон будет смеяться надо мной за то, что я сплю с Иосифом, которого он считает смешным и к тому же старым. Он не поймет, как я могла воспринять такого человека всерьез. Не поймет, что меня притягивает. И я упаду в его глазах.

Квартирка Джона, расположенная над магазином чемоданов, — длинная и узкая, в ней пахнет акрилом и грязными носками. В ней всего две комнаты и ванная. Ванная — фиолетовая, по стене поднимаются красные отпечатки ступней, пересекают потолок и спускаются с противоположной стены. Гостиная выкрашена в сверкающий белый цвет, а другая комната — спальня — в глянцевый черный. Джон говорит, что сделал это назло квартирному хозяину, который его задолбал. «Когда я съеду, ему придется положить пятнадцать слоев краски, чтобы это замазать», — говорит он.

Иногда Джон живет в этой квартире один; иногда там оказывается еще кто-нибудь, один-два человека, они по-походному ночуют на полу в

спальных мешках. Они тоже живописцы — либо в бегах от разгневанного квартирохозяина, либо временно без работы. Звоня в звонок на первом этаже, я никогда не знаю, кто откроет мне дверь и что происходит в квартире: догуливают ли там вчерашнюю вечеринку, затянувшуюся до утра, или кто-нибудь мечет харч в туалете. «Метать харч» — это выражение Джона. Он считает его забавным.

Я встречаю на лестнице разных женщин, которые поднимаются или спускаются; часто они болтаются в дальнем конце белой гостиной, где оборудовано нечто вроде кухни — электроплитка и электрочайник. Я никогда не могу понять, чьи подруги эти женщины; некоторые — тоже студентки художественного колледжа, забежавшие поболтать. Впрочем, друг с другом они почти не разговаривают. Они говорят с мужчинами или молчат.

Картины Джона висят в белой гостиной или стоят пачками вдоль стен. Они меняются почти каждую неделю: Джон весьма плодовит. Он пишет очень быстро, акриловыми красками вырвиглазных цветов — красными, розовыми, фиолетовыми, — изображая безумные завитки и петли. Я чувствую, что обязана восхищаться его

работами, поскольку сама не умею так писать; и я в самом деле издаю восторженные междометия. Я скрываю, что работы Джона мне не нравятся: нечто подобное я видела на обочине шоссе, когда какая-нибудь живность попадала под колеса.

Впрочем, эти картины и не должны изображать ничего узнаваемого. Это — момент процесса, запечатленный на холсте. Это — чистая живопись.

Джон много внимания уделяет чистоте, но только в искусстве; к его домашнему хозяйству это не относится. Таким образом он выражает активный протест против всех матерей на свете, а особенно — против своей. Он моет посуду — когда до этого доходит — в ванне, и в стоке всегда лежат размокшие корки или зерна консервированной кукурузы. Пол гостиной напоминает пляж после выходных. Постельное белье Джона — тоже своего рода момент процесса, но момент, порядком подзатянувшийся. Я предпочитаю ложиться поверх спальника — он выглядит менее антисанитарным. Санузел в таком же состоянии, как туалеты на заправках где-нибудь на севере, вдали от главных дорог: коричневое кольцо на стенках унитаза, где, скорее всего, плавают окурки, полотенце (если есть) захватано грязными руками, на полу валяются клочки бумаги неиз-

вестного происхождения.

Я пока не делаю никаких попыток навести чистоту. Это означало бы нарушить границы, а также проявить мещанскую узость. «Ты что, моя мама?» — Джон при мне обратился с этими словами к одной из зависших у него на кухне женщин, которая делала слабые попытки согнать в кучу наиболее заплесневелые фрагменты мусора. Я не хочу быть его мамой, я хочу быть его сообщницей.

В постели Джон совсем не похож на Иосифа, с которым это — как неторопливый, томительный транс. Секс с Джоном — веселый и шумный, словно щенячья возня. И грязный: как уличная драка или как пошлый анекдот. Потом мы лежим поверх спального мешка, едим картофельные чипсы из пакета и хихикаем — просто так, ни о чем.

Джон, в отличие от Иосифа, не считает женщин беспомощными цветочками или пространственными объектами, которые можно расставлять и созерцать. Он считает, что они могут быть умными или глупыми. Таковы категории, которыми он пользуется. «Слушай, друг, — говорит он мне. — Ты соображаешь лучше, чем большинство людей». Мне приятно, но в то же время эти слова

как бы сбрасывают меня со счетов. Я могу сама о себе позаботиться.

Иосиф заводит привычку допрашивать меня, где я была, чем занималась. Я непринужденна и коварна. Джон у меня в рукаве, как козырь против Иосифа; если Иосифу разрешается быть двуличным, то и мне тоже. Но он больше не говорит со мной о Сюзи.

Последний раз я ее видела в конце августа, когда еще работала в «Швейцарском шале». Она пришла одна и заказала ужин — полкурицы и мороженое «Бургундская вишня». Она перестала ухаживать за волосами, и они потемнели и выпрямились; тело стало приземистым, лицо округлилось. Она ела механически, словно выполняла какую-то работу, но прикончила всю порцию. Может быть, она ела, чтобы утешиться из-за Иосифа: что бы ни случилось, он на ней не женится, и она это знала. Я решила, что она пришла поговорить со мной про него, и держалась подальше, отделываясь нейтральной улыбкой. Она сидела не за одним из моих столиков.

Но прежде чем уйти, она подошла ко мне.

— Ты не видела Иосифа? — голос был жалобный, и меня это разозлило.

— Иосифа? Нет. Почему я должна была его

видеть? — соврала я, причем неубедительно, и покраснела.

— Я просто думала, вдруг ты знаешь, где он, — сказала она, не с упреком, а безнадежно. И вышла, ссутулившись, как женщина много старше ее лет. Ну и задница, подумала я, неудивительно, что Иосиф от нее прячется. Он не любил тощих, но всему есть границы. Сюзи совсем себя запустила.

И вдруг она мне звонит. Время уже под вечер, я сижу в подвале и занимаюсь, и мать зовет меня к телефону.

Голос Сюзи в трубке — как тихий отчаянный вой:

— Элейн. Приезжай, пожалуйста.

— Что случилось?

— Не могу сказать. Просто приезжай.

Снотворное, думаю я. Это в ее стиле. И почему она мне звонит, почему не Иосифу? Так бы и хлестнула ее по морде.

— Ты в порядке?

— Нет, — она повышает голос. — Я не в порядке. Что-то не так.

Мне не приходит в голову вызвать такси. Такси — это для Иосифа; я привыкла всюду ездить на автобусах и трамваях, ну и на метро. Проходит почти час, пока я добираюсь до «Монте-Карло».

Сюзи не сказала свой номер квартиры, а я не сообразила спросить, поэтому пришлось искать управдома. Я постучалась в указанную квартиру, но никто не открыл, и пришлось опять прибегнуть к помощи управдома.

— Я знаю, что она там, — настаиваю я, когда он отказывается пустить меня в квартиру Сюзи. — Она мне позвонила. Это чрезвычайная ситуация.

Когда я наконец попадаю внутрь, в квартире темно; занавеси задернуты, окна закрыты, и пахнет странно. По квартире разбросана одежда — джинсы, зимние сапоги, черная шаль, которую я видела на Сюзи. Мебель выглядит так, словно ее выбирали родители: зеленоватый диван с квадратными подлокотниками, ковер цвета пшеницы, кофейный столик, две лампы — с абажуров еще не снята целлофановая упаковка. Ничто из этого не вяжется с тем образом Сюзи, который у меня сложился.

На ковре — темный отпечаток ноги.

Сюзи обнаруживается за занавеской, отделяющей спальную зону. Она лежит на кровати в розовой нейлоновой коротенькой ночнушке, белая, как сырая курица, с закрытыми глазами. Розовое мохнатое покрывало и одеяла валяются на полу. Из-под тела по простыне в обе стороны,

как два крыла, расползается огромное пятно свежей крови.

Меня пронзает отчаяние; вдруг, безо всякого повода, я чувствую себя брошенной.

К горлу подкатывает тошнота. Я бегу в санузел, и меня рвет. В санузле еще хуже, потому что унитаз полон темно-красной крови. На черно-белом кафельном полу — кровавые отпечатки ног, в раковине — отпечатки пальцев. Мусорное ведро забито прокладками, насквозь пропитанными кровью.

Я вытираю рот пастельно-голубым полотенцем Сюзи, мою руки в окровавленной раковине. Я не знаю, что делать дальше; что бы это ни было, я не хочу оказаться замешанной. В голове мелькает абсурдная идея, что, если Сюзи умерла, меня обвинят в убийстве. Я взвешиваю возможность тайком убраться отсюда, закрыть за собой дверь, замести следы.

Но вместо этого я возвращаюсь к телу и щупаю пульс. Я знаю, что так положено в подобных случаях. Сюзи еще жива.

Я бегу к управдому, и он звонит в «скорую помощь». Я звоню Иосифу, но его нет дома.

Я еду в больницу вместе с Сюзи, в задней части кареты «скорой помощи». Сюзи вроде бы пришла

в сознание, и я держу ее за руку — маленькую, холодную. «Не говори Иосифу», — шепчет она. При виде розовой ночнушки до меня наконец доходит: Сюзи не имеет ничего общего, никогда не имела с тем, что я про нее напридумывала. Она просто милая девочка, которая любит одеваться как взрослая.

Но то, что она сделала, ставит ее отдельно от всех. Ее деяние принадлежит к подводному пейзажу вещей, о которых никогда не говорят вслух — они лежат ниже уровня обычной речи, как затопленные холмы. Все мои ровесники о них знают. Все о них молчат. А там, под водой, циркулируют слухи, там кухонные столы, там деньги тайно переходят из рук в руки, там гнусные старухи, доктора без лицензий, позор и кровавая бойня. Там, внизу — царство ужаса.

Санитары «скорой помощи» деловиты и презрительны. Они уже всё перевидали.

— Чем это она, вязальной спицей? — спрашивает один. В этих словах звучит обвинение; может быть, он думает, что я ей помогала.

— Понятия не имею. Я с ней вообще едва знакома. — Я не хочу ничего общего иметь с этим делом.

— Обычно это спица, — говорит он. — Глупые

девчонки. Казалось бы, должны хоть немного соображать.

Я соглашаюсь, что она сделала глупость. В то же время я знаю, что на ее месте сглупила бы точно так же. Я бы прошла тем же путем, каким прошла она — миг за мигом, шаг за шагом. Я бы запаниковала, как она, я бы скрыла от Иосифа, как скрыла она. И, как она, я не знала бы, куда с этим пойти. Всё, что произошло с ней, точно так же могло произойти со мной.

Но я слышу и еще один голосок: злобный, древний и самодовольный, откуда-то из глубин моей головы: «Так ей и надо».

Когда Иосиф наконец отыскивается, он безутешен:

— Бедное дитя, бедное дитя! Почему же она мне не сказала?

— Она думала, что ты на нее разозлишься, — холодно говорю я. — Как ее родители. Она думала, ты ее выгонишь за то, что она забеременела.

Мы оба знаем, что это вполне возможно.

— Нет, нет, — неуверенно говорит Иосиф. — Я бы о ней позаботился.

Эти слова можно понимать по-разному.

Он звонит в больницу, но Сюзи отказывается его видеть. В ней что-то изменилось, ожесто-

чилось. Она говорит Иосифу, что, возможно, у нее теперь никогда не будет детей. Она его не любит. Она не хочет его видеть, больше никогда в жизни.

Теперь Иосиф бултыхается в бездне отчаяния.

— Что я с ней сделал? — стонет он, терзая шевелюру.

Он становится еще меланхоличней, чем всегда; не хочет идти в ресторан обедать, не хочет заниматься любовью. Он сидит дома, и квартира, когда-то аккуратная и пустая, заполняется беспорядочными отходами его жизни: контейнерами от взятой навынос китайской еды, нестираными простынями.

Он клянется никогда не простить себе то, что сделал с Сюзи. Так он это видит: он что-то сделал с ней, с ее пассивной, невинной плотью. В то же время она его ранила: как она могла с ним так поступить, выкинуть его из своей жизни?

Он ждет, что я буду его утешать — в его собственной вине и в нанесенной ему ране. Но я не умею. Я начинаю питать к нему неприязнь.

— Это был мой ребенок.

— А ты женился бы на ней? — спрашиваю я. При виде его страданий я становлюсь не сострадательной, а безжалостной.

— Ты жестока, — говорит Иосиф. Он и раньше произносил эти слова, но в контексте секса, шутливо. Теперь он говорит это всерьёз. Теперь он прав.

Теперь, когда Сюзи нет, былой баланс нарушен. Иосиф повис на мне всем весом, и для меня он слишком тяжел. Я не могу сделать его счастливым и злюсь на свое бессилие; меня ему недостаточно, я недотягиваю. Теперь я вижу его слабым, цепляющимся за меня, выпотрошенным, как рыба. Я не могу уважать мужчину, который позволяет себе так разваливаться на куски из-за женщин. Я смотрю в его печальные глаза, и мне становится противно.

По телефону я отказываюсь от встреч под разными предлогами. Я говорю, что очень занята. Как-то вечером я обещаю прийти и не прихожу. Это доставляет мне такое наслаждение, что я делаю то же самое еще раз. Иосиф выслеживает меня в университете — мятый, небритый и как-то вдруг постаревший — и умоляет, пока я иду с одной лекции на другую. Два моих мира вдруг пересекаются, и я в гневе.

— Кто это был? — спрашивают девушки в кашемировых гарнитурах.

— Так, давний знакомый, — небрежно гово-

рю я.

Иосиф подстерегает меня в засаде около музея и объявляет, что я довела его до отчаяния; из-за того, что я с ним так обращалась, он покидает Торонто навсегда. Меня не обманешь: он в любом случае собирался уехать. Злой язык отвечает помимо меня:

— Вот и хорошо.

Иосиф кидает на меня взгляд, полный мучительного упрека, и выпрямляется — гордая, театральная поза матадора, словно ему в задницу засунули кочергу.

Я иду прочь. Этот поступок, физический процесс ухода, приносит мне огромное удовольствие. Я словно могу делать так, чтобы люди появлялись и исчезали по моей воле.

Иосиф мне не снится. Вместо него я вижу во сне Сюзи — в черной водолазке и джинсах, но ниже ростом, чем на самом деле, и со стрижкой «паж». Она стоит на улице, которую я знаю, но не могу вспомнить, среди куч дымящихся осенних листьев. Она держит в руке смотанную скакалку и облизывает половину апельсинового эскимо-шербета на палочке.

Она не бескровная и бескостная, какой я видела

ее последний раз. У нее хитрый, расчетливый взгляд.

— Ты что, не знаешь, что такое гарнитур? — злорадно говорит она.

Она продолжает облизывать мороженое. И я понимаю: я совершила какое-то зло.

58

Проходит время, и призрак Сюзи рассеивается. Иосиф больше не появляется.

Остается Джон. У меня такое ощущение, что он, как одна из пары подставок для книг, по-одиночке некомплектен. Но я чувствую себя добродетельной, поскольку больше ничего от него не скрываю. Для него, впрочем, ничего не изменилось, поскольку он и не знал, что я от него что-то скрывала. Он не знает, почему я стала больше интересоваться тем, как он проводит время без меня.

Я решаю, что влюблена в него. Впрочем, я слишком осторожна, чтобы сообщить ему об этом; вдруг ему не понравится такая формулировка или он решит, что я хочу его захомутать.

Я все так же прихожу в длинную черно-белую квартиру и все так же засыпаю поверх спального мешка, хоть и не всегда: Джон не умеет планиро-

вать заранее и помнить договоренности. Бывает, что я звоню в дверь и никто не открывает. Или ему отключают телефон за неуплату. Мы вроде бы пара, хотя в явном виде между нами ничего не обсуждалось. Когда он со мной, он со мной; он пока не способен точнее сформулировать суть отношений, еще не названных отношениями.

Он устраивает задымленные, затемненные вечеринки — без света, при мерцании свеч, воткнутых в бутылки. Приходят другие живописцы и разнообразные женщины в водолазках, они только начинают носить длинные прямые волосы, разделенные на пробор. Они сидят кучками на полу, в темноте, слушая народные песни о женщинах, зарезанных кинжалами, и курят сигареты с марихуаной — так проводят время в Нью-Йорке. Марихуану они называют травкой и планом и утверждают, что она помогает раскрепостить талант художника.

Я от любых сигарет задыхаюсь, так что не курю. Бывают ночи, когда я оказываюсь в задней прихожей вместе с кем-нибудь из живописцев, чтобы не видеть, чем занимается Джон с очередной прямоволосой девицей. Чем бы он там ни занимался, лучше бы он делал это по секрету. Но он не чувствует потребности что-либо скрывать:

ревновать своих сексуальных партнеров — это мещанство, отрыжка идеи о святости частной собственности. Ни один человек не принадлежит никакому другому человеку.

Джон не употребляет так много слов. Он говорит только:

— Я не твоё имущество, знаешь ли.

Другие живописцы иногда под кайфом или пьяны, но иногда очень хотят поведать мне о своих проблемах. Они рассказывают неловко, с паузами, короткими словами. Проблемы в основном связаны с их девушками. Скоро эти парни начнут приносить мне свои носки в штопку или оторванные пуговицы, чтобы я их пришивала. Я чувствую себя пожилой тетушкой. Этим я занимаюсь вместо того, чтобы ревновать Джона. Ревность непродуктивна. Во всяком случае, я так думаю.

Джон бросил писать потроха и спирали. Он говорит, что эти картины слишком романтичны, слишком эмоциональны, слишком слюнявы и сентиментальны. То, что он пишет теперь, состоит исключительно из прямых линий и идеальных кругов. Он использует липкую ленту, чтобы линии получались прямые. Он работает блоками однородного цвета, никакой пастозной

техники — он стремится, чтобы мазков вообще не было видно.

Новым картинам он дает имена вроде «Загадка: синий и красный», или «Вариация: черный и белый», или «Опус 36». Когда я их разглядываю, у меня начинают болеть глаза. Джон говорит, что так и задумано.

Днем я учусь. В этом году «Археология и история искусств» стала мрачней и бархатней, в ней кишат импасто и кьяроскуро. Мадонны никуда не делись, но их тела утратили прежнюю напоенность светом и теперь чаще изображаются ночью. Святые тоже остались, но они больше не сидят в тихих комнатах или в пустынях, обложившись черепами в качестве memento mori и собакообразными львами у ног; теперь они извиваются в затейливых позах, утыканные стрелами или привязанные к столбам. Картины на библейские сюжеты начинают тяготеть к насилию: популярной становится Юдифь, отсекающая голову Олоферну. Классических богов и богинь прибавилось. Войны, схватки и убийства изображаются, как и прежде, но в них царит хаос и сплетения конечностей. По-прежнему пишутся портреты богатых людей, но их одежда стала гораздо темнее.

Мы несемся сквозь столетия, и на картинах появляется нечто новое: корабли сами по себе, животные сами по себе — например, собаки и лошади. Крестьяне сами по себе. Пейзажи — с домами или без. Цветы сами по себе, блюда с фруктами и отрубы мяса, с омарами или без. Омаров любят — возможно, из-за цвета.

Обнаженные женщины.

Иногда все это комбинируется: например, обнаженная богиня, увенчанная цветами, и при ней псы; библейские герои в одежде или без, с животными, деревьями и кораблями, или без них. Богачи, притворяющиеся богами и богинями. Фрукты и убийства обычно не сочетаются, крестьяне и боги — тоже. Обнаженных женщин преподносят примерно в той же манере, что блюда с мясом и мертвых омаров — та же тщательная передача игры света на коже, та же пышность и сочность, та же чувственность и богатая отделка деталей, то же явное наслаждение живописца осязаемостью. («Богатая отделка», записываю я. «Наслаждение живописца осязаемостью».) Они выглядят так, словно их подали на стол.

Мне не нравятся эти сумеречные, вязкие картины. Я предпочитаю более ранние, с их ясностью дневного света, спокойным остановленным

движением. Кстати, в это время я отказываюсь от масляных красок: мне теперь не нравится их густота, то, как из-за них дробятся линии, их вид (похожий на облизанные губы) и то, что они выпячивают движения кисти живописца. Я ничего не могу из них сделать. Вместо этого я хочу создавать картины, которые существуют как бы сами по себе. Мне нужны предметы, которые выдыхают свет: сияющие и плоские.

Я рисую цветными карандашами. Или пишу яичной темперой, как когда-то иконописцы. Этому теперь никто не учит, и я перерываю библиотеку в поисках инструкций. Работать с яичной темперой — трудное и грязное дело, оно требует щепетильности и поначалу оборачивается катастрофой. Я загаживаю весь пол и все кастрюли на кухне у матери, готовя левкас. Я извожу кучу досок, прежде чем понимаю, как их левкасить, чтобы получалась гладкая поверхность. Иногда я забываю про свои бутылки яичного желтка с водой, они протухают и воняют серой на весь подвал. Я потребляю массу яичных желтков. Белки я тщательно отделяю и отношу наверх матери, которая печет из них безе.

Я рисую у панорамного окна в гостиной, наверху, когда дома никого нет, или при дневном свете,

проникающем через окно в подвал. Когда темно, я включаю две лампы с длинными гусиными шеями — в каждую ввернуто по три лампочки. Все эти варианты меня не устраивают, но ничего другого под рукой нет. Я думаю о том, что когда-нибудь у меня будет большая мастерская со световыми люками в потолке; хотя совершенно неясно, что я буду в ней писать. Но что бы это ни было, когда-нибудь оно будет воспроизводиться в альбомах, в цветных репродукциях; как работы Леонардо да Винчи, чьи этюды рук, ног, волос и мертвых тел я внимательнейшим образом разглядываю.

Меня завораживают световые эффекты от стекла и других отражающих поверхностей. Я изучаю картины с жемчугами, кристаллами, зеркалами, начищенной медью. Я много времени уделяю «Портрету четы Арнольфини» ван Эйка, двигаясь с лупой по плохой цветной репродукции в учебнике; меня интересует не парочка бледных, хрупких, бесплечих людей, держащихся за руки, но большое зеркало на стене у них за спиной — в нем видны не только спины супругов, но и еще два человека, которых на самой картине вообще нет. Фигуры отражаются в зеркале слегка под углом, будто внутри зеркала действуют

иные законы тяготения, иная конфигурация пространства, она заключена, заперта в нем, как в стеклянном пресс-папье. Это круглое зеркало — как глаз, единственный глаз, который видит больше, чем любой разглядывающий картину. Над зеркалом надпись: «Johannes de Eyck fuit hic. 1434». Она неприятно похожа на надписи в туалете: такое пишут на стене краской из аэрозольного баллончика.

В нашем доме нет большого зеркала, и мне не на чем практиковаться. Вместо этого я пишу бутылки из-под имбирного эля, винные бокалы, кубики льда из морозилки, глазурованный чайник, материнские серьги из фальшивого жемчуга. Я пишу полированное дерево и металл; сковородку с медным дном (вид снизу), алюминиевую пароварку. Я корплю над деталями, горблюсь над картинами, высветляя блики самой тоненькой кисточкой.

Я знаю, что мои вкусы не совпадают с модой, так что занимаюсь всем этим втайне. Джон, к примеру, обозвал бы мои занятия иллюстрацией. По его мнению, любая картина, если на ней можно что-нибудь опознать, — иллюстрация. Он сказал бы, что в такой работе нет спонтанной энергии. Нет процесса. С тем же успехом я могла

бы быть фотографом или Норманном Рокуэллом. Иногда я с ним соглашаюсь, потому что — ну чего я достигла на сегодняшний день? Ничего принципиально отличного от случайно выбранной картинки из раздела «Товары для дома» каталога Итона. Но я не сдаюсь.

Вечерами по средам я посещаю занятия другого курса, не «Рисования с натуры», которое в этом году ведет восторженный югослав, а «Рекламного искусства». Учащиеся этого курса сильно отличаются от той компании, что ходила рисовать с натуры. Они в основном с отделения прикладного искусства, а не изящных искусств. И опять в основном мальчики. У некоторых серьезные художественные устремления, но пива они пьют гораздо меньше. Они чистоплотней и серьезней, и хотят после окончания колледжа устроиться на оплачиваемую работу. Я тоже.

Преподаватель — пожилой мужчина, худой и с виду побитый жизнью. Он считает себя неудачником, хотя когда-то создал знаменитую рекламу консервированной фасоли со свининой, которую я помню с детства. Во время войны мы ели много фасоли со свининой. Фирменная фишка этого преподавателя — улыбки; главное — правильно изобразить зубы, красивые, ровные и белые, но

при этом не прорисовывать очертания каждого зуба, иначе улыбка будет похожа на собачий оскал или на вставную челюсть (такая у самого преподавателя). Он говорит, что у меня талант к рисованию улыбок и что я далеко пойду.

Джон немножко дразнит меня из-за этого курса, но меньше, чем я ожидала. Он изобретает для преподавателя прозвище «Сосиска с фасольками» и на этом успокаивается.

59

Я заканчиваю университет и обнаруживаю, что с моим дипломом мало что можно сделать. А то, что можно, я делать не хочу. Не хочу я и идти учиться дальше, в магистратуру, преподавать в школе или быть девочкой на побегушках у куратора в музее.

К этому времени у меня за плечами уже пять курсов колледжа искусств, из них четыре — в области прикладного искусства. Я беру свидетельства об окончании курсов, собираю портфолио из улыбок, тарелок с карамельным пудингом и консервированных персиков и таскаю все это по рекламным агентствам. Для поисков работы я покупаю бежевый шерстяной костюм (на распродаже), туфли на среднем каблуке в тон,

жемчужные сережки-гвоздики и элегантный шелковый шарфик (на распродаже); все это по рекомендации преподавателя (женщины) с моего последнего вечернего курса, «Композиция и дизайн». Она также рекомендовала подстричься, но я отважилась только на «французский пучок», соорудив его с помощью крупных бигудей, геля для укладки и большого количества заколок-невидимок. В конце концов я устраиваюсь на нудную работу, макетирование, и снимаю небольшую меблированную квартиру с двумя спальнями, кухонным углом и отдельным входом, в большом обветшалом доме в районе под названием Аннекс, к северу от Блура. Во второй спальне я устраиваю мастерскую и дверь в нее держу закрытой.

У меня в квартире настоящая кровать и настоящая кухонная раковина. Джон приходит ужинать и дразнит меня за купленные (на распродаже) полотенца, жаропрочную посуду, занавеску для душа.

— Журнал «Образцовый дом и сад», да? — спрашивает он. Он и из-за кровати меня дразнит, но спать на ней ему нравится. Теперь он приходит ко мне чаще, чем я к нему.

Мои родители продают дом и уезжают на север.

Отец ушел из университета и снова занимается только научными исследованиями; теперь он возглавляет лабораторию лесной энтомологии в Су-Сент-Мари. Он говорит, что Торонто уже перенаселен и слишком загрязнен. Он говорит, что нижняя часть Великих озер — самая большая сточная канава в мире, и если бы мы знали, что попадает в нашу питьевую воду, то поголовно переключились бы на алкоголь. Что же до воздуха, он так насыщен химикатами, что по-хорошему нам всем следовало бы носить противогазы. А на севере еще можно дышать.

Мать не слишком радовалась тому, что приходится бросить возделанный сад, но постаралась и в этом найти положительные стороны: «Зато представится удобный случай выкинуть все барахло из подвала». В Су-Сент-Мари родители заложили новый сад, хотя сельскохозяйственный сезон там короче. Впрочем, летом они почти все время в разъездах — от одного очага нашествия вредителей к другому. Насекомых в тех местах хватает.

Я не скучаю по родителям. Во всяком случае, пока. Точнее, я не хочу с ними жить. Я счастлива, что меня предоставили самой себе, дали возможность самой исправлять свои ошибки. Теперь я

могу есть когда попало, перекусывать пустыми калориями и брать еду навынос, не беспокоясь о сбалансированном питании, ложиться спать, когда хочу, оставлять нестираным гниющее грязное белье и не мыть посуду.

Меня повышают по службе. Через некоторое время я перехожу в художественный отдел издательства, где создаю книжные обложки. По ночам, если Джон не приходит, я пишу. Иногда забываю лечь спать и обнаруживаю, что уже светает — пора одеваться и идти на работу. В такие дни я хожу с тяжелой головой и плохо слышу, что мне говорят; но этого как будто никто не замечает.

Я получаю открытки и по временам короткие письма от матери — из таких мест, как Дулут и Капускасинг. Она сообщает, что на дорогах теперь большое движение. «Слишком много машин с жилыми прицепами». Я в ответ пишу про свою квартиру, работу и погоду. Про Джона я не упоминаю, поскольку никаких связанных с ним новостей у меня нет. Новость — это что-нибудь определенное и респектабельное, например помолвка.

Брата носит по всему миру. Он стал менее многословным и теперь тоже общается с помо-

щью открыток. Одна приходит из Германии, на ней изображен мужчина в коротких кожаных штанах, а на обороте написано: «Отличный ускоритель частиц». Другая — из Невады, с кактусом, гласит: «Интересные формы жизни». Он едет в Боливию (я решаю, что в отпуск) и посылает открытку с изображением женщины, курящей сигару, в шляпе с высокой тульей: «Отличные бабочки. Надеюсь, ты здорова». Однажды он женится и сообщает мне об этом открыткой из Сан-Франциско с мостом Золотых ворот на фоне заката: «Женился. Аннетта передает привет». Больше я ничего не слышу о его браке, и лишь несколько лет спустя приходит открытка из Нью-Йорка со статуей Свободы: «Развелся». Я думаю, он пришел в недоумение от того и другого, будто это были не его сознательные действия, а некая случайность — вроде того, как можно случайно споткнуться. Я представляю себе, как он вступает в брак — так входят в парк в незнакомой стране, ночью, не подозревая о возможных неприятностях.

Внезапно он всплывает в Торонто, чтобы выступить на конференции. Об этом он сообщает мне заранее, открыткой из Бостона со статуей Поля Ревира: «Приезжаю воскр.12-го. Мой доклад

в пн. Увидимся».

Я иду на его выступление — не потому, что надеюсь расширить свой кругозор (доклад называется «Первые пикосекунды и поиск единой теории поля: некоторые соображения»), но потому, что он мой брат. Я сижу, обгрызая пальцы, а университетский лекторий заполняют слушатели — в основном мужчины. Судя по их виду, с большинством из них я не стала бы гулять в школьные годы.

Выходит мой брат с другим человеком, который должен его представить. Я не видела брата много лет: он похудел, и волосы у него начинают редеть. Чтобы читать доклад, ему нужны очки: они торчат у него из нагрудного кармана. Кто-то позаботился о его одежде: на нем костюм с галстуком. Впрочем, от этих изменений он выглядит не нормальней, а наоборот, еще аномальней, словно пришелец из космоса, замаскированный под человека. Брат производит впечатление потрясающей гениальности — словно в любой момент его голова может засветиться, стать прозрачной, и мы увидим внутри огромный, ярко раскрашенный мозг. В то же время брат выглядит помятым и ошарашенным, словно только что очнулся от приятного сна и обнаружил себя в

стране Жевунов.

Человек, представляющий моего брата, говорит, что он не нуждается в представлении, а затем перечисляет все его труды, награды и вклад в науку. Слышатся аплодисменты, и брат всходит на трибуну. Он встает перед белым экраном, прокашливается, переминается с ноги на ногу, надевает очки. Теперь он похож на человека, чей профиль когда-нибудь изобразят на марке. Ему не по себе, и я за него волнуюсь. Мне кажется, что он будет едва слышно бормотать. Но стоит ему начать, и все оказывается в порядке.

— Глядя в ночное небо, — говорит он, — мы смотрим на обломки прошлого. Не только в том смысле, что видимые нами звезды — эхо событий, происшедших за много световых лет от нас во времени и пространстве; все, что мы видим там, наверху — и, кстати говоря, все, что мы видим здесь, внизу, — окаменелость, остаток от первых пикосекунд сотворения мира, когда вселенная кристаллизовалась из первичной гомогенной плазмы. Нам трудно представить, что творилось в эти первые пикосекунды. Если бы мы могли отправиться на машине времени к моменту взрыва, то оказались бы во вселенной, насыщенной непонятными энергиями и странно ведущими

себя силами, искаженными до неузнаваемости. Чем дальше мы продвигаемся в прошлое, тем более экстремальными становятся эти условия. Экспериментальные установки, которыми мы сейчас располагаем, переносят нас лишь на небольшое расстояние по этому пути. Дальше нас может вести только теория. — И он продолжает на непонятном языке — вроде бы английском, но я не могу разобрать ни единого слова.

К счастью, есть и на что посмотреть. В зале темнеет, экран вспыхивает, и на нем появляется вселенная (или ее части): черные пустоты, разделенные пунктуацией галактик и звезд — раскаленных добела, раскаленных до голубизны, красных. Между ними на экране движется стрелка, ищет и находит. Потом появляются графики, цепочки чисел, ссылки на какие-то понятия, кажется, известные всем в зале, кроме меня. Видимо, на свете гораздо больше четырех измерений.

По залу пробегают заинтересованные шепотки; слушатели переговариваются, шуршат бумагами. В конце доклада, когда загорается свет, мой брат снова переходит на человеческий язык:

— Но что можно сказать о моменте, который предшествовал самому первому моменту? И

можно ли вообще говорить, что первому моменту что-то предшествовало, если время не может существовать без пространства, пространство-время — без событий, а события — без материи-энергии? Но что-то должно было существовать раньше. Это — теоретические основы, параметры, рамки, которые ограничивают работу законов энергии. Судя по скудным свидетельствам, которых, однако же, становится все больше, если вселенная создалась в результате *fiat lux*[14], этот приказ был выражен не на латыни, но на единственном подлинно универсальном языке математики.

Для меня это звучит чистой метафизикой, но аудитория принимает его слова как должное. Она хлопает.

Потом я иду на прием с традиционным для университетов угощением: плохой херес, густой чай, печенье фабричного производства. Люди чисел собираются в кучки, бормочут, пожимают друг другу руки. Я резко выделяюсь среди них. Мне становится не по себе.

Я нахожу брата:

— Замечательный доклад!

---

[14] notes: 14

«Да будет свет» (*лат.*) — согласно Библии, слова Бога, произнесением которых был сотворен мир.

— Я рад, что ты из него что-то почерпнула, — ехидно отвечает он.

— Ну, у меня всегда было плохо с математикой.

Он благосклонно улыбается.

Мы обмениваемся новостями о родителях, которые, по последним полученным от них сообщениям, были в Кеноре и собирались дальше на запад.

— Все так же считают тех же почкоедов, надо полагать, — говорит брат.

Я вспоминаю, как его тошнило на обочине и как от него пахло карандашами из кедровой древесины. Я вспоминаю нашу жизнь в палатках и лагерях лесорубов, запах свежих опилок, бензина, мятой травы и прогорклого сыра, и как мы украдкой рыскали в темноте. Я вспоминаю его деревянные мечи с оранжевой кровью, его коллекцию комиксов. Я вижу, как он, скрючившись на сырой земле, кричит: «Ложись, ты убита!» Я вижу, как он бомбардирует тарелки вилками. Все мои ранние воспоминания о нем — ясные, четкие, в гамме «техниколор»: мешковатые шорты, полосатая футболка, неровно подстриженные волосы, выбеленные солнцем, бриджи и кожаный шлем, что он носил зимой. Потом провал, и брат появляется на его другой стороне, став необъяс-

нимо старше на два года.

— А помнишь ту песню, которую ты пел? Во время войны? А иногда насвистывал. «На честном слове и на одном крыле».

Он заметно удивлен, слегка хмурится:

— Нет, не скажу, чтобы помнил.

— Ты все время рисовал взрывы. Ты брал у меня красный карандаш, потому что твой кончался.

Он смотрит на меня — не так, будто сам этого не помнит, но так, будто удивлен, что это помню я:

— Ты же тогда, наверно, была совсем маленькая.

Я думаю о том, каково ему было, когда за ним всюду таскалась младшая сестра. Для меня он был данностью: я не помню времен, когда он не существовал. Но я для него данностью не была. Когда-то он был в единственном числе, а потом явилась я, оккупантка. Интересно, злился ли он на то, что я родилась. Может, он считал меня болячкой в заднице; я не сомневаюсь, что по временам он так думал. Но если принять во внимание все аспекты и рассматривать картину в целом, он сделал со мной и для меня все, что мог.

— А помнишь ту банку стеклянных шариков, что ты зарыл под мостом? Ты мне так и не объяснил, зачем.

Самые лучшие шарики — красные и голубые «чистики», водные и «кошачьи глаза» — ушли в землю, за пределы досягаемости. Наверно, он засыпал банку землей, притоптал, а потом накидал сверху листьев.

— Это, кажется, помню, — ему как будто не хочется вспоминать о себе бывшем, молодом. Меня беспокоит то, что он помнит о себе одни моменты и не помнит других; то, что он потерял или запамятовал, теперь существует только для меня. Если он забыл так много, что же забыла я?

— Может, они до сих пор там, в овраге, — говорю я. — Интересно, не нашел ли их кто-нибудь, когда строили новый мост. Ты ведь и карту зарыл.

— Точно, — он улыбается своей прежней загадочной улыбкой, которая так меня бесила. Он по-прежнему хранит секрет, и я приободряюсь: несмотря на изменившийся фасад, редеющие волосы и возникший на время костюм, под ними — всё тот же человек.

После того, как брат отбывает в следующую точку назначения, я думаю — не подарить ли ему на день рождения звезду, названную его именем. Я видела рекламу: посылаешь деньги и получаешь сертификат с картой звездного неба и обозначенной на ней твоей собственной звездой.

Возможно, брата это повеселит. Но я не уверена, что слово «день рождения» для него еще что-то значит.

60

Джон переключился с вырвиглазных геометрических композиций на картины, которые выглядят как рекламные иллюстрации: огромные эскимо из фруктового льда, гигантские солонки и перечницы, консервированные персики половинками, бумажные тарелки с кучами жареного картофеля соломкой. Он больше не распространяется о чистоте искусства; ныне он говорит о необходимости использовать общеупотребительные системы культурных кодов для отражения возведенной в культ банальности наших дней. Я могла бы дать ему пару советов, опираясь на собственный профессиональный опыт: например, его половинки персика могли бы блестеть и посильней. Но я молчу.

Джон все чаще пишет у меня в гостиной. Он все это время постепенно перевозил ко мне свои вещи, начиная с красок и холстов. Он объясняет это тем, что не может писать у себя, так как там слишком много народу. И это правда: в его гостиной оседает все больше американцев, уклоняющихся

от призыва, они все время меняются, и кажется, все они — друзья друзей Джона. Чтобы пересечь комнату, он вынужден через них перелезать, потому что они валяются на спальных мешках и курят травку, ломая голову, что делать дальше. Они в подавленном состоянии духа, поскольку Торонто оказался не копией США, только без войны, как они ожидали, а чем-то вроде чистилища, куда они забрели по ошибке и теперь не знают, как выбраться. Торонто находится нигде, и в нем ничего не происходит.

Джон ночует у меня три-четыре раза в неделю. Я не спрашиваю, где он проводит остальные ночи.

Он считает, что делает мне большое одолжение, исполняет мою заветную мечту. Может, я и правда хочу, чтобы он жил у меня. Когда я в квартире одна, грязная посуда накапливается в раковине, остатки еды в банках прорастают разноцветным мхом, и я не устраиваю стирки, пока у меня не кончатся чистые трусы. Но присутствие Джона превращает меня в образец аккуратности и расторопности. Я встаю утром и варю Джону кофе, накрываю стол на двоих — ставлю новую жаропрочную посуду, беловатую, в крапинку. Я даже не возражаю против того, чтобы таскать одежду Джона вместе со своей в прачечную само-

обслуживания.

Джон не привык к такому количеству чистого белья.

— Такая девушка, как ты, должна быть замужем, — говорит он однажды, когда я появляюсь со стопкой сложенных рубашек и джинсов. Мне кажется, этими словами он хочет меня обидеть, но я не уверена.

— Тогда стирай себе сам, — говорю я.

— Эй, не надо так.

По воскресенья мы спим допоздна, занимаемся любовью, ходим гулять, держась за руки.

Однажды, в такой же день, как всегда, когда я не делаю ничего необычного и ничего необычного не происходит, я обнаруживаю, что беременна. Моя первая реакция — не поверить. Я считаю и пересчитываю, жду еще день, потом другой, прислушиваясь к собственному телу, словно надеясь услышать шаги. Наконец я выскальзываю из дома в аптеку с пузырьком мочи, чувствуя себя преступницей. Замужние женщины идут к своему врачу. Незамужние поступают так, как я.

Аптекарь сообщает, что результат положительный.

— Поздравляю, — говорит он неодобрительно, саркастически. Он видит меня насквозь.

Я боюсь сказать Джону. Он будет ждать, что я пойду и удалю это, как зуб. Он скажет «это». Или велит мне сесть в ванну и будет подливать туда кипяток, а потом напоит меня джином. Или исчезнет. Он часто говорит, что художники не могут жить так, как обычные люди, на привязи у семьи, которой вечно что-то надо, и у материальных ценностей.

Я перебираю все, о чем слышала: выпить побольше джина, вязальные спицы, проволочные вешалки; но как их используют? Я вспоминаю Сюзи и ее крылья красной крови. Не знаю, что именно она сделала, но я этого делать не буду. Слишком страшно. Я не желаю, чтобы со мной получилось так, как с ней.

Я возвращаюсь домой и ложусь на пол в гостиной. Тело — онемелое, инертное, ничего не чувствует. Я с трудом двигаюсь и едва дышу. Мне кажется, что я в центре ничего, совершенно пустого черного квадрата; что я медленно расширяюсь наружу, в холодный обжигающий вакуум космоса.

Я прихожу в себя посреди ночи. И не знаю, где я. Мне мерещится, что я вернулась в свою детскую спальню с мутным плафоном на потолке, в родительском доме, а на полу лежу, потому что

перевернулась вместе с кроватью, как это часто бывало, когда мы спали на армейских раскладушках. Но я знаю, что дом продан, родителей там больше нет. А меня каким-то образом забыли, оставили.

Но это лишь охвостье сна. Я встаю, включаю свет, грею себе молока и сажусь у кухонного стола, дрожа от холода.

До сих пор я изображала вещи, которые на самом деле существовали, стояли передо мной. Теперь я начала изображать вещи, которых нет.

Я пишу серебряный тостер — старого образца, с круглыми ручками и дверцами. Одна дверца приоткрыта, и видна раскаленная докрасна решетка внутри. Я рисую стеклянный кофейник-перколятор с пузырьками в прозрачной воде; вниз упала одна капля темного кофе и начинает расползаться.

Я пишу стиральную машину с отжимными валиками. Машина — приземистый цилиндр, покрытый белой эмалью. Валики — неприятного телесно-розового цвета.

Я знаю, что эти вещи, должно быть, воспоминания, но они не похожи на обычные воспоминания. Очертания у них не расплывчатые, а резкие, четкие. Вещи возникают вне всякого контекста;

они просто существуют, сами по себе, как существует предмет, мельком увиденный на улице.

У меня нет образа себя, связанного с этими предметами. Они пропитаны тревогой, но это не моя тревога. Она заключена в самих вещах.

Я пишу три дивана. Один обит чинцем пыльно-розового цвета; другой — бордовый, бархатный, с антимакассарами. Тот, что в середине — яблочно-зеленый. На средней подушке среднего дивана стоит подставка для яйца — в пять раз больше натуральной величины — а в ней продырявленная яичная скорлупа.

Я пишу стеклянную банку — из нее поднимается букет ядовитого паслёна, как дым, как тьма из бутылки с джинном. Стебли скручиваются и переплетаются, на ветвях грозди красных ягод и фиолетовых цветов. Едва заметные, в самой гуще плотного сплетения глянцевых листьев горят глаза кошек.

Днем я хожу на работу, возвращаюсь, разговариваю, ем. Джон приходит, ест, спит и уходит. Я отстраненно разглядываю его; он ничего не замечает. Каждое мое движение насквозь пропитано нереальностью, размякло от нее. Когда рядом никого нет, я обкусываю пальцы. Мне нужно чувствовать физическую боль, чтобы не

отсоединяться от повседневной жизни. Мое тело — отдельный от меня предмет. Оно тикает, как часы; время идет внутри него. Оно предало меня, и я в отвращении от такого поступка.

Я пишу миссис Смиитт. Она всплывает без предупреждения, как дохлая рыба, материализуясь на диване, который я рисую; сначала белые ноги без щиколоток, покрытые редкими волосками, потом толстое тело и лицо-картошка, глаза в стальной оправе. Бедра укрыты пледом, а за спиной веером вздымается фикус. На голове шляпка, похожая на плохо увязанный сверток фетра — та, которую она носила по воскресеньям.

Она смотрит на меня с плоской поверхности картины, уже трехмерная, и улыбается закрытой полуулыбкой, самодовольной и обвиняющей. То, что со мной случилось, — моя собственная вина, вина моего изъяна.

Миссис Смиитт знает, в чем заключается этот изъян. Но не говорит.

Одно изображение миссис Смиитт тянет за собой цепочку других. Она множится на стенах, подобно бактериям — стоит, сидит, летит, одетая, голая, и преследует меня взглядом множества глаз, совсем как трехмерные картинки с изображением Иисуса, какие продаются в самых

китчевых лавках. Иногда я отворачиваю ее лицом к стене.

61

Я везу Сару в колясочке по улице, огибая кучи грязного тающего снега. Саре уже два года, но, когда мы ходим за покупками, она в своих красных резиновых сапожках еще не успевает за мной пешком. Кроме того, если мы с коляской, продуктовые сумки можно повесить на ручки или запихать в коляску вокруг ребенка. Я научилась множеству подобных мелких ухищрений, в которых раньше не нуждалась, — трюков с предметами, приборами и их размещением в пространстве.

Теперь у нас жилье побольше. У нас троих. Мы занимаем два верхних этажа краснокирпичного полуотдельного дома с проседающей деревянной верандой, крыша которой подперта деревянными квадратными колоннами, на боковой улице, идущей на запад параллельно Блуру. Здесь много итальянцев. Женщины постарше — вдовы и замужние — носят черную одежду и не пользуются косметикой, совсем как я когда-то. Когда я ходила беременная, с заметным животом, они улыбались мне, словно я почти одна из них. Теперь они

первым делом улыбаются Саре.

Сама я ношу мини-юбки базовых цветов, колготки и сапоги, а поверх — плащ до щиколоток. Мне не очень нравится эта одежда. В ней неудобно садиться. Кроме того, после рождения Сары я слегка поправилась. Эти коротенькие юбчонки и крохотные корсажики рассчитаны на женщин гораздо худее меня — мне кажется, что их теперь сотни, тысячи; девочки с мордочками хорьков, с длинными волосами, свисающими до того места, где должна быть попа, плоские спереди, как фанера; рядом с ними я кажусь себе мешком картошки.

Эти девочки принесли с собой новый язык. «Тусить», — говорят они. «Отпад». «Клёвый». «Вписка». «Предки». «Отвисать». Я считаю, что мне уже поздно употреблять такие словечки: они для молодежи, а я уже не молода. Я обнаружила у себя за левым ухом седой волос. Через пару лет мне исполнится тридцать. Практически старуха.

Я качу коляску по дорожке к дому, останавливаюсь у крыльца, отстегиваю Сару, ставлю ее на землю, отцепляю и вытаскиваю сумки с продуктами, складываю колясочку. Помогаю Саре подняться по ступенькам на крыльцо: там может быть скользко. Возвращаюсь за сумками

и коляской, втаскиваю их на крыльцо, роюсь в сумочке в поисках ключа, открываю дверь, поднимаю Сару и вношу в дом, потом вношу сумки и коляску, закрываю и запираю дверь. Помогаю Саре подняться по внутренней лестнице, открываю дверь нашей квартиры, ставлю Сару внутрь, закрываю детский барьер, возвращаюсь вниз за сумками, приношу их наверх, открываю детский барьер, прохожу, закрываю детский барьер, иду на кухню, ставлю сумки на стол и начинаю раскладывать покупки: яйца, туалетную бумагу, сыр, яблоки, бананы, морковку, сосиски и булочки. Меня гложет чувство вины за то, что я так часто подаю на стол сосиски: в моем детстве их покупали только на всяких народных гуляньях и считалось, что они вредны. Через них можно было заразиться полиомиелитом.

Сара хочет есть, и я отрываюсь от раскладывания продуктов, чтобы дать ей стакан молока. Я неистово люблю ее, и часто она меня раздражает.

В первый год ее жизни я все время была уставшая и в голове стоял туман от гормонов. Но я уже начала приходить в себя. И осматриваться.

Приходит Джон, подхватывает Сару на руки, целует, щекоча ей личико бородой, и уносит,

восторженно визжащую, в гостиную: «Давайка спрячемся от мамочки!» У него есть манера делать вид, что они сообщники, в притворном заговоре против меня. Это бесит больше, чем следовало бы. Кроме того, я не люблю, когда он зовет меня мамочкой. Я не его мамочка, а только ее. Но он ее тоже любит. Это оказалось для меня сюрпризом, за который я до сих пор благодарна. Я все еще воспринимаю Сару не как подарок от меня Джону, но как подарок, который он разрешил мне получить. Из-за нее мы поженились — расписались в мэрии. По древнейшей из причин. Уже почти устаревшей, но тогда мы этого не знали.

Джон, отпавший от церкви лютеранин родом из городка Ниагарский Водопад, хотел, чтобы мы поехали туда на медовый месяц. При словах «медовый месяц» он не выдержал и расхохотался. Поездка задумывалась им как некий иронический жест: заниматься банальными вещами, полностью осознавая это. Все равно что написать огромную бутылку кока-колы. «Там потрясающий визуальный ряд», — сказал он. Он хотел сводить меня в музей восковых фигур, к цветочным часам, прокатить к водопаду на кораблике «Дева тумана». Он хотел заказать для нас атласные рубашки с нашими именами, вышитыми на

нагрудном кармане, и надписью «Ниагарский водопад» на спине. Но я молча обиделась на такое отношение к нашей свадьбе. Мы еще не знали, во что ввязываемся, пока шли недели и мое тело медленно раздувалось, как неторопливый воздушный шар из плоти, но шуткой это точно не было. В результате мы не поехали.

Сразу после свадьбы я впала в роскошную леность. Мое тело было как пуховая перина — теплое, бескостное, глубоко утешительное, и я лежала в нем, как в коконе. Возможно, это беременность отключила во мне адреналин. А может, это из-за облегчения, которое я испытывала. Джон тогда для меня светился, как слива на солнце — насыщенный цвет, идеальная форма. Лежа в постели рядом с ним или сидя на кухне, я обшаривала его глазами, словно руками. Мое обожание было физическим и бессловесным. Я думала «Ах» — и больше ничего. Как выдох. Или по-детски: «Мой». Зная, что это на самом деле неправда. «Не меняйся», — думала я. Но он не мог.

Мы с Джоном начинаем ссориться. Ссоримся мы втайне, по ночам, когда Сара спит: перепалка на пониженных тонах. Мы скрываем от нее свои

ссоры, ведь если они пугают нас, то насколько сильней испугается она?

Мы думали, что совершаем побег от взрослых, но теперь мы сами — взрослые; в этом вся суть конфликта. Ни один из нас не хочет брать это бремя на себя целиком. Например, мы соревнуемся в том, кто из нас хуже себя чувствует. Если у меня болит голова, у него начинается мигрень. Если у него вступило в поясницу, у меня страшные спазмы в шее. Никто из нас не хочет заведовать домашней аптечкой. Мы бьемся друг с другом за право оставаться ребенком.

Сначала я не выигрываю в этих битвах, потому что люблю его. Во всяком случае, так я себе говорю. Если я начну их выигрывать, миропорядок изменится, а к этому я не готова. Так что я проигрываю сражения и осваиваю иное искусство. Я пожимаю плечами, поджимаю губы в немом упреке, поворачиваюсь спиной в постели, не отвечаю на вопросы. Говорю: «Делай что хочешь», к мрачной ярости Джона. Ему нужна не просто капитуляция — ему нужно, чтобы его обожали, относились с энтузиазмом к нему и его идеям, и когда он этого не получает, то чувствует себя обманутым.

Теперь Джон работает — неполный день, заве-

дующим в кооперативной студии графического дизайна. Я тоже работаю, тоже неполный день. Вдвоем мы наскребаем на оплату квартиры.

Джон больше не пишет на холсте или вообще на чем бы то ни было плоском. Собственно говоря, он вообще больше не пишет. Плоские поверхности с нанесенной на них краской он называет «картинки для стен». Искусство совершенно не обязано располагаться на стенах, быть заключенным в рамку, состоять из краски. Вместо этого Джон теперь создает конструкции из разных вещей, найденных в мусорке или просто на улице. Он делает деревянные ящики с отсеками, в каждом из которых лежит какой-нибудь предмет: три пары дамских панталон большого размера, флюоресцентных цветов; гипсовая рука с приклеенными длинными фальшивыми ногтями, кружка Эсмарха, накладка из искусственных волос. Он создает моторизованный мохнатый домашний шлепанец, самостоятельно ездящий по полу, и семейство противозачаточных колпачков с приклеенными глазами и ртами и торчащими снизу ножками-пружинками: они скачут по столу, как устрицы-мутанты из фильма ужасов. Он оформил нашу ванную комнату в красных и оранжевых тонах, а на стенах изобразил фиолетовых

резвящихся русалок. Он усовершенствовал сиденье унитаза — когда его поднимаешь, оно играет «Джингл беллз». Это для Сары. Еще он делает для нее игрушки, а также, когда работает, позволяет ей играть с обрезками дерева, остатками ткани и инструментами — из тех, что безопасны.

Все это происходит, когда он здесь. Но чаще его здесь нет.

В первый год после рождения Сары я не бралась за кисти. Тогда я была на фрилансе, работала из дома и едва справлялась с немногими заказанными мне обложками. На мне будто висел тяжкий груз — словно я пыталась плыть в одежде. Теперь, когда я полдня провожу в конторе, стало гораздо легче.

Я вернулась и к, если можно так выразиться, собственной работе, но нерешительно: руки всё забыли, глаза отвыкли. В основном я занимаюсь рисунком, потому что для яичной темперы нужно подготовить поверхность, загрунтовать (что требует труда) и работать предельно сосредоточенно. Я потеряла веру в себя; может, до конца жизни так и будет как сейчас.

Я сижу на складном деревянном стуле, на сцене. Занавес открыт, и я вижу зрительный зал

— маленький, обшарпанный и пустой. Еще на сцене стоят декорации от пьесы, которая только что закончилась. Они изображают будущее, которое, похоже, будет скупо меблировано, зато обставлено большим количеством черных цилиндрических колонн и несколькими суровыми пролетами лестниц.

Среди колонн на других деревянных стульях, а также там и сям на ступенях лестниц сидят семнадцать женщин. Все они имеют какое-то отношение к искусству. Несколько актрис, две танцовщицы, рядом со мной — три художницы. Одна журналистка, одна редактриса из того самого издательства, в котором я работаю. Одна — конферансье на радио, объявляет музыкальные произведения в дневных программах. Одна показывает детские марионеточные спектакли. Одна — профессиональная клоунесса. Одна — театральная художница, и поэтому мы сейчас тут сидим: именно она организовала для нас помещение. Я все это знаю, потому что мы должны были все по очереди представиться и рассказать, чем занимаемся. Не о том, чем мы зарабатываем на жизнь: это другое, особенно для актрис. И для меня.

Я на собрании. Это не первое такое собрание,

которое я посещаю, но они меня все еще поражают. Во-первых, здесь одни женщины. Это само по себе необычно и придает собранию вид некоего заговора, а также неопределенную, притягательную непристойность: последний раз я была среди одних только женщин еще в школе, на уроке здоровья и гигиены, когда девочек отвели в отдельный класс, чтобы рассказать о месячных. Впрочем, так это никто не называл. Официально было принято выражение «эти дни». Нам объяснили, что тампоны, хотя и не рекомендуются для молодых девушек (мы знали, что это значит «девственниц»), не могут затеряться внутри тела и оказаться где-нибудь в легком. Девочки много хихикали, а когда учительница произнесла по буквам «к-р-о-в-ь», одна ученица упала в обморок.

Сегодня никто не хихикает и не падает в обморок. Собрание посвящено гневу.

Здесь говорятся вещи, о которых я никогда не задумывалась сознательно. Ниспровергаются убеждения. Например, почему мы бреем ноги? Почему красим губы? Соблазнительно одеваемся? Изменяем формы своих тел? Разве мы чем-то плохи такие, какие есть?

Эти вопросы задает Джоди, одна из трех других

художниц. Она не одевается соблазнительно и не изменяет форму своего тела. Она в рабочих ботинках и полосатом рабочем комбинезоне, штанину которого задирает, чтобы показать настоящую ногу — вызывающе, роскошно небритую. Я думаю о своих трусливо безволосых ногах и понимаю, что я жертва промывания мозгов — я знаю, что не смогу пойти ва-банк. По крайней мере, подмышки я должна брить.

Оказывается, вот почему мы плохи такие, какие есть: из-за мужчин.

Собравшиеся говорят о мужчинах. Например, две из присутствующих пережили изнасилование. Одна — избиение. Других дискриминировали на работе, обошли повышением, игнорировали; или высмеивали их творчество, презирали его как слишком женское. Третьи начали сравнивать свою зарплату с зарплатой мужчин и обнаружили, что она гораздо ниже.

Я не сомневаюсь, что все это правда. Насильники существуют — в том числе те, что растлевают детей и душат девочек. Они прячутся в тенях, как зловещие мужчины, которые рыщут в оврагах и которых я никогда не видела. Мужчины агрессивны, они затевают войны и совершают убийства. Они меньше работают и получают больше денег.

Они спихивают домашнюю работу на женщин.

Они невнимательны к другим и не желают смотреть в лицо собственным чувствам. Их легко обмануть, да они и сами хотят обмануться: стоит женщине поахать и повздыхать в постели, мужчина решает, что он половой гигант. Эта картина многим знакома, и собравшиеся хихикают. Я начинаю ломать голову, уж не симулировала ли я оргазм, сама того не зная.

Но в этом обличении мужчин я стою на зыбкой почве, поскольку сама живу с мужчиной. Женщин вроде меня — замужних, детных — называют презрительной кличкой «нюки», от выражения «нуклеарная семья». «Пронатализм» вдруг стал ругательным словом. В группе есть и другие нюки, но они в меньшинстве и ничего не говорят в свою защиту. Кажется, достойнее быть женщиной с ребенком, но без мужчины. Это значит, что ты исполнила свой долг. Если ты не ушла от мужчины, то в любых последующих проблемах виновата сама.

Ничто из этого не формулируется вслух.

Собрания должны придать мне силу, и в каком-то смысле они выполняют свою задачу. Гнев способен двигать горы. Кроме того, на собраниях я поражаюсь: меня шокируют и приводят в

восторг подобные заявления из женских уст. Я начинаю думать, что женщины, которых я считала дурами или тряпками, возможно, просто многое скрывали — как и я сама.

Но еще на собраниях меня что-то выбивает из колеи, и я не могу понять, что именно. Я мало говорю, я неловка и неуверенна, потому что любые мои слова могут оказаться неправильными. Я недостаточно страдала, я не исполнила свой долг, я не имею права голоса. Мне кажется, что я стою у закрытой двери, пока за ней принимаются решения касательно меня, мне выносится приговор. Но в то же самое время я хочу угодить собравшимся.

Сестричество — понятие, которое мне трудно усвоить. Это потому, что у меня никогда не было сестры, говорю я себе. В отличие от братства.

Я работаю по ночам, когда Сара спит, или рано утром. Вот сейчас я пишу Деву Марию. Я изображаю ее в голубом платье, под традиционным белым покрывалом, но с головой львицы. Христос у нее на коленях имеет облик львенка. Если в традиционной иконографии лев часто символизирует Христа, почему бы не изобразить Богородицу в виде львицы? Этот образ кажется мне более точным отражением материнства,

чем бескровные, как снятое молоко, мадонны из курса истории искусств. Моя Дева Мария полна ярости, бдительна, необузданна. Она смотрит на зрителя ровным взглядом желтых львиных глаз. У ее ног лежит обглоданная кость.

Я пишу Деву Марию, сходящую на землю, покрытую мокрым кашеобразным снегом. Поверх голубого одеяния наброшено зимнее пальто, а на плече висит сумочка. Мария несет два магазинных пакета, набитых продуктами. Из пакетов кое-что выпало: яйцо, луковица, яблоко. У Девы Марии усталый вид.

Я называю эту картину «Богоматерь Неустанной Помощи».

Джону не нравится, что я пишу по ночам.

— А когда я еще должна этим заниматься? Ну скажи.

На это существует только один ответ, не подразумевающий затрат времени со стороны самого Джона: «Не пиши вообще». Но он не произносит этого вслух.

Он не высказывает мнение о моих картинах, но я и так знаю. Он думает, что они неактуальны. В его глазах я и мои работы одним миром мазаны с дамочками, рисующими цветочки. Мазаны — ключевое слово. Современность движется вперед,

выбрасывая на свалку одну концепцию за другой, а я застряла где-то в стороне от дороги, возясь с яичной темперой и плоскими поверхностями, как будто двадцатого века не было вообще.

В этом — свобода: если то, что я делаю, неважно, я могу делать что хочу.

Мы начинаем хлопать дверями и кидаться предметами. Я бросаю в Джона свою сумочку, пепельницу и пакет шоколадных капель. Пакет при ударе рвется, и потом мы неделю подбираем шоколад с пола. Джон целит в меня стаканом молока — молоком, а не стаканом: он знает собственную силу, а я нет. Он бросает в меня коробку сухих завтраков «Чириос» — запечатанную.

Я кидаюсь более опасными снарядами, но промахиваюсь. Джон попадает в цель, но то, что он швыряет, безобидно.

Джон разбивает предметы и приклеивает обломки к месту в том виде, в каком они разлетелись. Я, кажется, понимаю, что его привлекает в этом занятии.

Джон сидит в гостиной и пьет пиво с одним из живописцев. Я на кухне грохочу кастрюлями.

— Чего это она? — спрашивает гость.

— Бесится, что взять с бабы, — отвечает Джон.

Такого мне не говорили много лет — еще со школы. Когда-то эти слова было крайне унизительно услышать; и совершенно сбивало с ног, если их сказал про тебя мужчина. В них подразумевалось, что быть женщиной — некая аномалия, уродство, отклонение.

Я подхожу к двери гостиной:

— Я бешусь не потому, что я баба. Я бешусь потому, что ты козел.

62

Мы, несколько художниц из числа тех, что ходят на собрания, устраиваем групповую выставку, в которой участвуют только женщины. Затея рискованная, и нам это известно. Джоди говорит, что истеблишмент от искусства, где доминируют мужчины, захочет смешать нас с грязью. Их нынешняя идеология заключается в том, что великое искусство не зависит от пола художника. А идеология Джоди — в том, что до сих пор мир искусства состоял в основном из мужчин, хвалящих друг друга. Женщину-художника они могут похвалить только как диковинку, гротескную игру природы. «Чудо-без-сисек», — говорит она.

Женщины, возможно, тоже постараются сме-

шать нас с грязью — за то, что мы посмели выделиться, противопоставить себя общей массе. Нас могут заклеймить как сторонниц элитизма. Кругом множество ловушек.

Участниц выставки четверо. Кэролин, ангельски луноликая, темноволосая, со стрижкой каре, зовет себя художницей по текстилю. Некоторые ее работы — лоскутные одеяла с необычным узором. На одном приклеены презервативы, набитые тампонами (неиспользованными), образующие слова: «ЧТО ЕСТ ЛУБОФ?» Другое одеяло сделано из лоскутов в цветочек, а поверх — аппликация, провозглашающая:

«ЗА
МУЖ
ЕМ!»

Еще она делает настенные подвесные композиции из туалетной бумаги, скрученной в жгуты. Она заплетает их в косички и ткет что-то вроде ковриков, используя в качестве основы кинопленку — древние порнофильмы, «любительский жанр», как выражались в былые годы.

— Подержанная порнушка, — бодро говорит она. — Переработка вторсырья, а?

Джоди занимается магазинными манекена-

ми: она распиливает их на куски и склеивает обратно в шокирующих конфигурациях. Затем доводит до ума при помощи краски, техники коллажа и стальной мочалки, приклеенной в стратегических местах. Один манекен свисает с крюка, воткнутого ему в солнечное сплетение, у другого (другой) все лицо расписано деревьями и цветами, словно филигранная татуировка. Я не подозревала, что Джоди способна на такую тонкую работу. У третьей манекенши к животу приклеены шесть или семь кукольных голов. Кое-какие из них я узнаю: Спаркл Пленти, Беби Борн, Барбара Энн Скотт.

Зилла светловолосая и худая, как хрупкие девушки-хиппи, которых я знала несколько лет назад. Она называет свои работы пухзажами. Они сделаны из сгустков текстильной пыли, похожих на фетр — тех, что скапливаются в фильтре сушильной машины для белья и вынимаются целыми пластами. Я сама часто любовалась такими, неся их к мусорной корзине: их текстурой, нежной расцветкой. Зилла купила множество полотенец разных цветов и прогоняет их через сушилку, чтобы получить нужные оттенки розового, серо-зеленого, белесого, а также стандартного серого, как комья пыли под кроватью. Пласты

пуха она разрезает, придает им нужную форму и осторожно клеит на подложку. Получаются многослойные композиции, напоминающие облачное небо. Я ими заворожена и жалею только, что не додумалась до такого первая.

— Это все равно что печь суфле, — говорит Зилла. — Одно дуновение холодного воздуха, и все пропало.

Джоди — она больше, чем все остальные, занимается оргвопросами — просмотрела мои картины и отобрала некоторые для выставки. Несколько натюрмортов, стиральную машину с отжимными валиками, тостер, ядовитый паслён, «Трех ведьм». «Три ведьмы» — это картина с тремя разными диванами.

Кроме натюрмортов, я выставляю в основном фигуративные работы, хотя есть и пара композиций из соломинок для питья и сухих макарон, а также одна под названием «Серебряная бумага». Я не хотела их показывать, но Джоди они понравились. «Подручные материалы», — сказала она.

Все мои картины с Девой Марией отправились на выставку, и все миссис Смиитт — тоже. Я думала, ее слишком много, но Джоди решила взять всех.

— Это женщина как анти-торт, — сказала

она. — Почему всегда рисуют только молодых и красивых? Приятно для разнообразия видеть стареющее женское тело, бережно воспроизведенное.

Примерно то же самое, только в более высокопарных выражениях, она написала и в каталоге.

Выставка проходит в небольшом супермаркете, уже не действующем, дальше по Блуру на запад. В помещении скоро должна открыться бургерная, но пока оно пустует, и одна из участниц, знакомая с кузиной жены владельца, уговорила его пустить туда нас на две недели. Она рассказала ему, что в эпоху Возрождения самые знатные герцоги славились своим эстетическим вкусом и меценатством, и ему это польстило. Он не знает, что это выставка из одних женщин: она сказала просто «несколько художников». Он позволил нам занять помещение при условии, что мы его не разгромим.

— Что тут можно разгромить? — говорит Кэролин, когда мы начинаем осматриваться. Она права, тут и так уже все разгромлено. Полки и прилавки для овощей демонтированы, с пола, когда-то покрытого линолеумной плиткой, там и сям сорваны куски и видны голые широкие доски. Под потолком болтаются голые лампочки

в проволочных клетках, некоторые перегорели. Кассы, однако, остались на месте, и на стенах еще висят перекошенные надписи: «Акция! Три штуки за 95 центов!», «Свеженькое мясцо из Калифорнии».

— Мы можем сделать так, чтобы это пространство работало на наш замысел, — Джоди расхаживает по залу, сунув руки в карманы комбинезона.

— Как? — спрашивает Зилла.

— Я не зря занималась дзюдо, — отвечает Джоди. — Мы используем собственное движение противника, чтобы вывести его из равновесия.

На практике это означает, что она берет плакат «Свеженькое мясцо из Калифорнии» и встраивает его в одну из собственных инсталляций — крайне жестокую расчлененку, в которой манекенша, одетая только в веревки и кожаные ремешки, держит под мышкой собственную голову, перевернутую шеей вверх.

— Будь ты мужчиной, тебя бы за это растоптали, — говорит Кэролин.

— Но я не мужчина, — мило улыбается Джоди.

Мы трудимся три дня — вешаем, расставляем, перевешиваем и переставляем. Когда все работы занимают свои места, нужно собрать раскладные

столы, которые будут играть роль бара, и купить бухло и жрачку. «Бухло и жрачка» — это из лексикона Джоди. Мы покупаем канадское вино в четырехлитровых канистрах, полистироловые стаканчики для вина, соленые крендельки и картофельные чипсы, куски чеддера, завернутые в пластик, крекеры. Это все, что мы можем себе позволить; но кроме того, существует неписаное правило — угощение должно быть абсолютно плебейским.

Наш каталог — это пара страниц, отпечатанных на ротаторе и скрепленных скобкой в уголке. Предположительно он — плод наших коллективных усилий, но на самом деле большую часть текста написала Джоди, потому что у нее это лучше получается. Кэролин изготавливает вывеску — из простынь, выкрашенных так, словно на них кто-то кровоточил, — и мы вешаем ее над входом:

«(ОНА)РХИЯ»

— Что вы хотели этим сказать? — спрашивает Джон, который заехал вроде бы забрать меня, но на самом деле — посмотреть. Он подозрительно относится к моим занятиям с другими женщинами, хотя говорить об этом вслух — ниже его достоинства. Однако он именует их «девочка-

ми».

— Это слово «анархия», в которое инкапсулировано слово «она», — объясняю я, хотя знаю, что он знает. «Инкапсулировать» — тоже словечко Джоди.

Джон оставляет это без комментариев.

Вывеска привлекает внимание прессы: что-то новое, событие, возможный скандал. Одна газета еще до открытия присылает фотографа, и он, снимая нас, приговаривает:

— Ну-ка, девочки, сожгите-ка для меня пару лифчиков.

— Свинья, — тихо произносит Кэролин.

— Спокойно, — говорит Джоди. — Они обожают, когда мы бесимся.

В день открытия выставки я прихожу в галерею заранее. Я обхожу экспозицию, двигаясь вдоль бывших проходов магазина, вокруг касс, где теперь выстроились скульптуры Джоди, как манекенщицы на подиуме, мимо стены, с которой вызывающе кричат лоскутные одеяла Кэролин. Это сильные работы, думаю я. Сильнее моих. Мне кажется, что даже облачные конструкции Зиллы уверенны и тонки, в них есть решимость, которой недостает моим работам; в этом окружении мои картины слишком вылизаны, слишком

декоративны, они приятны на вид — и всё.

Я сбилась с пути. Я не сумела высказаться. Я на обочине.

Я выпиваю ужасного вина, потом еще, и мне становится чуть лучше, хоть я и знаю, что потом мне будет плохо. Оно похоже на уксус, в котором маринуют мясо перед жаркой.

Я стою у стены, рядом с дверью, вцепившись в стаканчик с вином. Я стою тут, потому что хочу быть ближе к выходу. Но это также и вход, через который прибывают люди, все больше людей.

Большинство из них — почти все — женщины. Самые разные. С длинными волосами, в длинных юбках, в джинсах и комбинезонах, с серьгами, в кепках наподобие тех, что носят рабочие на стройке, в шалях лавандового цвета. Одни из них тоже художницы, другие просто так выглядят. Кэролин, Джоди и Зилла тоже уже появились — слышатся приветствия, женщины сжимают друг другу руки, целуют друг друга в щечки, восторженно взвизгивают. Похоже, у всех троих есть друзья — гораздо больше, чем у меня. И близкие подруги. Я никогда не замечала этой пустоты вокруг себя и всегда думала, что другие женщины — такие же, как я. Да, когда-то они были такими. А теперь — нет.

Конечно, у меня есть Корделия. Но я ее много лет не видела.

Джон еще не пришел, хотя и обещал. Мы даже бэбиситтера позвали на вечер, чтобы Джон мог прийти. Я думаю, не пофлиртовать ли мне с кем-нибудь. С кем-нибудь совершенно неподходящим — просто так, посмотреть, что будет; но вариантов мало, так как мужчин на выставке почти нет. Я проталкиваюсь через толпу с очередным стаканом гадкого красного уксуса, пытаясь не чувствовать себя лишней.

Прямо рядом со мной раздается женский голос:

— Да, эти работы определенно *оригинальны*.

Типичная формулировка почтенной торонтовской дамы из среднего класса, предназначенная для того, чтобы смешать тебя с грязью. Апофеоз неодобрения. Нечто подобное они могут сказать про трущобы и их жителей. «Я не повешу такое у себя над диваном», — вот что она имела в виду. Я поворачиваюсь и смотрю на нее: хорошо сшитый серебристо-серый костюм, жемчуга, элегантный шарфик, дорогие замшевые туфли. Она убеждена в своей власти, в своем праве выносить вердикты. А я и такие, как я, здесь только до тех пор, пока нас терпят.

— Элейн, познакомься, это моя мама, — гово-

рит Джоди. От мысли, что эта женщина — мать Джоди, у меня перехватывает дух. — Мама, Элейн нарисовала те цветы. Те, что тебе понравились.

Она имеет в виду «Ядовитый паслён».

— О да, — мать Джоди тепло улыбается. — Вы, девочки, все такие талантливые. Мне и правда понравилась та картина. Изумительные цвета. Но зачем в ней все эти глаза?

Это ужасно похоже на то, что сказала бы моя мать, и меня пробирает тоска. Я хочу, чтобы мама была здесь. Ей не понравилось бы большинство наших работ, особенно расчлененные манекены; она бы не поняла их. Но она улыбалась бы и нашла бы что сказать приятного. Совсем недавно я высмеивала такой дар. Теперь я в нем нуждаюсь.

Я раздобываю еще стакан вина и крекер с сыром и вглядываюсь в толпу, ища Джона. Но вместо него я вижу над толпой миссис Смиитт.

Миссис Смиитт следит за мной. Она лежит на диване, прикрывшись пледом, все в той же фетровой шляпке, отчасти напоминающей тюрбан. Эту картину я назвала «Торонтодалиска. Подражание Энгру» — из-за позы, и еще потому, что фикус у нее за головой напоминает веер. Она сидит перед зеркалом, и половина ее лица сползает вниз, как у негодяя в однажды читанном мною

комиксе-ужастике; он назывался «Проказа». Она стоит у раковины в своей кухне — зловещий нож для чистки овощей в одной руке, полуочищенная картофелина в другой. Картина называется «ОКО·ЗА·ОКО».

Рядом — «Белый дар», тетраптих. На первой панели миссис Смиитт завернута в белую папиросную бумагу, как банка колбасного фарша или мумия. Из бумаги торчит лишь ее голова, на лице замкнутая полуулыбка. На последующих панелях миссис Смиитт постепенно лишается покровов: она в халате из набивного ситца и в фартуке с нагрудником, потом — в корсете телесного цвета, как на последних страницах каталога Итона (хотя, скорее всего, такого корсета у нее не было), и, наконец, в вытянутых х/б панталонах, единая большая грудь рассечена, чтобы видно было сердце. Это сердце умирающей черепахи: рептильное, темно-красное, изъеденное болезнью. По нижнему краю панели идет надпись, выведенная по трафарету: «ЦАРСТВО·БОЖИЕ· ВНУТРЬ·ВАС·ЕСТЬ».

Для меня до сих пор загадка, почему я так ненавижу миссис Смиитт.

Я отвожу от нее взгляд и вижу другую миссис Смиитт, но она шевелится. Она только что вошла в зал и направляется ко мне. Она в таком же

возрасте, как тогда. Словно сошла со стены, со стен: то же круглое лицо, похожее на очищенную картофелину, то же громоздкое ширококостное тело, сверкающие очки и корона из кос, заколотая шпильками. У меня в животе все сжимается от ужаса; но тут же вспыхивает прогоркшая ненависть.

Но, конечно, это никак не может быть миссис Смиитт. Та должна была уже состариться. И впрямь, не она. Корона из кос оказалась оптической иллюзией: просто седеющие, коротко стриженные волосы. Это Грейс Смиитт, неприглядная и полная праведного гнева, в бесформенной, безвозрастной одежде навозного цвета; ни колец, ни украшений. По тому, как она шагает — выпрямив спину, трепеща, сжав губы, веснушки проступают на белой картофельной коже укусами клопов, — я понимаю, что никакие заискивающие улыбки с моей стороны не превратят нашу встречу в легкий обмен приветствиями.

Но я все равно пытаюсь:

— Грейс, это ты?

Несколько человек, стоящих рядом, замолкают на полуслове. Подобных женщин крайне редко увидишь на открытии какой бы то ни было выставки.

Грейс неумолимо движется вперед. Ее лицо пополнело по сравнению с детскими годами. Я вспоминаю туфли с ортопедическими вставками, толстые хлопчатобумажные чулки, трусы, истончившиеся и посеревшие от стирки, угольные подвалы. Я ее боюсь. Не того, что она может со мной сделать, а ее осуждения. Сейчас она вынесет приговор.

— Вы отвратительны, — произносит она. — Вы поминаете имя Божие всуе. Зачем вы хотите делать людям больно?

Что тут скажешь? Я могла бы ответить, что моя миссис Смиитт на самом деле не мать Грейс, а составной художественный образ. Я могла бы заговорить о формальных качествах живописи, о целенаправленном использовании цвета. Но «Белый дар» — не составной художественный образ. Это портреты миссис Смиитт, и притом непристойные. Как рисунки в туалетах, только возведенные на следующую ступень.

Грейс смотрит мимо меня, на стену: там не одна или две шокирующие, мерзкие картинки — их множество. Миссис Смиитт шагает из рамы в раму, преображаясь на ходу: голая, выставленная на всеобщее обозрение, осквернённая, вместе с бархатным бордовым диваном, священным фи-

кусом, ангелами Господними. Я зашла слишком далеко.

Грейс сжимает кулаки, толстый подбородок дрожит, глаза красные и мокрые, как у лабораторного кролика. Она что, плачет? Я в ужасе, но в то же время глубоко удовлетворена. Грейс наконец позорится на людях, а я полностью владею собой.

Но я приглядываюсь еще раз, повнимательней: эта женщина — не Грейс. Даже не похожа. Грейс — моя ровесница, она не может так выглядеть. Есть некоторое сходство, вот и все. Эта женщина — незнакомка.

— Постыдились бы, — говорит не-Грейс. Она прищуривается за стеклами очков. Поднимает кулак, и я роняю стакан с вином. Красные брызги на полу и стенах.

В сжатом кулаке у нее — флакон чернил. Дрожащей рукой она отвинчивает крышку, и я затаиваю дыхание — со страхом, но и с любопытством: в кого она бросит, неужели в меня? Потому что она явно собирается швырнуть чернильницу. Кругом ахают, все происходит очень быстро, сквозь толпу к нам проталкиваются Кэролин и Джоди.

Не-Грейс швыряет чернила — вместе с флако-

ном — прямо в «Белый дар». Флакон ударяется и грохается на ковер, чернила выплескиваются, окутывая миссис Смиитт покрывалом «Синих смывающихся» фирмы «Паркер». Женщина торжествующе улыбается мне, разворачивается и спешит к выходу — уже не решительным маршем, а торопливо семеня.

Я зажимаю рот руками, словно собираясь закричать. Кэролин обнимает меня, окутывает собой. Она пахнет материнством.

— Я вызову полицию, — говорит она.

— Не надо, — отвечаю я. — Это смоется.

Вероятно, так оно и есть, потому что «Белый дар» написан на деревянных панелях и покрыт лаком. Возможно, даже вмятины не будет.

Вокруг меня собрались женщины — шуршат перышками, воркуют. Меня успокаивают, утешают, гладят, лелеют, будто я в шоке. Может, они искренни. Может, они в самом деле хорошо ко мне относятся. С женщинами я никогда не знаю, так ли это.

— Кто это был? — спрашивают они.

— Какая-то религиозная фанатичка, — отвечает Джоди. — Реакционерка.

Теперь на меня будут смотреть уважительно: раз в мои картины швыряют чернилами, раз они

могут вызвать такую ярость и вспышку насилия, такой публичный скандал, значит, в них есть некая непостижимая революционная мощь. Отныне я кажусь дерзкой и смелой. К моему облику добавился героизм.

В газете появляется заголовок: «Скандал на шабаше феминисток: клочья летят». На фотографии я с искаженным лицом зажимаю себе рот руками; на заднем плане голая миссис Смиитт истекает чернилами. Так я узнаю́, что женская драка — новостной повод. Женская драка — это что-то неприличное, перевернутое вверх тормашками, комичное, все равно что мужчина в вечернем платье и на каблуках.

Собственно работы удостаиваются нелестных эпитетов: «колючие», «визгливые», «агрессивные». Эти слова относятся в основном к статуям Джоди и лоскутным одеялам Кэролин. Пухзажи Зиллы объявляются «субъективными», «интровертированными» и «эфемерными». Я отделываюсь сравнительно легко: «наивный сюрреализм с капелькой феминистической кислоты».

Кэролин делает ярко-желтую вывеску с красными словами «Колючие — визгливые — агрессивные» и вешает ее над входом. На выставку приходит еще больше народу.

63

Я сижу в приемной и жду. Вокруг безликие стулья светлого дерева с оливково-зеленой обивкой и три журнальных столика. Это громоздкая имитация ранней скандинавской мебели, которая была популярна десять-пятнадцать лет назад, а ныне бесповоротно вышла из моды. На одном из столиков лежат затертые журналы — «Ридерс дайджест», «Маклин». На другом стоит пепельница, белая, с ободком из розочек. Ковер оранжево-зеленый, стены желтоватые. На стене одна картина — литография с изображением двух жеманных и отвратительных детей в псевдокрестьянских костюмах, вроде бы австрийских. Они укрываются грибом вместо зонтика.

Пахнет застарелым табачным дымом, старой резиной, заношенной интимностью тряпки, которая слишком долго терлась о тело. Поверх всего этого из коридора несет антисептическим средством для мытья полов. Окон нет. В этой приемной болят зубы, как от скрипа ногтями по классной доске. Мне кажется, что я жду приема у зубного врача или собеседования на заранее ненавистную должность.

Это — укромная частная психушка. Санаторий,

как ее называют: «Санаторий имени Дороти Линдвик». Сюда богачи сдают своих родственников, которых неудобно выпускать на улицу — чтобы те не угодили в дом 999 по Куин-стрит, заведение отнюдь не укромное и не частное.

Куин-стрит, 999 — с одной стороны, реальный адрес сумасшедшего дома, а с другой — общий термин: им в нашей школе обозначались вообще все на свете психушки, дурдома и заведения для чокнутых, которые мы могли себе представить. Нам только и оставалось их себе представлять, поскольку настоящих мы в глаза не видели. «Куин-стрит, 999», — говорили мы, высовывая язык из угла рта, скашивая глаза к носу и крутя обоими указательными пальцами у висков. Безумие считалось смешным — как и другие вещи, на самом деле пугающие и глубоко постыдные.

Я жду Корделию. Во всяком случае, я думаю, что это окажется Корделия: по телефону ее голос звучал непохоже, он был медленный и какой-то поврежденный.

— Я тебя видела, — были ее первые слова, будто мы последний раз общались пять минут назад. На самом деле прошло семь лет… а может, восемь… или девять… В то лето, когда она работала на Шекспировском фестивале в Стратфорде. Лето

Иосифа.

— В газете, — добавила она. И замолчала, словно то был вопрос.

— Да, — сказала я. И потом, зная, что она этого ждет: — Давай встретимся?

— Меня отсюда не выпускают, — тот же заторможенный голос. — Тебе придется прийти сюда.

И вот я здесь.

Через дверь в дальнем конце приемной входит Корделия. Она идет медленно, словно балансирует на канате или словно у нее болит нога. Но она не хромает. За ней идет другая женщина — с жизнерадостной, фальшивой зубастой улыбкой профессиональной сиделки.

Я не сразу узнаю Корделию, она сильно изменилась. Точнее, она изменилась по сравнению с тем, какой была, когда я ее видела в последний раз — в пышной ситцевой юбке, с экзотическим браслетом, элегантная и уверенная в себе. Она вернулась к более ранней фазе. Или к более поздней? Мягкий зеленый твид и приталенные блузки ее обеспеченного детства. Теперь они придают ей почтенный и немолодой вид, потому что она поправилась. Хотя точно ли? Плоти стало больше, но она как-то съехала вниз, к талии, будто лавина сошла с горы. На лице проступили

длинные кости, а кожа стянулась книзу, будто от неумолимой гравитации. Я вижу, какой будет Корделия в старости.

Ей кто-то сделал прическу. Не она сама. Она ни за что не стала бы завивать волосы мелким барашком.

Корделия стоит неуверенно, слегка щурясь, выставив голову вперед и едва заметно качая ею из стороны в сторону — так делают слоны или какие-нибудь другие медленно соображающие, растерянные животные.

— Корделия! — я встаю.

— А вот и ваша подружка, — женщина безжалостно улыбается. Она берет Корделию за руку и слегка тянет, указывая нужное направление.

— А вот и я, — говорю я, заражаясь манерой санитарки — разговаривать с Корделией как с ребенком. Я подхожу и неловко целую ее. К своему удивлению, я обнаруживаю, что рада ее видеть.

— Лучше поздно, чем никогда, — произносит Корделия. Она говорит так же неуверенно, негнущимся языком, как по телефону. Женщина подводит ее к стулу напротив моего, сажает, слегка толкнув вниз, как строптивую старушку.

Я вдруг начинаю злиться. Никто не имеет права так обращаться с Корделией. Я сердито гляжу на

санитарку, а она произносит:

— Как мило, что вы пришли! Корделия рада, когда у нее гости. Правда, Корделия?

— Ты можешь вывести меня погулять, — говорит Корделия. И смотрит на сиделку, ища подтверждения.

— Да, верно, — подтверждает сиделка. — Выпейте чаю или что-нибудь такое. Если вы обещаете привести ее назад, конечно!

Она бодро смеется, будто это шутка.

Я веду Корделию погулять. «Санаторий имени Дороти Линдвик» находится в пригороде под названием Хай-парк. Я тут никогда не бывала и совсем не знаю здешних мест, но в нескольких кварталах впереди на углу есть кафе. Корделия знает его и дорогу туда. Я думаю, следует ли взять ее под руку, и в итоге не беру; я иду рядом с ней, бдя за двоих на перекрестках, будто она слепая, и подстраивая свой шаг под ее.

— У меня совсем нет денег, — говорит Корделия. — Они мне не дают. Они даже сигареты для меня покупают.

— Это ничего.

Мы устраиваемся в кабинке, заказываем кофе и два подогретых дэниша. Заказываю я: не хочу, чтобы официантка пялилась. Корделия неловко

достает сигарету. Рука, подносящая зажигалку, дрожит.

— Тестикулы могущественного сверхъестественного высшего существа! — произносит она, очень старательно выговаривая слоги. — Как хорошо оттуда вырваться!

Она пробует смеяться, и я смеюсь вместе с ней, чувствуя, что согрешила и что против меня выдвинуто обвинение.

Мне надо бы расспросить ее: чем она занималась все те годы, что мы пропустили? Как ее актерская карьера, что из этого вышло? Замужем ли она, есть ли у нее дети? Что, собственно, случилось — почему она оказалась в этом заведении? Но все это лишнее. Наносное, добавочное. Главное — Корделия, тот факт, что она здесь и сейчас.

— Что за гадость тебе дают? — спрашиваю я.

— Какие-то транквилизаторы. Я их ненавижу. У меня от них слюни текут.

— Зачем? Как ты вообще оказалась в этом дурдоме? Ты не более сумасшедшая, чем я.

Корделия смотрит на меня, выдувая дым. Она отвечает не сразу:

— У меня дела шли не так чтоб хорошо.

— И?

— И. Я наглоталась таблеток.

— Ох, Корделия. — Меня словно взрезают чем-то острым. Словно у меня на глазах падает ребенок и ударяется ртом о камень. — Почему?

— Не знаю. На меня просто что-то нашло. Я очень устала.

Нет смысла говорить ей, что она зря это сделала. И я поступаю так, как когда-то в школе: начинаю выведывать подробности:

— Так что, ты вырубилась?

— Угу. Я для этого сняла номер в гостинице. Но они догадались — управляющий или кто там. Мне промыли желудок. Отвратительная процедура. Тошнотворная, можно сказать.

Она что-то делает лицом — это был бы смех, не будь оно таким застывшим. Мне кажется, что я сейчас заплачу. В то же время я злюсь на нее, сама не зная почему. Она потеряла идею себя. Она заблудилась.

— Элейн, вытащи меня оттуда, — говорит она.

— Что? — осекаюсь я.

— Помоги мне выбраться. Ты не знаешь, каково там. Не дают ни минуты побыть одной.

Это самое близкое к мольбе, что я от нее когда-либо слышала.

В голове всплывает фраза — остаток от общения с мальчишками, от субботних послеобеденных

часов, от чтения комиксов: «Что ты пристаешь к малышу? К большим ребятам, небось, не лезешь!»

— А как? — спрашиваю я.

— Придешь навестить меня завтра, и мы уедем на такси. — Она видит, что я колеблюсь. — Или просто одолжи мне денег. Больше ничего не надо делать. Я утром спрячу таблетки, не стану их глотать. Тогда я буду в порядке. Я знаю, это из-за таблеток я такая. Мне только двадцать пять долларов, больше не нужно.

— У меня нет столько денег с собой, — говорю я. Это правда, но все равно отговорка. — Тебя поймают. Они поймут, что ты не выпила таблетки. Заметят.

— Я их запросто обдурю, — говорит Корделия. В голосе слышен призрак ее былой хитрости. Ну конечно, думаю я, она актриса. Или была актрисой. Она может что угодно изобразить. — И вообще эти доктора ужасно тупые. Они меня без конца расспрашивают, верят всему, что я им говорю. И всё записывают.

Значит, там есть и врачи. Даже не один.

— Корделия, но разве я могу решать такие вещи? Я даже не поговорила… ни с кем не поговорила.

— Они все сволочи. Я совершенно здорова. Ты же знаешь. Ты же сама сказала.

Под застывшим, обвисшим лицом бьется в истерике ребенок.

Я представляю себе, как спасаю, умыкаю Корделию. Это можно сделать, или что-то в этом роде; но куда я ее дену? Она заляжет на дно у нас дома, будет спать на импровизированной кровати, как те уклонисты от призыва, как беженка, перемещенное лицо, будет курить в кухне с Джоном, недоумевающим, кто это вообще такая и откуда ее черт принес. Наши отношения и так шатки; я боюсь, что не могу себе позволить Корделию. Она окажется моим очередным прегрешением, которое Джон добавит к длинному списку, хранящемуся у него в голове. И вообще, как бы мне самой вскорости не съехать с катушек.

И еще я обязана думать о Саре. Как она отнесется к «тете Корделии»? Умеет ли Корделия обращаться с маленькими детьми? И насколько она в самом деле вменяема? Как скоро я, вернувшись домой, найду ее холодное тело на полу в ванной, или еще чего похуже? А вокруг будет расплываться ярко-красный закат. У Джона на рабочем столе целый арсенал — лобзики, зубила. Памятуя театральные таланты Корделии — мо-

жет, это будет просто игра на зрителей, один-два надреза на глубину кожи. Хотя возможно, что актеры склонны к риску больше, а не меньше, чем обычные люди. Чтобы хорошо сыграть роль, они пожертвуют чем угодно.

— Корделия, я не могу, — мягко говорю я. Но я не чувствую к ней никакой мягкости. Я киплю злобой, гневом, который не могу ни объяснить, ни выразить. «Как ты смеешь меня об этом просить?» Мне хочется выкрутить ей руку и натыкать ее лицом в сугроб.

Официантка приносит счет.

— Ну что, ты напитала свою персону? — спрашиваю я, стараясь, чтобы голос звучал легко, и пытаясь переменить тему. Но Корделия никогда не была дурой.

— Значит, не хочешь, — говорит она. И добавляет уныло: — Я знаю, ты всегда меня ненавидела.

— Нет! С какой стати? Нет же!

Я в шоке. Почему она такое сказала? Я не помню, чтобы когда-нибудь ее ненавидела.

— Я все равно выберусь, — говорит она. Уверенно, уже не заторможенно. На лице упрямство, вызов — такой я ее помню много лет назад. «И?»

Я веду ее обратно и сдаю с рук на руки.

— Я приду тебя навестить.

Я честно собираюсь это сделать, но в то же время знаю, что шансов мало. Я говорю себе, что с Корделией все будет в порядке. Она и под конец школы такая была, а потом выкарабкалась. Может, и сейчас выкарабкается.

Возвращаясь домой на метро, я разглядываю рекламу: пива, шоколадного батончика, лифчика, что на лету превращается в птицу. Я изображаю облегчение. Я чувствую себя невесомой и свободной.

Но я не свободна. Я не свободна от Корделии.

Мне снится, что Корделия падает — с утеса или моста — на фоне сумерек, растопырив руки, и юбки ее раздуваются колоколом, образуя в воздухе как бы снежного ангела. Она не приземляется и не ударяется о землю: она все падает и падает, и я просыпаюсь с колотящимся сердцем, с землей, ушедшей из-под ног, как в лифте с оборвавшимся тросом.

Мне снится, что Корделия стоит во дворе нашей старой школы имени королевы Марии. Школы уже нет, остался только двор для прогулок и склон на задворках, с чахлыми вечнозелеными деревцами. Корделия в куртке от лыжного комбинезона, но она не ребенок, она в том же возрасте, что сейчас. Она знает, что я бросила ее в беде, и

зла на меня.

Проходит месяц, а может, два или три, и я сочиняю послание Корделии на писчей бумаге с цветочным бордюром — из тех, что оставляют мало места для собственно письма. Я специально выбираю такую. Записка настолько полна фальшивой бодрости, что у меня едва хватает сил заклеить конверт. В ней я предлагаю новый визит.

Но письмо приносят обратно с пометкой: «Адресат выбыл». Я рассматриваю эти слова под всевозможными углами, пытаясь понять, не сама ли Корделия их написала, замаскировав свой почерк. Но если это не она, если ее больше нет в санатории, куда она делась? Она может в любую минуту позвонить в дверь или по телефону. Она может оказаться где угодно.

Мне снится статуя-манекен вроде тех, что выставляла Джоди — распиленная и снова склеенная. На ней нет ничего, кроме марлевого костюма, расшитого блестками. Манекен кончается у шеи. Под мышкой у него — завернутая в белую ткань голова Корделии.

XII. На одном крыле

64

В углу парковки, среди шикарных бутиков, восстановили закусочную в стиле сороковых годов. На вывеске так и написано, «Закусочная “40ковые”». Не в отреставрированном старом здании, а в новом, с иголочки.

Когда-то они не успевали сносить подобное старьё.

Внутри все выглядит почти как в те времена, только слишком чисто; и стиль не то чтобы сороковых, скорее, начала пятидесятых. Прилавок с газированной водой, вдоль него табуретки с ядовито-зелеными сиденьями. Стены кабинок покрыты глянцево-фиолетовым винилом, напоминающим расцветку кадиллака тех времен с «акульими плавниками». Музыкальный автомат, хромированные стойки для пальто, на стенах зернистые черно-белые фото закусочных — подлинные, сороковых годов. Официантки в белых форменных платьях с черным кантом, хотя ярко-красная губная помада у них не совсем того оттенка и по-хорошему должна быть слег-

ка размазана вокруг рта. На официантах белые шапочки вроде пилоток, залихватски сдвинутые набок, и прически правильные, с подбритым затылком. От посетителей отбою нет. В основном это двадцатилетние детишки.

В самом деле, ужасно похоже на «Саннисайд», переделанный в музей. В этой кабинке могли бы сидеть мы с Корделией — набитые чучела или восковые фигуры — в кофточках с рукавами «летучая мышь» и талиями в рюмочку. Мы бы пили молочные коктейли, приняв максимально скучающий вид.

В последний раз я видела Корделию, когда она скрывалась в глубинах «санатория». В тот день я с ней в последний раз говорила. Но то был не последний раз, когда она говорила со мной.

Здесь не подают сэндвичей с авокадо и проростками, кофе — не эспрессо, на десерт — торт с кокосовым кремом, не хуже, чем тогда. Это я и заказываю — кофе и торт с кокосовым кремом, сажусь в одной из фиолетовых кабинок и смотрю, как молодые люди умиляются тому, что считают очарованием прошлого.

Когда сама живешь в те годы, не находишь в них ничего очаровательного. Очарование видишь лишь позже, удалившись на безопасное

расстояние, когда прошлое уже можно рассматривать как декорацию, а не как форму, в которую насильно втискивали твою жизнь.

Сейчас выпускают формочки для кабачков в виде головы Элвиса Пресли: их надевают на кабачок, пока он еще маленький, и по мере роста он деформируется и принимает вид Элвиса. Для того ли Элвис пел, чтобы превратиться в кабачок? Конечно, вегетарианство и переселение душ сейчас в моде, но всему есть предел. Я предпочла бы реинкарнироваться в мокрицу. Или в креветку, зажаренную в кляре. Впрочем, может быть, перевоплотиться в кабачок — лучше, чем попасть в ад.

— Удачная реконструкция, — говорю я официантке. — Но, конечно, цены неправильные. Тогда кофе стоил десять центов.

— В самом деле, — отзывается она, но это не вопрос. Она улыбается мне по долгу службы: «Нудная старая карга». Она вдвое моложе меня, и ее жизнь я даже вообразить себе не могу. Она за что-то винит себя, что-то ненавидит, чего-то боится, но все это — иное, не такое, как было у нас. Что они делают, чтобы не заразиться СПИДом? Нынче уже не поскачешь просто так из одной койки в другую, как мы когда-то. Может, в современный

ритуал ухаживания входит обмен телефонами личных врачей? Мы больше всего боялись беременности — ловушки, прицепленной к сексу, которая могла пустить твою жизнь под откос. Но теперь все изменилось.

Я оплачиваю счет, несоразмерно много даю на чай, собираю свои сумки с покупками — по итальянскому шарфу для каждой из дочерей, перьевая ручка для Бена. Перьевые ручки снова входят в моду. Где-то в чистилище выстроились все былые приборы, приспособления, фасоны, ожидая, пока придет их черед вернуться.

Я иду, приближаясь к перекрестку. Следующая улица — та, на которой жил Иосиф. Я считаю дома: вот этот должен быть его. Фасад содрали и сделали витрину, газон замостили плиткой. На витрине — древняя лошадка-качалка, потертое лоскутное одеяло, кукла с деревянной головой и сильно попорченным лицом. Когда-то такое выбрасывали, а теперь выискивают и продают за большие деньги. Ценники скромно спрятаны — это значит, что цена запредельная.

Я гадаю, что в конце концов случилось с Иосифом. Если он еще жив, ему должно быть лет шестьдесят пять или даже больше. Если тогда он был грязным старикашкой, то во что превратился

за эти годы?

Но он в самом деле снял фильм. Во всяком случае, я думаю, что это он — имя и фамилия режиссера были те самые. Я увидела этот фильм случайно, на кинофестивале. Много позже, уже в Ванкувере.

Фильм был про двух женщин с туманными характерами и волосами как облако. Женщины бродили по полям, и ветер прилеплял к телу их юбки, обрисовывая бедра. Женщины смотрели загадочно и пристально. Одна разобрала радиоприемник и уронила куски в ручей, съела бабочку, перерезала горло кошке, потому что была сумасшедшая. Все эти действия не показались бы привлекательными, будь она безобразной старухой, а не эфирной блондинкой. Другая женщина делала небольшие надрезы у себя на бедре старомодной опасной бритвой, оставшейся от дедушки. Ближе к концу фильма она спрыгнула с железнодорожного моста в реку, и ее платье трепетало, как занавеска в окне. Если бы не цвет волос, женщины были бы неотличимы друг от друга.

Герой фильма любил обеих и не мог выбрать. Потому они и сошли с ума. Тут я поняла, что фильм точно снял Иосиф: ему даже в голову не

пришло, что у женщин могли быть свои причины для безумия, не имеющие никакого отношения к мужчинам.

Вся кровь в этом фильме была бутафорская. Женщины для Иосифа были ненастоящими — точно так же, как он сам для меня. Потому я и относилась к его страданиям так презрительно и холодно: он был не настоящий. Понятно, почему он никогда не снился мне: он и без того уже принадлежал к миру сновидений — прерывистому, иррациональному, навязчивому.

Конечно, я обошлась с ним несправедливо, но где я была бы сейчас без этой несправедливости? В рабстве, под игом. Молодые женщины должны быть несправедливы — в этом их защита. Должны быть черствыми, невежественными. Они бредут в темноте вдоль края пропасти, напевая себе под нос и считая себя неуязвимыми.

Я не могу винить Иосифа за этот фильм. Он имел право создать собственную версию, вызвать к жизни собственных призраков; как и я. Возможно, он мной пользовался, но и я им воспользовалась.

Взять, например, картину «Рисование с натуры», которая прямо сейчас висит в галерее: Иосиф отлично сохранился, прямо торт на блюдечке

— так бы и съела. Он на картине слева, совершенно голый, но вполоборота от зрителя, так что задница видна анфас, а торс в профиль. Справа — Джон в такой же позе. Я несколько облагородила их тела: они стали менее волосатыми, мышечные группы выступают четче, кожа светится. Я думала, не надеть ли на них трусы, чтобы не шокировать торонтовскую публику, но решила, что не надо. У обоих просто замечательные попы.

Оба пишут — холсты стоят на мольбертах перед ними. У Иосифа на картине изображена пышная, но не толстая женщина, она сидит на табуретке, на бедро наброшена простыня и пропущена между ногами, груди голые, лицо прерафаэлитское, задумчивое, сознательно таинственное. Джон пишет скопление завитков, похожих на кишки — ярко-розовых, малиновых и цвета мороженого «Бургундская вишня».

Модель сидит на стуле между ними, передом к зрителю, босые ступни прочно стоят на полу. Она задрапирована в белую простыню, которая прикрывает ее тело ниже грудей. Руки аккуратно сложены на коленях. Вместо головы у нее шар из голубоватого стекла.

Мы с Джоном сидим в баре на крыше отеля «Парк Плаза» и пьем шорле из белого вина. Это я

предложила — хотела еще раз тут побывать. Вид города изменился, «Парк Плаза» уже не самое высокое здание, а приземистый пережиток, карлик по сравнению с выросшими вокруг стройными стеклянными небоскребами. Точно к югу вздымается Канадская национальная башня, похожая на перевернутую сосульку. Такие строения раньше встречались только в научной фантастике, и теперь, глядя на ее плоский силуэт на фоне одноцветного озеронеба, я думаю, что перенеслась во времени не вперед, а куда-то вбок — в двумерную вселенную.

Но в самом баре мало что изменилось. Он по-прежнему похож на дорогой бордель эпохи Регентства. Даже тщательно причесанные официанты, степенные и вместе с тем задерганные, как будто те же. Может, они и впрямь те же. Когда-то управляющий держал в гардеробе запасные галстуки для джентльменов, которые их случайно забыли. Так и говорилось, «забыли», потому что, разумеется, ни один джентльмен не выйдет без галстука преднамеренно. Когда в этот бар стали пускать женщин в брюках, то была настоящая революция. Первой сюда пробилась чернокожая супермодель в шикарном брючном костюме: ее вынуждены были впустить, иначе

она подала бы в суд за расовую дискриминацию. Даже это воспоминание обличает мой возраст. Ну какая современная женщина видит в брючном костюме символ раскрепощения?

Я никогда не ходила сюда с Джоном. В те годы он осмеял бы мягкие кресла под антиквариат, шторы в пышную складку, посетителей, будто вырезанных из рекламы виски в глянцевом журнале. Это с Иосифом я сюда ходила, руки Иосифа касалась через стол. А не Джона, как сейчас.

Лишь кончиками пальцев, совсем легко. На этот раз мы говорим мало; никаких словесных фехтований, как за обедом. У нас общий словарь односложных восклицаний и пауз; мы знаем, зачем мы здесь. Спускаясь в лифте, я гляжусь в дымное зеркало стены и вижу свое лицо — отражение потускнело от времени, как надгробный камень зарастает мхом. По нему не скажешь, сколько мне лет.

Мы берем такси и возвращаемся в мастерскую. Наши руки совсем рядом на сиденье. Мы поднимаемся по лестнице — медленно, чтобы не запыхаться; ни один из нас не хочет продемонстрировать другому одышку немолодого организма. Рука Джона у меня на талии. Это знакомо и уютно; так, не глядя, находишь вы-

ключатель в доме, где когда-то жила, но с тех пор не бывала много лет. В дверях Джон, прежде чем вой- ти, хлопает меня по плечу: ободрение и вместе с тем меланхоличная капитуляция.

— Не включай свет, — говорю я.

Он обнимает меня, прячет лицо в сгибе моей шеи — не столько от желания, сколько от усталости.

Студия залита лилово-серым светом осенних сумерек. Гипсовые слепки рук и ног белеют в темноте, как обломки статуй в руинах. В углу накидана моя одежда, там и сям стоят пустые чашки — на рабочем столе, у окна, — обозначая мои дневные маршруты, помечая территорию. Теперь комната кажется моей, словно я жила тут все эти годы, независимо от того, где я еще бродила и чем занималась. Это Джон был в отъезде, и вот наконец вернулся.

Мы раздеваем друг друга, как когда-то, в самом начале, но с большей робостью. Я не хочу показаться неловкой. Я рада, что уже темнеет: я стесняюсь своих бедер сзади, морщин над коленями, мягкой складки на животе — не то чтобы жир, но складка заметна. У Джона поседели волосы на груди, я в шоке. Я стараюсь не глядеть на его пивной животик, но вижу все перемены в

его теле, как он, должно быть, видит перемены в моем.

Когда мы целуемся, это происходит с серьезностью, какой нам недоставало раньше. Тогда мы алкали друг друга и были эгоистами.

Мы занимаемся любовью, чтобы утешиться. Я узнаю Джона. Я бы узнала его и в полной темноте. У каждого мужчины свой ритм, который не меняется. В этом облегчение и радость встречи.

Я не считаю, что изменяю Бену. Я просто храню верность чему-то другому: чему-то, что было раньше него и никакого отношения к нему не имеет. Уплата по старому счету.

И еще я знаю, что это больше не повторится. Так последний раз оглядывают перед отъездом какую-нибудь достопримечательность, которую уже посетили и больше сюда не вернутся. Прощание с Ниагарским водопадом в сумерках.

Мы лежим под периной, обнявшись. Мне трудно вспомнить, из-за чего мы когда-то ссорились. Давний гнев утих, и с ним — острая, ревнивая похоть, которую мы питали друг к другу. Остались нежность и сожаление. Диминуэндо.

— Придешь на открытие выставки? Мне хочется, чтобы ты там был.

— Нет. Не хочу.

— Почему?

— Мне будет неприятно. Не хочу видеть тебя такой.

— Какой?

— Когда тебя облизывает вся эта публика.

Он хочет сказать, что не желает быть просто зрителем, что на выставке нету для него места, и он прав. Он не хочет выступать в роли всего лишь бывшего мужа. Тогда он потеряет и меня, и себя. Я понимаю, что тоже этого не хочу. На самом деле не надо, чтобы он приходил. Мне нужно, чтобы он там был, но мне этого не хочется.

Я поворачиваюсь к нему, приподнимаюсь на локте и снова целую, на сей раз в щеку. Волосы сзади на шее, за ухом, уже седеют. Мы успели как раз вовремя, думаю я. Чуть не опоздали.

65

Мы с Джоном будто падаем с лестницы. До сих пор мы будто понемногу спотыкались, хватались за перила, поднимались снова. Но вот равновесие потеряно окончательно, и мы летим вниз головой, оба — шумно и неуклюже, набирая скорость и обдираясь об углы.

Я ложусь спать в гневе и боюсь проснуться, а проснувшись, лежу рядом со спящим Джоном

в общей постели, прислушиваясь к ритму его дыхания и ненавидя его за забытьё, в котором он до сих пор царствует.

Много недель подряд он говорит меньше обычного и меньше бывает дома. Во всяком случае, одновременно со мной. Когда я на работе, он сидит дома еще как, даже если Сара в садике. Я начинаю находить знаки — мелкие улики, оставленные у меня на пути, как хлебные крошки на тропе: окурок с розовой меткой от помады, два грязных бокала в раковине, шпилька (не моя) под подушкой (моей). Я убираю все это и молчу, складывая в памяти до подходящего момента.

— Тебе звонила какая-то Моника, — говорю я.

Утро. Впереди лежит целый день, который нужно прожить. День уверток, подавленного гнева, деланного спокойствия. Мы уже давно не бросаемся вещами.

Джон читает газету.

— Да? Чего она хотела?

— Просила передать, что Моника звонила.

Он приходит домой поздно вечером. Я уже в постели, делаю вид, что сплю, но в голове все бурлит. Я думаю о том, как его обличить — обнюхать его рубашку, ища запах духов, выследить его на

улице, спрятаться в шкафу и выскочить, горя негодованием. Я думаю о том, что еще можно сделать. Я могу уехать куда-нибудь, неважно куда, вместе с Сарой. Или потребовать серьезного разговора. Или притвориться, что ничего не происходит, и продолжать жить как прежде. Такой совет мне дали бы в женском журнале десять лет назад: выждать.

Я вижу все это как сценарии, которые нужно разыграть и выбросить, возможно — одновременно. Ни один из них не исключает никакого другого.

В жизни тем временем все идет заведенным порядком. Становится темно, как зимой, и над головой набухают тучи, тяжелые от невысказанного.

— Ты ведь спала со Сталиным, да? — как бы между делом спрашивает Джон. Сегодня суббота, и мы притворяемся нормальной семьей — ведем Сару в Гранж-парк поиграть в снегу.

— С кем?

— Ну ты поняла. Иосиф, как его там. Старый пердун, у которого мы рисовали человечков.

— А, этот, — говорю я. Сара чуть поодаль на качелях с какими-то другими детьми. Мы садимся на скамейку, смахнув с нее снег. Я думаю, что

надо бы слепить снеговика или сделать еще что-нибудь такое из репертуара идеальных матерей. Но я слишком устала.

— Так ты с ним спала, признавайся, — говорит Джон. — Одновременно со мной.

— С чего ты взял? — Я знаю, что мне предъявлено обвинение. Я перебираю собственный боезапас: шпильки, губная помада, телефонные звонки, бокалы в раковине.

— Я не идиот, знаешь ли. Я все вычислил.

Значит, он тоже ревнует, и у него есть раны, которые нужно зализывать. Раны, нанесенные мной. Нужно бы соврать, отрицать всё. Но я не хочу. В этот миг существование Иосифа придает мне капельку гордости.

— Это было много лет назад. Тысячи лет назад. И не имело никакого значения.

— Черта с два, — говорит Джон. Когда-то мне казалось, что он, узнав про Иосифа, меня осмеёт. Удивляет меня то, что он воспринимает его всерьёз.

В ту ночь мы занимаемся любовью, если это еще можно так назвать. Это не похоже на любовь, у этого иная окраска, чем у любви, иная форма — оно жесткое, металлическое, цвета войны. Мы что-то доказываем друг другу. Или опровергаем.

Утром он ни с того ни с сего спрашивает:

— Кто еще у тебя был? Откуда мне знать, что ты не прыгала в койку с каждым старым козлом?

Я вздыхаю:

— Джон, когда ты наконец повзрослеешь?

— А мистер «Сосиска с фасольками»?

— Да ладно. Ты тоже не ангелом был. Все эти тощие девицы к тебе так и липли. Это ведь ты не хотел никаких обязательств, забыл?

Сара все еще спит в кроватке. Мы в безопасности, можно заняться выяснением отношений, высказыванием обличительных истин, которые не совсем истинны. Но, раз начав, остановиться трудно. В этом есть некое упоение.

— Я хотя бы ничего не скрывал, — говорит он. — Не прятался. Не притворялся чистеньким и невинным, в отличие от тебя.

— А может быть, я тебя любила, — говорю я. Мы оба замечаем, что глагол стоит в прошедшем времени.

— Да откуда тебе знать, что такое любовь!

— Зато Моника это хорошо знает, да? Хочешь сказать, что ты и сейчас ничего не скрываешь? Я находила чужие шпильки в своей собственной постели! Не мог хотя бы водить девок куда-нибудь в другое место!

— А ты-то? Тебя вечно нет дома. Кто знает, чем ты занимаешься.

— Я? И когда я, по-твоему, этим занимаюсь? Я даже думать толком не успеваю! У меня нет времени на живопись! Мне посрать сходить некогда! Я все время работаю, чтобы было чем платить за эту чертову квартиру!

Я сказала самое ужасное, зашла слишком далеко.

— То-то и оно, — говорит Джон. — Всё вертится вокруг тебя. Сколько ты работаешь да сколько всего терпишь. Я как будто и не при делах.

Он находит свою куртку и открывает входную дверь.

— Идешь на свидание с Моникой? — я вкладываю в реплику максимальное количество яда. Я ненавижу эти перебранки, достойные школьного двора. Я хочу объятий, слёз и прощения. Но только чтобы они возникли сами, без усилий с моей стороны, как радуга на небе.

— С Патрицией, — отвечает он. — Моника — просто приятельница.

Зима. Отопление выключается, снова включается, снова выключается через неравномерные промежутки времени. Сара простужена. Ночью она кашляет, я встаю, вливаю в нее несколько

ложек сиропа от кашля, приношу ей водички попить. Днем мы обе усталые и без сил.

Той зимой я сама часто болею. Я заражаюсь от Сары. Утром по будним дням я лежу в постели, глядя в потолок. Голова мутная, будто ватой набита. Мне хочется, чтобы меня поили имбирным элем и свежевыжатым апельсиновым соком, чтобы издалека доносились звуки радио. Но все это в прошлом. Мне никто ничего не приносит в постель. Если я хочу имбирного эля, я должна сходить в магазин или на кухню, купить или налить его сама. Сара в гостиной смотрит мультики.

Я вообще бросила живопись. Я не могу о ней даже думать. Я получила небольшой грант от государственной программы развития искусств, но не могу организоваться так, чтобы было время взяться за кисть. Я тащу себя волоком — на работу, в банк за деньгами, в магазин за продуктами. Иногда я смотрю по телевизору дневные мыльные оперы — в них больше кризисов, чем в жизни, и люди одеваются лучше. Я обихаживаю Сару.

Кроме этого я ничего не делаю. Я больше не хожу на собрания женщин, потому что они будят во мне чувство вины. Джоди звонит и предлагает встретиться, но я отказываюсь. Я знаю, что она

попытается меня подбодрить, начнет давать оптимистические, позитивные советы, которым я все равно не смогу последовать. От этого я только почувствую себя еще бóльшим ничтожеством.

Я не хочу никого видеть. Я лежу в спальне, задернув занавески, и пустота омывает меня медлительной волной. Во всем, что со мной творится, виновата исключительно я сама. Я сделала что-то плохое — настолько ужасное, что я этого даже не вижу, и теперь оно тянет меня ко дну. Я бесполезна и глупа. Если я умру, от этого всем будет только лучше.

Как-то ночью Джон не приходит. Это необычно: по нашему с ним молчаливому соглашению он, даже если где-то задерживается, к полуночи возвращается домой. Сегодня мы не ссорились; вообще почти не разговаривали. Он не позвонил, чтобы сказать, где он. Его намерения ясны: он бросил меня, оставил в снегу.

Я лежу в темноте, скрючившись, завернувшись в старый спальник Джона и прислушиваясь к хриплому дыханию Сары и шелесту мокрого снега в окне. Любовь притупляет зрение; но, когда она проходит, видишь ясней прежнего. Как будто прибой отступает, открывая все, что было выброшено в море: битые бутылки, старые перчатки,

ржавые консервные банки, обглоданные рыбьи тушки, кости. Все это видишь, когда сидишь в темноте с открытыми глазами, не зная, что лежит впереди. Видишь сотворенные тобой руины.

Мое тело инертно, безвольно. Я думаю, что надо подвигаться, восстановить кровоток — как делают в мороз, чтобы не замерзнуть до смерти. Я заставляю себя встать. Я пойду на кухню и заварю чай.

По улице, по мокрому снегу пролетает машина — приглушенный шорох. В гостиной темнота, лишь свет уличных фонарей падает через окно. В этом полумраке сверкают инструменты на рабочем столе Джона: плоское лезвие резака, молоток. Я чувствую, как тянет к себе земля, как я скольжу по темной гравитационной кривой, как огромны межатомные пространства, куда так легко провалиться.

Именно тогда я слышу голос — вовсе не у меня в голове, но в комнате, совершенно отчетливый: «Ну-ка, давай. Давай же. Вперед». Этот голос не предлагает никакого выбора: он обладает силой приказывать. Есть разница — прыгаешь сам или тебя сталкивают.

Я беру резак и полосую. Даже не больно — набегает шелестящий шепот, пространство смыкается

вокруг, и я оказываюсь на полу. В этой позиции меня находит Джон. Кровь в темноте черная и не блестит, и он ее видит, только включив свет.

В отделении неотложной помощи я говорю, что это несчастный случай. Я художница, говорю я. Я резала холст, и лезвие соскользнуло. Рука левая, так что объяснение правдоподобно. Я боюсь и хочу скрыть правду: я не желаю, чтобы меня упрятали в дом № 999 по Куин-стрит, сейчас или когда-либо еще.

— Среди ночи? — уточняет доктор.

— Я часто работаю по ночам.

Джон подтверждает мою легенду. Он испугался не меньше меня. Перевязал мне руку посудным полотенцем и отвез меня в больницу. Кровь промочила полотенце насквозь и испачкала сиденье в машине.

— Сара! — вдруг вспомнила я.

— Она внизу, — ответил Джон. Внизу, на первом этаже под нами, живет домовладелица, вдова-итальянка средних лет.

— Что ты ей сказал?

— Сказал, что у тебя аппендицит. — Я посмеялась, но совсем чуть-чуть. — Что это на тебя такое нашло?

— Не знаю. Теперь тебе придется чистить са-

лон.

Я чувствовала себя белой, обескровленной, окруженной любовью, очищенной. Умиротворенной.

— Вы уверены, что не хотите с кем-нибудь поговорить? — спрашивает врач в больнице.

— Нет, все в порядке, — отвечаю я. Именно говорить мне и не хочется. Я знаю, кого он имеет в виду — психиатра. Кого-нибудь, кто скажет мне, что я чокнутая. Я знаю, кто слышит голоса: те, кто злоупотребляет алкоголем, выжигает себе мозги наркотиками, съезжает с катушек. Я же чувствую себя абсолютно адекватной, у меня даже тревожность прошла. Я уже решила, что сделаю — чуть позже, завтра. Надену перевязь и буду всем говорить, что сломала запястье. Так что я не обязана рассказывать этому врачу, или Джону, или вообще кому угодно про голос.

Я знаю, что его на самом деле не было. И в то же время знаю, что я его слышала.

Сам по себе он был не страшный. Не угрожающий, а возбужденный, словно предлагал какое-то хулиганство, выходку, забаву. Нечто драгоценное и тайное. Голос девятилетнего ребенка.

66

Снег растаял, оставив по себе грязное кружево, ветер носит по воздуху пыль и песок — наследие зимы, на загаженных газонах из земли пробиваются крокусы. Если я останусь тут, то умру.

Я думаю о том, что должна покинуть не только Джона, но и этот город. Именно он меня убивает.

Он убьет меня внезапно. Я буду идти по улице, не думая ни о чем особенном, и вдруг развернусь и нырну с тротуара под колеса. Брошусь без предупреждения под прибывающий поезд метро. Прыгну с моста, сама того не желая. Буду слышать только этот голосок, манящий, заговорщический, радостный, подначивающий. Я знаю, что способна на такое.

(Хуже того: хотя я боюсь этой идеи и стыжусь ее, хотя при дневном свете считаю чересчур мелодраматичной, смешной и отказываюсь воспринимать всерьез, я еще и наслаждаюсь ею. Так алкоголики помнят про спрятанную бутылку: я, может быть, не собираюсь пускать ее в дело прямо сейчас, но мне спокойней знать, что она есть. Это запасной вариант, тайная утеха, выход. Это оружие.)

По ночам я сижу у кроватки Сары, глядя, как

трепещут ее веки во сне, прислушиваясь к ее дыханию. Она останется одна. Или не одна — у нее есть Джон; без матери. Немыслимо.

Я включаю свет в гостиной. Я знаю, что нужно паковаться, но не знаю, что взять с собой. Одежду, игрушки Сары, ее плюшевого кролика. Это кажется непосильным, и я иду спать. Джон уже в постели, отвернулся к стене. Мы успели пройти фазу притворного перемирия и исправления и немедленно уперлись рогами друг в друга. Я не бужу его.

Утром, когда Джон уходит, я пристегиваю Сару в колясочку, иду в банк и снимаю часть денег от гранта. Я не знаю, куда ехать. Понимаю только, что прочь отсюда. Я покупаю билеты до Ванкувера — там хотя бы тепло (во всяком случае, я на это надеюсь). Я запихиваю вещи в дорожные сумки, купленные в магазине армейских товаров.

Я хочу, чтобы Джон вернулся и остановил меня; теперь, начав действовать, я сама не могу поверить, что наконец решилась. Но Джон не приходит.

Я оставляю ему записку, делаю сэндвич с арахисовой пастой. Разрезаю пополам и половину даю Саре со стаканом молока. Вызываю такси. Мы сидим за кухонным столом, уже в пальто, едим

сэндвич и пьем молоко, и ждем.

Тут приходит Джон. Я продолжаю есть.

— Куда это ты, черт побери, намылилась?

— В Ванкувер.

Он садится и смотрит на меня. У него такой вид, будто он не спал несколько недель, хотя на самом деле он в последнее время спит много, даже слишком много.

— Я не могу тебя остановить. — Это констатация факта, а не уловка: он отпустит нас без борьбы. Он тоже устал.

— Кажется, такси уже здесь, — говорю я. — Я тебе напишу.

Я умею уходить. Главный фокус в том, чтобы захлопнуть створки. Не слышать, не видеть. Не оборачиваться.

Мы едем не в купе, поскольку я вынуждена экономить. Я сижу всю ночь, Сара сопит, раскинувшись у меня на коленях. Она поплакала немножко, но она еще мала, чтобы понять, что я сделала. Что мы делаем. Другие пассажиры вытягивают ноги в проход; багаж расползается, к спертому воздуху добавляется табачный дым, унитазы в туалетах забиваются обертками от еды. В одном конце вагона играют в карты и пьют пиво.

Поезд бежит на северо-запад, через сотни миль чахлого леса и скальных выступов, сотни маленьких безымянных синих озер, окруженных болотами, камышами и сухостойными ёлками, в тенях еще прячется снег. Я смотрю в окно вагона, полосатое от дождя и пыли, и вижу пейзаж своего раннего детства — размазанный, лишенный запахов, недосягаемый, убегающий назад.

Изредка поезд пересекает дорогу — посыпанную гравием или узкую асфальтированную с белой полосой посередине. Кажется, что здесь царят тишина и пустота, но для меня здесь не пусто и не тихо. Это пространство полно отголосков.

«Дом», — думаю я. Но нет такого места, куда я могла бы вернуться.

Всё складывается хуже, чем я думала, и одновременно — лучше.

Порой мне кажется, что отъезд был безумием; а в другие дни — что это самый здравый поступок, совершенный мною за много лет.

В Ванкувере всё дешевле. Пожив немного в гостинице, я нахожу дом, который мне по карману снять — на склоне над пляжем Китсилано. Один из этих игрушечных домиков, которые внутри оказываются больше, чем кажутся снаружи. Из дома открывается вид на залив и горы

вдали, а летом его затапливает бескрайний свет. Я устраиваю Сару в детский садик, созданный и управляемый группой родителей. Какое-то время мы живем на мой грант, потом я нахожу работу на неполный день — реставрирую мебель для торговца антиквариатом. Работа мне нравится — она не требует умственных усилий, к тому же мебель не умеет говорить. Я изголодалась по молчанию.

Я лежу на полу, меня омывает ничто, я вишу на ниточке. Я плачу по ночам. Я боюсь услышать голоса. Или голос. Я дошла до самого края, до края обрыва. Меня могут столкнуть.

Я решаю, что можно пойти к психиатру — теперь это в порядке вещей для утративших душевное равновесие, а я точно его утратила. Психиатр — мужчина. Вроде неплохой человек. Он просит, чтобы я рассказала ему абсолютно обо всем, что происходило со мной до шести лет. О том, что было после шести, он слышать не хочет. Он считает, что после шести лет человек уже отлит в бронзе. То, что происходит потом — неважно.

У меня хорошая память. Я рассказываю ему про войну.

Я рассказываю про запястье и резак, но не про

голос. Не хочу, чтобы психиатр счел меня чокнутой. Я хочу, чтобы он был обо мне хорошего мнения.

Я рассказываю ему про омывающую меня пустоту.

Он спрашивает, бывают ли у меня оргазмы. Я говорю, что проблема не в этом.

Он считает, что я от него что-то скрываю.

Через некоторое время я перестаю к нему ходить.

Постепенно я исцеляюсь, понемногу опять завладеваю собственными руками. Я начинаю вставать рано утром, когда Сара еще спит, и заниматься живописью. Оказывается, у меня есть определенная, несколько двусмысленная, репутация — после той выставки в Торонто, и меня приглашают на вечеринки. Сперва у местных в общении со мной проскакивает неприязнь — потому что я «оттуда, с востока», и предположительно по этой причине пользуюсь несправедливыми преимуществами. Но, пожив здесь сколько-то, я становлюсь своей и уже сама могу подпустить неприязни в общении с пришельцами с востока — и мне это сходит с рук.

Еще меня иногда приглашают участвовать в групповых выставках. В основном пригла-

шают женщины: они слышали о брошенной чернильнице, читали злобные рецензии — все это служит мне верительной грамотой, хоть я и с востока. Здесь смешиваются и реагируют, как в тигле, самые разные художницы, самые разные женщины, они кипят сжатой энергией, как сила взрыва, запертая в тесном пространстве, и максималистским пылом, свойственным любой религии в самом начале. Недостаточно выражать лояльность на словах и верить в равную оплату за равный труд; нужно переродиться до глубин сердца. Во всяком случае, это подразумевается.

Популярное занятие — исповедь: но исповедуются не в грехах, а в мучениях, принятых от рук мужчин. Страдание важно, но лишь определенные виды: страдание женщин, но не страдание мужчин. Рассказывать о своих страданиях называется «делиться». Я не хочу такой дележки; к тому же у меня слишком мало шрамов. Я вела защищенную жизнь. Меня никогда не били, не насиловали, я не голодала. Конечно, я была бедна, но ведь и Джон был беден.

Я могла бы рассказать про Джона. Но я считаю, что наши силы были равны. На любой его удар я отвечала ударом — равным, а может, и более сильным. Сейчас он корчится, потому что ску-

чает по Саре. Он звонит по межгороду, и голос в трубке пропадает и появляется, как радиопередачи времен войны — жалобный, побежденный, полный архаичной печали, которая, как мне все сильнее кажется в последнее время, свойственна мужчинам вообще.

Нечего его жалеть, сказали бы женщины. Я не жалостлива, но Джона мне жаль.

Кое-кто из этих женщин — лесбиянки, только что объявившие об этом или только что обнаружившие этот факт. Это, с одной стороны, храбрый поступок, но, с другой стороны, обязательный. Некоторые считают, что женщина может состоять в равноправных отношениях только с другой женщиной. Иначе она не настоящая.

Я стыжусь собственной негибкости, нехотения: но дело в том, что перспектива оказаться в постели с женщиной приводит меня в ужас. Женщины затаивают зло, ведут список обид, меняют облик. Они выносят суровые, непреклонные приговоры — в отличие от мужчин. Мужчины полуслепы, их взгляды затуманены романтикой, невежеством, пристрастиями и желаниями. Женщины слишком много знают — их нельзя обмануть, им нельзя доверять. Я могу понять, отчего мужчины боятся женщин, согласно распространенному

обвинению.

На вечеринках мне начинают задавать наводящие вопросы с инквизиторским душком: меня спрашивают о моей позиции, моем кредо. Я виновата в том, что всего этого у меня слишком мало: я знаю, что не укладываюсь в мейнстрим, поскольку безнадежно гетеросексуальна, я мать, я тайная предательница, я преступно слаба. Мое сердце в лучшем случае сомнительно — в нем таится гниль, оно может подвести в любой момент. Я до сих пор брею ноги.

Я избегаю сборищ этих женщин, боясь, что меня канонизируют или, наоборот, сожгут на костре. Мне кажется, они обсуждают меня за глаза. Из-за них я еще больше теряю уверенность, потому что у них есть образ, на который я обязана походить, а я на него не похожа. Они хотят меня улучшить. Временами я злюсь: какое они имеют право диктовать мне, что я должна думать? Я не женщина с большой буквы, и черт меня побери, если я позволю себя впихнуть в этот шаблон. «Стервы, — молча думаю я. — Не смейте мной помыкать».

Но вместе с тем я завидую их убежденности, их оптимизму, их беззаботности, отсутствию страха перед мужчинами, товариществу. Я будто смотрю

со стороны и трусливо машу платочком, провожая солдат в бой, а они, совсем молодые, почти мальчики, уходят, распевая бравурные песни.

Я завожу подруг, не очень близких. Они матери-одиночки, как и я. Я знакомлюсь с ними в детском садике. Мы оставляем детей друг другу, если нужно вырваться из дома на вечер, и безобидно брюзжим вместе. Мы как Марджори и Бэбс, мои давние соученицы с курса рисования с натуры — так же находим смешное в печальном. Это свойственно женщинам постарше, но ведь мы и стали старше.

Джон приезжает с визитом, прощупывая почву для возможного примирения. Мне кажется, что я тоже хочу с ним помириться, но ничего не выходит. Мы наконец-то разводимся, заочно.

Мои родители тоже приезжают в гости. Мне кажется, они скучают не столько по мне, сколько по Саре. Под разными предлогами я все это время не ездила к ним на Рождество. На фоне гор родители кажутся не на месте, они как-то съеживаются. В письмах они больше похожи на себя. Они опечалены моим поступком, моей, как они наверняка это называют, разбитой семьей, и не знают, что сказать. «Ну что уж тут, дорогая, — говорит моя мать про Джона. — Я всегда думала, что он слиш-

ком сильно чувствует». Это зловещий диагноз, не предвещающий ничего хорошего.

Я веду родителей в Стэнли-парк, где растут большие деревья. Я показываю им океан, который плюхает водорослями о берег. Я показываю им гигантского слизняка.

Мой брат Стивен присылает открытки. Он присылает плюшевого динозавра для Сары. Он присылает водяной пистолет. Книжку-считалку про муравья и пчелу. Солнечную систему — пластмассовый мобиль, — и звезды, которые можно приклеить на потолок: они светятся в темноте.

Через некоторое время выясняется, что в крохотном мирке искусства (крохотном, потому что кто им вообще интересуется? Его даже по телевизору не показывают) спирали, квадраты и гигантские гамбургеры выходят из моды, а входят в моду другие вещи, и я внезапно оказываюсь на гребне небольшой волны. Вспыхивает ажиотаж — во всяком случае, по сравнению с тем, к чему я привыкла, это можно считать ажиотажем. Мои картины продаются активней и за более крупные суммы. Меня начинают представлять два галериста — один на востоке страны, другой на западе. Я ненадолго еду в Нью-Йорк, оставив Сару

с одной из матерей-одиночек — в Нью-Йорке канадское правительство организует групповую выставку, которую посещает много людей, сотрудничающих с Торговой комиссией. На открытие выставки я одеваюсь в черное. Я хожу по улицам Нью-Йорка, чувствуя себя образцом душевного здоровья по сравнению с местными — все они, кажется, разговаривают сами с собой. Я возвращаюсь.

У меня бывают связи, редкие и продиктованные отчаянием. Они торопливы и не приносят особого счастья: у меня нет времени на тонкости. Даже эти краткие интерлюдии отнимают слишком много сил.

Никто из этих мужчин меня не отвергает. Они просто не успевают. Я знаю, что для меня опасно, и держусь подальше от края. От всего слишком блестящего и острого. От недосыпа. Когда мне становится нехорошо, я ложусь, ожидая пустоты, и она приходит, омывая меня волной черного ничто. Я знаю, что могу её переждать.

Проходит еще какое-то время, и я встречаю Бена. Он знакомится со мной самым банальным образом, в супермаркете. Точнее, он предлагает поднести мои сумки с покупками, тяжелые на

вид (и на самом деле). Я ему позволяю, чувствуя себя средневековой дурой и предварительно убедившись, что нас не видит никто из моих знакомых.

Много лет назад я сочла бы Бена слишком очевидным, ограниченным, едва ли не дурачком. В последующие годы я сочла бы его дружелюбным шовинистом. Он и то, и другое; но еще он похож на сочное яблоко, в которое вонзаешь зубы, объевшись экзотическими сладостями.

Бен приходит со своей пилой и молотком и чинит мое крыльцо, точно как в давних женских журналах, а потом я предлагаю ему пива, и мы сидим на травке у дома, как в рекламе. Он рассказывает мне анекдоты, которые я последний раз слышала еще в школе. Я так благодарна ему за эти простые радости, что сама изумляюсь. Но я не нуждаюсь в Бене, он не похож на капельницу с лекарством. Он просто приносит мне удовольствие. Это счастье — получать удовольствие от таких простых вещей.

Он везет меня в Мексику, будто в любовных романах самого низкого пошиба. Он только что купил небольшое туристическое агентство — скорее в качестве хобби: капитал он сколотил раньше, на торговле недвижимостью. Но он лю-

бит фотографировать и греться на солнце. Он всю жизнь хотел заниматься любимым делом и при этом зарабатывать.

В постели он робок, его легко удивить и привести в восторг.

Мы съезжаемся — в новый дом, побольше. Через некоторое время мы расписываемся. Все происходит очень буднично. Бену кажется, что брак сам собой разу- меется; для меня брак — нечто эксцентричное, я попираю конвенцию, но такую, о которой Бен никогда в жизни не слышал. Он не знает, насколько несообразным я считаю свое поведение.

Бен на десять лет старше меня. У него в прошлом развод, как у меня, и взрослый сын. Моя дочь Сара становится дочерью и ему, и вскоре у нас рождается Анна. Я вижу в ней подаренный мне второй шанс. Она не такая задумчивая, как Сара, и гораздо упрямей. Сара уже знает, что не все желания исполняются.

Бен считает меня хорошим человеком, и я стараюсь не разрушать его веру; наиболее неаппетитные подробности моей жизни ему ни к чему. Еще он считает меня отчасти хрупкой, поскольку я художественная натура; меня нужно лелеять, как цветок в горшке. Немножко под-

резать, немножко полить, выдернуть сорняки, выпрямить стебель, чтобы выявить мои лучшие качества. Бен ведет бухгалтерские книги, где фиксирует деловую сторону моего творчества: какие картины я продала и за сколько. Он советует мне, что списать на расходы при подаче налоговой декларации. Он заполняет за меня декларацию. Он расставляет пряности на кухне в алфавитном порядке, на особой полке. Полку тоже сколачивает он.

Я могу обойтись без этого. И обходилась. Но все равно мне приятно.

На мои картины он смотрит как на чудо и в то же время с некоторой опаской, как ребенок на горящую свечу. Он хвалит меня главным образом за то, что я хорошо рисую руки. Он знает, как это трудно. Он сам в юности хотел заниматься чем-то таким, но не смог, ему пришлось зарабатывать на жизнь. Подобные вещи мне все время говорят на открытиях выставок, но Бена я за это прощаю.

Время от времени он уезжает по делам — ровно с такой частотой, чтобы я успела по нему соскучиться.

Я сижу перед камином, и Бен обнимает меня — его рука незыблема, как спинка стула. Я иду вдоль волнолома сквозь типично ванкуверскую

ласковую воздушно-водяную взвесь, в пении волн, поглаживающих берег. Впереди распростерся Тихий океан, посылающий нам один закат за другим совершенно бесплатно; за спиной у меня — невероятные горы, а за ними — огромная баррикада страны во всю длину.

По ту сторону, страшно далеко, лежит Торонто и полыхает у меня в памяти, как Гоморра. И я не смею туда взглянуть.

XIII. Пикосекунды

67

Я просыпаюсь поздно. Съедаю апельсин, тосты, яйцо, размятое в чайной чашке. Дырка в скорлупе нужна не для того, чтобы помешать ведьмам уплыть в море, как утверждала Корделия. Она нужна, чтобы нарушить вакуум между подставкой и скорлупой — чтобы скорлупу можно было извлечь. Отчего я об этом догадалась только через сорок лет?

Я надеваю другой спортивный костюм, малиновый, и делаю на полу студии Джона несколько разрозненных упражнений на растяжку. Это опять его студия, а не моя. Я чувствую, что вернула ее Джону вместе с неназванными кусками его собственной — или нашей совместной — жизни, которыми владела до сих пор. Я вспоминаю многочисленные средневековые картины — рука поднята, ладонь открыта, показывая, что в ней нет оружия: «С миром изыдем». Это отпуст и благословение. Я воспользовалась методом, нехарактерным для святых, но, кажется, у меня тоже получилось. Кто дарует мир другим, тот и

сам его обретает.

Спускаюсь на улицу за утренней газетой. Листаю ее, не особенно вчитываясь. Я знаю, что убиваю время. Я почти забыла, что здесь делаю, и мне не терпится сбежать, вернуться на западное побережье, обратно в тот часовой пояс, где я теперь живу. Но пока нельзя. Я в подвешенном состоянии, как в аэропорту или в приемной у зубного, ожидая очередного промежутка — аморфного, апатичного, как под анестезией или в салоне самолета. Так я теперь воспринимаю надвигающийся вечер, открытие выставки: это просто промежуток, который надо пересечь, не вляпавшись ни в какую катастрофу.

Надо бы пойти в галерею, проверить, все ли в порядке. Этого требует минимальная вежливость. Но я спускаюсь в метро, выхожу возле главных ворот кладбища и бреду в юго-восточном направлении, взрывая ногами палые листья, всматриваясь в придорожные канавы, глядя себе под ноги — в поисках серебряной бумаги, монеток, нежданных кладов. Я все еще верю, что они бывают и что я могу их найти.

Если меня слегка подтолкнуть, я слечу с некоего трудноопределимого обрыва и стану городской сумасшедшей. Инстинкт тот же: рыться в по-

мойках, просматривать чужие отбросы. Искать предметы, которые были выкинуты как бесполезные, но которые все еще можно выудить и присвоить. Коллекция обрывков: у бездомных — пространства, у меня — времени.

Это мой давний маршрут из школы домой. Я ходила по этому тротуару — впереди других девочек или в хвосте. Между этими фонарными столбами моя тень на зимнем снегу вытягивалась впереди, двоилась, снова съеживалась и исчезала. Фонари были окружены нимбом, как луна в туманную ночь. Вот газон, где Корделия тогда плюхнулась на спину, чтобы сделать снежного ангела. Вот сюда она потом побежала.

Дома все те же, но они уже не покрыты облезлой, посеревшей от зим белой краской. Этот район — уже не захолустье послевоенных лет. Тут побывали строители с пескоструйкой и установщики световых люков; в домах воцарились фикус бенджамина и тропические вьюнки, вытеснив чахлые африканские фиалки, некогда лелеемые на подоконниках. Я прозреваю эти дома насквозь, до их тогдашнего вида: вижу тогдашние цвета стен — пыльно-розовый, грязно-зеленый, серо-коричневый, — и занавески из чинца, которых больше нет. Какому времени они

на самом деле принадлежат — своему собственному или моему?

Я шагаю по улице, чуть в гору, против течения жиденькой струйки детей, идущих из школы домой на обед. Девочки в джинсах, символизирующих свободу, но не такие шумные, какими были мы: ни хорового скандирования, ни воплей. Они плетутся с мрачной решимостью, или это мне кажется? Может, потому, что я уже не на одном уровне с ними: я выше, и звук доносится до меня приглушенным. А может, как раз из-за меня: из-за того, что рядом взрослый человек, предположительно обладающий властью.

Кое-кто из детей пялится на меня, но таких мало. На что тут смотреть? Женщина средних лет, руки в карманах пальто, штанины тренировочного костюма собрались в гармошку над сапогами. С виду не страннее многих, и тут же забывается.

У некоторых домов на крыльце тыквы с вырезанными лицами — радостными, печальными или угрожающими — ждут сегодняшнего вечера. Канун Дня Всех Святых, когда духи мертвых возвращаются, чтобы побыть среди живых — одетые балеринами, бутылками кока-колы и

Микки-Маусами. И живые будут откупаться от них конфетами, чтобы духи не разгневались. Я до сих пор помню вкус этого праздника: хрусткий воздух, карамелька во рту, надежды у очередной двери, уверенность, что сейчас получишь подарок просто так (все дети воспринимают это как должное). Правда, дети больше не берут ни самодельных шаров из попкорна, ни яблок: слухи о бритвенных лезвиях и ядах упорно множатся. Когда мои дети были маленькие, мы уже боялись этих яблок. Слишком много безадресной ненависти носится по свету.

В Мексике этот фестиваль справляют как следует, без притворства. Яркие сахарные черепа, семейные пикники на могилах, каждому гостю ставят тарелку, каждой душе — свечу. Никто не уходит обиженным, включая мертвых. А вот мы не признаем такое простое сообщение между мирами; мы хотим, чтобы мертвые не упоминались, мы отказываемся произносить их имена, отказываемся их кормить. Поэтому наши мертвецы худей, седей, голодней, и их трудней услышать.

68

Мой брат Стивен умер пять лет назад. «Умер» — не совсем точное слово: погиб. Я стараюсь считать

его смерть не убийством, хотя это оно и было, но чем-то вроде несчастного случая, как взрыв поезда. Или стихийным бедствием, вроде лавины. То, что страховые компании в договорах называют «форс-мажорными обстоятельствами».

Он умер из-за принципа «око за око» или из-за чьей-то трактовки этого принципа. Он умер от избытка справедливости.

Он сидел в самолете. У окна. Это известно точно.

В сетчатом кармане перед ним лежал самолетный журнал со статьей про верблюдов, которую он прочитал, и про то, как оптимизировать свой деловой гардероб — эту он читать не стал. Еще там были наушники и пакетик для рвоты.

Под сиденьем впереди, за босыми ступнями брата — он снял ботинки и носки — лежит его чемоданчик с докладом авторства самого брата о предполагаемом составе вселенной. Когда-то он думал, что вселенная состоит из бесконечно малых отрезков струн тридцати двух разных цветов. Эти кусочки струн так малы, что «цвета» в приложении к ним — лишь фигура речи. Но теперь брат сомневается: есть и другие теоретические возможности, и две из них он называет в своем докладе. Вселенную трудно описать раз и

навсегда: она меняется прямо на глазах, будто не желает, чтобы ее познавали.

Брат должен был делать этот доклад позавчера во Франкфурте. Он должен был прослушать чужие доклады. Он должен был узнать новое.

Еще под сиденье засунут его пиджак от костюма — от одного из трех ныне принадлежащих ему костюмов. Рукава рубашки закатаны, но это не помогает — кондиционер в самолете сдох, и воздух в салоне перегрет. И еще воняет: по крайней мере один унитаз вышел из строя, к тому же в самолете люди чаще пердят, как брат давно заметил по опыту многочисленных полетов. Это усугубляется страхом, который плохо влияет на пищеварение. Через два сиденья от брата храпит лысый толстяк, открыв рот и испуская оттуда невидимое облако зловония.

Заслонки иллюминаторов опущены. Брат знает, что, подняв заслонку, увидит взлетную полосу, дрожащую от жары, а за ней — тусклый пейзаж, чуждый, будто лунный, с ослепительно блестящим морем вдалеке; и еще длинные бурые здания с плоскими крышами — оттуда придет спасение. Или не придет. Все это брат успел увидеть до того, как заслонки опустили. Он не знает, в какой стране находится.

Он с утра ничего не ел. Сэндвичи принесли снаружи — странный зернистый хлеб, растаявшее масло, какой-то бежевый мясной паштет, наводящий на мысль о пищевом отравлении. И еще кусок бледного потеющего сыра в пленке. Брат съел этот сыр и сэндвич, и теперь у него руки пахнут пикниками давних лет, придорожными обедами военного времени.

Пить им давали последний раз четыре часа назад. У брата есть трубочка мятных таблеток: он всегда берет их с собой в поездки, на случай турбулентности. Одну таблетку он дал женщине средних лет в огромных очках и в клетчатом брючном костюме, сидевшей рядом. Он отчасти рад, что ее тут больше нет: ее безмолвные, бесцветные рыдания, хлюпающие и монотонные, уже начали действовать ему на нервы. Всех женщин и детей выпустили, но брат — не женщина и не ребенок. В самолете остались только мужчины.

Их рассадили по двое, так, чтобы между каждой парой оставалось пустое сиденье. У них забрали паспорта. Те, кто забирал, теперь стоят, распределившись по проходам в самолете — их шестеро: трое с небольшими автоматами, трое с гранатами на виду. На головах наволочки от самолетных

подушек, в которых вырезаны дырки для глаз и рта: в полумраке влажно блестит белое и розовое. Ниже наволочек (красных) обыкновенная одежда: серые фланелевые брюки, заправленная в них белая рубашка. Нижняя часть делового костюма с темно-синим пиджаком.

Разумеется, они попали в самолет под видом пассажиров; хотя трудно понять, как они пронесли на борт оружие. Должно быть, им помогал кто-нибудь из сотрудников аэропорта, и в результате они смогли вскочить — примерно над Ла-Маншем — и начать выкрикивать приказы, размахивая оружием. Либо так, либо оно было уже в самолете, заранее спрятано в условленных местах, ведь через контроль и рентгеновские аппараты его нынче уже не пронесешь.

В рубке еще двое или, может быть, трое — они торгуются по радио с диспетчерской вышкой. Они до сих пор не сказали пассажирам, кто такие и чего хотят; только сообщили по-английски, с сильным акцентом, но разборчиво, что все находящиеся в самолете выживут вместе или умрут вместе. После этого захватчики объяснялись короткими командами и жестами: «Ты! Сюда!» Трудно сказать, сколько их в общей сложности, потому что наволочки все одинаковые. Они как

персонажи с раздвоением личности из старых комиксов, способные превращаться в кого-нибудь совершенно другого. У этих превращение как будто застряло на полпути: тела обычные, а головы сверхъестественных, всемогущих существ, мутировавшие в сторону героизма или злодейства.

Не знаю, думал ли мой брат тогда именно это. Но сейчас я думаю это за него.

В отличие от соседа-толстяка, мой брат не может уснуть. Поэтому он занимает себя теоретическими стратагемами: что делал бы он на их месте, на месте этих людей с наволочками на головах? Это их напряжение, их возбуждение оттого, что пальцы лежат на спусковых крючках, их адреналин заполняет самолет, несмотря на вялые тела пассажиров, усталость, капитуляцию.

На месте этих людей он, конечно, был бы готов умереть. Без такой предпосылки вся операция будет бессмысленной и невозможной. Но умереть за что? Вероятно, у них есть какой-то религиозный мотив, хотя на поверхности лежит что-нибудь более очевидное: деньги, освобождение других людей, сидящих где-нибудь в каменном мешке примерно за то же, что сейчас проделывают эти люди. Может, они кого-нибудь взорвали или угрожали взорвать. Кого-нибудь застрелили.

В каком-то смысле все это знакомо. Он будто уже бывал в такой ситуации, давным-давно; и несмотря на все неудобство, раздражение, коктейль из скуки и страха, он отчасти сочувствует людям, захватившим самолет. Он надеется, что они не потеряют головы и добьются своей цели, в чем бы она ни заключалась. Он надеется, что пассажиры не станут выть и мочиться в штаны, что никто из них не сойдет с ума и не начнет визжать, у захватчиков не сдадут нервы и не последует бойня. Он желает им холодной головы и твердой руки на прицеле.

В голове самолета появился человек и говорит с двумя другими. Кажется, они спорят; машут руками, напирают на отдельные слова. Другие стоящие в проходах напрягаются, квадратные красные головы зондируют пассажиров, наподобие радара. Брат знает, что нужно избегать зрительного контакта и держать голову опущенной. Он смотрит на сетчатый карман перед собой и тайком вытаскивает из упаковки мятную таблетку.

Пришедший движется по проходу, поворачивая вправо-влево прямоугольную голову с тремя отверстиями. За ним идет еще один. Через систему оповещения зловеще звучит музыкальная

запись — слащавая, навевающая сон. Идущий притормаживает; несоразмерно большая голова неуклюже поворачивается влево, как у близорукого, тупого чудовища. Он протягивает руку, показывает жестом: «Встать». Человек, на которого он указывает, — мой брат.

Здесь я прекращаю выдумывать. Я говорила со свидетелями, с выжившими и знаю, что брат встает и со словами «Разрешите пройти» протискивается мимо соседа, занимающего сиденье у прохода. На лице у брата задумчивое любопытство: эти люди для него непостижимы — но для него непостижимы почти все. Возможно, они его за кого-то приняли. Или хотят, чтобы он помог с переговорами: его ведут к голове самолета, где стоит и ждет еще один в наволочке.

Именно он распахивает дверь перед братом, как учтивый швейцар в гостинице, впуская палящие лучи дневного солнца. После полутьмы они ослепительно ярки, и брат стоит, моргая, пока перед ним проявляются песок и море — открытка от довольных отдыхающих. И тут он падает, падает быстрее света.

Так мой брат уходит в прошлое.

Я провела пятнадцать часов в дороге, чтобы попасть на место. Я видела те здания, и море, и

кусок взлетной полосы; самолета уже не было. Все, что получили террористы в итоге — право беспрепятственного вылета.

Я не хотела опознавать брата. Вообще не желала видеть тело. Когда не видишь, легче продолжать верить, что никто не умер. Но что я на самом деле хотела бы знать, это — когда они его застрелили: до того, как вытолкнули из самолета, или после. Лучше, если бы после — в этом случае у него был краткий миг побега, солнечного света, притворного полета.

В той поездке я ложилась до наступления темноты. Не хотела смотреть на звёзды.

У тела есть свои способы защиты, оно умеет отгораживаться. Люди из правительства сказали, что я держалась замечательно. Они имели в виду, что я не мешала им работать. Я не падала в обморок и не устраивала сцен; я говорила с журналистами, подписывала бумаги, принимала решения. Я многого не понимала тогда, о многом начала думать лишь гораздо позже.

А думала я о звёздном близнеце — о том, который улетел на космическом корабле, вернулся через неделю и обнаружил, что его брат стал старше на десять лет.

Я думала о том, что теперь я буду становиться

старше. А мой брат — нет.

69

Мои родители так и не поняли смерти Стивена, потому что у нее не было причины; во всяком случае, такой, которая имела бы к нему какое-то отношение. Они так и не утешились. До того они были активны, бодры, энергичны; после — начали увядать.

«Неважно, сколько лет детям. Они всегда остаются твоими детьми», — сказала моя мать. Это прозвучало как сведения, которые мне рано или поздно понадобятся.

Отец стал худей и меньше ростом, заметно съежился; подолгу сидел неподвижно безо всякого дела. Это совсем на него непохоже. Так сказала мне мать, позвонив по межгороду.

Сыновья не должны уходить раньше отцов. Это неестественно, это нарушение миропорядка. Иначе — кто будет жить дальше?

Сами родители умерли без приключений, от того, от чего обычно умирают пожилые люди, от чего, видимо, умру и я — раньше, чем предполагаю: отец — мгновенно, мать годом позже, от более медленной и мучительной болезни.

«Хорошо, что твой отец ушел сразу, — сказала она мне. — Такое для него было бы невыносимо». Она ни словом не упомянула о том, как невыносимо это для нее самой.

Девочки приехали на неделю — в конце лета, когда мать только начала болеть, когда она еще жила у себя дома в Су-Сент-Мари и мы все могли сделать вид, что просто ее навещаем. После отъезда дочерей я осталась, полола сорняки в саду, помогала мыть посуду — мать так и не обзавелась посудомойкой, — стирала белье в автоматической стиральной машине в подвале, но сушила на веревках во дворе, так как мать считала, что сушилка использует слишком много электричества. Смазывала формы для маффинов. Изображала ребенка.

Мать устала, но не может отдыхать. Она не желает спать после обеда и настаивает на том, чтобы самой ходить в мелочную лавочку. «Я справляюсь». Она не хочет, чтобы я для нее готовила. «Ты никогда не найдешь ничего у меня на кухне», — говорит она, подразумевая, что она сама никогда ничего не найдет, если я начну тут возиться. Я контрабандой переставляю в холодильник замороженные готовые обеды из морозилки и хитростью вынуждаю мать их есть,

говоря, что иначе они испортятся и придется их выбросить. Выбросить еду для нее до сих пор немыслимо. Я веду ее в кино, предварительно проверив, нет ли в фильме секса, насилия и смерти. Я веду ее в китайский ресторан. В давние годы на севере китайские рестораны были единственным надежным вариантом. В других подавали сэндвичи из белого хлеба с порошковой мясной подливой, едва теплую фасоль в томате, пироги из картона с клеем.

Мать живет на обезболивающих, потом на более сильных обезболивающих. Она больше времени проводит в постели. «Хорошо, что мне не пришлось ложиться в больницу на операцию, — говорит она. — Я за всю жизнь ложилась в больницу, только когда рожала. Со Стивеном мне дали эфир. Меня как будто выключили, а потом я очнулась, а он — вот он».

Она часто говорит про Стивена. «Помнишь, как он вонял этим своим химическим набором? И еще в тот день, когда ко мне пришли гости на бридж! Нам пришлось открыть двери, а ведь зима была». Или: «Помнишь все те комиксы, которые он держал под кроватью? Их было слишком много, чтобы хранить. Я их выкинула после того, как он уехал. Думала, они больше не нужны.

Но теперь люди их собирают, я читала; теперь они стоили бы целое состояние. А мы-то всегда думали, что это мусор». Она это рассказывает, смеясь над собой.

В ее рассказах Стивен не бывает старше двенадцати лет. После этого он стал для нее непостижим. Я начинаю понимать, что она благоговела или до сих пор благоговеет перед ним. И слегка побаивается. Она не знала, что родит такого человека.

— Эти девчонки тогда тебя сильно изводили, — говорит она однажды. Я заварила для нас чай — мать мне позволила — и мы чаевничаем за столом на кухне. Мать все еще удивляется, когда я пью чай, и несколько раз спрашивала, не дать ли мне лучше молока.

— Какие девчонки? — спрашиваю я. У меня все пальцы изодраны; под столом я молча обрываю кутикулы, как обычно при стрессе. Давняя дурная привычка, от которой я никак не могу избавиться.

— Ну, эти. Корделия и Грейс. И еще одна. Кэрол Кэмпбелл.

— Кэрол? — повторяю я. Я вспоминаю коренастую девочку, которая вертела скакалку.

— Конечно, Корделия была твоей лучшей по-

другой. Потом, в старших классах. Я никогда не думала, что за всем этим стояла она. Заводилой была эта самая Грейс, а не Корделия. Я всегда думала, что Грейс ее настропалила. Где она сейчас?

— Понятия не имею, — я не хочу говорить о Корделии. Я до сих пор чувствую себя виноватой, что ушла тогда и не помогла ей.

— Я не знала, что делать, — продолжает мать. — В тот день они ко мне пришли и сказали, что тебя в школе оставили после уроков, потому что ты нагрубила учительнице. Эта самая Кэрол сказала. У меня не сложилось впечатления, что они говорят правду.

Она по возможности избегает слова «врут».

— В какой день? — осторожно спрашиваю я. Я не знаю, какой день мать имеет в виду. У нее в последнее время мысли путаются из-за лекарств.

— В тот день, когда ты чуть не замерзла. Если бы я им поверила, то не пошла бы тебя искать. Я пошла сначала по дороге вдоль кладбища, но тебя там не было. — Она с тревогой взглядывает на меня, словно ожидая моего ответа.

— А, да, — я притворяюсь, что знаю, о чем она. Я не хочу ее смущать. Но я сама растеряна. Моя память дрожит, как вода, на которую дуют. Мелькают Корделия, Грейс и Кэрол, идущие ко мне по

ослепительно-белому снегу. Их лица в тени.

— Я так беспокоилась, — говорит мать. Она хочет, чтобы я ее простила, но за что?

В иные дни матери становится лучше, и она вроде бы идет на поправку. Сегодня она просит, чтобы я помогла ей разобрать вещи в подвале.

— Чтобы тебе не пришлось сортировать этот старый хлам… когда-нибудь потом, — деликатно говорит она. Она не произносит слово «смерть», щадит мои чувства.

Я не люблю подвалов. Этот не отделан: серый бетон, балки над головой. Я проверяю, не захлопнется ли дверь, ведущая наверх.

— Тебе надо бы установить перила на этой лестнице, — говорю я. Лестница узкая, коварная.

— Я справляюсь, — отвечает мать. Это отголосок тех дней, когда справляться было достаточно.

Мы сортируем старые журналы, разноразмерные картонные коробки, чистые банки, стоящие на полках. При переезде мать выбросила далеко не всё, что можно было; а может, успела опять обрасти вещами. Я ношу вещи вверх по лестнице и складываю в гараже. Когда они там, то кажется, что мы от них избавились.

Целая полка отцовской обуви, выстроенной парами: городские туфли с мысками в дырочку,

галоши, резиновые сапоги, бахилы для рыбалки, ботинки на толстой подошве для ходьбы по лесу, покрытые патиной беконного жира, с кожаными шнурками. Иным парам лет по пятьдесят, а может, и больше. Мать их не станет выбрасывать, я знаю; но она про них и не говорит. Я чувствую, что ожидается от меня в смысле самоконтроля. Я отгоревала своё на похоронах. Матери сейчас только не хватало утешать плачущего ребенка.

Я вспоминаю старый Зоологический корпус, куда мы ездили по субботам, перегретые скрипучие коридоры, банки глазных яблок, утешительные запахи формальдегида и мышей. Вспоминаю, как мы с Корделией ужинали, а отцовские предупредительные речи гремели у нас над головой: отравленная вода, загубленные деревья, один вид за другим вымирают, как растоптанные муравьи. Тогда мы не думали, что это — пророчества. Мы считали его речи скучными — чем-то вроде взрослых сплетен, которые нас не касаются. Теперь все его предсказания сбылись, только дела обстоят ещё хуже, чем он предполагал. Я живу в кошмаре отца, ставшем реальностью, хоть и невидимой. Мы еще можем дышать, но надолго ли это?

Мрачным прогнозам отца противостояла бодрость матери — сознательная, непросто да-

вавшаяся ей, как я теперь понимаю.

Мы начинаем с пароходного сундука. Того самого, памятного еще по Торонто. Он до сих пор кажется мне таинственным хранилищем кладов. Мать тоже воспринимает раскопки как приключение: она говорит, что не заглядывала в сундук много лет и понятия не имеет, что там. Она не стала менее живой оттого, что умирает.

Я открываю сундук, и снизу вверх расцветает запах нафталина. Мы вынимаем младенческие одежки, завернутые в папиросную бумагу, серебряные приборы с цветочным орнаментом, изжелта-черные.

— Сохрани их для девочек, — говорит мать. — А себе возьми вот это.

Свадебное платье, свадебные фотографии, сепиевые родственники. Пакет с перьями. Таблички с кистями для ведения счета в бридже, две пары детских лайковых перчаток.

— Твой отец прекрасно танцевал. До того, как мы поженились.

Я этого не знала.

Мы вскрываем слои, откапываем находки: фотографии меня-старшеклассницы с неулыбчивым накрашенным ртом, чьи-то волосы в конверте, единственный вязаный носок мла-

денческого размера. Старые варежки, старые галстуки. Фартук. Одни вещи следует сохранить, другие выбросить или раздать. Кое-что я увезу с собой. Вещи распределяются по кучкам.

Мать радуется, и я заражаюсь от нее радостью: ощущение, будто вынимаешь подарки из чулка на Рождество. Хотя нашу радость нельзя назвать чистой.

Стивеновы пачки карточек на обмен, с изображением самолетов, стянутые полуразложившимися резинками. Его скрэпбуки, его рисунки со взрывами, его старые школьные табели. Все это мать оставляет.

Мои собственные рисунки и скрэпбуки. Девочки — я припоминаю, как рисовала их, — с рукавами-фонариками, в розовых юбках, с бантами. В скрэпбуках — вроде бы незнакомые картинки из журналов: женские тела, одетые по моде сороковых, и к ним приклеены головы от других женщин. «Это страж-птица, она следит за ТОБОЙ».

— Ты обожала эти журналы, — говорит мать. — Разглядывала их часами, когда лежала больная.

Под скрэпбуками — мой старый фотоальбом, черные страницы связаны лентой, похожей на обувной шнурок. Теперь я вспоминаю, как поло-

жила его в сундук, перейдя в старшие классы.

— Это мы тебе подарили. На Рождество, в комплект к фотоаппарату.

В альбоме — брат, замахнувшийся снежком, и Грейс Смиитт в короне из цветов. Пара валунов, ниже — имена белым карандашом, печатными буквами. Я сама в куртке со слишком короткими рукавами, на фоне двери мотельного домика. Номер 9.

— Интересно, что случилось с тем фотоаппаратом, — говорит мать. — Наверно, я его отдала кому-нибудь. Ты перестала им интересоваться.

Я знаю, что между нами барьер. Он вырос уже давно. Когда-то меня это расстраивало. Мне хочется обнять ее. Но меня что-то держит.

— А это что? — спрашивает мать.

— Моя старая сумочка. Я с ней в церковь ходила.

И верно. Теперь я мысленно вижу эту церковь, луковицу на крыше, ряды скамей, витражи в окнах. «ЦАРСТВО·БОЖИЕ·ВНУТРЬ·ВАС·ЕСТЬ».

— Подумать только, — говорит мать со смешком. — Я сама не знаю, зачем ее сохранила. На выброс.

Сумочка сплющена; красный пластик полопался по сторонам, вдоль швов. Я беру сумочку и

сжимаю с боков, чтобы вернуть ей прежнюю форму. Внутри что-то стучит. Я открываю сумочку и достаю свой «кошачий глаз».

— Стеклянный шарик! — восклицает мать с чисто детским восторгом. — Помнишь те шарики, что когда-то собирал Стивен?

— Да, — говорю я. Но этот шарик был мой.

Я смотрю в него и вижу свою жизнь — цельной.

70

Вон там, на той улице. Там стояла та самая лавка. Мы покупали красные лакричные жгуты, жевательную резинку, эскимо из апельсинового шербета, зубодробительные черные карамельки, от которых во рту оставалось маленькое зернышко. Много чего можно было купить на монетку в один цент с головой короля. *Georgius VI Dei Gratia.*

Я так и не привыкла, что королева уже взрослая. При виде ее отрезанной головы на монетах я вспоминаю ее четырнадцатилетнюю, в форме герл-гайдов, с безупречной осанкой, какую полагалось держать и нам; она смотрит на меня с пожелтевших газетных вырезок, приколотых мисс Ламли к доске — стоит перед грубым ром-

бом микрофона в студии радиовещания, хмурясь от серьезности момента и хорошо спрятанного страха, призывает народ к сопротивлению, пока бомбы падают на Лондон, а мы — временной сдвиг на восемь лет вперёд — поём «Англия, Англия будет всегда» под взмахи опасной указки мисс Ламли.

Королева успела стать бабушкой, сносить тысячи шляп, отрастить бюст и (кощунство даже думать о таком) зачатки двойного подбородка. Но меня этим не обманешь. Та, другая, до сих пор где-то есть.

Я прохожу оставшиеся кварталы, сворачиваю за угол, ожидая увидеть знакомый тусклый прямоугольник школы из выветренного красного кирпича цвета сушеной печенки. Посыпанный шлаковой крошкой двор, высокие узкие окна с бумажными оранжевыми тыквами и черными кошками к Хэллоуину, выгравированные надписи «МАЛЬЧИКИ» и «ДЕВОЧКИ» над дверями, будто на мавзолее девятнадцатого века.

Но школы больше нет. На ее месте стоит другая, похожая на мираж: светлая, квадратная, глянцевая, современная.

Меня будто бьют под дых. Старую школу стерли с лица земли, удалили из пространства. Словно

ее тут вообще никогда не было. Я прислоняюсь к телефонному столбу, потеряв ориентацию, будто мне удалили часть мозга. Я вдруг чувствую страшную усталость. Мне хочется уснуть.

Чуть погодя я приближаюсь к новой школе, прохожу в ворота, медленно огибаю здание. Надписей «МАЛЬЧИКИ» и «ДЕВОЧКИ» больше нет, это ясно; а вот забор из металлической сетки никуда не делся. Школьный двор уставлен качелями, лазилками и горками, выкрашенными в яркие основные цвета; несколько детей вернулись с обеда раньше и теперь лазят по ним с воплями.

Всё такое опрятное, такое открытое. Уж конечно, за этими прозрачными, откровенными дверями уже нет ни длинных деревянных указок, ни черных резиновых ремней, ни жестких деревянных парт, стоящих рядами; ни короля и королевы в торжественных регалиях, ни чернильниц; ни озлобленных усатых немолодых женщин. Ни жестоких тайн. Все это ушло навсегда.

Я выхожу на задворки школы, и вот он — склон, изъеденный ветром и дождем, с редкими чахлыми деревцами. Это, значит, не изменилось.

Наверху никого нет.

Я поднимаюсь по деревянным ступенькам и

встаю там, где стояла когда-то. Где стою до сих пор, ведь я и не уходила никуда. Голоса, доносящиеся с игровой площадки, могут принадлежать любым детям из любого времени. Свет под деревьями сгущается, становится зловещим. Чужая злая воля окружает меня. Трудно дышать. Мне кажется, я что-то отталкиваю, а оно давит — будто открываешь дверь во время бурана.

Корделия, вытащи меня отсюда. Я в ловушке.

Я не хочу навсегда оставаться девятилетней.

Воздух мягкий, осенний, напоен солнечным светом. Я все еще стою. И вместе с тем — шагаю, нагнув голову, против встающего стеной ветра.

XIV. Единая теория поля

71

Я надеваю новое платье, срезав ценник кусачками Джона. В итоге я все равно оказалась в черном. Иду в ванную, чтобы кое-как оглядеть себя в неудобном, мутном зеркале; теперь, на мне, это платье неотличимо от всех остальных черных платьев, которые я носила в своей жизни. Я проверяю, не прилипла ли где пушинка, крашу губы розовым и в итоге выгляжу очень мило, насколько могу судить. Мило и совершенно забываемо.

Можно, конечно, добавить колорита. Мне бы висячие серьги, браслеты, серебряный бантик на цепочке, супердлинный шарф а-ля Айседора Дункан, которым легко нечаянно задушиться, иронично-китчевую брошку со стразами в стиле тридцатых годов. Но у меня ничего такого нет, а идти покупать — уже поздно. Когда-то мы проводили вечеринки в стиле «приходи как есть». Я приду какая есть.

Я прихожу в галерею на час раньше условлен-

ного. Чарны и других еще нет: может, пошли перекусить, но скорее — переодеться. Впрочем, всё уже расставлено: взятые напрокат бокалы на толстых ножках, бутылки посредственного бухла, для трезвенников — минеральная вода, ибо кто же нынче подает гостям неразбавленную хлорку из-под крана? Сыры, черствеющие по краям, окуренный серой виноград, дорогой и блестящий, как воск, подпитанный кровью умирающих сельскохозяйственных рабочих в Калифорнии. Лучше не знать всякого такого; а то, что ни положи в рот, всё на языке будет вкус смерти.

Барменша, молодая женщина с суровым взглядом и в аморфном черном платье, протирает стаканы за длинным столом, выполняющим роль барной стойки. Я прошу у нее бокал вина. Небрежные манеры барменши как бы говорят: «Это лишь подработка; мои подлинные устремления — не здесь». Наливая мне, она поджимает губы: она меня не одобряет. Возможно, она хочет быть художницей и считает, что я поступилась принципами, продалась ради успеха. О, с каким упоением я когда-то проявляла такой же мелкий, едкий снобизм; и как легко это было.

Я медленно обхожу выставочный зал, пригубливая вино и позволяя себе разглядеть выставку

— на самом деле впервые. Понять, что здесь есть и чего нет. Чарна составила каталог — он сверстан на компьютере, отпечатан на лазерном принтере и выглядит солидно. Я вспоминаю каталог нашей первой выставки — два листка, отпечатанные на ротаторе, размазанные, нечитаемые, и самая их нищета была как печать подлинности. Я помню вращение валика, едкий запах чернил, боль в руке.

Хронология все-таки победила: ранние вещи оказались на восточной стене, то, что Чарна обозвала «средним периодом» — на торцовой, а на западной висят пять недавних картин, которые я еще нигде не выставляла. Это всё, что мне удалось написать за последний год. Нынче я работаю медленнее.

Вот натюрморты. «Ранние экскурсы Ризли в царство женского символизма и харизматической природы домашних объектов», как выразилась Чарна. Иными словами — тостер, перколятор и стиральная машина с отжимными валиками. Три дивана. Серебряная бумага.

Рядом — Джон с Иосифом. Я смотрю на них с долей нежности: на них, на их мускулы, на их туманно-облачные представления о женщинах. Их молодость меня ужасает. Как я могла вверить

себя таким неопытным юнцам?

Дальше — миссис Смиитт. В большом количестве. Она сидит, стоит, лежит под священным фикусом, летит с прилепленным к спине мистером Смииттом, спариваясь с ним, как жучиха с жуком; она в темно-синих рейтузах мисс Ламли, которая каким-то образом сливается с ней в пугающий симбиоз. Она возникает, как подарок, из-под обволакивающей ее папиросной бумаги, слой за слоем. Миссис Смиитт больше натуральной величины. Крупней, чем она когда-либо была. Она застит Бога.

Я много труда вложила в это воображаемое тело, белое, как корень лопуха, дряблое, как свиной жир. Волосатое, как внутренность уха. Я работала над ним — как теперь вижу, с изрядной долей злобы. Но эти картины — не только издевательство, не только осквернение. Я и свет в них вложила. Каждая бледная нога, каждый глаз, оправленный в сталь, — здесь и теперь точно такие же, как были там и тогда, простые и недвусмысленные, как хлеб. Я сказала: «Смотрите». Я сказала: «Я вижу».

В эти глаза я сейчас заглядываю. Я всегда думала, что они полны самодовольного ханжества — свиные буркалы за проволочной оправой; так и есть. Но еще это глаза сломленного человека,

неуверенного в себе, меланхолика, обремененные долгом, в котором нет любви. Глаза человека, для которого Бог — жестокий старик; глаза обедневшей семьи, изо всех сил создающей видимость приличия в мелком городишке, где всё на ладони. Миссис Смиитт подверглась пересадке в большой город откуда-то из захолустья. Она — перемещенное лицо; как и я когда-то.

Теперь я способна увидеть себя глазами нарисованной миссис Смиитт: кучерявая оборванка бог знает откуда, едва ли не цыганка, дочь отца-язычника и беспутной матери, бегающей в штанах и собирающей сорняки. Некрещеная — приманка для бесов; одному богу известно, какие зерна кощунства и неверия зрели во мне. И все же миссис Смиитт впустила меня к себе в дом.

Значит, ее мнение было в чем-то верно. Мне не хватило справедливости. Точнее — милосердия. Я сразу начала мстить.

Принцип «око за око» приводит лишь к эпидемии слепоты.

Я перехожу к западной стене, где висят новые картины. Они больше моего обычного формата и очень удачно разместились на этой стене, с хорошими промежутками.

Первая называется «Пикосекунды». Как форму-

лирует Чарна, «Это *jeu d'esprit*[15], вдохновленная творчеством «Группы семи» — реконструкция их видения пейзажа в свете современных экспериментов и постмодернистского пастиша».

Это и впрямь пейзаж, написанный маслом — с синей водой, фиолетовым подмалевком, скалистыми утесами, согнутыми, истрепанными ветром деревьями, в тяжелой пастозной технике, типичной для двадцатых и тридцатых годов. Он занимает бóльшую часть картины. В правом нижнем углу, вынесенные из центра внимания зрителя (примерно как ноги Икара у Брейгеля), мои родители готовят обед. Они уже развели костер и подвесили котелок. Мать в клетчатой куртке склонилась над котелком и помешивает в нем, а отец подкидывает ветку в огонь. Рядом стоит наш «студебеккер».

Родители нарисованы в ином стиле: гладком, тонко модулированном, реалистичном, как фотография. На них как будто падает другой свет; мы словно видим их через окно, открытое в самом пейзаже — показывающее, что лежит внутри или по ту сторону.

Под ними, как поддерживающая их подземная

---

[15] notes: 15
Игра ума (*франц.*).

платформа, выстроился ряд значков-символов — плоских, как фрески в египетских гробницах. Каждый значок заключен в белую сферу: красная роза, кленовый лист, раковина. На самом деле это старые логотипы бензоколонок сороковых годов. Своей явной искусственностью они ставят под вопрос реальность как пейзажа, так и человеческих фигур.

Название второй картины — «Три музы». Она уже не так просто далась Чарне: «Ризли продолжает свои тревожащие деконструкции воспринимаемого нами гендера и его взаимоотношений с воспринимаемой нами властью, особенно при использовании нуминозных образов». Задержав дыхание и прищурившись, я понимаю, откуда она это взяла: все музы предположительно женщины, но на картине дело обстоит не так. Может, надо было назвать картину «Танцоры», чтобы Чарна не мучилась. Но это не танцоры.

Справа — женщина невысокого роста, в домашнем платье-халате в цветочек и мюлях, отороченных натуральным мехом. На голове у нее шляпка-таблетка с вишенками. У женщины черные волосы и крупные золотые серьги, а в руках — шар размером с пляжный мяч. На самом деле это апельсин.

Слева — женщина постарше, с голубовато-седыми волосами, в сиреневом шелковом платье до середины икр. В рукав заткнут кружевной платочек, нос и рот прикрыты марлевой повязкой медсестры. Над повязкой видны ярко-синие глаза, окруженные морщинками и острые, как булавки. В руках у женщины глобус.

В середине — худой смуглый белозубый мужчина с неуверенной улыбкой. На нем богато расшитый красно-золотой восточный костюм, похожий на одеяние Бальтазара в «Поклонении волхвов» Яна Госсарта, но без короны и шарфа. Мужчина также держит округлый предмет, плоский, как диск, и похожий на фиолетовый витраж. На диске расположены — вроде бы случайным образом — несколько ярко-розовых предметов, отчасти напоминающих фигуры абстрактной живописи. На самом деле это яйца елового почкоеда в сечении; впрочем, их опознает только биолог.

Расположение фигур напоминает классическую скульптуру трех граций или же детей, окруживших Иисуса на первой странице газеты из моей когдатошней воскресной школы. Но дети и грации смотрят от краев в центр круга, а эти люди, наоборот, из центра наружу. Они протягивают дары перед собой, словно преподнося их

кому-то сидящему или стоящему за пределами картины.

Миссис Файнштейн. Мисс Стюарт, учительница. Мистер Банерджи. Не такие, какими они были для себя: одному Богу известно, какой видели они свою жизнь и что думали о ней. Кто знает, чей пепел носили концлагерные ветра в голове у миссис Файнштейн в те послевоенные годы? Мистер Банерджи, скорее всего, не мог пройти по улице без страха, ожидая в любой момент тычка, выкрика или шепотка в спину. Мисс Стюарт — изгнанница из разграбленной Шотландии, продолжавшей умирать в трех тысячах миль отсюда. Я была для них случайностью, сделанное мне добро — мимолетным и незначительным; я уверена, что они даже не вспоминали об этом, понятия не имели, что их поступки значат для меня. Но почему бы мне не вознаградить их, раз уж пришла такая блажь? Я могу сыграть Бога, прославить их как святых в потусторонней жизни — на холсте. Впрочем, они об этом все равно не узнают. Наверняка они глубокие старики или давно умерли. Здесь их нет.

Третья композиция называется «На одном крыле». Я написала ее для брата, после его смерти.

Это триптих. Две боковые панели размером

поменьше, средняя — побольше. На одной — самолет времен Второй мировой, в стиле изображений на сигаретных карточках; на другой — большая бледно-зеленая бабочка сатурния луна.

На центральной, большой панели с неба падает человек. То, что он падает, а не летит, ясно по его позе — почти точно вверх ногами, он по косой прорезает редкие облака; однако лицо его спокойно. Он в форме пилота времен Второй мировой. В руке у него игрушечный деревянный меч.

Вот такие вещи мы делаем, чтобы утихла боль.

Чарна решила, что это — высказывание о мужчинах и об инфантильной природе войны.

Четвертая картина — «Кошачий глаз». Это своего рода автопортрет. Моя голова изображена справа на переднем плане, но только от переносицы вверх: верхняя половина носа, глаза, смотрящие на зрителя, лоб и копна волос. Я изобразила наступающие морщинки, «гусиные лапки» в углах глаз. В волосах седина. Это неправда — на самом деле седые волосы я выдергиваю.

За моей полуголовой, в центре картины, в пустом небе висит выпуклое зеркало в вычурной раме. В нем виден мой затылок; но волосы — другие, моложе.

В отдалении, сжатые искривленным простран-

ством зеркала, виднеются три фигурки в зимней одежде, какую носили девочки сорок лет назад. Они идут вперед по снежной равнине, их лица скрывает тень.

И последняя работа называется «Единая теория поля». Это вертикальный прямоугольник, больше других картин. Примерно на двух третях высоты по всей ширине проходит деревянный мост. По обе его стороны — вершины деревьев, голые, в белых шапках, словно только что прошел сильный мокрый снег. Снег лежит также на перилах и балках моста.

Над самой верхней перекладиной перил, не касаясь ее ногами, парит женщина в черном, волосы прикрыты черным капюшоном или покрывалом. Здесь и там на черноте платья видны пронзительные точки света. Небо за спиной у женщины — послезакатное; в верхней части его виднеется нижняя половинка луны. Лицо женщины частично закрыто тенью.

Это — Богоматерь Потерянных Вещей. В руках, на уровне сердца, она держит стеклянный предмет: огромный шарик «кошачий глаз» с синей сердце- винкой.

Под мостом — ночное небо, видимое будто в телескоп. Кучи звезд — красных, синих, желтых,

белых, клубятся туманности, галактика громоздится на галактику: это вселенная во всем ее сиянии, во всей ее тьме. Во всяком случае, так можно подумать. Но еще там, под мостом — камешки, жуки и корешки, потому что это — под землёй.

У нижнего края картины тьма бледнеет, переходя в чистую голубизну воды, потому что там, под землей, под мостом, течет ручей с кладбища. Из страны мертвецов.

Я иду к бару и прошу еще стакан вина. Оно лучше той бормотухи, которую мы в свое время покупали для подобных мероприятий.

Я обхожу выставку, окруженная временем, которое сама же и сотворила; оно — не место, оно лишь расплывчатая тень, подвижная грань, в которой мы живем; она жидкая, она рушится сама в себя, как волна. Может, я и полагала, что выдираю что-то из пасти времени, что-то спасаю; так же, как все эти художники прошлых столетий, которые пытались показать Небо на земле, передать Божественные откровения или вечные звёзды, но доски и штукатурка становились добычей воров, тлена, пожаров, терялись, шли на растопку.

Протекающий потолок. Керосин и спичка. И

конец. Почему эта мысль посещает меня не в обличье страха, но в обличье искушения?

Потому что я больше не властна над этими картинами, не могу диктовать им, что они должны означать. Вся заключенная в них энергия вышла из меня. Я — пустая скорлупа.

72

Ко мне спешит Чарна в фиолетовом кожаном наряде, звякая поддельным золотом. Она тащит меня в кабинет на задах: она не хочет, чтобы я болталась по пустой галерее неприкаянная, когда начнут прибывать первые гости. Не хочет, чтобы я выглядела несчастной и жаждущей внимания. Она выведет меня в зал позже, когда станет уже достаточно шумно.

— Можете здесь отдохнуть, — говорит она, но это вряд ли получится. В кабинете, меря его шагами, я допиваю свой второй бокал. Совсем как в день рождения, когда гирлянды и воздушные шарики уже готовы, угощение ждет на кухне, но что, если никто не придет? Что хуже — если не придут или если придут? Скоро откроется дверь и ввалится орда заносчивых, коварных девочек, они будут шептаться и показывать пальцами, а я — благодарно заискивать перед ними.

У меня потеют ладони. Я думаю, что еще один бокал меня успокоит, а это плохой знак. Я пойду и пофлиртую, просто так, из спортивного интереса — чтобы проверить, могу ли я еще кого-нибудь привлечь. Но, может быть, там просто не с кем флиртовать. В таком случае я напьюсь. Возможно, буду блевать в туалете — спьяна или стрезва.

В других местах я обычно веду себя не так. Во всяком случае, не настолько плохо. Не надо было возвращаться сюда, в город, затаивший на меня злобу. Я думала, что смогу переиграть его в гляделки. Но он до сих пор сильнее меня: как зеркало, что показывает лишь изуродованную половину лица.

Я думаю, не сбежать ли через черный ход. Потом можно извиниться телеграммой, сослаться на плохое самочувствие. Пойдет удобный для меня слух: невидимая упорная болезнь, и меня навсегда перестанут приглашать на подобные мероприятия.

Но в критический момент в дверях возникает Чарна, пунцовая от волнения:

— Уже пришла куча народу! Они все просто умирают, так хотят с вами познакомиться. Мы вами очень гордимся.

Это так похоже на слова какой-нибудь род-

ственницы — матери или тетки — что я теряюсь. Что это за родня? Чья она? Меня подставили. Я как ребенок, неохотно садящийся за пианино при гостях, или (это, пожалуй, больше подходит) старый боец, весь в шрамах, ветеран давних, едва памятных битв, которому должны вручить золотые часы, пожать руку и произнести прочувствованную речь. Меня окружает меркнущий нимб из синих чернил.

Вдруг Чарна тянется ко мне и на ходу обнимает, блестя металлом. Может, это тепло — искреннее. Может, я должна стыдиться своего мрачного цинизма. Может, она и правда мне симпатизирует и желает добра. Я в это почти верю.

Я стою в главном зале галереи, черная от шеи до пальцев на ногах, с третьим бокалом красного. Чарна убежала — она снует в толпе, ищет людей, которые умирают от желания со мной познакомиться. Я в ее распоряжении. Я вытягиваю шею, вглядываясь в толпу, заслонившую картины; видны лишь несколько макушек, куски небес, фоновых пейзажей и облаков. Я по-прежнему не то жду, не то боюсь, что появятся какие-нибудь давние знакомые и я их не узнаю. Они бросятся ко мне с распростертыми объятьями — бывшие одноклассницы, разбухшие или усохшие, морщи-

нистые, с навеки застывшими гримасами, или когда-то свеженькие бойфренды, ныне с лысинами или усами. «Элейн! С ума сойти! Как здорово, что мы встретились!» Они-то смогут меня опознать — мое фото есть на афише выставки. Я буду дружелюбно улыбаться, бешено перебирая в уме прошлое, пытаясь припомнить имя.

Сказать начистоту, я жду Корделию, именно ее хочу видеть. Мне надо у нее многое спросить. Не о том, что случилось в потерянные мною годы — это я уже знаю. Мне надо узнать, почему.

Если она помнит. Может, она забыла все плохое — то, что говорила мне, что делала. А может, и помнит, но как игру или единичную шалость, единичный заурядный секрет из тех, что девочки поверяют друг другу и тут же выбрасывают из головы.

У Корделии будет своя версия. Я не в центре ее истории — в центре ее истории она сама. Но я способна дать ей то, что можно получить только от другого человека — описание того, как она выглядит со стороны. Отражение. Это часть ее, которую я могу ей вернуть.

Мы как близнецы в старинной притче, которым выдали по половинке ключа.

Корделия будет проталкиваться ко мне в толпе

— женщина неопределенного возраста, одетая в ирландский твид приглушенно-зеленого цвета, жемчужные сережки в золотой оправе, прекрасные туфли; холеная, soignée[16], как говорят. Она заботится о себе, как и я. Волосы слегка тронуты сединой, загадочная улыбка. Я ее не узна́ю.

В зале множество женщин, несколько художников, кроме меня, несколько богачей. В основном Чарна тащит ко мне богачей. Я пожимаю им руки, смотрю, как шевелятся их губы. В любых других местах у меня больше выдержки в такой ситуации, в таких актах эксгибиционизма; я способна переблефовать собеседника. Но здесь я чувствую себя голой, ободранной.

Между двумя богачами вклинивается девушка. Она художница, это и так понятно, но она все равно об этом сообщает. Она в мини-юбке, обтягивающих легинсах и массивных черных туфлях на плоской подошве, со шнуровкой. Затылок у нее подбрит — такую прическу когда-то носил мой брат, это стрижка благонравного мальчика из сороковых. Она — пост-всё-что-угодно. Она — то, что наступит, когда кончатся всевозможные «посты». Она — то, что придёт после меня.

---

[16] notes: 16
Ухоженная (*франц.*).

— Я обожаю ваши ранние работы, — говорит она. — «Падающие женщины». Я обожаю эту картину. Ну то есть, она вроде как подытожила целую эпоху, правда?

Девушка не намеренно жестока, она не знает, что этими словами отправила меня на свалку вслед за телефонными аппаратами с крутящейся ручкой и корсетами на китовом усе. В былые дни я бы уничтожила ее ответной репликой, сровняла бы с землей, но сейчас мне ничего в голову не приходит. Я не в форме, я потеряла кураж. И вообще, какой смысл. Ее обожание, направленное в прошлое, вполне искренне. Мне бы радоваться. Я стою с окаменелой ухмылкой, превращаясь в памятник, постепенно бронзовея от ступней вверх, будто гангрена ползет по телу.

— Очень приятно, — выдавливаю я наконец. Если не знаешь, что сказать — ври. Говорят, от лжи зубы белеют. Хорошо, что у меня еще есть хоть какие-то зубы.

Я стою, прижавшись спиной к стене и держа новый, полный бокал. Я вытягиваю шею, вглядываясь в толпу, поверх продуманно расположившихся голов. Пора бы уже Корделии появиться, но ее до сих пор нет. Во мне копится разочарование и раздражение; а потом — беспо-

койство. Наверняка она поехала сюда. Наверняка с ней что-то случилось по дороге.

Тем временем я пожимаю всё новые руки и говорю какие-то слова, а зал мало-помалу пустеет.

— Всё прошло прекрасно! — говорит Чарна со вздохом (вроде бы облегчения). — Вы держались просто замечательно.

Она счастлива, что я никого не укусила и не вылила никому вино на штаны, и в целом вела себя не как художница.

— Может, сходим все вместе поужинать?

— Большое спасибо, но нет. Я чудовищно устала. Как говорится, пора костям на покой.

Оглядываюсь в последний раз: Корделии нет.

«Пора костям на покой» — это давняя поговорка моей матери. Хотя кости как таковые не устают. Они крепки, у них большой запас прочности: их хватает еще на многие годы после того, как отказывает всё остальное тело.

Я направляюсь прямиком в будущее, в котором меня возят на кресле с колесиками. Я лысею и пускаю слюни, а какой-нибудь юный незнакомец кормит меня с ложечки протертой едой, и я стою и стою в снегу под мостом, всё стою и стою. А Корделия всё уходит и уходит.

Я выхожу на сумеречный тротуар перед гале-

реей. Хочу остановить такси, но не могу поднять руку.

Я была готова практически к чему угодно; кроме отсутствия, кроме молчания.

73

Возвращаюсь на такси в студию, взбираюсь на пятый этаж, отдыхая на площадках, по лестнице, тускло освещенной, как всегда ночью. Я прислушиваюсь к своему сердцу, глухо и быстро стучащему под слоями ткани. Порок сердца. Положение ухудшается. Зря я столько выпила. Здесь холодно, экономят на отоплении. До меня доносится звук собственного дыхания, бестелесный хрип, словно это кто-то другой дышит.

«Корделия имеет тенденцию к существованию».

Я кое-как вставляю ключ в замочную скважину и шарю в поисках выключателя. Все эти фрагменты тел, что валяются вокруг, очень мешают. Я пробираюсь на кухоньку, слегка шатаясь. Пальто я не сняла, потому что холодно.

Кофе — вот что мне нужно. Я варю себе кофе, обхватываю ладонями теплую чашку, несу ее к рабочему столу, расчищаю место для локтей среди проволоки и острых инструментов. Завтра

я унесу отсюда ноги, и давно пора. Здесь слишком много прошлого.

«Ну что ж, Корделия. Я с тобой расквиталась».

Никогда не проси о справедливости — не дай бог, ее и получишь.

Я выпиваю кофе, чашка прыгает в руках, и горячая жидкость льется по подбородку. Хорошо, что я не в ресторане. Пьяная женщина — это совсем не элегантно. Пьяный мужчина — не так ужасно, мужчинам это легче прощается, но почему, собственно? Видимо, считается, что у мужчин более уважительные причины для пьянства.

Я провожу рукой в рукаве поперек лица. Оно мокрое, потому что я плачу. Надо будет последить за собой: ещё зареву на людях ни с того ни с сего, и все будут на меня смотреть. Мне кажется, что на меня смотрят, даже если рядом никого нет.

«Корделия, ты умерла!»

«Неправда».

«Еще как правда. Ты умерла.

Ложись».

XV. Мост

74

В голове пусто и гулко, словно я выздоравливаю от тяжелой болезни. Я уснула, обмотавшись периной, прямо в черном платье — не было сил его снять. Проснулась в полдень с распухшей, ватной головой, пульсирующей с похмелья, и обнаружила, что пропустила самолет. Давненько я так не набиралась. А ведь знала, чем кончится. И это относится не только к вину.

Уже вечереет. Небо мягкое, серое, низкое, волглое и расплывчатое, как мокрая промокашка. День кажется пустым, словно все куда-то съехали; словно больше ничего уже никогда не будет.

Я шагаю по тротуару, прочь от снесенной школы. Это мой старый маршрут, я могу пройти его с завязанными глазами. Как всегда на этих улицах, я чувствую направленную на себя чужую неприязнь.

Внизу, подо мной, мост. Отсюда он выглядит нейтрально. Я останавливаюсь в верхней части склона, перевожу дух. И начинаю спускаться.

Удивительно, как мало тут изменилось. Дома по обе стороны оврага — те же, а вот тропинки больше нет; на ее месте цементная дорожка с аккуратными перильцами. Всё так же пахнет опавшей листвой, дымком тления, а вот плети паслёна с фиолетовыми цветочками и красными, как капли крови, ягодами, выкорчевали, сорняки и мусор убрали, всё подстрижено и цивильно.

Но все же в дебрях кто-то шуршит, и несмотря на обманчивую аккуратность, в воздухе висит резкий аромат кошек, кошачьей охоты, закапываний потайного. Иной, более дикий и запутанный, пейзаж проступает из глубины.

Мы всё помним через запахи, совсем как собаки.

Ивы, нависшие над тропинкой, те же. Они выросли, но и я выросла, и разница между нами не изменилась. Сам мост, конечно, другой; он бетонный, с ночным освещением, а не деревянный, ветхий, воняющий гнилью. Однако это все тот же мост.

Где-то там, внизу, до сих пор лежит закопанная Стивеном банка, полная света.

В это время года темнеет рано. Тихо, не слышно детских голосов; лишь монотонное карканье вороны и фоном к нему далекий шум уличного

движения. Я опираюсь локтями на бетонную стену и смотрю вниз сквозь голые ветки, похожие на кораллы. Когда-то я думала, что, если отсюда спрыгнуть, это будет не падение, а скорее нырок; и если в результате умрёшь, смерть будет мягкой, все равно что утонуть. Хотя далеко внизу, на земле, валяется тыква — ее кто-то сбросил с моста, и она раскололась. Она неприятно похожа на голову.

В овраге стало больше кустов и деревьев. Среди них петляет ручей с чистой, прозрачной водой, которую нельзя пить. Мусор — ржавые автомобильные кузова и дырявые шины — убрали; неофициальной свалки больше нет, теперь тут бегают трусцой. Подо мной — беговая дорожка, аккуратно посыпанная гравием, она ведет вверх по склону, к далекой дороге и кладбищу, где ждут мертвецы, забывая себя атом за атомом, истаивая, как сосульки, и стекая по склону в реку.

Вот тут я упала в воду. Вот на этот берег выбралась. Здесь я стояла, на меня падал снег, и я не могла двинуться с места. Здесь я услышала голос.

Голоса не было. Никто не шел по воздуху с моста, никакая дева в темном плаще не склонялась надо мной. Хотя сейчас я вспоминаю ее предель-

но ясно, вплоть до мельчайших деталей — силуэт в капюшоне, очерченный светом с моста, алое сердце под распахнутым плащом, — я знаю, что этого не было. Были только темнота и тишина. Никого и ничего.

Звук: кто-то наступил на камешек.

Пора идти обратно. Я отталкиваюсь от бетонной стены, и небо надо мной смещается.

Я знаю, что если прямо сейчас повернусь и посмотрю вперед — туда, куда уходит дорожка, — там окажется человек. Сначала я думаю, что это буду я сама в давней куртке и синей вязаной шапке. Но потом вижу, что это Корделия. Она стоит посреди склона, оглядываясь через плечо. На ней серая лыжная куртка, но капюшон откинут, голова не покрыта. Те же зеленые шерстяные гольфы, съехавшие до щиколоток, коричневые школьные туфли с поцарапанными носами — один шнурок порван и завязан узлом, — соломенно-каштановые волосы с челкой падают на глаза. Глаза серо-зеленые.

Уже холодно, и всё сильней холодает. Я слышу, как шуршит падающий мокрый снег и как течет река подо льдом.

Я знаю, что Корделия на меня смотрит — с легкой улыбкой на перекошенных губах, лицо

замкнутое, вызывающее. У меня в теле отдается все тот же стыд, то же тошнотное ощущение, то же сознание своей неправильности, неуклюжести, слабости; та же потребность в чужой любви; то же одиночество; тот же страх. Но это уже не мои чувства. Они принадлежат Корделии; они всегда были её.

Теперь я — старше из нас двоих, сильнее. Если Корделия не уйдет отсюда сейчас же, она замерзнет до смерти; брошенная тут в неподходящее время года. Уже почти слишком поздно.

Я протягиваю к ней руки, наклоняюсь; ладони открыты, показывают, что я не вооружена. «Всё будет хорошо, — говорю я ей. — Теперь ты можешь идти домой».

Снег, бьющий меня по глазам, исчезает, как дым.

Когда я наконец поворачиваюсь, Корделии там уже нет. Лишь немолодая женщина, розовощекая, с непокрытой головой, спускается по склону, приближаясь ко мне. У нее на зеленом поводке собака, терьер. Женщина проходит мимо, улыбаясь мне вежливо и нейтрально.

Больше мне тут смотреть не на что. Мост — это всего лишь мост, река — всего лишь река, небо — всего лишь небо. Пейзаж пуст; он — террито-

рия воскресных бегунов трусцой. А может, и не пуст; полон тем, что он есть сам по себе, когда я его не вижу.

75

Я в самолете, несусь — или меня несут — по воздуху, на запад, к омываемому водой побережью, к горам будто с открытки. Передо мной, за окном, солнце садится в убийственную, вульгарную, невоспроизводимую и потрясающую мешанину красных, фиолетовых и оранжевых красок. За спиной у меня катится вперед обыкновенная ночь. Внизу, на земле, разворачивается свиток прерий — огромных, обыденных и правдоподобных, как галлюцинации. Они уже присыпаны снегом и исчерканы зигзагами рек.

Я сижу у окна. На двух других местах рядом со мной летят две пожилые дамы, две старухи, обе в вязаных кофтах, у обеих желтовато-седые волосы, у обеих очки с толстыми стеклами на цепочке на шее, у обеих иссохший рот щедро нарисован ярко-красной помадой. Они опустили столики, пьют чай и играют в снап, роняя скользкие карты и хохоча со скрежетом, как автомобили по гравию, когда ошибаются или плутуют. Время от времени они долго и мучительно отстегиваются, встают

и тащатся в хвост самолета, чтобы покурить и выстоять очередь в туалет. По возвращении они рассказывают сортирные анекдоты, шутят про то, как кто-нибудь обмочился или кончилась туалетная бумага, и при этом хитро поглядывают на меня. Интересно, сколько им лет, по их мнению, под маскарадными костюмами одряхлевших тел. Или сколько, по их мнению, лет мне. Возможно, они считают меня ровесницей своих матерей.

Они кажутся удивительно беззаботными. Они скопили денег на эту поездку и получат от нее удовольствие, черт побери, несмотря на артрит одной и отекшие ноги другой. Они шумливы и жизнерадостны; они крепки духом, как в тринадцать лет, они невинны и похабны, им на все плевать. Они уже ни за что не отвечают, у них нет ни обязательств, ни обид, ни долгов; теперь они могут играть, как дети, хоть и недолго, зато на этот раз — без боли.

Вот по чему я тоскую, Корделия, — не по ушедшему, а по несбывшемуся. По хихиканью двух старушек за чаем.

Уже окончательно стемнело, наступила ночь — ясная, безлунная, полная звезд, которые не вечны, как мы когда-то считали, и находятся вовсе не там, где мы думаем. Будь они звуками, они

были бы эхом чего-то случившегося миллионы лет назад: сло́ва, составленного из чисел. Эхом света, воссиявшего среди пустоты.

Этот свет очень стар, и его совсем немного. Но достаточно, чтобы освещать путь.